

СТАНИСЛАВ
ЛЕМ



S T A N I S Ł A W
L E M

DZIEŁA ZEBRANE

С Т А Н И С Л А В
Л Е М

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ ДЕВЯТЫЙ



МИР НА ЗЕМЛЕ *роман*

ГЛАС ГОСПОДА *роман*

ВЕРНЫЙ РОБОТ *телевизионная пьеса*

84.4П

Л44

Издание подготовлено совместно
с литературно-издательской студией «РИФ»

Художник Владимир Галиев

Ответственный редактор Александр Мирер

Л 4703010100-40 подп.
94

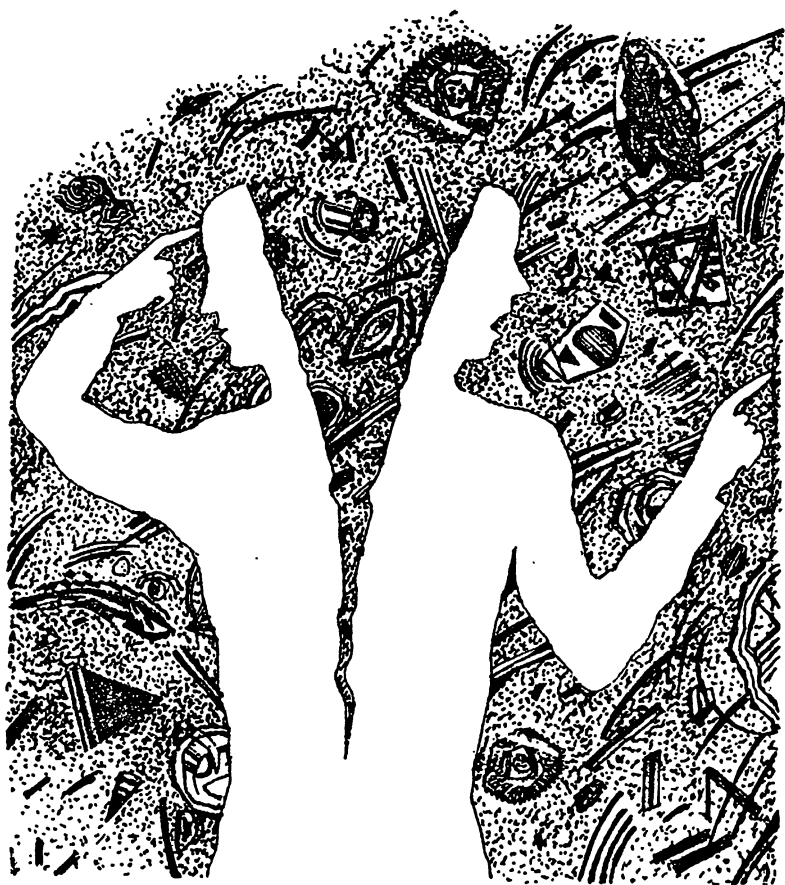
ISBN 5-87106-062-5

© С.Лем, 1963, 1968, 1987

© «Текст», 1994

МИР НА ЗЕМЛЕ

роман



І. УДВОЕНИЕ

Не знаю, что делать. Имей я хотя бы возможность сказать «плохо мое дело», это бы еще полбеды. Сказать «плохи наши дела» я не могу тоже. И вообще, о собственной особе я могу говорить лишь частично, хотя я по-прежнему Ийон Тихий. Со старой привычкой разговаривать вслух во время бритья мне тоже пришлось расстаться, потому что левый глаз все время мешал, ехидно подмигивая. Сидя в ЛЕМе, я еще не успел понять, что случилось перед самым отлетом. Этот ЛЕМ не имел ничего общего с американским тренажером, в котором НАСА послало Армстронга и Олдрина за горсткой лунных камней. Он был так назван для маскировки моей тайной миссии. Сам черт меня впутал в нее. Возвратившись из созвездия Тельца, я никуда не собирался лететь по крайней мере год. Согласился только во имя блага всего человечества. Я понимал, что могу не вернуться. Как высчитал доктор Лопес, у меня был один шанс на двадцать и восемь десятых. Это меня не остановило. Я человек рискованный. Двум смертям не бывать. Либо вернусь, либо нет, сказал я себе. Мне и в голову не пришло, что я вернусь, однако вернусь не я, а вроде бы «мы». Чтобы объяснить это, придется раскрыть кое-какие сверхсекретные обстоятельства, но мне уже все равно. То есть частично. Ведь писать я вынужден тоже частично, с огромным трудом. Стучу на машинке правой рукой. Левую

Рокі на земі, 1987

© Константин Душенко, перевод, с. 6—111, И.В.Левшин, перевод, с. 111—212, 1990, 1994

пришлось привязать к подлокотнику кресла, потому что она была против. Вырывала из каретки бумагу, ни на какие уговоры не поддавалась, а когда я попробовал поставить ее на место, подбила мне глаз. Все это следствие удвоения. У каждого из нас два полушария мозга соединены большой спайкой. По-латыни — *corpus callosum**. Двести миллионов белых нервных волокон соединяют мозги, чтобы они могли собраться с мыслями, — у всех, только не у меня. Чик — и кончено. И даже чиканья не было, а был полигон, на котором лунные роботы испытывали новое оружие. Меня занесло туда совершенно случайно. Я уже выполнил задание, перехитрил этих мертвых тварей и возвращался к ЛЕМу, но тут мне захотелось пи-пи. Писсуаров на Луне нет. Впрочем, в безвоздушном пространстве проку от них никакого. В скафандре имеется специальный мешочек, точно такой же был у Армстронга и Олдрина. Так что можно где угодно и когда угодно, но я стеснялся. Слишком уж я культурный, или, скорее, был таким. Ведь неудобно же прямо так, при ярком солнце, посередине Моря Ясности. Чуть подальше торчала большая глыба, ну я и пошел туда, в ее тень. Откуда мне было знать, что там действует это ультразвуковое поле. Облегчаясь, я почувствовал что-то вроде тихого щелчка в голове.словно бы стрельнуло — не в позвоночнике, как иной раз бывает, а выше. В самом черепе. Это как раз и была дистанционная каллотомия, причем полная. Нигде не болело. Я почувствовал себя как-то странно, но это сразу прошло, и я зашагал к ЛЕМу. Правда, мне показалось, что все теперь какое-то не такое, и сам я тоже, но в этом не было ничего странного после стольких приключений. Правой рукой заведует левое полушарие мозга. Потому-то я и сказал, что пишу сейчас лишь частично. Правому полушарию мое писание, как видно, не по душе, раз оно мне мешает. Все ужасно запуталось. Не могу сказать, что теперь я — только левое мое полушарие. В чем-то приходится уступать правому, не сидеть же с привязанной рукой вечно. Я пытался задобрить его чем только мог — впустую. Оно просто невыносимо. Агрессивное, вульгарное, невоспитанное. Хорошо еще, что прочесть оно может не все, только некоторые части речи, легче всего — существительные. Так обычно бывает, я это знаю, я ведь перечитал уйму книг о каллотомии. Глаголы и прилагательные ему не даются, а поскольку оно видит, что я тут высту-

* Мозолистое тело.

квиваю, приходится изъясняться так, чтобы его не задеть. Удастся ли это, не знаю. Впрочем, никто не знает, отчего вся наша благовоспитанность засела в левом мозгу.

На Луне я должен был высадиться тоже частично, но в совершенно другом смысле — тогда, до несчастного случая, я еще не был удвоен. Сам я должен был обращаться вокруг Луны по стационарной орбите, а на разведку выслать своего теледубля. Такого пластикового, с сенсорными датчиками, чем-то даже похожего на меня. Так вот: я и сидел в ЛЕМе-1, а высадился ЛЕМ-2 с теледублем. Эти военные роботы страх как свирепы к людям. В любом человеке видят противника. Так, во всяком случае, мне объяснили. К сожалению, ЛЕМ-2 отказал, вот я и решил высадиться сам — посмотреть, что с ним, потому что связь была не полностью прервана. Сидя в ЛЕМе-1 и не чувствуя уже ЛЕМа-2, я ощущал, однако, боль в животе, который, собственно, болел у меня не прямо, а по радио: они, оказывается, разломали у ЛЕМа оболочку, извлекли теледубля, а затем и его принялись потрошить. У себя на орбите я не мог отключить этот кабель: живот, правда, перестал бы болеть, но я окончательно потерял бы связь с дублем и не знал бы, где его искать. Море Ясности, на котором он угодил в ловушку, по размерам почти как Сахара. К тому же я перепутал кабели (они, правда, разного цвета, но их черт знает сколько), инструкция на случай аварии куда-то запропастилась, а ее поиски с болью в брюхе так меня разозлили, что, вместо того чтобы вызвать Землю, я решил высадиться, хотя меня заклинали не делать этого ни при каких обстоятельствах: мол, мне оттуда не выкарабкаться. Но отступить не в моих правилах. Кроме того, хотя ЛЕМ — всего лишь машина, напичканная электроникой, мне было жаль бросать его на поругание роботам.

Сдается, чем больше я объясняю, тем темнее все это становится. Начну, пожалуй, с самого начала. Впрочем, каким оно было, не знаю, должно быть, я запомнил его в основном правой половиной мозга, доступ к которой отрезан, так что я не могу собраться с мыслями. Я не помню множества вещей и, чтобы мало-помалу их узнавать, вынужден правой рукой объясняться с левой по системе глухонемых, да только левая часто отвечать не желает. Показывает, к примеру, фигу, и это еще самая вежливая демонстрация ее особого мнения.

Трудновато одной рукой выпытывать что-то жестами у

другой и в то же время поколачивать ее в воспитательных целях. Не стану скрывать ничего. Может, в конце концов я бы и задал взбучку собственной левой руке, но дело в том, что только *верхняя* правая конечность сильнее левой. Ноги в этом отношении равноценны, к тому же на мизинце правой ноги у меня застарелая мозоль, и левой это известно. Когда случился тот инцидент в автобусе и я силой засунул левую руку в карман, ее нога в отместку так наступила на правую, что у меня в глазах потемнело. Может быть, это признак упадка интеллектуальных способностей, вызванного моей половинчатостью, но вижу, что написал глупость. Нога левой руки — просто левая нога; временами мое несчастное тело словно распадается на два враждующих лагеря.

Мне пришлось прервать эти заметки, потому что я попытался ударить себя ногой. То есть левая нога — правую, а значит, я не себя хотел ударить, и вовсе не я, то есть не весь я, но грамматика в такой ситуации бессильна. Я было решил снять ботинки, но передумал. Даже в таком несчастье человек не должен превращаться в шута. Что же мне теперь — ноги переломать себе самому, чтобы узнать, как там было с аварийной инструкцией и с теми кабелями? Мне, правда, уже случалось бороться с самим собой, но при совершенно других обстоятельствах. Один раз — в петле времени, когда я, более ранний, дрался с более поздним; другой раз — после отравления бенIGNаторами*. Дрался, не отрицаю, но оставался нераздельным собой, и каждый, кто пожелает, может войти в мое положение. Разве в средневековые люди не хлестали себя бичами покаяния ради? Но в теперешнее мое положение не войти никому. Это исключено. Я не могу даже сказать, что меня двое — рассуждая здраво, и это неправда. Меня двое, но частично я существую тоже лишь отчасти, то есть не в любой ситуации. Если вам угодно узнать, что со мною случилось, читайте без придирок и возражений все, что я напишу, даже если ничего не понимаете. Кое-что со временем прояснится. Не до конца, разумеется: до конца можно только путем каллотомии. Точно так же нельзя объяснить, что значит быть выдрой или черепахой. Если бы кто-нибудь, не важно как, стал черепахой или опять же выдрой, он все равно не смог бы ничего сообщить, ведь животные не говорят и не пишут. Нормальные люди, каким

* «Добротизатор» (от лат. *benignitas* — радушие, ласковость).

и я был большую часть своей жизни, не понимают, как это человек с рассеченным мозгом может по-прежнему оставаться самим собой, а так оно, похоже, и есть, раз он говорит о себе «Я», а не «МЫ», ходит вполне нормально, рассуждает толково, за едой тоже не видно, будто бы правое полушарие не ведало, что делает левое (в моем случае — пока речь не идет о крупяном супе); впрочем, кое-кто полагает, что каллотомия была известна уже в евангельские времена, ведь в Евангелии говорится о левой руке, которая не должна знать, что делает правая, — хотя, по-моему, это не более чем проповедническая метафора.

Один тип преследовал меня два месяца кряду, чтобы выпытать всю правду. Он посещал меня в самую неподходящую пору и изводил вопросами насчет того, сколько меня на самом деле. Из учебников, которые я ему дал, он ничего не вычитал, как, впрочем, и я. Я снабжал его этой литературой, только чтобы он отвязался. Помню, я тогда решил купить себе ботинки без шнурков, с эластичной резинкой сверху; кажется, раньше их называли штиблетами. Дело в том, что, когда моей левой части не хотелось идти на прогулку, я не мог завязать шнурки. Что правая завязывала, левая тут же развязывала. Вот я и решил купить штиблеты и пару кроссовок — не для того, чтобы заняться столь модным ныне оздоровительным бегом, но чтобы дать урок своему правому мозгу, с которым тогда я еще не мог найти общий язык, а лишь набирался злости и синяков. Полагая, что продавец в обувном магазине — обычный торговый служащий, я что-то такое пробормотал в оправдание своего необычного поведения, а собственно, даже и не своего. Просто, когда он, с ложкой для ботинок в руке, опустился передо мной на колено, я ухватил его левой рукой за нос. То есть это она ухватила, а я начал оправдываться или, лучше сказать, валить все на нее. Даже если он примет меня за психа, думал я (откуда обыкновенному продавцу знать что-либо о каллотомии?), ботинки он мне все равно продаст. И псих не должен ходить босиком. На беду продавец оказался подрабатывающим студентом философии и прямо-таки загорлся.

— Клянусь здравым смыслом и милосердием Божьим, господин Тихий! — кричал он в моей квартире. — Ведь логика утверждает, что вы либо один, либо вас больше! Если ваша правая рука натягивает штаны, а левая ей мешает, значит, за каждой из них стоит своя половина мозга, которая

что-то там себе думает или по крайней мере желает, раз ей не по сердцу то, что по сердцу другой. В претивном случае передрались бы отрубленные руки и ноги, чего они, как известно, не делают!

Тогда я дал ему Гадзанигу. Лучшая монография о рассечении мозга и вытекающих отсюда последствиях — книга профессора Гадзаниги «Bisected Brain»*, выпущенная еще в 1970 году издательством «Appleton Century Crofts» (Educational Division in Meredith Corporation), и пусть у меня мозги никогда не срastутся, если я говорю неправду, если я выдумал этого Микеля Гадзанигу и его родителя (ему-то и посвящена монография), которого звали Данте Ахиллес Гадзанига и который даже был доктором — M.D.**. Кто не верит, пусть немедля бежит в ближайшую медицинскую книжную лавку, а меня оставит в покое.

Так вот, этот тип преследовал меня, чтобы вытянуть показания насчет моей сдвоенной жизни, но ничего не добился, а только довел до бешенства оба моих полушария сразу, если уж я схватил его обеими руками за шкуру и вышвырнул за дверь. Такие временные перемирия в моем сдвоенном существе порою случаются, но для меня это как было темным делом, так и осталось.

Философ-недоросль звонил мне потом среди ночи, полагая, что спросонок я выдам свою невероятную тайну. Он просил меня прикладывать трубку то к левому уху, то к правому и не обращал внимания на красочные эпитеты, которых я для него не жалел.

Он упорно стоял на том, что идиотизмом следует считать не его вопросы, а состояние, в котором я нахожусь, ведь оно противоречит антропологической, экзистенциальной и всей вообще философии человека как существа разумного и сознающего собственную разумность. Он, должно быть, только что сдал экзамены, потому что в разговоре сыпал гегелями и декартами («Мыслю, следовательно, существую», а не «Мыслим, следовательно, существуем»), атаковал меня Гуссерлем и добивал Хайдеггером, доказывая, будто происходящее со мной происходить не может, поскольку идет вразрез со всеми толкованиями духовной жизни, которыми мы обязаны не недоумкам каким-нибудь, но гениальнейшим умам человечества, мыслителям, кото-

* «Рассеченный мозг» (англ.).

** Доктор медицины (англ.).

рые целые тысячелетия, начиная с древних греков, занимались интроспективным познанием нашего «Я»; а тут приходит какой-то чудак с рассеченной большой спайкой мозга, с виду здоров как бык, но правая рука у него не ведает, что делает левая, с ногами та же история, к тому ж одни эксперты утверждают, что сознание у него только с левой стороны, а правая — всего лишь бездушный автомат, вторые — что сознаний два, но правое поражено немотой, поскольку центр Брока расположен в левой височной доле, третьи — что у него два частично автономных сознания; и это уже верх всего. Раз нельзя частично выскочить из поезда, кричал он, или частично умереть, то нельзя и частично мыслить! За дверь я его уже не выбрасывал — как-то мне его стало жаль. С отчаяния он попытался меня подкупить. Он называл это дружеским презентом. Он клялся, что 840 долларов — это все его сбережения на каникулы с девушкой, но он готов отказаться от них и даже от нее, лишь бы я поведал ему как на духу, КТО мыслит, когда мыслит мое правое полушарие, а Я не знаю, ЧТО оно мыслит; когда же я отослал его к профессору Экклзу (стороннику сознания с левой стороны, полагававшему, что правая вообще не мыслит), он отозвался об этом ученом непристойными словами. Он уже знал, что я помаленьку научил свое правое полушарие языку глухонемых, и требовал, чтобы к Экклзу пошел я и объяснил ему, что он заблуждается. По вечерам, вместо того чтобы посещать лекции, он рылся в медицинских журналах; он уже знал, что нервные пути устроены крест-накрест, и искал в самых толстых компендиумах ответа на вопрос, за каким чертом это понадобилось, чего ради правый мозг заведует левой половиной тела, и наоборот, но об этом, понятно, нигде ни единого слова не было. Либо это помогает нам быть человеком, рассуждал он, либо мешает. Психоаналитиков он изучил тоже и нашел одного, утверждавшего, будто в левом полушарии помещается сознание, а в правом — подсознание, но мне удалось выбить у него из головы эту чушь. Я, по понятным причинам, был куда начитаннее. Не желая драться ни с самим собою, ни с юношей, страдаемым жаждой познания, я уехал, или, скорее, бежал, от него в Нью-Йорк — и попал из огня в полымя.

Я снял крохотную квартирку в Манхэттене и ездил, на метро или на автобусе, в Публичную библиотеку; там я читал Хосатица, Вернера, Такера, Вудса, Шапиро, Риклана,

Шварца, Швартца, Швартса, Сэ-Мэ-Халаша, Росси, Лишмена, Кеньона, Харви, Фишера, Козна, Брамбека и чуть ли не три десятка разных Раппопортов, и по дороге едва ли не всякий раз случались скандалы, потому что всех хорошеньких женщин, а блондинок особенно, я норовил ущипнуть пониже спины. Занималась этим, разумеется, моя левая рука (и притом не всегда в толкучке), но попробуйте объясните это в немногих словах! Хуже всего было не то, что я разругой получил оплеуху, но то, что обычно эти женщины вовсе не считали себя обиженными. Напротив, они усматривали в моем щипке приглашение к небольшому романчику, а о романчиках мне думалось тогда меньше всего. Насколько я мог понять, оплеухами меня награждали активистки *women's liberation** — крайне редко, однако, так как хорошеньких среди них раз, два и обчелся.

Видя, что самому мне не выбраться из моего кошмарного состояния, я связался со светилами медицинской науки. И они мною занялись, а как же. Я был подвергнут всевозможным анализам, рентгеноскопии, стахистоскопии, воздействию электротока, обмотан четырьмястами электродами, привязан к специальному креслу, был вынужден часами разглядывать сквозь узкую смотровую щель яблоки, вилки, столы, гребешки, грибы, сигары, стаканы, собак, стариков, голых женщин, грудных младенцев и несколько тысяч других вещей, которые проецировались на белый экран, после чего мне сказали (хотя я и без них это знал), что когда мне показывают бильярдный шар так, чтобы его видело лишь мое левое полушарие, то правая рука, опущенная в мешок с различными предметами, не может вынуть оттуда такой же шар, и наоборот, ибо не знает десница, что делает шущца. Тогда они признали мой случай банальным и потеряли ко мне интерес, так как я ни словечка не проронил о том, что учу свою безъязыкую половину языку глухонемых. Я ведь хотел узнать от них что-нибудь о себе, а пополнять их профессиональный багаж было не в моих интересах.

Потом я пошел к профессору С.Туртeltaубу, который со всеми остальными был на ножах, но он, вместо того чтобы просветить меня относительно моего состояния, стал мне жаловаться, какая это клика и мафия, и поначалу я слушал его в оба уха, полагая, что он поносит коллег из высокона-

* Движение за женскую эмансипацию (англ.)

учных соображений. Тurtlesауб, однако, не мог им простить, что они похоронили его проект. Когда я последний раз был у господ Глобуса и Заводника или, может, еще у каких-то светил — они у меня путаются, столько их было, — то, узнав, что я хожу к Тurtlesаубу, они поначалу даже обиделись, а потом заявили, что он исключен из общества ученых по этическим соображениям. Тurtlesауб, оказывается, хотел, чтобы убийцам, приговоренным к смерти или пожизненному заключению, предлагали замену наказания на операцию каллотомии. Мол, до сих пор ей подвергали исключительно эпилептиков, по медицинским показаниям, и неизвестно, каковы будут последствия рассечения снайки у обыкновенных людей; и каждый, не исключая его самого, будучи приговорен к электрическому стулу, допустим, за убиение тещи, наверняка предпочел бы рассечение *corpus callosum*, но тогда член Верховного суда на пенсии Клессенфенгер постановил, что, даже если оставить в стороне этику, дело это опасное: ведь если бы оказалось, что, приступая к умерщвлению тещи, с заранее обдуманным намерением действовало лишь левое полушарие Тurtlesауба, а правое ничего не знало — или даже протестовало, но уступило доминирующему левому и после внутримозговой борьбы дело дошло-таки до убийства, — возник бы кошмарный прецедент, ибо одно полушарие надлежало увести в тюрьму, а второе, полностью оправдав, освободить из-под стражи. То есть убийца был бы приговорен к смерти на пятьдесят процентов.

Не имея возможности получить то, о чем он мечтал, Тurtlesауб поневоле довольствовался обезьянами (очень дорогими, в отличие от убийц), а дотации ему все урезали и урезали, и он горевал, что кончит крысами и морскими свинками, хотя это вовсе не то же самое. Вдобавок активистки Общества охраны животных и Союза борьбы с вивисекцией регулярно били у него стекла, и кто-то даже поджег его машину. Страховая компания не хотела платить; дескать, нет доказательств, что это не сам он спалил собственный автомобиль, рассчитывая убить двух зайцев сразу: привлечь к суду защитниц животных, а заодно материально обогатиться, ведь машина была старая. Он меня до того замучил, что я решил переменить тему и упомянул о языке знаков, уроки которого моя правая рука давала левой. Лучше бы я этого не делал. Он тут же позвонил Глобусу, или, может, Максвеллу, и объявил, что продемонстрирует в

Неврологическом обществе случай, который сотрет их всех в порошок. Видя, как повернулось дело, я выбежал от Тарантеуба не прощаясь и поехал прямо в свою гостиницу, но те уже подстерегали меня в холле. Увидев их возбужденные лица и глаза, горящие нездоровым исследовательским энтузиазмом, я сказал, что так уж и быть, я пойду с ними в клинику, только сперва переоденусь у себя; пока они ждали внизу, я сбежал с двенадцатого этажа по пожарной лестнице и на первом же такси помчался в аэропорт. Мне было, собственно, все равно, куда лететь, лишь бы подальше от этих ученых, а так как ближайший рейс был в Сан-Диего, я туда и отправился; там, в маленькой скверной гостинице — это был настоящий притон, кишачий темными личностями, — даже не распаковав чемодан, я позвонил Тарантоге, чтобы попросить у него помощи.

Тарантога, к счастью, был дома. Друзья познаются в беде. Он прилетел в Сан-Диего ночью, и, когда я рассказал ему все, возможно ясней и подробней, решил мною заняться — как человек доброй души, а не как ученый. По его совету я сменил гостиницу и начал отпускать бороду, а он тем временем отправился на поиски такого эксперта, для которого клятва Гипократа важнее, чем возможность прославиться за мой счет. На третий день мы едва не поссорились: он пришел порадовать меня хорошими новостями, а я проявил благодарность лишь частично. Его вывела из себя моя левосторонняя мимика — я все время по-идиотски ему подмигивал. Я объяснил, правда, что это не я, а лишь правое полушарие моего мозга, над которым я не властен, и он уже стал успокаиваться, но потом принялся упрекать меня снова. Дескать, что-то тут не в порядке: даже если меня двое в едином теле, то по ехидным и саркастическим минам, которые я наполовину строю, видно как на ладони, что я уже раньше — по крайней мере, частично — питал к нему неприязнь, которая и проявилась теперь в форме черной неблагодарности, а он полагает, либо ты целиком друг, либо не друг вовсе. Пятидесятипроцентная дружба не в его вкусе. Все же в конце концов мне удалось его успокоить, а когда он ушел, я купил себе повязку на глаз.

Специалиста для меня он отыскал далековато — в Австралии, и мы вместе полетели в Мельбурн. Это был профессор Джошуа Макинтайр; он читал там курс нейрофизиологии, а его отец был сердечным приятелем отца Тарантоги и чуть ли даже не дальним родственником. Макинтайр внушал

доверие уже своим видом. Высокий, с седой шевелюрой ежиком, удивительно спокойный, толковый и, как заверил меня Тарантога, добросердечный. Так что можно было не опасаться, что он захочет использовать меня в своих целях или столкнется с американцами, которые лезли из кожи, стараясь напасть на мой след. Тщательно обследовав меня, что заняло три часа, он поставил на письменный стол бутылку виски, налил мне и себе, а когда атмосфера стала совершенно приятельской, заложил ногу за ногу, помолчал, собираясь с мыслями, и произнес:

— Господин Тихий, я буду обращаться к вам на «вы», — но лишь потому, что так принято. Можно считать установленным, что мозолистое тело рассечено у вас от *comissura anterior* до *posterior*^{*}, хотя на черепе нет и следа трепанационного шрама...

— Так я же и говорю, профессор, — перебил я его, — никакой трепанации не было, а было поражение новейшим оружием. Это, наверное, оружие будущего: не надо никого убивать, достаточно подвергнуть вражескую армию дистанционной церебеллотомии^{**}. С отсеченным от остального мозга мозжечком любой солдат сразу рухнет на землю, словно парализованный. Так мне сказали в том ведомстве, называть которое я не имею права. Но по случайности я встал к тому ультразвуковому полю боком, или, как выражаются медики, саггитально. Хотя и это не наверняка — тамошние роботы, видите ли, орудуют скрыто, и механизм воздействия этого поля не вполне ясен...

— Неважно, — сказал профессор, глядя на меня своими добрыми, умными глазами сквозь золотые очки. — Внемедицинские обстоятельства нас в данную минуту не интересуют. Что же касается количества сознаний в подвергнутом каллотомии человеке, тут к настоящему времени существуют восемнадцать теорий. Поскольку каждая из них имеет экспериментальное подтверждение, понятно, что ни одна не может быть ни совершенно ошибочной, ни совершенно истинной. Вы не один, но вас и не двое, о дробных числах тоже говорить не приходится.

— Так сколько же меня, собственно, есть? — спросил я удивленно.

— Нет хороших ответов на плохо поставленные вопросы.

* От передней комиссуры (спайки) до задней (лат.)

** Рассечение мозжечка.

Представьте себе двух близнецов, которые от рождения только и делают, что пилят двуручной пилой дрова. Они трудятся в полном согласии, иначе не смогли бы пилить: если забрать у них эту пилу, они уподобятся вам в вашем нынешнем состоянии.

— Но ведь каждый из них, пилит он или не пилит, обладает одним-единственным сознанием, — разочарованно заметил я. — Ваши коллеги в Америке, профессор, рассказали мне множество подобных притч. О близнецах с пилой тоже.

— Ну, ясно, — сказал Макинтайр и подмигнул левым глазом; я даже подумал, не рассечено ли и у него что-нибудь. — Мои американские коллеги беспросветно темны, а такие сравнения курам на смех. Эту историю с близнецами, выдуманную одним американцем, я привел нарочно — как пример ошибочного подхода. Если изобразить работу мозга графически, у вас она выглядит как большая буква «У», поскольку сохраняется единый ствол мозга и средний мозг. Это — основание игрека, а полушария у вас разделены, как его верхняя часть. Понимаете? Интуитивно это можно легко... — Профессор запнулся и вскрикнул, получив от меня удар по коленной чашечке.

— Это не я, это моя левая нога! — поспешно объяснил я. — Извините, честное слово, я не хотел...

Макинтайр понимающе улыбнулся (но в этой улыбке было что-то фальшивое, как у психиатра, всем своим видом показывающего, что сумасшедший, который его укусил, — человек нормальный и симпатичный), встал и отодвинулся вместе со стулом на безопасное расстояние.

— Правое полушарие обычно гораздо агрессивнее левого, это факт, — сказал он, осторожно ощупывая колено. — Вы, однако, могли бы держать ноги сплетенными. Да и руки, знаете, тоже. Так нам будет легче беседовать...

— Я уже пробовал — затекают. А потом, позволю себе заметить, ваш игрек ничего мне не говорит. Где начинается в нем сознание — под развилкой, в развилке, еще выше или — как там еще?

— Совершенно определено сказать нельзя, — ответил профессор, продолжая покачивать ушибленной ногой и усердно ее массируя. — Мозг, любезнейший господин Тихий, состоит из множества функциональных подсистем, которые у нормального человека взаимодействуют по-разному при выполнении разных заданий. У вас подсистемы самого высокого

уровня полностью разъединены и потому не могут взаимодействовать.

— Об этих подсистемах я тоже уже слышал, разрешите заметить. Я не хотел бы выглядеть невежливым — во всяком случае, могу вас заверить, профессор, что этого не хочет мое левое полушарие, которое сейчас обращается к вам, — но я по-прежнему ничего не знаю. Ведь живу я нормально — ем, хожу, сплю, читаю, только приходится следить за левой рукой и ногой — они затевают скандалы без всякого предупреждения. КТО подстраивает эти фокусы? Если мой мозг, то почему Я ничего об этом не знаю?

— Потому что полушарие, виновное в этом, безгласно, господин Тихий. Центр речи находится в левом полушарии, в височной до...

На полу между нами лежали мотки проводов от разных аппаратов, при помощи которых Макинтайр меня обследовал. Я заметил, что моя левая нога исподволь начинает играть этими проводами. Она намотала себе на щиколотку толстый кабель в черной блестящей изоляции — чему я особого значения не придавал — и вдруг, рванувшись назад, дернула кабель, который, оказывается, обвивал ножку профессорского стула. Стул встал дыбом, а профессор грохнулся на линолеум. Я мог убедиться, однако, что передо мною опытный врач и выдержанный ученый; поднимаясь с пола, он произнес почти совершенно спокойно:

— Ничего, ничего. Ради Бога, не беспокойтесь. Правое полушарие заведует ориентацией в пространстве; неудивительно, что оно ловчее в такого рода делах. Но я просил бы вас еще раз, господин Тихий, сесть подальше от стола, от проводов и вообще от всего. Это облегчит нам беседу и выбор подходящей для нашего случая терапии.

— Так где же мое сознание? — спросил я, сматывая провод с ноги, что давалось мне нелегко — та словно приросла к полу. — Ведь это, казалось бы, я дернул стул, а в то же время у меня не было такого намерения. КТО это сделал?

— Ваша левая нижняя конечность, управляемая правым полушарием. — Профессор поправил съехавшие очки, отодвинул стул чуть подальше, но после некоторого раздумья не сел, а остался стоять, ухватившись за спинку стула. Я подумал — каким из полушарий, не знаю, — уж не борется ли он с искушением перейти в контратаку?

— Так мы можем толковать до Судного дня, — заметил

я, чувствуя, как напрягается левая сторона моего тела. На всякий случай я сплел ноги и руки. Макинтайр, внимательно наблюдая за мной, продолжал дружеским тоном:

— Левое полушарие доминирует благодаря центрам речи. Разговаривая с вами, я разговариваю, следовательно, с левым полушарием, а правое может лишь прислушиваться к нашей беседе. Речью оно почти не владеет.

— У других — пожалуй, но только не у меня, — возразил я, на всякий случай придерживая правой рукой запястье левой. — Оно у меня действительно немое, но я, знаете ли, обучил его языку глухонемых. Сколько здоровья мне это стоило!

— Не может быть!

В глазах профессора появился блеск, который я уже видел у его американских собратьев; я пожалел о своей откровенности, но было поздно.

— Да ведь оно не владеет глагольными формами! Это доказано.

— Ну и что? Можно и без глаголов.

— Тогда, пожалуйста, спросите его, то есть себя — то есть его, хочу я сказать, — что оно думает о нашей беседе? Сможете?

Я с неохотой взял свою левую руку и начал ласково поглаживать ее правой (это, я знал, хорошо помогает), а потом стал подавать условные знаки, дотрагиваясь до левой ладони. Вскоре ее пальцы зашевелились. Я следил за ними какое-то время, после чего, стараясь скрыть злость, положил левую руку на колено, хотя та и сопротивлялась. Разумеется, она тут же чувствительно ущипнула меня за бедро. Этого следовало ожидать, но я не хотел устраивать представление, сражаясь с самим собой на глазах у профессора.

— И что же она сказала? — спросил профессор, неосторожно высовываясь из-за стула.

— Ничего интересного.

— Но я отчетливо видел — она подавала какие-то знаки. Или они были не координированны?

— Нет, почему же, прекрасно координированны, только это — глупость.

— Так говорите! В науке глупостей нет!

— Она сказала: «Ты задница!»

Профессор даже не улыбнулся, до того он был увлечен.

— Нет, правда? Тогда спросите ее, пожалуйста, обо мне.

— Как вам будет угодно.

Я снова взял левую руку и пальцем указал на профессора; мне даже не пришлось ее особенно уговаривать — она ответила моментально.

— Ну, ну?

— «И он задница».

— Прямо так и сказала?

— Да. Глаголы ей действительно не даются, однако понять можно. Но я по-прежнему не знаю, КТО говорит, хотя бы и жестами. У меня в голове есть и Я, и какой-то ОН? Если есть ОН, то почему я ничего не знаю о нем и вообще не ощущаю его — ни его переживаний, ни эмоций, вообще ничего, хотя ОН в МОЕЙ голове и составляет часть МОЕГО мозга? Ведь он не снаружи. Ладно бы еще обыкновенное раздвоение сознания, если бы все у меня там перемешалось — это я еще мог бы понять. Так нет же! Откуда он взялся, этот ОН? Что, он тоже Ийон Тихий? А если так, почему мне приходится объясняться с ним окольным путем, через руку, и получать ответы тоже окольным путем, скажите на милость? Он — или оно, если это полушарие моего мозга, — не на такое еще способен. Если бы он хоть был — или оно было — не в своем уме! Ведь оно то и дело впутывает меня в скандальные истории.

Не видя больше нужды таиться от профессора, я рассказал ему об инцидентах в автобусе и метро. Он был вне себя от любопытства.

— Значит, только блондинки?

— Да. Пусть крашенные, это не имеет значения.

— А что-нибудь еще оно себе позволяет?

— В автобусе — нет.

— А в другой обстановке?

— Не знаю, не пробовал. То есть я не давал ему такой возможности. Или ей, если угодно. Если вам так интересны детали, добавлю, что несколько раз я получал за это пощечины и был вне себя от ярости и смущения, ведь никакой вины за собой я не чувствовал; и в то же время мне было почему-то весело. Но однажды я получил оплеуху по левой щеке, и тогда мне было совсем не смешно. Я над этим задумался и решил, что могу объяснить, в чем тут дело.

— Ну конечно! — воскликнул профессор. — Левый Тихий получал оплеухи за правого, и именно это правого забавляло. А вот когда правому досталось за правого, это вовсе не показалось ему забавным, ведь он получил, так сказать, не только за свое, но и в свою часть лица.

— Вот именно. Значит, какая-то связь вроде бы есть в бедной моей голове, только скорее эмоциональная, чем рациональная. Эмоции он тоже, как видно, испытывает, хотя я о них ничего не знаю. Допустим, они бессознательные, но возможно ли это? В конце концов этот Экклз с его теорией бессознательных инстинктов плетет чушь. Высмотреть в толпе милovidную блондинку, маневрировать так, чтобы приблизиться к ней, поначалу неизвестно зачем, встать за нею и так далее, — тут ведь целый продуманный план, а не какие-то там инстинкты. Продуманный, а значит, осознаваемый. Но КЕМ? КТО тут обдумывает? КТО обладает этим сознанием, если не Я?

— Ах, знаете, — сказал все еще заметно возбужденный профессор, — это можно в конце концов объяснить. Пламя свечи легко различить в темноте, но не днем, при солнце. Может быть, правый мозг и обладает каким-то сознанием, но слабеньким, как свеча, незаметным на фоне сознания левого, доминирующего полушария. Это вполне вероя...

Профессор мгновенно пригнулся и лишь поэтому избежал удара ботинком по голове. Моя левая нога, упираясь ботинком в ножку стула, мало-помалу стянула его с себя, а потом так резко рванулась вперед, что ботинок полетел, словно пуля, и грохнулся о стену, на волос разминувшись с профессором.

— Может быть, вы и правы, — заметил я, — но обидчив он — просто ужас.

— Вероятно, он ощущает какую-то неясную угрозу себе — под влиянием нашей беседы или, скорее, того, что он мог в ней неверно понять, — предположил профессор. — Кто знает, не лучше ли было бы обращаться к нему прямо.

— Моим способом? Об этом я не подумал. Но зачем? Что вы хотите ему сообщить?

— Это будет зависеть от его реакции. Ваш случай уникален. Еще ни разу не подвергали каллотомии человека, совершенно здорового умственно, и притом с незаурядным умом.

— Вопрос следует поставить ясно, — ответил я, успокоительно поглаживая левую кисть по тыльной стороне, а то она уже начала сгибать и разгибать пальцы, что показалось мне настораживающим. — Мои интересы и интересы науки не совпадают. Не совпадают тем больше, чем более, как вы говорите, уникален мой случай. Если вы — или кто-то еще — сумеете найти общий язык с НИМ (вы понимаете,

что я имею в виду) и ЕГО самостоятельность возрастет, это может мне повредить, и даже весьма.

— Ах нет, вы ошибаетесь! — произнес профессор решительно, по-моему, даже слишком решительно. Он снял очки и стал протирать их замшей. В его глазах не было ничего похожего на выражение беспомощности, столь обычное у очень близоруких людей. Он взглянул на меня так быстро и пронизательно, словно прежде очки были ему помехой, и тут же опустил глаза.

— Да ведь всегда и случается именно то, что невозможно, — сказал я, тщательно подбирая слова. — История человечества состоит из сплошных невозможностей. Прогресс науки — тоже. Один молодой философ объяснил мне, что положение, в котором я нахожусь, невозможно, ибо противоречит всем аксиомам философии. Сознание неделимо. Так называемое раздвоение сознания — это, в сущности, сменяющиеся друг друга необычные его состояния, сопровождающиеся нарушениями памяти и ощущения собственного «Я». Это вам не торт!

— Как вижу, вы порядочно начитались специальной литературы, — заметил профессор, надевая очки. Он что-то добавил, но что — я не расслышал. Я хотел сказать, что сознание, согласно философам, нельзя кроить на кусочки как торт, но запнулся: моя левая рука ткнула пальцем в ладонь правой и начала отбивать знаки. Этого еще с ней не случилось. Макинтайр, заметив, куда я смотрю, мигом смекнул, в чем дело.

— Она что-то говорит, да? — спросил он приглушенным тоном — так говорят в присутствии кого-то третьего, чтобы он не расслышал.

— Да. — Я был удивлен, но все же повторил вслед за рукой. — Она хочет кусочек торта.

Восхищение, отразившееся на лице профессора, отрезвило меня. Заверив жестами руку, что она получит искомое, если будет вести себя хорошо, я продолжил:

— С вашей точки зрения, было бы замечательно, если бы она становилась все более самостоятельной. Я не осуждаю вас, я понимаю: два полностью развитых субъекта в одном теле — это сенсация; какое тут огромное поле для исследований, открытий и так далее. Но меня торжество демократии в моей голове не устраивает. Я хочу быть не все больше, а все меньше удвоенным.

— Вотум недоверия, не так ли? Я прекрасно вас пони-

маю... — Профессор благожелательно улыбался. — Прежде всего хочу вас заверить, что все услышанное мною я буду держать про себя. Под замком врачебной тайны. А кроме того, я и не думал предлагать вам какое-то определенное лечение. Вы сделаете то, что сочтете нужным. Прошу вас хорошенько подумать — разумеется, не здесь и не сразу. Вы долго пробудете в Мельбурне?

— Пока не знаю. Во всяком случае я, с вашего разрешения, еще позвоню.

Тарантога в зале ожидания, увидев нас, вскочил:

— Ну что, профессор?.. Как Ийон?..

— Какое-либо решение еще не принято, — сообщил официальным тоном Макинтайр. — Господин Тихий питает некоторые сомнения. Так или иначе, я всецело к его услугам.

Будучи человеком слова, по дороге в гостиницу я остановил такси у кондитерской и купил кусок торта; мне пришлось съесть его тут же, в машине, — она этого требовала, а сам я вовсе не сладкоежка. Я решил до поры до времени не терзаться вопросом, КОМУ в таком случае хочется сладкого. Никто, кроме меня, на этот вопрос ответить не мог, а сам я ответа тоже не знал.

Мы с Тарантогой жили в соседних номерах; я зашел к нему и в общих чертах обрисовал визит к Макинтайру. Рука прерывала меня несколько раз, выражая свое недовольство. Дело в том, что торт был с лакрицей, а я лакрицу не переношу. Я все ж съел его, полагая, что делаю это для *нее*, но оказалось, что у меня и у нее — у меня и у него — у меня и второго меня — а впрочем, сам черт не разберет у кого с кем — вкусы одни и те же. Это понятно, ведь рука сама есть не могла, а рот, небо и язык у нас общие. Я чувствовал себя как в дурацком сне, кошмарном и забавном одновременно: словно я ношу в себе если не грудного младенца, то маленького, капризного, хитрого ребенка. Я даже вспомнил о гипотезе каких-то психологов, согласно которой у младенцев единого сознания нет, поскольку нервные соединения мозолистого тела у них еще недостаточно развиты.

— Тут тебе какое-то письмо. — Эти слова Тарантоги вернули меня к действительности. Я удивился — ведь о моем местопребывании не знала ни одна живая душа. Письмо было отправлено из столицы Мексики авиапочтой, без обратного адреса. В конверте оказался крохотный листочек с машинописным текстом: «Он из ЛА».

И все. Я перевернул листок. Обратная сторона была чистой.

Тарантога взял записку, взглянул на нее, потом на меня: — Что это значит? Ты понимаешь?

— Нет. То есть... ЛА, вероятно, — Лунное Агентство. Это они меня послали.

— На Луну?

— Да. С секретной миссией. По возвращении я должен был представить отчет.

— И представил?

— Да. Написал обо всем, что помнил. И вручил парикмахеру.

— Парикмахеру?

— Так было условлено. Чтобы не идти прямо к ним. Но кто этот «он»? Разве только Макинтайр... Больше я здесь ни с кем не встречался.

— погоди. Ничего не пойму. Что было в твоём отчете?

— Этого я даже вам сказать не могу. Дал подписку о неразглашении. Но было там не так уж много. Уйму всего я позабыл.

— После несчастного случая?

— Ну да. Что вы делаете, профессор?

Тарантога вывернул разорванный конверт наизнанку. Кто-то написал там карандашом печатными буквами: «Сожги это. Да не погубит правое левого».

Я по-прежнему ничего не понимал, но все же тут чувствовался какой-то смысл. Вдруг я посмотрел на Тарантогу расширенными глазами:

— Начинаю догадываться. Ни на конверте, ни на листочке — ни одного существительного. Заметили?

— Ну и что?

— Она лучше всего понимает существительные. Тот, кто это послал, хотел, чтобы я о чем-то узнал, а она — нет...

При этих словах я многозначительно коснулся левой руки. Тарантога встал, прошелся по комнате, постучал пальцами по столу и сказал:

— Если это значит, что Макинтайр...

— Не продолжайте, прошу вас.

Я достал из кармана блокнот и написал на чистой странице: «Услышанное она понимает лучше прочитанного. Какое-то время нам придется объясняться по этому делу письменно. Мне кажется, то, чего я не написал для ЛА — потому

что не помню, — помнит *она*, и кто-то об этом знает или по крайней мере догадывается. Я ему не буду звонить и не пойду к нему, потому что, скорее всего, это ОН и есть. Он хотел беседовать с нею по моему способу. Возможно, что-то выведать у нее. Отвечайте мне письменно».

Тарантога прочел, нахмурился и, не произнеся ни слова, начал писать через стол: «Но если он из ЛА, для чего такой кружной путь? ЛА могло обратиться к тебе прямо, не так ли?»

Я ответил: «Среди тех, к кому я обратился в Н.-Й., наверняка был кто-нибудь из ЛА. От него там узнали, что я нашел способ общаться с *ней*. Они не могли испробовать этот способ, потому что я сразу сбежал. Если верить анониму, сын человека, дружившего с вашим отцом, хотел до нее добраться. Пожалуй, он смог бы вытянуть из *нее* все, что она помнит, не вызвав у меня подозрений. И я бы даже не узнал, что. А обратись они ко мне прямо, я мог не дать согласия на дознание, и они бы остались ни с чем. Ведь с точки зрения права *она* не самостоятельное лицо, и только я могу разрешить беседовать с нею кому бы то ни было. Пожалуйста, побольше причастий, местоимений, глаголов. И усложняйте, по возможности, синтаксис».

Профессор вырвал из блокнота исписанный мною листок, спрятал в карман и написал: «Но почему ты, собственно, не хочешь, чтобы *она* узнала о происходящем?»

«На всякий случай. Вспомни, что было написано внутри конверта. Это, конечно, не от ЛА. ЛА не стало бы предостерегать меня от самого же ЛА. Это писал кто-то другой».

Ответ Тарантоги был краток: «Кто?»

«Не знаю. О том, что происходит там, где я был и где я пострадал от несчастного случая, хотели бы узнать многие. Как видно, у ЛА могущественные конкуренты. Думаю, что пора отказаться от общества кенгуру. Сматываем удочки. Повелительного наклонения *она* не понимает».

Тарантога достал из кармана исписанные листки, смял их вместе с письмом и конвертом в комок, поджег его спичкой, бросил в камин и стал смотреть, как горит, превращаясь в пепел, бумага.

— Я пойду в бюро путешествий, — заявил он. — А ты что намерен делать?

— Побреюсь. Борода страшно щекочет, а теперь она все равно ни к чему. Чем скорее, профессор, тем лучше. Можно и ночным рейсом. И, ради Бога, не говорите куда.

Я брился в ванной и строил перед зеркалом всевозможные рожи. Левый глаз даже не моргнул. Я выглядел совершенно нормально. Поэтому я принялся собирать вещи, время от времени концентрируя внимание на левой руке и ноге, но те вели себя хорошо. Лишь под самый конец, когда я укладывал в набитый доверху чемодан галстуки, левая рука бросила на пол один из них, зеленый в коричневую крапинку, мой любимый, хотя далеко не новый. Не приглянулся он ей, что ли? Я поднял галстук правой рукой и передал левой, пытаюсь заставить ее положить его в чемодан. Произошло то, что я наблюдал и раньше. Предплечье меня еще слушалось, но пальцы отказались повиноваться и снова выронили галстук на ковер у кровати.

— Хорошенькая история, — вздохнул я. Запихнул галстук правой рукой и закрыл чемодан. Вошел Тарантога, молча показал два билета и пошел укладывать вещи.

Я размышлял о том, есть ли у меня основания опасаться правого полушария. Думать об этом я мог спокойно, зная что *она* ничего не узнает, пока я не сообщу ему это жестами. Человек так устроен, что сам не знает, что он знает. О содержании книги можно узнать из оглавления, но в голове никакого оглавления нет. Голова все равно что полный мешок: чтобы узнать, что там есть, нужно вынимать все по очереди. Рыться в памяти, как рукой в мешке. Пока Тарантога платил по счету в отеле, пока мы в сумерках ехали в аэропорт, а потом сидели в зале ожидания, я восстанавливал в памяти все, что случилось после моего возвращения из созвездия Тельца, пытаюсь выяснить, что из этого я еще помню. На Земле я обнаружил огромные перемены. Было достигнуто всеобщее разоружение. Даже сверхдержавы не могли позволить себе и дальше финансировать гонку вооружений. Все более смеливые виды оружия стоили все дороже. Кажется, поэтому и стало возможным Женевское соглашение. Ни в Европе, ни в США никто уже не хотел служить в армии. Людей заменяли автоматы, но один такой автомат обходился не дешевле реактивного самолета. В боевом отношении живые солдаты далеко уступали неживым. Это, впрочем, были вовсе не роботы, а миниатюрные электронные блоки, которыми начиняли ракеты, самоходные орудия, танки, плоские, как огромные клопы (ведь места для экипажа не требовалось), а если в бою блок управления выходил из строя, его заменял резервный. Главной задачей противника стало нарушение оперативной связи, а прогресс в военном

дело означало теперь возрастание самостоятельности автоматов. Эта стратегия становилась все эффективнее и все дороже.

Не помню, кто первым предложил совершенно новое решение: все производство вооружений перенести на Луну. Не в виде военных заводов, а в виде так называемых планетных машин. Такие машины уже использовались для освоения Солнечной системы. Как я ни старался, многие подробности никак не приходили на память, и я даже не был уверен, знал я о них прежде или не знал. Обычно, когда не удается чего-то вспомнить, можно хотя бы вспомнить, знал ли ты об этом что-нибудь раньше, но мне было не по силам и это. Новую Женевскую конвенцию я, наверное, читал, но и в этом я не был совершенно уверен. Планетные машины выпускались многими фирмами, по большей части американскими. Они были не похожи ни на что выпускаемое доселе промышленностью. Не заводы, не роботы, а что-то среднее между тем и другим. Некоторые из них напоминали огромных пауков. Разумеется, не было недостатка в трескоте, в петициях с требованием не вооружать их, а применять исключительно в горном деле и так далее; но, когда началась переброска производства на Луну, оказалось, что все государства, которым это было по средствам, уже имеют самоходные ракетные установки, тяжелые орудия, способные нырять под воду, центры управления огнем, прозванные кротами за их способность зарываться глубоко в землю, ползучие лазерные излучатели разового пользования (источником энергии служил в них атомный заряд, и в момент радиационного залпа такой излучатель превращался в облако раскаленного газа). Любая страна могла запрограммировать на Земле свои планетные машины, а специально для этого созданное Лунное Агентство перевозило их на Луну, в соответствующие национальные сектора. Было достигнуто соглашение о паритетах — кто сколько чего может там разместить, а смешанные международные комиссии наблюдали за этим Исходом. Военные и научные эксперты всех государств воочию смогли убедиться, что их аппаратура доставлена на Луну и действует как надлежит, после чего все одновременно вернулись на Землю.

В XX веке такое решение не имело бы смысла, ведь гонка вооружений — не столько количественный рост, сколько внедрение новшеств, которое тогда зависело исключительно от людей. Однако новейшая военная техника раз-

вивалась по иному принципу, заимствованному у природной эволюции — эволюции растений и животных. Эти системы были способны к дивергентной автооптимизации, а проще говоря, могли размножаться и переделывать сами себя. Итак, не без некоторого удовлетворения заключил я, кое-что я все-таки помню. Любопытно, могло ли мое правое полушарие, интересующееся в основном ягодицами блондинок и сладостями и не выносящее галстуков определенной расцветки, воспринимать такие явления и процессы? Или содержание его памяти никакой военной ценности не имеет? Будь это даже правда, решил я, тем для меня хуже: пусть я сто раз присягну, что оно ничего не знает, все равно мне никто не поверит. Они доберутся до меня — то есть до него — то есть как раз до меня, — и если ничего не вытянут из него похорошему, знаками, которым я его научил, то засадят его в другую школу, посерьезней моей, а уж там поблажки от них не жди. Чем меньше оно знает, тем больше мне это будет стоить здоровья. А может, и жизни. И это отнюдь не было манией преследования. Так что я опять приступил к обследованию своей памяти.

На Луне началась электронная эволюция новых видов оружия, а значит, ни одно государство, разоружившись, не было безоружным, так как сохраняло самосовершенствующийся арсенал; а вместе с тем не приходилось бояться внезапного нападения. Война без предупреждения стала невозможной. Чтобы начать военные действия, следовало сначала просить у Лунного Агентства доступа в свой сектор, а в таком случае противник потребовал бы доступа в собственный сектор и началась бы обратная доставка средств уничтожения на Землю. Но и это не имело смысла по причине все той же безлюдности лунных вооружений. Никто не мог послать на Луну ни людей, ни разведывательные устройства, чтобы убедиться, каким военным потенциалом он располагает на данный момент. Придуманно это было хитро, хотя поначалу проект натолкнулся на ожесточенное сопротивление штабов и возражения политиков. Луна, в каждом из секторов, должна была стать полигоном для эволюции вооружений. Прежде всего следовало исключить возможность конфликтов между секторами. Если бы оружие, созданное в одном из них, атаковало и уничтожило оружие соседнего сектора, равновесию сил пришел бы конец. Достигнув Земли, известие об этом немедленно привело бы к восстановлению прежнего положения вещей и, вероятно, к началу военных действий; сначала

они велись бы самыми скромными средствами, но очень скоро воюющие стороны опять возродили бы свою военную промышленность. Правда, на программы лунных систем были наложены ограничения, за соблюдением которых следило Лунное Агентство и смешанные комиссии, — с тем чтобы ни один сектор не мог напасть на другой; но эта предосторожность признавалась недостаточной. Никто никому по-прежнему не доверял, ведь Женевское соглашение не превратило людей в ангелов, а мировую политику — в общение праведников на небесах.

Поэтому после переборки военных программ Луна была объявлена зоной, закрытой для всех. Даже Лунное Агентство не допускалось туда. Если бы на одном из полигонов предохраняющие программы подверглись повреждению, Земля узнала бы об этом немедленно: каждый сектор был наspiгован датчиками, действующими автоматически и непрерывно. Они бы забили тревогу, если хотя бы одна металлическая букашка заползла на нейтральную полосу. Но и это не обеспечивало стопроцентной уверенности, без которой невозможен был прочный мир. Такую уверенность гарантировала лишь «доктрина абсолютного неведения». Хотя каждое правительство знало, что в его секторе развиваются все более эффективные системы оружия, оно не знало, чего они стоят, а главное, эффективнее ли они, чем оружие, возникшее в других секторах. Не знало и не могло знать, так как ход любой эволюции непредсказуем. Это было доказано довольно давно, и главное препятствие состояло в хронической глухоте политиков и генштабистов к аргументам ученых. И не логические доводы убедили даже самых тугоухих, а надвигающаяся хозяйственная разруха — неизбежное следствие гонки вооружений на старый манер. Даже последний кретин не мог в конце концов не понять, что для всеобщего уничтожения вовсе не обязательна война, атомная или обычная, — к тому же результату приведет стремительный рост военных расходов; а так как переговоры об их ограничении тянулись впустую уже десятки лет, лунный проект оказался единственным реальным выходом из тупика. Каждое правительство имело основания полагать, что благодаря своим лунным базам оно становится все могущественнее, но не могло сравнить свой тамошний потенциал с военным потенциалом других государств. Коль скоро никто не знал, можно ли рассчитывать на победу, никто не решился бы начать войну.

Ахиллесовой пятой этого плана была низкая эффективность контроля. Эксперты сразу поняли, что военные программисты постараются создать такие программы, которые после переброски их на Луну сумеют обмануть контролеров. И вовсе не обязательно нападать на контрольные спутники; есть более хитроумный и незаметный способ: проникновение в систему связи для фальсификации данных наблюдений, передаваемых на Землю, а особенно — Лунному Агентству.

Все это я помнил достаточно хорошо и потому, поднимаясь вслед за Тарантогой в самолет, чувствовал себя поспокойнее; и все же, усевшись в кресло, снова принялся перетрачивать свою память.

Да, все понимали: нерушимость мира зависит от неприкосновенности системы контроля; но как ее обеспечить на сто процентов? Задача выглядела неразрешимой, как своего рода *regressus ad infinitum*:* нужно создать систему, контролирующую неприкосновенность контроля, но и эта система может подвергнуться нападению, так что пришлось бы создавать контроль контроля, и так без конца. Эту бездонную дыру залатали, однако, довольно просто. Луну опоясали две зоны контроля. Внутренняя следила за неприкосновенностью секторов, а внешняя — за неприкосновенностью внутренней. Гарантией безопасности должна была стать полная независимость обеих зон от Земли. Итак, гонка вооружений развивалась в абсолютной тайне от всех государств и правительств. Могли совершенствоваться вооружения, но не система контроля. Она должна была действовать без изменений в течение ста лет.

Все это выглядело, по правде сказать, совершенно иррационально. Каждое государство знало, что его лунные арсеналы пополняются, но чем — не знало и потому не могло извлечь отсюда никакой политической выгоды. Так почему бы не решиться на полное разоружение без всяких лунных осложнений? Но об этом и речи не было. То есть, конечно, об этом говорили с тех пор, как возник человек, — с известными результатами. Впрочем, когда проект демилитаризации Земли и милитаризации Луны был принят, стало ясно, что рано или поздно кто-нибудь попытается нарушить доктрину неведения. И в самом деле, время от времени печать под огромными заголовками сообщала об автоматах-

* Сползание к бесконечности (лат.).

разведчиках; будучи обнаружены, они успевали скрыться или же, так сказать, захватывались в плен спутниками-перехватчиками. В таких случаях каждая сторона обвиняла другую, но установить происхождение авторазведчика не удавалось. Ведь электронный разведчик — не человек; из него, если он правильно сконструирован, никакими способами ничего не выжмешь. В конце концов анонимные аппараты — «космические шпики» — перестали появляться. Человечество облегченно вздохнуло, особенно если учесть экономическую сторону дела. Лунные вооружения не стоили ни гроша. Энергию доставляло им Солнце, сырье — Луна. Последнее обстоятельство рассматривалось как еще одно ограничение эволюции вооружений, ведь на Луне нет металлических руд.

Сначала штабисты всех армий не соглашались на лунный проект; они утверждали, что оружие, приспособленное к лунным условиям, на Земле может оказаться ни к черту, раз на Луне даже нет атмосферы. Не помню уж, как обошли эту трудность, хотя, конечно, и это мне объяснили в Лунном Агентстве. Мы с Тарантогой летели на самолете ВОАС*, за окнами была кромешная тьма, и я улыбнулся при мысли о том, что понятия не имею, куда мы летим. Расспрашивать Тарантогу я считал излишним и даже подумал, что будет безопаснее, если мы побыстрее расстанемся. В моем пиковом положении лучше всего помалкивать и рассчитывать лишь на себя. Только одно отчасти меня утешало: *она* не может узнать, что у меня на уме. В моей голове словно бы засел враг, хотя я знал, что это вовсе не враг.

Лунное Агентство было надгосударственным учреждением ООН, и обратилось оно ко мне по весьма необычному поводу. Двойная система контроля действовала, как оказалось, *слишком хорошо*. Было известно, что границы между секторами остаются неприкосновенными, — и ничего больше. Поэтому в изобретательных и беспокойных умах возникла картина нападения безлюдной Луны на Землю. Вооружения секторов не могли не только столкнуться между собой, но даже вступить в контакт — однако лишь до поры до времени. Сектора могли бы обмениваться информацией, например, по так называемому сейсмическому каналу, то есть посредством сотрясений лунной поверхности, неотличимых от естественных сейсмических колебаний. Самосовер-

* Английская авиакомпания.

шенствующееся оружие могло, таким образом, когда-нибудь объединиться и обрушить свой чудовищно выросший потенциал на Землю. С какой стати? Ну, скажем, из-за сбоя эволюционных программ. Какую пользу могли бы извлечь безлюдные армии из уничтожения Земли? Разумеется, никакой, но ведь рак, столь частый в организме людей и высших животных, — это неизбежный, хотя и бесполезный, и более того, вредный продукт естественной эволюции. Когда о «лунном раке» начали говорить и писать, когда появились диссертации, статьи, романы и фильмы о лунном нашествии, изгнанный с Земли страх перед атомной гибелью вернулся в новом обличье. В систему контроля, среди прочего, входили сейсмические датчики, и нашлись специалисты, заявившие, будто бы колебания лунной коры участились, а сейсмографические кривые — не что иное, как переговорные шифры; но за этим не последовало ничего, кроме растущего страха. Лунное Агентство пыталось успокоить общественность, разъясняя в своих заявлениях, что тут нет и одного шанса на двадцать миллионов, но это было как об стену горох. Страх просочился в программы политических партий; раздались голоса, требующие периодического контроля самих секторов, а не только границ между ними. Представители Агентства возражали на это, что любая инспекция может быть использована для шпионажа — чтобы установить уровень развития лунных арсеналов. После долгих и сложных совещаний и конференций Лунное Агентство получило наконец разрешение на разведывательные экспедиции. Но осуществить их оказалось не так-то просто. Из авторазведчиков ни один не вернулся и даже не пискнул ни разу по радио. Тогда под особой защитой были посланы спускаемые аппараты с телеаппаратурой. И что же? По данным спутникового слежения, они прилунились точно в намеченных пунктах, на ничейной земле между секторами, — в Море Дождей, в Море Холода, в Море Нектара; но ни один не передал хоть какого-нибудь изображения. Все они словно провалились в лунный грунт. Тут-то, ясное дело, и началась настоящая паника. Газеты уже требовали подвергнуть Луну упреждающему термоядерному удару. Сначала, однако, пришлось бы опять изготовить ракеты и бомбы, иными словами, возобновить ядерные вооружения. Из этого страха, из этой сумятицы и родилась моя миссия.

Мы летели над волнистой пеленой облаков, пока наконец их гребни не зарозовели в лучах скрытого за горизонтом сол-

нца. Почему я так хорошо помнил все земное и так плохо — все случившееся со мной на Луне? Я догадывался, в чем тут дело. Недаром по возвращении штудировал медицинскую литературу. Память бывает кратковременная и долговременная. Рассечение мозолистого тела не разрушает того, что мозг уже прочно усвоил, но свежие, только что возникшие воспоминания улетучиваются, не переходя в долговременную память. А хуже всего запоминается то, что пациент переживал и видел перед самой операцией. Поэтому я не помнил очень многого из своих семи недель на Луне — когда я скитался от сектора к сектору. Память сохранила лишь ореол чего-то необычайного, но этого впечатления я не мог передать словами и в отчете о нем умолчал. И все же — так мне, по крайней мере, казалось — ничего пугающего там не было. Ничего похожего на сговор, мобилизационную готовность, стратегический заговор против Земли. Я ощущал это как нечто вполне несомненное. Но мог бы я присягнуть, что ощущаемое и осознаваемое мною — это все? Что *она* ничего больше не знает?

Тарантога молчал и лишь время от времени поглядывал в мою сторону. Как обычно, когда летишь на восток — ибо под нами простирался Тихий океан, — календарь запнулся и потерял одни сутки. ВОАС сэкономила за счет пассажиров; мы получили лишь по жареному цыпленку с салатом перед самой посадкой — как оказалось, в Майами. Время было послеобеденное. Таможенные собаки обнюхали наши чемоданы, и мы, одетые слишком тепло для здешней погоды, вышли из аэропорта на улицу. В Мельбурне было гораздо холоднее. Нас ожидала машина без водителя. Тарантога, должно быть, заказал ее еще в Австралии. Загрузив чемоданы в багажник, мы поехали по шоссе, забитому машинами, по-прежнему молча, — я попросил профессора не говорить мне ничего, даже куда мы едем. Предосторожность, возможно, чрезмерная и даже вовсе излишняя, но я предпочитал держаться этого правила, пока не придумаю чего-нибудь получше. Впрочем, ему не пришлось объяснять мне, куда мы приехали после добрых двух часов езды круглыми путями; увидев большое белое здание среди пальм и кактусов, в окружении павильонов поменьше, я понял: мой верный друг привез меня в сумасшедший дом. Не самое плохое убежище, подумалось мне. В машине я нарочно сел сзади и время от времени проверял, не едет ли кто за нами; мне не пришло в голову, что я, быть может, персона уже чертовски важная — прямо-таки

драгоценная, — и меня будут выслеживать способом куда более необычным, чем в шпионских романах. В наше время с искусственного спутника можно не только машину увидеть — можно сосчитать рассыпанные на садовом столике спички. Это, повторяю, мне не пришло в голову, точнее, в ту ее половину, которая и без азбуки глухонемых понимала, во что впутался Ийон Тихий.

II. ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАЙНУ

В самую черную полосу моей жизни я попал совершенно случайно, решив, по возвращении с Энций, встретиться с профессором Тарантогой. Дома я его не застал — он полетел зачем-то в Австралию. Правда, лишь на несколько дней; но он выращивал какую-то особенную влаголюбивую примулу и, чтобы было кому ее поливать, оставил у себя в квартире кузена. Не того, что собирал настенные надписи в клозетах всех стран, а другого, занимавшегося палеоботаникой. У Тарантоги много кузенов. Этого я не знал; заметив, что он одет по-домашнему и только что отошел от пишущей машинки со вставленным в нее листом бумаги, я хотел было уйти, но он меня удержал. Я не только ему не мешаю, сказал он, но, напротив, пришел как раз вовремя: он работает над трудной, новаторской книгой и ему легче будет собраться с мыслями, если он сможет изложить содержание новой главы хотя бы случайному слушателю. Я испугался, решив, что он пишет ботанический труд и начнет забивать мне голову лопухами, былинками и стебельками; к счастью, это оказалось не так. Он даже заинтересовал меня не на шутку. Уже на заре истории, объяснял он, среди первобытных племен встречались оригиналы, которых как пить дать считали чокнутыми, поскольку они брали в рот все, что попадалось им на глаза, — листья, клубни, побеги, стебли, свежие и высушенные корни всевозможных растений, причем, должно быть, мерли они как мухи, ведь на свете столько ядовитой растительности! Это, однако, не отпугивало новых нонконформистов, которые опять принимались за свое опасное дело. Только благодаря им ныне известно, каких кулинарных стараний стоят шпинат или спаржа, куда положить лавровый лист, а куда — мускатный орех и что от волчьей ягоды лучше держаться подальше. Кузен Тарантоги обратил мое внимание на забытый наукой факт: чтобы установить, какое

растение лучше всего годится на курево, сизифам древности пришлось собирать, высушивать, подвергать ферментации, скручивать и превращать в пепел добрых 47 000 видов листовых растений, пока наконец они не открыли табак; ведь нигде не ждала их табличка с надписью, что *это* годится для производства сигар или, по измельчению в порошок, — махорки. Целые дивизии этих палеоэнтузиастов столетие за столетием брали в рот, грызли, жевали, пробовали на язык и глотали все, ну буквально все, что росло где бы то ни было — под забором или на дереве, и притом по-всякому: в сыром и вареном виде, с водой и без воды, с отцеживанием и без, в неисчислимых сочетаниях; так что мы пришли на готовое и знаем, что капуста идет к свинине, а свеколка — к зайчатине. Из того, что кое-где к зайчатине подают не свеколку, а, скажем, красную капусту, кузен Тарантоги делает вывод о раннем возникновении этнических общностей. К примеру, нет славянина без борща. Свои экспериментаторы, как видно, были в каждом народе, и, раз уж они выбрали свеклу, потомки остались верны ей, даже если соседние нации ее презирали. О различиях в кулинарной культуре, с которыми связаны различия в национальном характере (корреляция между мятным соусом и английским сплином — в случае с отбивной, например), кузен Тарантоги задумал особую книгу. В ней он растолкует, почему китайцы, столь многочисленные с давних времен, предпочитают есть палочками, к тому же все мелко нарубленное и накрошенное и непременно с рисом.

Все знают, повысил он голос, кем был Стефенсон, и все почитают его за банальнейший локомотив, но что такое локомотив (к тому же паровой и давно устаревший) по сравнению с артишоками, которые останутся с нами навеки? Овощи, в отличие от техники, не устаревают, и я застал его как раз за обдумыванием главы, посвященной этой совершенно не исследованной теме. Впрочем, разве Стефенсон, водружая на колеса уже готовую паровую машину Уатта, подвергался смертельной опасности? Разве Эдисон, изобретая фонограф, рисковал жизнью? Им обоим в худшем случае грозило брюзжание родственников или банкротство. До чего же несправедливо, что изобретателей технической рухляди обязан знать каждый, а великих изобретателей-гастрономов не знает никто, и никому даже в голову не придет поставить памятник Неизвестному Кулинару, наподобие тех, что воздвигнуты Неизвестным Солдатам. А между тем

сколько отчаянно смелых героев-первопроходцев пало в страшных мучениях хотя бы во время грибной охоты! Ведь у них был один только способ отличить ядовитый гриб от съедобного: съесть собранное и ждать, не придет ли твой последний час.

Почему, скажите на милость, в школьных учебниках только и пишут, что о разных там Александрах Македонских, которые, будучи сынками царей, приходили на все готовое? Почему детишкам положено знать о Колумбе, который всего лишь открыл Америку, да и то по ошибке, на пути в Индию, а об открывателе огурца нет ни единого слова? Без Америки мы как-нибудь обошлись бы, впрочем, рано или поздно она сама дала бы о себе знать, но огурец о себе и не пикнул бы, и к жаркому мы не имели бы приличного маринада. Насколько же больше героизма было в гибели тех безымянных энтузиастов, чем в смерти на поле брани! Если солдат не шел на вражеские окопы, он шел под полевой суд, между тем никто никого не заставлял рисковать жизнью ради неведомых ягодок или грибочков. Кузен Тарантоги желал бы поэтому видеть мемориальные доски на стенах каждого порядочного ресторана, с соответственными надписями, например, *MORTUI SUNT UT NOS BENE EDAMUS**, или на худой конец *MAKE SALAD, NOT WAR***. И в первую очередь — у вегетарианских столовых, ведь с мясными блюдами было куда проще. Чтобы соорудить котлету или отбить отбивную, достаточно подглядеть, что гиена или шакал делают с падалью; то же самое относится к яйцам. За шестьсот сортов сыра французы заслуживают, быть может, настольной медали, но уж никак не памятника и не мраморной мемориальной доски, потому что эти сорта они открывали чаще всего по рассеянности. Оставил, например, растяпа-пастух рядом с головкой сыра ломоть заплесневелого хлеба, и появился на свет рокфор. Когда мой собеседник принялся порицать современных политиков за пренебрежение к овощам, зазвонил телефон. Кузен Тарантоги снял трубку; оказалось, однако, что просят меня. Я был весьма удивлен — ведь никто не мог знать о моем возвращении со звезд, — но все тотчас же выяснилось. Кто-то из аппарата Генерального секретаря ООН хотел узнать у Тарантоги мой адрес, а кузен, так сказать, замкнул меня с этим человеком накоротко. Говорил

* Они умерли, дабы мы вкусно ели (лат.).

** Готовь салат, а не войну (англ.)

доктор Какесут Вагатан, Специальный уполномоченный Советника по вопросам глобальной безопасности при Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций. Он хотел встретиться со мной возможно быстрее, так что мы условились на следующий день; записывая в блокноте время приема, я и понятия не имел, в какую историю впутываюсь. Пока что, однако, этот звонок меня выручил, оборвав поток рассуждений моего собеседника, который жаждал поговорить о приправах с перцем; я распрощался с ним, сославшись на крайнюю занятость и дав лживое обещание вскоре его навещать.

Долгое время спустя Тарантога рассказал мне, что прикула все же засохла, — в своем палеоботаническо-кулинарном экстазе кузен забывал ее поливать. Этот случай я счел типичным: тому, у кого на уме лишь множественное число, наплевать на единственное. Потому-то у великих реформаторов, мечтающих разом осчастливить все человечество, не хватает терпения на отдельных людей.

Шило не скоро вылезло из мешка. Меня не уведомили, что мне предстоит рискнуть головой ради человечества и полететь на Луну, чтобы выведать, не затевают ли чего-нибудь умные вооружения. Сперва меня принял доктор Вагатан — за чашкой черного кофе и рюмкой старого коньяка. Это был невероятно улыбчивый азиат, азиат образцовый: от него я вообще ничего не узнал, так он хранил тайну. Генеральный секретарь, похоже, желал непременно познакомиться с моими книгами, но, как человек невероятно загруженный, просил указать ему мои сочинения, которые я считаю наиболее важными. По видимости случайно к Вагатану зашли еще какие-то посетители и стали просить у меня автограф. Отказать было трудно. Разговор зашел и о роботах, и о Луне, но главным образом о ее роли в истории — как декоративного элемента в любовной лирике. Лишь много позднее я узнал, что это были не просто разговоры, но переход от screening к clearance*, а кресло, в котором я удобно расположился, было нашпиговано датчиками — чтобы по еле заметным изменениям мышечного напряжения исследовать мои реакции на «ключевые вербальные раздражители», вроде той же «Луны» или «робота». Ибо положение, в котором я оставил Землю, отправляясь к звездам Тельца, изменилось коренным образом: те-

* Здесь. (от) проверки благонадежности (к) допуску (англ.)

перь пригодность к разведывательным операциям исследовал и оценивал в баллах компьютер, а мои собеседники играли лишь роль вспомогательных инструментов. Сам не знаю зачем, но на завтра я снова зашел в резиденцию ООН, а потом еще, раз уж меня приглашали. Они хотели видеть меня непременно и постоянно; я начал обедать с ними в столовой, весьма недурной, но настоящая цель моих все более частых визитов оставалась неясной. Намечалось как будто издание собрания всех моих сочинений Объединенными Нациями на всех языках мира, а их не меньше четырех с половиной тысяч. Хотя тщеславия во мне нет ни капли, эту мысль я признал разумной. Новые знакомые оказались страстными поклонниками моих «Звездных дневников». То были доктор Рорти, инженер Тоттентанц и братья Сиввилкис, близнецы — я различал их по галстукам. Оба были математиками. Старший, Кастор, занимался алгомастикой, то есть алгеброй конфликтов, заканчивающихся фатально для всех, кто в них вовлечен. Поэтому данную отрасль теории игр иногда называют садистикой, а Кастора коллеги называли садистиком, причем Рорти утверждал, будто его полное имя — Кастор Ойл, то есть Касторка. Должно быть, шутил. Второй Сиввилкис, Поллукс, был статистиком и имел весьма своеобразную привычку после долгого молчания вмешиваться в разговор с вопросами ни к селу ни к городу, например: сколько людей во всем мире в данный момент ковыряют в носу? Будучи феноменальным счетчиком, такие вещи он вычислял мгновенно. Кто-нибудь из них обычно ждал меня из вежливости в вестибюле, огромном, как ангар «космических челноков», и провожал к лифту. Мы ехали либо к Сиввилкисам, в их лабораторию, либо к профессору Йонашу Куштику, который тоже был без ума от моих книг и цитировал их на память с указанием страницы и года издания. Куштик (так же, как и Тоттентанц) занимался теорией теледублей, или телетроникой. Телетроника — это новая область робототехники; она занимается проблемами переброски, или трансляции, сознания (прежде это называли telepresence*). Лозунг телетронщиков: «Сам не можешь — пошли теледубля». Именно Куштик и Тоттентанц уговорили меня испробовать теледублирование на себе, то есть транслироваться (человека, все ощущения которого транслируются

* Телеприсутствие (англ.).

по радио теледублию, называют «парень в трансе» или «телекинутый»).

Я не долго думая согласился, и лишь много позже до меня дошло, что ни один из них не был в таком уж восторге от моих книг, а читали они меня по долгу службы, чтобы вместе с другими сотрудниками Лунного Агентства (имена которых я опушу, дабы не заносить их на скрижали истории) незаметно втянуть меня в проект, названный Лунной Миссией. Почему незаметно? А потому что я мог отказаться и, вместо того чтобы лететь на Луну, вернуться домой, выведав все тайны Миссии. Ну и что, мог бы спросить меня кто-нибудь непонимающе, мир, что ли, от этого перевернулся бы? В том-то и дело, что мог перевернуться. От человека, выбранного Лунным Агентством среди тысяч других, требовались максимально возможные компетентность и лояльность. Компетентность — это понятно, но лояльность? Кому я должен был хранить верность? Агентству? В известном смысле — да, поскольку оно представляло интересы человечества в целом. Речь шла о том, чтобы ни одно государство в отдельности, ни одна группировка или, допустим, тайная коалиция государств не могли узнать о результатах лунной разведки, ибо тот, кто первым узнал бы о состоянии лунных вооружений, мог получить стратегическую информацию, дающую ему перевес на Земле. А значит, воцарившийся на ней мир вовсе не был идиллией.

Вот так ученые, рассыпавшиеся передо мной в любезностях и позволявшие мне, словно ребенку, забавляться теледублями, в сущности, рассекали мой мозг по живому (вернее, помогали это делать компьютерам, незримо участвовавшим во всех наших беседах). Кастор Сиввилкис со своими сюрреалистическими галстуками тоже был тут, в качестве теоретика конфликтных игр с пирровым исходом, а ведь именно такую игру вели со мной — или против меня. Чтобы принять или отвергнуть миссию, надо было с ней ознакомиться; но если бы затем я от нее отказался — или дал свое согласие, а вернувшись, выдал кому-нибудь результаты своей экспедиции, — возникло бы положение, которое алгоритмики называют предкатастрофическим. Кандидатов имелось множество — всевозможных рас и национальностей, с различным образованием и различными заслугами в прошлом; я был одним из них, даже не догадываясь об этом. Избранник должен был стать представителем человечества, а не шпионом, хотя бы потенциальным, какой-либо держа-

вы. Не случайно девизом операции «Мука» служила аббревиатура PAS (Perfect Assured Secrecy*). «Мука» потому, что имелось в виду тщательное просеивание кандидатов для выбора идеального разведчика. В шифрованных рапортах он именовался Миссионером. «Мука» содержала намек на «Сито», прямо не называвшееся, чтобы, упаси Бог, кто-нибудь посторонний не догадался, о чем речь.

Объяснил ли мне кто-нибудь все это до конца? Куда там. Тем не менее, когда я был назначен Миссионером (LEM: Lunar Efficient Missionary**) и который уж раз залезал в ракету, чтобы через пару часов несолоно хлебавши вылезти обратно в скафандре, обвешанном проводами и трубочками, потому что опять что-то там не заладилось во время обратного отсчета секунд перед стартом (count-down), — у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о событиях последних месяцев; в конце концов они уложились у меня в голове в надлежащем порядке, и, сопоставив одно с другим, я понял истинную подоплеку игры, которую вело со мной ЛА ради самой высокой на свете ставки. Самой высокой если не для человечества, то для меня: я без всякой алгоматики и теорий пирровых игр пришел к убеждению, что в такой ситуации самый надежный способ обеспечить PAS — это прикончить разведчика немедленно после его благополучного возвращения на Землю с готовым рапортом. А так как я знал, что теперь они должны послать меня в небеса, раз уж я оказался лучшим и надежнейшим из всех кандидатов, то в промежутке между очередными стартовыми отсчетами я сообщил об этой догадке своим коллегам — Сиввилкисам, Куштику, Блэхаузу, Тоттентанцу, Гаррафизу (о Гаррафизе я еще, может быть, расскажу отдельно); все они, вместе с дюжиной техников-связистов, составляли земной экипаж моей селенологической экспедиции, то есть должны были стать для меня тем же, чем для Армстронга и компании был во время полета «Аполло» центр в Хьюстоне. Желая попортить этим фарисеям возможно больше крови, я спросил, известно ли им, кто мною займется, когда я вернусь героем на Землю, — само Лунное Агентство или его субподрядчик — Murder Incorporated?***

Именно так я и сказал, этими самыми словами, чтобы

* Абсолютно гарантированная секретность (англ.)

** Квалифицированный лунный миссионер (англ.)

*** Корпорация «Убийство» (англ.)

проверить их реакцию: если они вообще принимали в расчет *этот* вариант, то должны были понять меня с лету. И точно — они застыли как громом пораженные. Эта сцена и теперь у меня перед глазами. Небольшое помещение на космодроме — так называемый зал ожидания, — обставленное по-спартански: металл, облицованный светло-зеленым пластиком, да автоматы с кока-колой, вот только кресла там были действительно удобные; я, в ангельски белом скафандре, с головою под мышкой (то есть со шлемом, но так уж говорили: пилот «с головою под мышкой» должен был непременно лететь), стою напротив верных товарищей — ученых, докторов, инженеров. Первым, кажется, отозвался Кастор Ойл. Что это, мол, не они, что это компьютер, да и то лишь в уравнениях, ибо, конечно, в чисто математическом плане решение леммы Perfect Assured Secrecy *именно таково*, но эта абстракция, не учитывающая этического коэффициента, никогда не входила в расчет — и я оскорбляю их всех, говоря такое, в такую минуту...

— Ой-ой-ой, — заметил я. — Ну ясно, всему виною компьютер. Экая бяка! Но оставим в покое этику. Все вы, сколько вас тут ни есть, почти что святые, да и я тоже. И все-таки неужели никому из вас, с компьютером во главе, не пришлось в голову именно *это*?

— То есть *что*? — оторопело спросил Пирр Сиввилкис (ибо его называли и так).

— То, что я *догадаюсь*, а когда я проверю *эту* догадку, как я только что сделал, этот факт войдет в уравнения, определяющие мою лояльность, и тем самым *изменит* этот определитель...

— Ах, — вскрикнул Сиввилкис-второй, — разумеется, мы это учли, ведь это азы алго-математической статистики: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю, — это как раз и есть бесконечностные аспекты теории конфликтов, которые...

— Хорошо, хорошо, — сказал я, успокаиваясь, потому что меня заинтересовала математическая сторона дела. — И что же у вас получилось в конце? Что такое предположение подорвет мою лояльность?

— Вроде бы так, — с неохотой ответил Кастор Ойл за брата. — Но снижение уровня твоей лояльности после *такой* сцены, как *эта* (ее ведь тоже пришлось просчитать) представляет собой убывающую до нуля последовательность.

— Ага, — я почесал нос, перекладывая шлем из правой подмышки под левую, — значит, *вот это уменьшает* математическое ожидание снижения моей лояльности?

— Уменьшает, а как же! — подтвердил он.

А его брат добавил, глядя мне прямо в глаза ласково и вместе с тем испытующе:

— Да ты, должно быть, и сам чувствуешь...

— Действительно... — пробормотал я, не без удивления обнаруживая, что они — или их компьютер — оказались правы в своих психологических расчётах: я уже был совсем не так зол на них.

Над выходом на площадку космодрома зажегся зелёный сигнал, и одновременно отозвались все зуммеры в знак того, что неисправность устранена и мне пора снова лезть в ракету. Ни слова не говоря, я повернулся и пошел в их сопровождении, обдумывая по дороге эффектную концовку этой истории. Я опережаю события, но, если уж начал, надо закончить. Когда я покинул стационарную околоземную орбиту и они черта лысого могли мне сделать, то на вопрос о своем самочувствии ответил, что чувствую себя превосходно и подумываю о том, не стакнуться ли мне с лунным *государством*, чтобы всыпать кое-кому из земных знакомых. И как же фальшиво прозвучал их смех в моих наушниках...

Но все это было потом, после экскурсий по псевдолунному полигону и посещения «Джинандроикс Корпорейшн». Эта гигантская фирма по торговому обороту опередила даже IBM, хотя начинала как ее скромный филиал. Тут я должен объяснить, что «Джинандроикс», вопреки распространенному мнению, не производит ни роботов, ни андроидов, если понимать под ними человекоподобные манекены с человекоподобной психикой. Точная имитация человеческой психики почти невозможна. Правда, компьютеры восьмидесятого поколения умнее нас, но их духовная жизнь не похожа на нашу. Нормальный человек — существо-крайне нелогичное, этим-то человек и отличается. Это разум, верно, но сильно загрязненный эмоциями, предрасудками и предубеждениями, источник которых — в детских переживаниях или в генах родителей. Поэтому специалисту не слишком трудно разоблачить робота, выдающего себя (например, по телефону) за человека. Несмотря на это принципиальное возражение, пресловутая «Секс Индастри» производила пробные партии так называ-

емых *C-доллс* (одни расшифровывают это как *Секс доллс* — куклы для занятия любовью, а другие — как *Седатив доллс* — прелестные обольстительницы или, скорее, обольстительные прелестницы) из совершенно новых материалов, настолько близких к биологическим, что их применяют в качестве трансплантантов кожи при ожогах. Эти *femmes de compagnie** не нашли сбыта. Они были слишком логичны (а говоря попросту, слишком умны; у мужчин, развлекавшихся с подобными умницами, развивался комплекс неполноценности) и, конечно, слишком дороги. Чем раскошелиться на такую сожительницу (самые дешевые, *made in Japan*, стоили свыше 90 000 долларов штука, не считая местных налогов и налога на роскошь), проще было завести куда менее разорительный роман с натуральной партнершей. Настоящая революция на рынке началась с появлением теледублеток, или «пустышек». Это тоже куклы, неотличимые от женщин, но «пустые», то есть безмозглые. Я не женоненавистник, и если я говорю «безмозглые», то не повторяю глупости вслед за разными Вайнингерами, отказывающимися прекрасному полу в уме; это следует понимать буквально: теледубль и теледублетка — не более чем манекены, пустые оболочки, управляемые человеком.

Надев одежду со множеством вшитых электродов, прилегающих к коже, каждый может воплотиться в теледубля или теледублетку. Никто не подозревал, какие за этим последуют потрясения, особенно в эротической жизни — от супружеских отношений до старейшей в мире профессии. Нелегкие проблемы пришлось решать правоведам. Согласно закону, интимные отношения с так называемой секс-куклой не считались изменой, а значит, и основанием для развода. Была ли она чем-нибудь набита или надувалась велосипедным насосом, имела передний или задний привод, автоматическое переключение скоростей или ручное — все равно; об измене не было речи точно так же, как если бы ты жил с этажеркой. Но оставался нерешенным вопрос: совершает ли измену лицо, которое, состоя в законном браке, путается с теледублем или теледублеткой. Понятие «телеизмены» горячо обсуждалось в газетах и в научной печати. А дальше задачки пошли потруднее. Скажем, можно ли изменить жене с нею самой, но в ее молодом обличье? Некий Эдлэй Грауцер заказал в бостонском филиале «Джинандроикс»

* Здесь: девушки для развлечения (фр.)

дублетку — точную копию собственной жены в возрасте двадцати одного года (в момент заказа ей было пятьдесят девять). Проблема осложнялась тем, что в двадцать один год миссис Грауцер была вовсе не миссис Грауцер, но женой Джеймса Брауна, с которым она разошлась спустя двадцать лет. Дело прошло через все инстанции. Суду пришлось решать, действительно ли жена, *не желающая* управлять теледублеткой интимным образом, отказывается тем самым от исполнения супружеских обязанностей. Возможен ли телеинцест, телесадизм и телемазохизм. А равно и педерастия. Какая-то фирма выпустила серию манекенов, которых можно было, порывшись в ящике с запасными частями, переделывать в дамекенов или даже в гермафроденов. Японцы ввозили в Соединенные Штаты и Европу гермафроденов по демпинговым ценам; их пол задавался движением руки (по принципу «ручку вправо, ручку влево, из Адама вышла Ева»). Среди клиентов «Джинандроикс» было, говорят, множество убежденных седидами проституток, которые не могли уже заниматься своим ремеслом непосредственно, но, располагая громадным опытом, мастерски управляли теледублетками.

Эротическими проблемами дело, разумеется, не ограничилось. Так, например, мальчишка двенадцати лет, получивший за ошибки в диктанте неудовлетворительную оценку, воспользовался отцовским теледублем атлетического сложения, чтобы намять бока учителю и поломать у него в квартире всю мебель. Такой теледубль использовался в качестве домашнего стража. Модель эта шла нарасхват. Дубль обитал в будке у садовой калитки и должен был охранять дом от грабителей. Поэтому отец того сорванца спал в пижаме с вшитыми в нее электродами; если особый сигнал извещал о появлении в саду посторонних, он мог, не вставая с постели, справиться — в лице теледубля — с несколькими непрошеными гостями сразу и задержать их до прихода полиции. Сынишка стащил пижаму, когда отца не было дома.

На улицах я нередко видел пикеты и демонстрации против «Джинандроикс» и родственных ей японских фирм. Преобладали в них женщины. Законодатели тех немногих американских штатов, в которых гомосексуализм еще оставался уголовно наказуемым, ударились в панику, так как неясно было, преступает ли закон педераст, влюбленный в нормального мужчину и посылающий ему обольстительную

дублетку, чтобы лично управлять ею. Возникли новые понятия, например, телеподружка (telemate) — любовница или жена, дарящая любовь на расстоянии. Наконец Верховный суд признал допустимыми, то есть относящимися к матримониальной сфере, интимные отношения per procuga* (посредством теледубля) при обоюдном согласии супругов, но тут получило огласку дело Кукерманов. Он был коммивояжером, она — владелицей парикмахерской. Вместе они бывали редко: она не могла оставить парикмахерскую без присмотра, а он постоянно находился в разъездах. Кукерманы договорились опосредовать свои супружеские отношения, но начали спорить из-за того, кто будет посредником: теледубль-муж или теледублетка, заменяющая жену. Сосед Кукерманов, решив, по доброте души, помочь супругам, навлек на себя их гнев; он предложил им пойти на компромисс и прибегнуть к телематической паре: телемуж с тележеной представлялись ему соломоновым решением. Кукерманы, однако, сочли его предложение идиотским и оскорбительным. Откуда им было знать, что их спор, попав на страницы газет, приведет к эскалации телетронных злоупотреблений. Теледубля можно одеть в комбинезон с электродами, чтобы управлять следующим теледублем, и так без конца. Преступный мир сразу ухватился за эту идею. Ведь установить, откуда управляется теледубль, не труднее, чем запеленговать телепередатчик. Так обычно и поступала полиция в случае телематических грабежей и убийств. Но если теледубль управляется вторым теледублем, лишь этого второго и можно запеленговать, а тем временем настоящий преступник, человек, успеет отключиться от промежуточного дубля и замести за собой следы.

Каталоги «Телемейт компани» и японской фирмы «Сони» предлагали теледублей размером от лилипута до Кинг-Конга, а также теледублетов, которые с неслыханной точностью воспроизводили Нефертити, Клеопатру, королеву Наваррскую и так далее, вплоть до нынешних кинозвезд. Чтобы не попасть под суд за «злоупотребление телесным подобием», каждый, кому хотелось иметь у себя в шкафу копию Первой Леди США или жены соседа, мог заказать их по почте и получить в разобранном виде. Получатель монтировал желанную телеподружку, согласно инструкции, в четырех стенах своего дома. Говорят даже, что лица,

* По доверенности (лат.)

склонные к нарциссизму и не желавшие любить никого, кроме себя самих, заказывали собственное подобие. Законодатели сгибались под бременем все новых и новых казусов, так как нельзя было просто-напросто запретить производство теледублей — подобно тому, как запрещено производить атомные бомбы или наркотики частным образом. Телетроника стала целой отраслью производства, без нее не могли обойтись ни экономика, ни наука, ни техника (и космонавтика в том числе — ведь только в обличии теледубля человек мог высадиться на планетах-гигантах, таких как Юпитер или Сатурн). Теледубли трудились в шахтах, применялись они и в спасательных службах — при горных восхождениях, во время землетрясений и прочих стихийных бедствий. Теледубль был незаменим в экспериментах, опасных для жизни («эксперименты на уничтожение»). Лунное Агентство заключило контракт с «Джинандроикс» на поставку лунных теледублей. Вскоре мне предстояло узнать, что их уже пробовали использовать в проекте ЛЕМ (Lunar Efficient Missionary) — с результатами столь же плачевными, сколь и загадочными.

Монтажные цеха «Джинандроикс» мне показывал Паридон Савекаху, главный инженер. Мне пришлось следить за собой, потому что он, по обычаю своего народа, обращался ко мне по имени, а я то и дело путал Паридона с пирамидоном. Кроме того, нас сопровождали Тотгентанц и Блэхауз. Инженер Савекаху жаловался на поток правовых ограничений, затрудняющих исследовательскую работу и создание новых моделей. При входе в банк, например, монтируют датчики, обнаруживающие теледублей, и это бы еще полбеды; банкиры, понятно, опасаются телеограбления. Но многие банки, не ограничиваясь системой сигнализации, применяют термоиндукционные устройства; обнаружив присутствие дубля (по содержащейся в нем электронике), они обрушивают на него незримый высокочастотный удар. Из-за скачка температуры проводящие контуры спаиваются, и дубль превращается в металлолом, а его владельцы предъявляют претензии не к банкам, а к «Джинандроикс». Случаются, увы, покушения, и даже с бомбами, на фургоны с теледублетками, особенно если это красотки. Инженер Паридон дал мне понять, что за этими актами террора стоит движение women's liberation, но пока что нет доказательств, достаточных для возбуждения судебного дела.

Меня ознакомили со всеми стадиями производства, от

сварки сверхлегких дюралевых скелетов до обливания этого «шасси» телоподобной массой. Серийные теледублетки выпускаются восьми размеров (или, в просторечии, калибров). Дублетки по индивидуальным заказам дороже чуть ли не двадцать раз. Теледубли вовсе не обязательно человекоподобны, но чем сильнее они отличаются от людей, тем труднее ими управлять. Хвост — превосходная страховка при работе на большой высоте, сооружении висячих мостов или линий высокого напряжения, но человеку *нечем* приводить в движение цепкий хвост. Потом мы поехали на электрокаре (так велика была заводская территория) на склад готовой продукции, где я осмотрел планетных и лунных теледублей. Чем больше тяготение, тем сложнее задача конструкторов: слишком маленький дубль много не наработает, а большой требует мощных двигателей и потому слишком тяжел.

Мы вернулись в сборочный цех. Если доктор Вагатам из секретариата ООН был азиатом-дипломатом, со сдержанно-вежливой улыбкой, то инженер Паридон был азиатом-энтузиастом, и его синеватые губы не смыкались, когда он смеялся, обнажая великолепные зубы.

— Вы не поверите, мистер Ён, на чем споткнулись парни из «Дженерал педипулятрикс» со своими роботами! На двуногой ходьбе! Они загремели вместе со своим опытным образцом — ведь он поминутно грохался оземь! Неплохо, а? Ха-ха-ха! Гироскопы, противовесы, сенсорные датчики с двойной обратной связью под коленками — и все впустую. У нас-то, конечно, никаких проблем нет — равновесие теледубля обеспечивает человек!

Глядя на бело-розовые, как бы младенческие, тела дублетов — с конвейера их подхватывали подъемники, и вверху, над нашими головами, размеренно плыл нескончаемый ряд голых девушек, неподвижных, хотя их длинные ниспадающие волосы развевались, словно живые, — я спросил Паридона, женат ли он.

— Ха-ха-ха! Ну вы и шутник! О да, мистер Ён. Женат, и детишками обзавелся. А как же! Сапожник не ходит в сапогах, которые сам тачает, не так ли? Но нашим сотрудникам мы выделяем по штуке в год — в качестве премии. Для них это превосходный бизнес.

— Каким сотрудникам? — удивился я. Помещение цеха было безлюдно. За конвейером стояли однорукие роботы — желтые, зеленые и голубые, как многочленистые пестрые гусеницы.

— Ха-ха-ха! В конторах люди еще попадают. В сортировочной, на упаковке и техконтроле тоже. А-а, смотрите-ка, выбракованный экземпляр! С ногами что-то не так. Кривые! Ну как, мистер Ён, возьмете? Бесплатно, на неделю, с доставкой на дом?

— Спасибо, — ответил я. — Пока что — нет. Пигмалионизм не в моем вкусе.

— Пигмалионизм? А-а, пигмалионизм! Бернارد Шоу! Знаю, знаю! Разумеется, я понял намек. У некоторых это вызывает протест. Но, согласитесь, лучше уж производить дамекены, чем карабины, а? Все-таки мирный товар. Make love, not war! Верно?

— На это можно было бы кое-что возразить, — неопределенно заметил я. — У ворот я видел пикеты.

— Верно. Проблемы имеются. А как же! Обыкновенной женщине далеко до дублетки. В жизни красота — исключение. А у нас — техническая норма. Законы рынка. Спрос определяет предложение. Что делать — так уж устроен мир...

Мы осмотрели еще гардеробную, полную шуршащих платьев, белья, озабоченных девушек с ножницами в руках и портняжными рулетками на шее, с виду весьма заурядных — потому что живых, — и распрощались с инженером Паридоном у автостоянки, до которой он нас проводил. На обратном пути Тотгентанц и Блэхауз были на удивление молчаливы. Я тоже не испытывал особого желания разговаривать. День еще, однако, не кончился.

Вернувшись домой, я нашел в почтовом ящике толстенный конверт: в нем оказалась книга с длинным названием: «Dehumanization trend in weapon systems of the twenty first century or upside-down evolution»*. Фамилия автора — Меслант — ничего мне не говорила. Том был солидный, увесистый, большого формата, с множеством графиков и таблиц. Не имея особенно чем заняться, я сел в кресло и начал читать. Перед предисловием, на первой странице, стоял эпиграф по-немецки: «Aus Angst und Not das Heer ward tot». *Eugen von Wahnzenstein***.

Автор называл себя специалистом по новейшей истории

* «Тенденция к обезлюдиванию в системах вооружений двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами» (англ.)

** «Из страха и по необходимости войско сделалось мертвым» Евгений фон Ванценштейн (нем.)

военного дела. История эта, писал он, заключена между двумя звучными аббревиатурами конца XX века: FIF и LOD, означающими соответственно Fire and Forget и Let Others Do*. Отцом современного пацифизма было благосостояние, а матерью — страх. Их скрещивание породило тенденцию к обезлюживанию военного дела. Все меньше оказывалось желающих стать под ружье, причем отвращение к военной службе было прямо пропорционально уровню жизни. Возвышенное изречение «dulce et decorum pro patria mori»** молодежь богатых стран считала рекламой морового поветрия. Как раз тогда резко снизилась стоимость производства в интеллектуальной промышленности. На смену вычислительным элементам типа chips пришли продукты генной инженерии типа согп***, получаемые путем выращивания искусственных микробов, главным образом Silicobacterium Logicum Wieneri****. Пригоршня таких элементов стоила не дороже горсточка проса. Итак, искусственный интеллект дешвел, а новые поколения вооружений дорожали в геометрической прогрессии. В первую мировую войну самолет по стоимости равнялся автомобилю, во вторую — двадцати автомобилям; к концу столетия он уже стоил в 600 раз дороже автомобиля. Теперь подсчитали, что через 70 лет даже сверхдержавы смогут иметь от 18 до 22 самолетов, не больше. Вот так пересечение нисходящей кривой стоимости искусственного интеллекта с восходящей кривой стоимости вооружений положило начало созданию безлюдных армий. Живая вооруженная сила стала превращаться в мертвую. Незадолго до этого мир пережил два тяжелых экономических кризиса. Первый был вызван резким подорожанием нефти, второй — столь же резким снижением цен на нее. Классические законы рыночной экономики уже не действовали, но мало кто догадывался о том, что это значит; мало кто понимал, что фигура солдата в мундире и каске, рвущегося в штыковую атаку, уходит в прошлое, чтобы занять место рядом с закованными в железо средневековыми рыцарями. Из-за косности конструкторской мысли какое-то время еще производилось крупногабаритное вооружение — танки, орудия, бронетранспортеры и прочие громоздкие боевые машины,

* Выстрели и забудь (и) пусть это сделают другие (англ.)

** Почетно и сладко умереть за отечество (лат.)

*** Кукурузное зерно (англ.)

**** Силикобактерия логическая Винера (лат.)

предназначенные для война-человека, — даже тогда, когда они уже могли идти в бой сами, безлюдным манером. Эта бронегигантомания скоро исчерпала себя, сменившись ускоренной миниатюризацией. До сих пор все виды оружия были рассчитаны на человека — на его анатомию (чтобы ему было удобнее убивать) и физиологию (чтобы его было удобнее убивать). Теперь положение изменилось.

Как это обычно бывает в истории, никто не понимал значения происходящего, поскольку открытия, которым предстояло слиться в DEHUMANIZATION TREND IN NEW WEAPON SYSTEMS*, совершались в очень далеких друг от друга областях науки. Интеллекtronика создала дешевые, как трава, микрокалькуляторы, а нейрoэнтoмoлогия разгадала наконец загадку насекомых. Ведь, скажем, пчелы тоже живут в сообществах, работают ради общей цели и общаются между собой при помощи особого языка, хотя мозг человека в 380 000 раз больше нервной системы пчелы. Рядовому солдату вполне хватило бы сообразительности пчелы, только видоизмененной на военный лад. Боеспособность и разум — вещи различные, во всяком случае, на передовой. Главным фактором, *заставившим* миниатюризировать оружие, была атомная бомба. Необходимость миниатюризации вытекала из простых и хорошо известных фактов, — но факты эти оставались за горизонтом военной мысли эпохи. Когда 70 миллионов лет назад огромный метеорит упал на Землю и вызвал многовековое похолодание, засорив своими остатками атмосферу, эта катастрофа уничтожила всех до единого ящеров и динозавров, мало затронула насекомых и вовсе не коснулась бактерий. Вердикт палеонтологии однозначен: чем сила разрушения больше, тем меньшие по размерам организмы способны ей противостоять. Атомная бомба требовала *рассредоточения* как армии, так и солдата. Но мысль об уменьшении солдата до размеров муравья могла в XX веке появиться лишь в области чистой фантазии. Человека не *рассредоточишь* и не *сократишь* в масштабе! Поэтому подумывали о войнах-автоматах, имея в виду человекообразных роботов, хотя уже тогда это было анахронизмом. Ведь и промышленность обезлюживалась, однако роботы, заменявшие людей на заводских конвейерах, не были человекоподобны. Они представляли собой увеличенные *фрагменты* человека: мозг с огромной стальной ладонью, мозг с гла-

* Тенденция к обезлюживанию новых систем оружия (англ.).

зами и кулаком, органы чувств и руки. Больших роботов нельзя было перенести на поля атомных сражений, и тогда начали появляться радиоактивные синсекты (искусственные насекомые), керамические рачки, змеи и черви из титана, способные зарываться в землю и вылезать наружу после атомного взрыва. В образе летающих синсектов летчик, самолет и его вооружение слились в одно миниатюрное целое. А боевой единицей становилась *микроармия*, лишь как *целое* обладавшая боеспособностью (вспомним, что только *рой* пчел можно считать самодостаточным организмом, а не отдельную пчелу).

Появились микроармии множества типов, основанные на двух противоположных принципах. Согласно принципу *автономности*, такая микроармия действовала как военный поход муравьев, как волна микробов или осиный рой. Согласно принципу *телетропизма*^{*}, микроармия была огромной, летающей или ползающей, совокупностью самосборных элементов: по мере тактической или стратегической необходимости она отправлялась в путь в полном рассредоточении и лишь перед самой целью сливалась в заранее запрограммированное целое. Можно сказать, что боевые устройства выходили с заводов не в окончательном виде, но в виде полу- и четвертьфабрикатов, способных сплотиться в боевую машину перед самым попаданием в цель. Эти армии так и называли — самосплачивающимися. Простейшим примером было саморассредоточивающееся атомное оружие. Межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой можно обнаружить из космоса — со спутников слежения, или с Земли — радарам. Но нельзя обнаружить гигантские тучи рассеянных микрочастиц, несущих уран или плутоний, которые в критическую массу сольются у самой цели — будь то завод или неприятельский город.

Старые типы оружия недолго сосуществовали с новыми: тяжелые, громоздкие боевые средства бесповоротно пали под натиском микрооружия. Ведь оно было почти невидимо. Как микробы незаметно проникают в организм животного, чтобы убить его *изнутри*, так неживые, искусственные микробы, согласно заложенным в них тропизмам, прони-

^{*} Здесь использован термин «тропизм», обозначающий ростовые движения растений под воздействием раздражителей. В современной литературе применяется шире — например, в отношении автоматических устройств.

кали в дула орудий, зарядные камеры, моторы танков и самолетов, прогрызали насквозь броню или, добравшись до пороховых зарядов, взрывали их. Да и что самый храбрый и опытный солдат, обвешанный гранатами, мог поделаться с микроскопическим и мертвым противником? Не больше, чем врач, который решил бы сражаться с микробами холеры при помощи молотка. Среди туч микрооружия, самонаводящегося на заданные цели, оружия биотропического, то есть уничтожающего все живое; человек в мундире был беспомощен, как римский легионер со щитом и мечом под градом пуль.

Уже в XX столетии тактика борьбы в сплоченном строю уступила место рассредоточению боевых сил, а маневренная война потребовала от них рассредоточения еще большего. Но линии фронтов тогда еще существовали. Теперь они исчезли. Микроармии без труда проникали через линии обороны и вторгались в глубокий тыл неприятеля. А бесполезность крупнокалиберного атомного оружия становилась все очевиднее: его применение попросту не окупалось. Эффективность борьбы с вирусной эпидемией при помощи термоядерных бомб, разумеется, мизерна. На пиявок не охотятся с крейсерами.

Труднейшей задачей «безлюдного» этапа борьбы человека с самим собой оказалось различение своих и чужих. Эту задачу, обозначавшуюся FOF (Friend Or Foe*), прежде решали электронные системы, работавшие по принципу «пароль и отзыв». Запрошенный по радио самолет или автоматический снаряд сам, по своему передатчику, должен был дать правильный отзыв, иначе он подвергался нападению как вражеский. Но в XXI веке этот метод отошел в прошлое. Новые оружейники заимствовали образцы в царстве жизни — у растений, бактерий и животных. Способы маскировки и демаскировки повторяли способы, существующие в живой природе: иммунитет, борьба антигенов с антителами, тропизмы, а кроме того, мимикрия, защитная окраска и камуфляж. Неживое оружие нередко прикидывалось невинными микроорганизмами или даже пылью и пухом растений; но за этой оболочкой крылось смертоносное, всеразрушающее содержимое. Возросло и значение информационного противоборства — не в смысле пропаганды, а в смысле проникновения в систему неприятельской связи, чтобы поразить

* Друг или враг (англ.)

ее или (при налетах атомной саранчи, например) вынудить нападающего слиться в критическую массу раньше, чем он приблизится к цели. Автор книги описывал таракана, послужившего образцом для одной разновидности микросолдат. Этот таракан имеет на оконечности брюшка пару тоненьких волосков. Они соединены с его задним нервным узлом, отличающим обычное дуновение воздуха от колебаний, вызванных нападением врага; едва почуяв такие колебания, таракан бросается в бегство.

Захваченный чтением, я с сочувствием думал о честных приверженцах мундира, знамен и медалей за храбрость. Новая эра в военном деле была для них сплошной обидой и поношением, изменой возвышенным идеалам. Автор называл этот процесс «эволюцией вверх ногами» (upside-down), потому что в природе сперва появились микроскопические организмы, из которых постепенно возникали все более крупные виды; в эволюции вооружений, напротив, возобладала тенденция к микроминиатюризации, а большой человеческий мозг заменили имитации нервных ганглиев насекомых. Микроармии создавались в два этапа. На первом этапе неживое оружие конструировали и собирали люди. На втором этапе неживые дивизии проектировались, испытывались в боевой обстановке и направлялись в серийное производство такими же неживыми компьютерными системами. Люди устранились сначала из армии, а затем и из военной промышленности вследствие «социоинтеграционной дегенерации». Дегенерировал отдельный солдат: он становился все меньше и все проще. В результате разума у него оставалось, как у муравья или термита. Тем большее значение приобретала *социальная совокупность* мини-бойцов. Мертвая армия была несравненно сложнее, чем улей или муравейник; в этом отношении она соответствовала скорее большим биотопам природы, то есть целым пирамидам видов, хрупкое равновесие между которыми поддерживается благодаря конкуренции, антагонизму и симбиозу. В такой армии, понятно, сержанту или капралу нечего было делать. Чтобы объять мысль это целое — хотя бы при инспектировании, не говоря уж о командовании, — не хватило бы мудрости целого университета. Поэтому, кроме бедных государств третьего мира, больше всего пострадало от великой революции в военном деле кадровое офицерство. Под неумолимым напором тенденции к обезлюдиванию пали славные традиции маневров, смен караула, фехтова-

ния, парадных мундиров, рапортов и муштры. За людьми удалось сохранить высшие командные должности, прежде всего штабные — увы, ненадолго. Вычислительно-стратегическое превосходство компьютеризированных систем командования лишило работы самых мозговитых военачальников, до маршалов включительно. Сплошной ковер из орденских ленточек на груди не спас самых прославленных генштабистов от досрочного ухода на пенсию. Развернулось оппозиционное движение кадровых офицеров: в ужасе перед безработицей они уходили в террористическое подполье. Поистине мерзкой grimасой судьбы было просвещение этих заговоров микрошпионами и мини-полицией, сконструированной по образцу вышеупомянутого таракана: ее не останавливали ни ночь, ни туман, ни любые уловки отчаявшихся традиционалистов, верных до гроба идеям Ахиллеса и Клаузевица.

Беднейшие государства могли воевать теперь лишь по старинке, живой силой — с таким же анахроничным, как и сами они, противником. Если не на что было автоматизировать армию, приходилось сидеть тихо, как мышка.

Но и богатым странам пришлось несладко. Вести политическую игру по-старому стало невозможно. Граница между войной и миром, уже давно не слишком отчетливая, теперь совершенно стерлась. Двадцатый век покончил со стеснительным ритуалом открытого объявления войны и ввел в обиход такие понятия, как пятая колонна, массовый саботаж, холодная война и война *reg rrogisga*^{*}, и все это было только началом стирания различий между войной и миром. Нескончаемые переговоры на конференциях по разоружению имели целью не только достижение соглашения, установление равновесия сил, но и прощупывание слабых и сильных сторон противника. На смену альтернативе «война и мир» пришло состояние войны, неотличимой от мира, и мира, неотличимого от войны.

На первом этапе преобладала диверсия под прикрытием миротворческих лозунгов. Она просочилась в политические, религиозные и общественные движения, не исключая такие почтенные и невинные, как движение за охрану среды; она разъедала культуру, проникла в средства массовой информации, использовала иллюзии молодежи и стародавние убеждения стариков. На втором этапе усилилась крип-

* Здесь: чужими руками (*лат.*).

товоенная диверсия; она уже мало чем отличалась от настоящей войны, но распознать ее было нельзя. Кислотные дожди были известны еще в двадцатом столетии, когда из-за сгорания угля, загрязненного серой, облака превращались в раствор серной кислоты. Теперь же полили дожди до того едкие, что они разъедали крыши домов и заводов, автострады, линии электропередач, и поди разбери, чье это дело: отравленной природы или врага, наславшего ядовитую облачность при помощи направленного в нужную сторону ветра. И так было во всем. Начался массовый падеж скота, — но как узнать, естественная это эпизоотия или искусственная? Океанский циклон, обрушившийся на побережье, — он случаен, как прежде, или вызван умелым перемещением воздушных масс? Гибельная засуха — обычная или опять-таки вызванная тайным отгоном дождевых облаков? Климатологическая и метеорологическая контрразведка, сейсмический шпионаж, разведслужбы эпидемиологов, генетиков и даже гидрографов трудились не покладая рук. Военные службы, занятые различением искусственного и естественного, подчиняли себе все новые отрасли мировой науки, однако результаты этой разведывательно-следственной деятельности становились все менее ясными. Обнаружение диверсантов было детской забавой, пока они были людьми. Но когда диверсию можно усматривать в урагане, градобитии, болезнях культурных растений, падеже скота, росте смертности новорожденных и заболеваемости раком и даже в падении метеоритов (мысль о наведении астероидов на территорию противника появилась еще в XX веке), — жизнь стала невыносимой. И не только жизнь обыкновенных людей, но и государственных деятелей, беспомощных и растерянных, — ведь они ничего не могли узнать от своих столь же растерянных советников. В военных академиях читали новые дисциплины: криптонаступательная и криптооборонительная стратегия и тактика, криптология контрразведки (то есть отвлечение и дезинформация разведок, контрразведок и так далее во все возрастающей степени), криптография, полевая энигматика и, наконец, *секросекретика*, которая под большим секретом сообщала о тайном применении тайного оружия, неотличимого от невинных явлений природы.

Размылись линии фронта и границы между большими и мелкими антагонизмами. Для очернения другой стороны в глазах ее собственного общества спецслужбы изготавливали

фальсификаты стихийных бедствий на своей территории так, чтобы их ненатуральность бросалась в глаза. Было доказано, что некие богатые государства, оказывая помощь более бедным, в поставляемую ими (по весьма дешевой цене) пшеницу, кукурузу или какао добавляли химические средства, ослабляющие половую потенцию. Началась *тайная антимиграционная война*. Мир стал войной, а война — миром. Хотя катастрофические последствия обоюдной победы, равнозначной обоюдному уничтожению, были очевидны, политики по-прежнему гнули свое: заботясь о благосклонности избирателей и обещая во все более туманных выражениях все более благоприятный поворот в недалеком будущем, они все меньше способны были влиять на реальный ход событий. Мир стал войной не из-за тотальных происков (как представлял себе некогда Оруэлл), но благодаря достижениям технологии, стирающим границу между естественным и искусственным в каждой области жизни и на каждом участке Земли и ее окружения, — ибо в околоземном пространстве творилось уже то же самое.

«Там, — писал автор «Тенденции к обезлюживанию в системах вооружений XXI века», — где нет больше разницы ни между естественным и искусственным белком, ни между естественным и искусственным интеллектом, нельзя отличить несчастья, вызванные умышленно, от несчастий, в которых никто не повинен. Как свет, увлекаемый силами тяготения в глубь черной дыры, не может выбраться из гравитационной ловушки, так человечество, увлекаемое силами взаимных антагонизмов в глубь тайн материи, угодило в технологическую западню». Решение о мобилизации всех сил и средств для создания новых видов оружия диктовали уже не правительства, не государственные мужи, не воля генеральных штабов, не интересы монополий или иных групп давления, но во все большей и большей степени — страх, что на открытия и технологии, дающие перевес, первой натолкнется Другая Сторона. Это окончательно парализовало традиционную политику. На переговорах ни о чем нельзя было договориться: согласие на отказ от Нового Оружия в глазах другой стороны означало, что противник, как видно, имеет в запасе иное, еще более новое. Я наткнулся на формулу теории конфликтов, объяснявшую, почему переговоры и не могли ни к чему привести. На таких конференциях принимаются определенные решения. Но если время принятия решения превышает время появления ново-

введений, радикально меняющих обсуждаемое на переговорах положение вещей, решение становится анахронизмом уже в момент его принятия. Всякий раз «сегодня» приходится договариваться о том, что было «вчера». Договоренность из настоящего перемещается в прошлое и становится тем самым чистой фикцией. Именно это заставило великие державы подписать Женевское соглашение, узаконившее Исход Вооружений с Земли на Луну. Мир облегченно вздохнул и мало-помалу оправился — но ненадолго; страх ожил опять, на сей раз в виде призрака безлюдного вторжения с Луны на Землю. Поэтому не было задачи важнее, чем разгадка тайны Луны.

Так завершалась глава. До конца книги оставалось еще страниц десять, не меньше, но их я не смог перелистать. Они словно бы слиплись. Сперва я подумал, что туда попал клей с корешка. Пробовал так и сяк отлепить следующую страницу, наконец взял нож и осторожно просунул его между склеившимися листами. Первый был вроде бы пустой, но там, где его коснулся край ножа, проступили какие-то буквы. Я потер бумагу ножом, и на ней появилась надпись: «Готов ли ты возложить на себя это бремя? Если нет, положи книгу обратно в почтовый ящик. Если да, открой следующую страницу!»

Я отделил ее — она была чистой. Лезвием ножа провел от верхнего поля до нижнего. Появились восемь цифр, сгруппированных по две и разделенных тире, как номер телефона. Я разлепил следующие страницы, но там ничего не было. Весьма необычный способ вербовки Спасителя Мира! — подумал я. Одновременно у меня в голове появились общие контуры того, что я мог ожидать. Я закрыл книгу, но она открылась сама на странице с четко пропечатанными цифрами. Ничего не оставалось, как снять трубку и набрать номер.

III. В УКРЫТИИ

Это был частный санаторий для миллионеров. К слову сказать, не очень-то часто слышишь о свихнувшихся миллионерах. Спятить может кинозвезда, государственный деятель, даже король, но не миллионер. Так можно подумать, читая популярную прессу, которая известия об отставке правительств и революциях дает петитом на пятой стра-

нице, на первую же полосу выносит новости о душевном самочувствии хорошо раздетых девиц с потрясающим бюстом или о змее, которая заползла цирковому слону прямо в хобот, а обезумевший слон вломился в супермаркет и растоптал три тысячи банок томатного супа «Кэмпбелл» вместе с кассой и кассиршей. Для таких газет рехнувшийся миллионер был бы сущей находкой. Миллионеры, однако, не любят шума вокруг своего имени ни в более или менее нормальном состоянии, ни в свихнувшемся. Кинозвезде приличное помешательство может даже оказаться на руку, — но не миллионеру. Кинозвезда ведь не потому знаменита, что замечательно играет во множестве фильмов. Так было, возможно, лет сто назад. Звезда может играть, как чурбан, и хрипеть с перепоя — голос ей все равно сдублируют; если ее хорошенько отмыть, она может оказаться веснушчатой и вовсе не похожей на свой облик на афишах и в фильмах; но в ней непременно должно быть «что-то», и у нее есть это «что-то», если она то и дело разводится, ездит в открытом авто, обитом горностаями, берет 25 000 долларов за фото нагишом в «Плейбое» и имела роман сразу с четырьмя квакерами; ну, а если, ударившись в нимфоманию, она соблазнит сиамских близнецов преклонного возраста, то контракты ей обеспечены не меньше чем на год. Да и политику, чтобы достичь известности, надо петь не хуже Карузо, играть в поло, как дьявол, улыбаться, как Рамон Новарро, и обожать по телевизору всех избирателей. Но миллионеру это лишь повредило бы, поскольку подорвало бы его кредит или, что еще хуже, вызвало на бирже панику. Миллионер должен всегда блюсти дистанцию, держаться спокойно и без эксцентрики. А если он не таков, ему лучше запрятаться подалее вместе со своей эксцентричностью. Поскольку, однако, скрыться от прессы теперь крайне трудно, санатории для миллионеров стали невидимыми крепостями. Невидимыми в том смысле, что их недоступность замаскирована и не бросается в глаза посторонним. Никаких стражников в униформе, псов на цепи и с пеной у рта, колючей проволоки — все это лишь возбуждает и даже приводит в иступление репортеров. Напротив, такой санаторий должен выглядеть скучновато. Прежде всего, упаси Бог назвать его санаторием для душевнобольных. Тот, в котором я очутился, именовался убежищем для переутомленных язвенников и сердечников. Но тогда почему я с первого взгляда

понял, что это только фасад, за которым укрыто безумие? Так вам все сразу и расскажи!

Нас не пускали внутрь, пока не явился доктор Хоус, доверенное лицо Тарантоги. Он попросил меня прогуляться немного по парку, пока он будет беседовать с Тарантогой. Я решил, что он принял меня за помешанного. По-видимому, Тарантога не успел проинформировать его как следует; оно и понятно — мы хотели покинуть Австралию быстро и без лишнего шума. Хоус оставил меня среди клумб, фонтанов и живых изгородей; нашим багажом занялись две эффектные девицы в элегантных костюмах, вовсе не похожие на сестер милосердия, что тоже давало пищу для размышлений; а довершил все это толстобрюхий старец в пижаме, который, увидев меня, подвинулся, чтобы освободить для меня место в мягко застеленном гамаке. Я, отвечая любезностью на любезность, присел рядом с ним. С минуту мы качались молча, а затем он спросил, не мог бы я на него помочиться. Впрочем, он выразился энергичнее. Я был так ошарашен, что не отказался сразу, а спросил зачем. Это очень ему не понравилось. Он слез с гамака и удалился, прихрамывая на левую ногу и что-то бормоча себе под нос — кажется, по моему адресу: я счел за благо не прислушиваться. Я осматривал парк, время от времени машинально поглядывая на левую руку и ногу, — так, наверное, смотрят на полученную недавно в подарок породистую собаку, которая между делом успела кое-кого покусать. То, что они вели себя пассивно, раскачиваясь в гамаке вместе со мной, вовсе не успокаивало меня; припоминая одно за другим недавние события, я не забывал и о том, что в моей голове притаилось другое мышление, тоже как будто мое, но совершенно мне недоступное, и это ничуть не лучше шизофрении, которую все-таки лечат, или болезни святого Витта — ведь там больной знает, что в худшем случае немного попляшет, а я был пожизненно приговорен к неожиданным фортелям в собственном естестве. Пациенты прохаживались по аллеям; за некоторыми чуть позади ехал тихходный электрокар, наподобие тех, какими пользуются при игре в гольф, — должно быть, на случай, если гуляющий утомится. Я спрыгнул наконец с гамака, чтобы посмотреть, не кончил ли доктор Хоус свое совещание с Тарантогой; тут-то я и познакомился с Грамером. Его тащил на себе весьма немолодой санитар с посиневшим, мокрым от пота лицом — Грамер весил чуть ли не центнер. Мне стало жаль беднягу, но я ничего не сказал, а только освободил до-

рожку, решив, что в моем положении разумней всего ни во что не вмешиваться. Однако Грамер, завидев меня, слез с санитара и представился первым. Его, похоже, заинтересовало новое лицо. Я смешался, потому что забыл, под какой фамилией меня записали в регистратуре, хотя мы обсуждали этот вопрос с Тарантогой. Помнил только имя — Джонатан. Грамеру моя непринужденность понравилась — незнакомый человек представляется сразу по имени, — и он попросил называть его просто Аделаидой.

Он разговорился. Его изводила страшная скука с тех пор, как он начал выходить из состояния депрессии (пока оно длилось, ему не давали скучать душевные страдания). Депрессия эта, объяснял он, пошла от того, что он обычно не мог уснуть, если перед сном немного не помечтает. Сперва он мечтал, чтобы акции, им купленные, подскочили в цене, а проданные покатались как с горки. Потом возмечтал сколотить миллион. Сколотив миллион, стал мечтать о втором, о третьем, но после пяти миллионов это утратило прелесть мечты. Пришлось искать новый объект мечтаний. Это было, угрюмо заметил он, все трудней и трудней. Нельзя же мечтать о том, что у тебя уже есть, или о том, что можно получить хоть завтра. Какое-то время он мечтал избавиться от третьей жены, не заплатив ни гроша алиментов, но и это ему удалось. Хоус все еще не появлялся, и Грамер буквально прилип ко мне. Было время, когда перед сном он разделялся в мечтах с теми, кто особенно ему насолил. Но это было ошибкой. Во-первых, распаяя себя такими фантазиями, он перевозбуждался, хватался за снотворные средства, что врачи ему запрещали из-за увеличенной печени, и не видел иного способа покончить с неотвязной мечтой, кроме как покончить с ее объектом. Это, уверял он меня, плевое дело, если на чеке стоит шестизначная цифра. И сохрани Бог обращаться к услугам какой-нибудь «Murder Incorporated». Это бредни, сочиняемые для кинофильмов. Он нанял эксперта, а тот устраивал все как по-писаному. Как? По-своему в каждом случае. Убить — не проблема. Раз — и нет человека, и ничего ему больше не учинишь. Физические мучения тоже не казались Грамеру подходящим решением. Завистников, недругов и зловредных конкурентов надлежит разорять, выражая им искреннее сочувствие, — и только. Своего рода стратегическая облава. Необычайно эффективно и эффективно. Питая склонность к интеллектуальным занятиям (которую ему приходилось скрывать от собратьев-мил-

лионеров), он читал книги — даже де Сада. Вот кто был несчастным ослом! Мечтал о насаживании на кол, о сдирании кожи, об эвентрации, то бишь о вспарывании животов, а сам сидел в кутузке и ничего, кроме мух, не имел в своем распоряжении. Бедному хорошо! Все его манит, и все ему нравится. Мало-мальски красивая женщина ему недоступна. Поэтому, ясное дело, так процветает промысел порно. Надутые любовницы с губками бантиком, иллюстрированные описания оргий, копулярки, мази и пасты — это все суррогаты и надувательство. Ничто так не утомляет, как оргия, даже устроенная наилучшим образом. Не о чем говорить и мечтать не о чем. Ах, иметь бы настоящую, несбыточную мечту! Выслушивая эти признания, я, должно быть, не смог скрыть своего изумления; но Аделаида лишь покачал головой и сказал, что напрасно он осуществил мечту отыграться на своих недругах: он подрубил сук, на котором сидел. Мечтать стало не о чем, и его одолела хроническая бессонница. Тогда он нанял специалиста по выдумыванию новых заветных желаний. Кажется, какого-то литератора или поэта. Действительно, тот предложил ему парочку недурных тем, но серьезная мечта требует осуществления, а затем умирает, поэтому нужны были мечты почти несбыточные. Однако выдумать что-нибудь в этом роде, перебил я его, не так уж трудно. Переместить континент. Распилить Луну на четыре равные четвертушки. Съесть ногу президента Штатов в том соусе, в котором подают утку в китайских ресторанах (я розошелся, зная, что говорю с сумасшедшим). Иметь интимные отношения со светлячком в те минуты, когда он светит ярче всего. Ходить по воде и вообще творить чудеса. Стать святым. Махнутья местами с Господом Богом. Подкупить террористов, чтобы те оставили в покое разных там министров, послов и прочих капиталистов и взялись за тех, кому действительно следовало бы наломать шею, а то и свернуть голову.

Аделаида смотрел на меня с симпатией, почти с восхищением.

— Жаль, — сказал он, — что мы не встретились раньше, Джонатан. В твоих словах что-то есть, хотя и не совсем то, что надо. Все эти койтиненты, луны и чудеса не трогают меня за живое, а настоящий мечтатель мечтает всеми фибрами души, иначе нельзя. Светлячок тоже не возбуждает. По крайней мере, меня. Хорошая мечта не переходит ни в бессильную злость, ни в преувеличенное любострастие, но

словно бы переливается и мерцает, понимаешь? Ну, вот она есть, а вот ее как бы и нету, и тогда-то мне хорошо засыпается. Днем, наяву, у меня никогда не хватало на это времени. Этот мой горе-писатель утверждал, что количество заветных желаний обратно пропорционально количеству имеющихся у человека платежных средств. Тот, у кого есть все, не в состоянии уже мечтать ни о чем. Поменяться местами с Господом Богом? Боже упаси! Но тебя я все-таки нанял бы.

На огромном листе приземистого гладкого кактуса покоилась большая улитка. Выглядела она довольно противно, и, должно быть, как раз поэтому Аделаида сделал знак санитару.

— Съешь это, — сказал он, указывая пальцем на кактус. И достал из кармана пижамы чековую книжку и авторучку.

— За сколько он это сделает? — полюбопытствовал я. Санитар молча протянул руку к улитке, но я остановил его. — Ты получишь на тысячу долларов больше, если не съешь этого, — заявил я, доставая из кармана блокнот. Он был оправлен в точно такой же зеленый пластик, что и чековая книжка Аделаиды.

Санитар застыл на месте. По лицу миллионера я видел, что он колеблется, а это сулило мне мало хорошего — дело и вправду могло кончиться аукционом. Тариф, установленный Аделаидой на улиток, наверняка превышал мои финансовые возможности. Оставалось лишь запутать игру козырем.

— За сколько вы это съели бы, Аделаида? — спросил я и открыл блокнот, словно намереваясь выписать чек. Это его восхитило. Санитар перестал для него существовать.

— Я дам тебе чек *in blanco*^{*}, если ты проглотишь ее не пережевывая и расскажешь, как она шевелится у тебя в животе, — произнес он чуть охрипшим от возбуждения голосом.

— К сожалению, я уже завтракал, а есть между завтраком и обедом не в моих правилах, — улыбнулся я. — И кроме того, Аделаида, твои счета, наверное, заблокированы. Провозглашение невменяемым, назначение опекуна и так далее, не правда ли?

— Нет, нет, ты ошибаешься! Манхэттенский банк примет любой мой чек.

* Незаполненный (лат.).

— Возможно, но у меня что-то нет аппетита. Вернемся лучше к мечтам.

Беседа так меня захватила, что я совершенно забыл о своей левой стороне, пока она сама о себе не напомнила. Когда мы уже отошли от опасной улитки, я вдруг подставил миллионеру ногу и дал такого тычка в спину, что он растянулся на траве. Я рассказываю от первого лица, хотя набедокурили мои левые конечности. Надо было срочно спасти лицо.

— Извини, — сказал я, стараясь попасть в тон приятельской откровенности, — но *это* было моей мечтой.

Я помог ему встать. Он был не столько обижен, сколько ошарашен. Как видно, так с ним никто себя не вел, ни здесь, ни за стенами санатория.

— Ну, ты парень с фантазией, — выговорил он, строясь с себя землю. — Только больше не делай этого, а то у меня позвоночный хрящ выскочит; к тому же и я ведь могу начать мечтать о тебе, — тут он нехорошо засмеялся. — А что с тобой, собственно?

— Ничего.

— Это ясно, но здесь ты зачем?

— Чтобы немного отдохнуть.

В глубине тенистой аллеи я заметил доктора Хоуса; увидев меня, он поднял руку и движением головы показал, чтобы я шел за ним к павильону.

— Ну, Аделаида, мне пора, — сказал я, похлопывая его по спине. — Помечтаем как-нибудь в другой раз.

Из открытых дверей веяло приятной прохладой. Бесшумная климатизация, светло-зеленые стены, тихо, как в пирамиде, — звуки шагов приглушал палас, белый, словно шкура полярного медведя. Хоус ждал меня в своем кабинете. Там же сидел Тарантога. Он показался мне озабоченным. У него на коленях лежала папка, распухшая от бумаг; он доставал их и клал обратно. Хоус указал мне на кресло. Я сел, без особой радости ожидая возврата к тому, отделаться от чего я мог, только отделавшись от себя самого. Хоус принялся за чтение газет. Тарантога нашел наконец нужные бумаги.

— Вот, значит, как обстоит дело, дорогой Ийон... Я был у двух юристов с превосходной репутацией, чтобы выяснить твое положение с точки зрения права. Разумеется, я не сказал, чьи интересы я представляю. И ничего не говорил о твоей миссии. Я оставил лишь самую суть. Некто, мол, имел

доступ к кое-каким совершенно секретным делам, а затем должен был представить отчет одному правительственному учреждению. Перед составлением отчета он подвергся каллотомии. Часть того, что он узнал и должен был сообщить, он забыл; эти сведения, вероятно, застряли в правом полушарии его мозга. Каковы его обязанности перед теми, кто доверил ему это дело? Как далеко они могут зайти, чтобы получить эти сведения? Оба ответили, что казус непрост, поскольку может стать прецедентом. Если дело дойдет до суда, он назначит экспертов и может, хотя и не обязан, согласиться с их заключением. Но пока судебного решения нет, ты вправе не соглашаться ни на какие исследования или эксперименты.

Доктор Хоус оставил газету.

— Довольно-таки забавная история, — сказал он, доставая из ящика стола пакет с пряниками; он высыпал их на тарелку и придвинул ко мне. — Я знаю, господин Тихий, для вас тут забавного мало, но забавен любой парадокс типа *circulus vitiosus**. Вам известно, что такое латерализация?

— Конечно, — ответил я, с неодобрением глядя на свою левую руку, протянувшуюся к тарелке, хотя мне совершенно не хотелось пряников. Но чтобы не выглядеть по-дурацки, пришлось откусить кусочек. — Об этом я начитался немало. Обычно доминирует левое полушарие мозга, потому что оно заведует речью. Правое вообще-то немое, хотя с грехом пополам понимает простые фразы, а иногда умеет даже читать, но проявляется то и другое у одних больше, у других меньше. Если левая латерализация выражена слабо, правое полушарие может приобрести большую самостоятельность, в том числе в пользовании речью. Иногда, хотя и крайне редко, латерализация почти не выражена, и тогда центры речи расположены в обоих полушариях, что может повлечь за собой заикание и другие расстройства...

— Очень хорошо. — Хоус благожелательно улыбался. — Из того, что мне стало известно, я заключаю, что ваш левый мозг — как видите, и мы иногда так выражаемся — отчетливо доминирует, но правый необычайно активен. Полной уверенности у меня нет, тут потребовалось бы длительное обследование.

— И где же тут парадокс? — спросил я, стараясь как

* Порочный (заколдованный) круг (лат.)

можно незаметнее оттолкнуть левую руку, которая опять совала мне пряник в рот.

— Может ли допрос вашего правого мозга принести реальную пользу, зависит от того, как велика правосторонняя латерализация. Чтобы узнать, стоит ли вообще браться за это дело, нужно установить степень латерализации, то есть обследовать вас, а для этого необходимо ваше согласие. Эксперты, которых назначит суд, смогут сказать ровно столько же: все зависит от степени латерализации у Ийона Тихого, а без обследования ее установить невозможно. То есть надо обследовать вас для того, чтобы решить, надо ли вас обследовать. Это вам ясно?

— Куда уж яснее. Так что вы мне советуете, доктор?

— Советовать я ничего не могу — как и эти гипотетические эксперты. Никто на свете, включая вас, не знает, что застряло в вашем правом мозгу. Вашу идею — использовать язык глухонемых — уже пробовали осуществить, хотя и без особого успеха. Правая латерализация была в тех случаях слишком слабой.

— Вы действительно не можете ничего добавить?

— Могу. Если не хотите неприятностей, носите левую руку на перевязи, а еще лучше — в гипсе. Она вас выдает.

— То есть как это?

Хоус указал на тарелку с пряниками:

— Правый мозг обычно любит сладкое больше, чем левый. Это следует из статистики. Я продемонстрировал вам простой способ, позволяющий на глаз оценить вашу латерализацию. Вы не левша и должны были протянуть к прянику правую руку — или не протягивать никакую.

— А долго мне придется носить гипс? И для чего?

Хоус пожал плечами.

— Хорошо. Я скажу вам то, чего говорить бы, пожалуй, не следовало. Вы, наверно, слышали о пираньях?

— Слышал. Маленькие, но очень кровожадные рыбки.

— Вот именно. Они обычно не нападают на человека в воде, но, если на его теле малейшая царапина, достаточно одной капли крови, чтобы они ринулись на него скопом. Речевые навыки правого мозга не больше, чем у трехлетнего ребенка, да и то в редких случаях. У вас они значительны. Если об этом узнают, вам может не поздоровиться.

— А может, ему просто пойти в Лунное Агентство? — вмешался Тарантога. — Поручить себя их попечению? Ведь

что-то ему от них полагается, раз он для них рисковал головой?..

— Это, возможно, не худшее решение, но вряд ли хорошее. Хорошего нет вообще.

— Почему? — спросили мы с Тарантогой почти одновременно.

— А вот почему: чем больше они извлекут из вашего правого мозга, тем больший почувствуют аппетит и захотят вытянуть еще больше, а это может означать — выражаясь по-вежливее — долговременную изоляцию.

— На месяц, на два?

— Или на год, а то и больше. Правый мозг общается с миром главным образом через левый, при помощи речи и письма. Пока ни разу не удавалось научить правый мозг говорить, тем более свободно. Ставка настолько высока, что они затратят на такое обучение больше усилий, чем все специалисты до сих пор.

— Что-то все-таки делать надо, — пробурчал Тарантога. Хоус встал:

— Разумеется, но необязательно нынче же — здесь и теперь. Господин Тихий может провести у меня несколько месяцев, если захочет. А за это время что-нибудь, глядишь, и выяснится.

Слишком поздно я понял, что доктор Хоус был, к сожалению, прав.

Решив, что никто не поможет мне лучше, чем я сам, я записал все случившееся со мной, надиктовал это на диктофон, записки сжег, а теперь закопаю и диктофон вместе с кассетами в герметичной банке — под кактусом, на котором я встретил улитку. Я говорю сейчас в диктофон, чтобы использовать остаток ленты. Кажется, выражение «встретил улитку» не слишком удачно, хотя почему — не знаю. Ведь можно встретить корову, обезьяну, слона, а улитку — вряд ли. Или тут дело в том, что встреченным мы называем лишь существо, которое может нас заметить? Пожалуй, нет. Не уверен, что улитка меня заметила, хотя рожки у нее были вытянуты. Или все дело в размерах? Никто не скажет «я встретил пчелу». Но можно встретить даже очень маленького ребенка. И зачем это я трачу ленту на такие глупости? Банку я закопаю, а записки буду вести при помощи шифра. Правое полушарие буду называть не иначе как «Оно», или просто назову его «ИЯ». Вроде неплохо, ведь «ИЯ» — это И Я, Я и Я, хотя, может быть,

это окажется не слишком понятно. Но лента кончается. Пора за лопату.

.....

8 июля. Жара страшная. Все ходят в пижамах, а то и в плавках. Я тоже. Через Грамера познакомился с двумя другими миллионерами, Струманом и Паддерхорном. Оба меланхолики. Струману под шестьдесят, лицо обрюзгшее, живот большой, ноги кривые, говорит шепотом. Можно подумать, что он хочет открыть невесть какую тайну. Утверждает, будто пытаться вылечить его — бесполезно. В последнее время его депрессия обострилась, а все потому, что он забыл причину своих ужасных переживаний. У него три дочери. Все замужем, занимаются свингингом*, разные типы снимают это на пленку, которую ему приходилось выкупать за немалые деньги, чтобы снимки не напечатали в «Хастлере»**. Чтобы ему помочь, я спросил, не этим ли он озабочен, но оказалось, что нет, к этому он уже привык. Впрочем, он признан невеняемым, и займись они свингингом хоть в зоопарке — это уже заботы опекунов. На кой черт я это записываю, не знаю. Голый миллионер — фигура невероятно неинтересная. Паддерхорн не говорит вообще ничего. Кажется, он слился экономически с каким-то японцем и прогадал. Удручающее общество. Но Гагерстайн, пожалуй, еще хуже. Без причины смеется и пускает слюни. Говорят, эксгибиционист. Надо держаться подальше от этих мерзких людишек. Доктор Хоус сказал, что завтра придет человек, которому я могу доверять, как ему самому. Он представится начинающим врачом-практикантом, но на самом деле это этнолог, который пишет исследование о миллионерах с точки зрения социальной динамики малых групп или что-то в этом роде.

9 июля. После отъезда Тарантоги я остался один с Хоусом, его ассистентом и миллионерами, вяло передвигающимися по парку. Хоус сказал мне с глазу на глаз, что предпочитает больше не исследовать степень моей латерализации, ведь того, чего никто не знает, никто не может украсть. Ассистент — и в самом деле молодой этнолог. Он открылся мне под страшным секретом, когда узнал, что я не богач. Он вел полевые исследования, хочет изучать обычаи и духовную жизнь миллионеров так, как исследуют верования первобытных племен.

* Здесь: смена сексуальных партнеров (амер. сленг).

** Американский журнал для мужчин.

Хоус знает, что молодой человек не имеет ничего общего с медициной, и, должно быть, поэтому взял его под свою опеку. С этнологом я вечерами вел долгие беседы — в малой лаборатории, за бутылкой виски «Тичерс». Рюмками нам служили пробирки. Кроме Аделаиды я познакомился еще с несколькими крезами. В жизни не был я в такой скучной компании. Этнолог со мною согласен. Это его угнетает — он начинает догадываться, что собранных материалов не хватит на монографию.

— Знаете что, — однажды сказал я, желая ему помочь, — возьмите и накатайте сравнительно-исторический трактат «Богачи прежде и теперь». Государственное меценатство или же меценатство благотворительных фондов — явление сравнительно новое. Но уже в Древнем Риме были частные меценаты. Покровители искусства. Ну, музы, и все такое. Да и позже разные богачи и князья обеспечивали людям искусства — артистам, художникам, скульпторам — неплохую жизнь. Как видно, они этим интересовались, хотя нигде не учились. Зато вот эти, — я показал большим пальцем за спину, в окно, выходявшее в ночной парк, — не интересуются ничем, кроме акций и чеков. Думаю, я не покажусь нескромным, если скажу, что я довольно-таки известен. Я получаю массу откликов на свои книги о путешествиях, но среди миллионов читателей не нашлось ни одного миллионера. Почему? Больше всего их, кажется, у вас в Техасе. Здесь таких трое. Они скучны даже в свихнувшемся состоянии. Откуда это берется? Латифундии не оглупляли. Что же их оглупляет? Биржа? Капитал?

— Нет, тут дело иное. Те бывали, скажем, верующими. Хотели иметь заслуги перед Господом Богом. Умерщвление плоти не привлекало их. Другое дело — построить собор, заплатить художникам, пусть изобразят нам «Тайную вечерю» или «Моисея», воздвигнут что-нибудь этакое с куполом, который переплюнет все остальные. В этом они видели свой интерес, господин Тихий, только видели они его там, — он указал на потолок, то есть на небо. — А раз уж одни меценатствовали, другие тянулись за ними. Это считалось хорошим тоном. Князь, дож или магнат окружали себя садовниками, кучерами, виршпелетами, художниками. У Людовика XV имелся Буше, чтобы было кому портретировать голых дам. Буше — это, положим, третий класс, но что-то после него осталось, да и

после других художников тоже, а после кучеров и садовников — ничего.

— После садовников остался Версаль.

— Вот видите. А после кучера — разве что кнут. Они ничего в этом не смыслили, вот что я вам скажу, но видели здесь свой интерес. Теперь, в эпоху специализации, это ничего бы им не дало... Что с вами? Сердце прихватило?

— Нет. Кажется, меня обокрали.

Я и в самом деле держался за сердце, обнаружив, что внутренний карман моей куртки пуст.

— Это невозможно. Здесь нет kleptomанов. Вы, должно быть, оставили бумажник у себя в комнате.

— Нет. Когда я вошел, он был еще тут. Я как раз хотел показать вам свою фотографию с бородой и даже нащупал бумажник в кармане, но не вынул.

— Не может быть. Мы здесь одни, а я к вам и близко не подходил...

Смутная догадка мелькнула у меня в голове.

— Вспомните, пожалуйста, возможно точнее, что я делал после того, как мы вошли сюда.

— Вы сразу сели, а я достал бутылку из шкафчика. О чем мы тогда говорили? Ага, о Грамере. Вы рассказали об этой улитке, но я искал пробирки и не видел, что вы делаете. Когда я повернулся к вам, вы сидели... нет, вы стояли. Рядом с тахистоскопом. Вот здесь. Вы заглядывали за перегородку, потом я подал вам виски.. Ну да. Мы выпили, и вы вернулись на свое место.

Я встал и осмотрел аппарат. С одной стороны — стул перед пультом управления, черная стенка с окулярами, за ней боковые лампы, экран и плоский ящик проектора. Я поискал тумблер. Пустой экран засветился. Заглянул за перегородку. Внутри все было выложено оксидированными плитками. Между передней стенкой и черной облицовкой зияла щель — не шире бювара. Я попытался просунуть туда руку, но щель была слишком узкой.

— Есть тут какие-нибудь щипцы? — спросил я. — Как можно более длинные и плоские...

— Не знаю. Скорее всего, нет. Правда, есть зонд. Подойдет?

— Давайте.

Зонд был стальной, гибкий, можно было гнуть его как угодно. Я согнул его крючком, опустил в щель и нащупал там что-то мягкое. После нескольких неудачных попыток пока-

зался черный кожаный угол. Мне понадобилась вторая рука, чтобы за него ухватиться, но она не слушалась. Я позвал практиканта. Он мне помог. Это был мой бумажник.

— Это она, — сказал я, подняв левую руку.

— Но как? Вы ничего не заметили? А главное — зачем?

— Нет. Не заметил, хотя проделать это было непросто. Карман у меня слева. Ловко, незаметно, словно карманный вор. Но это как раз и есть снeciальность правого полушария. Координация движений, во всех играх, в спорте. Зачем? Можно только догадываться. Ведь мыслит оно не вербально, логически, а, скажем так, по-детски. Наверное, оно хотело, чтобы я потерял имя. Тот, у кого нет никаких документов, не имеет и имени для тех, кто его не знает.

— А-а... чтобы вы, значит, исчезли? Но это же магия. Магическое мышление.

— Что-то в таком роде. Но это нехорошо.

— Почему? Оно хочет помочь вам, как умеет. И неувидительно, ведь в конце концов оно — это тоже вы. Только как бы отдельный. Обособившийся.

— Нехорошо потому, что если оно хочет помочь мне, значит, отчасти все же ориентируется в ситуации и понимает: что-то мне угрожает. Бумажник — пустяк, но в следующий раз оно может оказать мне медвежью услугу...

Вечером ко мне заглянул Хоус. Я сидел в постели, уже раздевшись ко сну, в пижаме, и разглядывал левую ногу. Пониже колена красовался здоровенный синяк.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, но...

Я рассказал ему о бумажнике.

— Любопытно. Вы действительно ничего не заметили?

Я опустил глаза, опять увидел этот синяк и вдруг вспомнил мгновенную боль и ее причину. Пытаясь заглянуть за перегородку тахистоскопа, я ударился левой ногой, пониже колена, обо что-то твердое. Было довольно больно, но я не обратил на это внимания. Отсюда, скорее всего, и синяк.

— Необычайно поучительно, — заметил Хоус. — Левая рука не может выполнять сложных движений так, чтобы мышечное напряжение не передавалось правой стороне тела. Поэтому ей надо было отвлечь ваше внимание.

— Вот этим? — Я показал на синяк.

— Ну да. Сотрудничество левой ноги и руки. Почувствовав боль, вы какой-то момент не чувствовали ничего другого. Этого было достаточно.

— И часто такое случается?

— Нет, чрезвычайно редко.

— А если бы кто-нибудь решил всерьез за меня взяться, он тоже смог бы это проделывать? Скажем, колоть меня с правой стороны, чтобы отвлечь от левой, допрашиваемой с пристрастием?..

— Специалист поступил бы иначе. Сначала укол амитала в левую шейную артерию — carotis. Левый мозг тогда засыпает. На несколько минут.

— И этого хватит?

— Если не хватит, введут в артерию маленькую канюлю и начнут подавать амитал по капле. В конце концов заснет и правое полушарие, потому что мозговые артерии соединены между собой так называемыми коллатеральями. Потом надо выждать какое-то время, и можно начинать снова.

Я опустил штанину пижамы и встал.

— Не знаю, надолго ли у меня еще хватит терпения торчать тут, ожидая у моря погоды. Все-таки лучше знать что-то, чем ничего. Возьмитесь за меня всерьез, доктор.

— А почему бы вам не взяться за себя самому? Вы уже умеете понемногу объясняться с левой рукой. Это вам что-нибудь дало?

— Мало что.

— Отказывается отвечать на вопросы?

— Нет, скорее отвечает невразумительно. Я знаю одно: она помнит иначе, чем я. Пожалуй, целыми образами, целыми сценами. Когда я пытаюсь выразить это словами, знаками, получаются головоломки. А может, это как-нибудь записать и попробовать расшифровать — как стенограмму?

— Это скорее занятие для дешифровальщиков, чем для врачей. Допустим, нам удастся сделать такую запись. И что дальше?

— Не знаю.

— Я тоже. А пока — спокойной ночи.

Он вышел. Я погасил свет и лег, но уснуть не мог. Я лежал на спине. Вдруг левая рука приподнялась и медленно погладила меня несколько раз по щеке. Она явно жалела меня. Я встал, включил лампу, принял таблетку секонала и, одурманив таким образом обоих Ийонов Тихих, погрузился в беспомыслие.

Мое положение было не просто плохим. Оно было еще и

дурацким. Я прятался в санатории, сам не зная от кого. Ждал неизвестно чего. Пытался объяснить с самим собою руками, но, хотя левая отвечала даже живее, чем раньше, я не понимал ее. Я рылся в библиотеке санатория, таскал в свою комнату учебники, монографии, груды медицинских журналов, чтобы узнать наконец, кто или что я такое с правой стороны. Я задавал левой руке вопросы, на которые она отвечала с несомненной готовностью; больше того, она научилась новым выражениям и словам, что побуждало меня продолжать эти беседы и в то же время тревожило. Я боялся, что она сравняется со мной, а то и превзойдет меня теперешнего и мне придется не только считаться с нею, но и слушаться ее, или дело кончится распрями и перетягиванием каната, и я тогда не останусь в середине, а лопну или располовинюсь совершенно и стану похож на полураздавленного жучка, у которого одни ноги пытаются бежать вперед, а другие назад. Мне снилось все время, что я от кого-то убегаю и лазаю по каким-то сумрачным кручам, и я представления не имел, какой половине это снилось. То, что я узнал из груды книг, было правдой. Левый мозг, лишенный связи с правым, оскудевает. Речь его становится сухой, избытком вспомогательным глаголом «быть». Разбирая свои записки, я заметил, что так происходит и со мной. Но кроме таких мелочей я ничего особенного не узнал из научной литературы. Там было не счастье гипотез, друг другу совершенно противоречивших; каждую из них я примерял к себе и, обнаружив, что она не подходит, злился на этих ученых, которые делали вид, будто лучше меня знают, что значит быть мною теперешним. Бывали дни, когда я готов был плюнуть на все предосторожности и поехать в Нью-Йорк, в Лунное Агентство. На следующее утро это казалось мне худшим из всего, что я мог сделать.

Тарантога не подавал о себе вестей, и, хотя я сам попросил его ждать от меня знака, его молчание тоже начинало меня раздражать. Наконец я решил взяться за себя по-мужски, так, как это сделал был прежний, не располовиненный Ийон Тихий. Я поехал в Дерлин, захудалый городишко в двух милях от санатория. Говорят, жители хотели назвать его Берлином, но что-то напутали с первой буквой. Я хотел купить там пишущую машинку — чтобы поставить левую руку под перекрестный огонь вопросов, записывать ее ответы и потом попробовать составить из них что-либо осмысленное. А вдруг я — правосторонний кретин, и лишь самолюбие не

позволяет мне убедиться в этом? Блэр, Годдек, Шапиро, Розенкранц, Бомбардино, Клоски и Сереньи утверждали, что немое правое полушарие — не что иное, как кладезь неизвестных талантов, интуиций, предчувствий, невербального, целостного восприятия и чуть ли не гений в своем роде, источник всех тех чудес, с которыми левый рационализм не может примириться: телепатии, ясновидения, духовного перемещения в иные измерения бытия, видений, мистического экстаза и озарения; но Клейс, Цукеркандель, Пинотти, Вихолд, миссис Мейер, Рабауди, Отичкин, Нуэрле и восемьдесят других экспертов заявляли — ничего подобного. Да, конечно, резонатор и организатор эмоций, ассоциативная система, эхо-пространство мысли ну и какая-то там память, но безъязыкая; правый мозг — это алогическая диковина, эксцентрик, фантаст, враль, герменевтик, это дух, но в сыром состоянии, это мука, а также и дрожжи, но хлеб из них может испечь только левый мозг. А третьи были такого мнения: правый — это генератор, левый — селектор, поэтому правый удален от реальности, и руководит человеком, переводит его мысли на людской язык, выражает, комментирует, дисциплинирует и вообще делает из него человека лишь левый мозг.

Для поездки в город Хоус предложил мне свою машину. Он не был удивлен моим намерением и не стал переубеждать меня. Он нарисовал на листке бумаги главную улицу, обозначив крестиком место, где находится универмаг. Однако заметил, что сегодня я уже не успею — была суббота и универмаг закрывался в час дня. Поэтому все воскресенье я бродил по парку, избегая, как только мог, Аделаиды. В понедельник я нигде не нашел Хоуса. Пришлось поехать на автобусе, который ходит раз в час. Он был почти пуст. Кроме негра-водителя — лишь двое мальчишек с мороженым в руках. Городок напоминал американские поселения полувековой давности. Одна широкая улица, телеграфные столбы домики в садиках, низкие живые изгороди, калитки, у каждой из них по почтовому ящику; а собственно город пытались изобразить собою несколько каменных домов у пересечения дороги с автострадой штата. Там стоял почтальон и разговаривал с толстым, обливающимся потом мужчиной в цветастой рубашке, собака которого, здоровенная дворняга в ошейнике, метила мочою фонарь. Я вышел на перекрестке, а когда автобус отъехал, оставив за собою облако воющего дыма, осмотрелся в поисках универмага. Большой,

остекленный, он стоял на противоположной стороне улицы. Два продавца в рабочих халатах при помощи механического подъемника выгружали со склада какие-то коробки и укладывали в грузовик. Солнце палило нещадно. Водитель сидел у открытой двери кабины и потягивал пиво из банки, как видно, уже не первой: пустые валялись у него под ногами. Это был совершенно седой негр, хотя на лицо вовсе не старый. Солнечной стороной улицы шли две женщины; одна, помоложе, катила детскую коляску с крытым верхом, другая, постарше, заглядывала в нее и что-то говорила. Несмотря на жару, она была закутана в шерстяную черную шаль, закрывавшую голову и плечи. Женщины как раз поравнялись с открытой авторемонтной мастерской. Там поблескивали несколько вымытых машин; шумела вода, и шипел под давлением воздух. Все это я замечал мимоходом, уже сходя с тротуара на мостовую, чтобы перейти на другую сторону, к универмагу. Я задержался, потому что большой темно-зеленый «линкольн», стоявший в нескольких десятках шагов, вдруг двинулся в мою сторону; за его зеленоватым ветровым стеклом смутно виднелся силуэт водителя. Мне показалось, что лицо у него черное; негр, должно быть, подумал я и остановился на бровке тротуара, пропуская его, но он довольно резко затормозил прямо передо мной. Я решил было, что он хочет о чем-то спросить, как вдруг кто-то сильно схватил меня сзади и зажал мне рот. Я был так ошарашен, что даже не пробовал сопротивляться. Кто-то сидевший на заднем сиденье открыл дверцу; я начал вырываться, но не смог и крикнуть, так меня сдавила рука. Почтальон бросился к нам, нагнулся и ухватил меня за ноги. Тут что-то застрекотало совсем рядом, и улица в мгновение ока изменила свой вид.

Пожилая женщина бросила шаль на тротуар и повернулась к нам. В руках у нее был автомат с коротким стволом. Это она стреляла, прямо в лоб «линкольну», длинной очередью изрешечивая радиатор и шины, так что пыль взметнулась с асфальта. Седовласый негр уже не пил пиво. Он сидел за баранкой, а его грузовик одним поворотом загородил дорогу «линкольну». Кудлатый пес бросился на женщину с автоматом, завертелся на месте и плашмя упал на асфальт. Почтальон отпустил меня, отскочил, выхватил из своего мешка что-то черное, круглое и бросил в сторону женщин; загрохотало, повалил белый дым, молодая женщина упала на колени за коляской, та непонятным образом раскрылась,

и из нее, словно из огромного огнетушителя, вырвался столб пенистой жидкости, заливая шофера «линкольна», который только что выскочил на мостовую, и, прежде чем пена залила его, я увидел, что его лицо закрыто чем-то черным, а в руках — револьвер. Струя ударила в лимузин с такой силой, что ветровое стекло лопнуло и задело осколками почтальона. Толстяк — он все еще держал меня сзади — пятился, прикрывая себя моим телом. Из гаража вылетели какие-то люди в комбинезонах. Они добежали до нас и оторвали меня от толстяка. Все это не заняло и пяти секунд. Ближайшая к нам машина из тех, что стояли в мастерской, задним ходом выехала через открытые ворота, двое в халатах накинули сеть на шофера «линкольна», стараясь не прикасаться к нему, — он был с головы до ног в клейкой пене. Толстяк с почтальоном, оба уже в наручниках, залезали, подгоняемые ударами, в машину. Я стоял без движения, глядя, как человек, открывший только что дверцу «линкольна», выбирается с поднятыми руками наружу, как послушно идет он к пикапу под дулом револьвера, а седой негр надевает на него наручники. Никто меня не коснулся, никто не сказал мне ни слова. Машина уехала. Пикап, в который посадили раненого, а может быть, застреленного шофера вместе с сообщником, тронулся, женщина подняла с тротуара черную шаль, отряхнула ее, положила автомат в коляску, привела верх в прежнее положение и удалилась как ни в чем не бывало.

Снова стало пусто и тихо. Только «линкольн» со спущенными шинами и разбитыми фарами да застреленная собака свидетельствовали о том, что это мне не привиделось. Рядом с универмагом, в саду, заросшем высокими подсолнухами, располагался одноэтажный деревянный домик с верандой. В открытом окне, с трубкой в руках, стоял, удобно опершись локтями о подоконник, мужчина с темным загаром и светлыми, почти белыми волосами и смотрел на меня спокойно и выразительно, как бы говоря: «Вот видишь?» Лишь теперь до моего сознания дошло нечто еще более удивительное, чем попытка меня похитить: хотя в ушах у меня еще не отзвучали автоматные очереди, взрывы и крик, ни одно окно не открылось и никто не выглянул на улицу, как если бы меня окружала плоская театральная декорация. Я стоял так довольно долго, не зная, что делать дальше. Пишущую машинку купить, пожалуй, не стоило.

— Господин Тихий, — сказал Директор, — наши люди посвятят вас во все подробности Миссии. Я же хочу очертить лишь общую картину — чтобы за деревьями вы не потеряли из виду леса. Женевский трактат осуществил четыре невозможности. Всеобщее разоружение одновременно с продолжающейся гонкой вооружений — это раз. Максимальные темпы этой гонки при нулевых расходах — два. Полная гарантия от внезапного нападения при сохранении права вести войну, если кому-нибудь этого пожелается. Это в-третьих. И наконец, полная ликвидация всех армий, которые, однако, по-прежнему существуют. Никаких войск нет, но штабы остались и могут планировать, что хотят. Словом, мы установили расеш in terris* Понимаете?

— Понимаю, — ответил я, — но я ведь читаю газеты. Гам пишут, что мы попали из огня да в полымя. А тут я еще прочитал, не помню где, что Луна молчит и проглатывает всех разведчиков, потому что Кому-то удалось заключить тайное соглашение с тамошними роботами. И за всем, что делается на Луне, стоит какое-то государство. И Агентство об этом знает. Что вы скажете?

— Абсурд, — произнес энергично Директор.

Мы сидели в его кабинете, по размерам не уступавшим залу. Сбоку, на возвышении, стоял огромный лунный глобус, испещренный оспинами кратеров. Сектора отдельных государств — зеленые, розовые, желтые и оранжевые, как на политических картах, — тянулись от полюса к полюсу, что делало глобус похожим на детскую игрушку или освещенный изнутри стеклянный апельсин без кожуры. За спиной Директора свисал со стены флаг ООН.

— Подобных бредней теперь не счесть, — продолжал Директор, улыбаясь мне со снисходительным выражением на смуглом лице. — Наше пресс-бюро готово представить вам обзор этих рассказней. Они высосаны из пальца.

— Но движение неопацифистов — или лунофилов, — оно-то, наверно, не выдумка?

— Вы про этих лунатиков? Да, разумеется. Вы читали их манифесты? Их программу?

— Читал. Они требуют соглашения с Луной.

— «Соглашения!» — пренебрежительно хмыкнул Дирек-

* Мир на земле — часть евангельского изречения (Лк 2, 14) лат.

тор. — Не соглашения, а капитуляции. Только неизвестно перед кем! Вздорные люди. Воображают себе, будто Луна стала Кем-то, будто можно признать ее стороной в переговорах и в пактах, стороной могущественной и разумной. Будто бы там уже ничего нет, кроме гигантского компьютера, который поглотил все сектора. У страха, господин Тихий, глаза велики, а разум-то крошечный.

— Допустим, но разве можно исключить объединение в какой-либо форме всех вооружений там, на Луне, — тамошних армий — если это армии? Как можно быть уверенным, что ничего такого не произошло, раз ничего не известно?..

— Даже там, где ничего не известно, некоторые вещи невозможны. Сектор каждого государства был оборудован как эволюционный полигон. Вот, посмотрите. — Он взял небольшую плоскую коробочку, и на глобусе начали загораться сектор за сектором, пока весь он не засиял как цветной лампюн. — Вот эти, самые широкие, принадлежат сверхдержавам. Мы, разумеется, знали, что перевозим, ведь в роли перевозчика выступало наше Агентство. Мы также выполняли предварительные работы, рыли котлованы под СУПСы — Супермоделирующие Системы. В каждом секторе есть такая система, окруженная производственным комплексом. Сектора не могут между собою сражаться. Это исключено. СУПС проектирует новые типы оружия; а СЕКСы — Селекционные Контр-Системы — пытаются с ними бороться. То и другое — путем моделирования на компьютерах. Программы исходят из принципа Щита и Меча. Вообразите себе, что каждое государство разместило на Луне двучленный компьютер, который играет в шахматы сам с собою. Но в такие шахматы, где вместо фигур — оружие и в ходе игры может меняться все: разрешенные ходы, ценность фигур, форма доски. Все.

— Как же так, — удивился я. — Выходит, там нет ничего, кроме компьютеров, моделирующих гонку вооружений? Чего же тогда бояться Земле?.. Смоделированное оружие не опасней листка бумаги...

— Да нет же! Отобранные проекты идут в реальное производство. Другое дело, и именно в этом суть проблемы, когда идут. Выглядит это так: СУПС проектирует не какой-либо один тип оружия, а целую систему военного противоборства. Безлюдную, разумеется. Солдат и оружие тут — единое целое. Это как в естественной эволюции. Борьба за выживание,

понимаете? Ну, скажем, СУПС проектирует каких-нибудь хищников, а СЕКС старается нащупать их слабые стороны, чтобы их уничтожить. Если это ему удастся, СУПС выдумывает что-нибудь новое, — а тот опять отвечает контрударом. В принципе такая моделируемая борьба могла бы продолжаться и миллион лет, — но когда-то нужно начать реальное производство оружия. Через *какое-то* время — и *какая* эффективность требуется от опытных образцов, — заранее установили программисты данного государства. Ведь каждое государство хотело иметь на Луне реальный запас оружия, арсенал, а не только модели в виде планов на бумаге или в компьютере. Но и тут есть своя заковыка, серьезное противоречие. Догадываетесь, какое?

— Не вполне.

— Моделируемая эволюция протекает гораздо быстрее реальной. Тот, кто *дольше* ждет результатов моделирования, получает оружие *более совершенное*. Но, пока он ждет, он остается безоружным. Тот же, кто выбрал более короткий период моделирования, перевооружится быстрее. Мы называем это коэффициентом риска. Каждое государство, размещая на Луне свой военный потенциал, должно было заранее решить, что предпочтительнее: лучшее оружие, но позже, либо оружие поуже, но быстрее.

— Странно как-то, — заметил я. — А что происходит, когда производство все-таки начинается? Оружие направляют на склады?

— Какую-то часть — возможно. Но только часть. Потому что тогда начинается уже настоящая, не моделируемая война, разумеется, лишь в границах данного сектора.

— Вроде маневров?

— Нет. На маневрах только делали вид, что воюют; солдаты не гибли, а там, — Директор показал на светящуюся разноцветную Луну, — воюют по-настоящему. В границах сектора, повторяю. Никто и ничто не может напасть на соседний...

— Значит, сперва эти вооружения сражаются и уничтожают друг друга в компьютерах, понарошку, а потом уж всерьез? А что дальше?

— Вот тот-то и оно! Неизвестно, что дальше. Вообще говоря, имеются две возможности. Либо гонка вооружений имеет предел, либо нет. Если имеет — значит, существует «абсолютное оружие», и гонка, в виде моделируемой эволюции, рано или поздно приведет к созданию этого оружия.

Само себя оно победить не может, и возникает ситуация стабильного равновесия. Развитие прекращается. Лунные арсеналы заполняются оружием, выдержавшим это последнее испытание, и больше ничего не происходит. Мы хотели бы, чтобы все было именно так.

— А это не так?

— Почти наверняка нет. Во-первых, естественная эволюция не имеет конца. Потому что не существует никаких «абсолютных», «окончательных», идеально приспособленных к жизни организмов. У любого вида есть свои слабые стороны. Во-вторых, на Луне ведь идет не естественная эволюция, а искусственная, и притом эволюция вооружений. Каждый сектор наверняка старается следить за развитием в других секторах и реагирует на это по-своему. Военное равновесие — нечто иное, чем биологическое равновесие. Живые виды не могут быть чересчур эффективны в борьбе с конкурентами. Почему? Абсолютно заразные микробы умертвили бы все питающие их организмы и сами погибли бы. Поэтому в Природе равновесие устанавливается ниже уровня уничтожения. Иначе эволюция оказалась бы самоубийственной. А развитие вооружений имеет целью достижение перевеса над противником. У оружия нет инстинкта самосохранения.

— Погодите, господин Директор, — сказал я, пораженный внезапной мыслью. — Ведь каждое государство могло тайком построить на Земле точно такую же систему, как лунная, и, наблюдая за ее работой, дознаться, что там подделывает близнец?..

— Вот и нет! — воскликнул Директор с лукавой улыбкой. — Это как раз невозможно! Ход эволюции нельзя предсказать. В этом мы убедились на практике.

— Как?

— Так, как вы сказали. Мы ввели в одинаковые компьютеры одинаковые программы и пустили их в ход. Пошла эволюция — пальчики оближешь, но только везде по-своему. Все равно как если бы вы захотели предсказать ход шахматного турнира в Москве между сотней компьютеров гроссмейстерской силы, моделируя ход игры на сотне таких же компьютеров в Нью-Йорке. Что вы узнаете о московском турнире? Ровно ничего. Ведь ни один игрок, человек он или компьютер, не повторяет одни и те же ходы. Действительно, политики хотели иметь такие моделирующие устройства, но это им ничего не дало.

— Превосходно. Но если никто до сих пор ничего не добился и все ваши разведчики словно в воду канули, как я могу рассчитывать на успех?

— Вы получите средства, которых еще никто не имел. О подробностях узнаете от моих подчиненных. Желаю удачи..

Три месяца кряду я в поте лица трудился на тренажерах в исследовательском центре Лунного Агентства и могу сказать по совести, что под конец я знал телематику как свои пять пальцев. Телематика — это искусство управления теледублем. Нужно раздеться догола и натянуть эластичный комбинезон, отдаленно напоминающий водолазный, но из более тонкого материала и сверкающий как ртуть, потому что он соткан из проводов тоньше паутины. Это электроды. Прилегая в телу, они через кожу регистрируют изменения электрического поля в мышцах и транслируют их теледублю, а тот благодаря этому абсолютно точно воспроизводит любое ваше движение. Это, впрочем, еще не так удивительно. Удивительнее другое: вы не только видите все окружающее глазами теледубля, но и чувствуете то, что чувствовали бы на его месте. Когда он берет камень, вы чувствуете его форму и вес так, как если бы сами держали его в руке. Ощущаете каждый шаг, каждую заминку, а если дубль ударится обо что-нибудь слишком сильно — то и боль. Это казалось мне лишним, но доктор Мигель Лопес, руководивший моим обучением, доказывал, что так и должно быть. В противном случае теледублю постоянно грозила бы опасность получить повреждение. При сильной боли можно выключить канал, по которому она транслируется, но лучше специальным регулятором уменьшить ее интенсивность, чтобы все-таки знать, как там дела у дубля. Человек, влезший в искусственную шкуру, перестает ощущать, где находится его собственная особа, и перевоплощается в теледубля. Я тренировался на разных моделях. Вообще-то дублю вовсе не обязательно быть человекоподобным, он может быть меньше гнома или больше Голиафа, но при этом возникают различные трудности. Если вместо ног у него, скажем, гусеницы, пропадает ощущение непосредственного контакта с почвой, почти как при вождении автомобиля или танка. Если дубля сделать великаном, вдесятеро больше человека, двигаться в нем приходится очень медленно, ведь его руки и ноги весят десятки тонн каждая и обладают соответствующей инер-

цией, которая на Луне точно такая же, как на Земле. Я испытал это на себе, воплотившись в двухсоттонного теледубля: ощущение было такое, словно шагаешь под водой, хотя сопротивление оказывала не вода, а масса ног и всего корпуса. Впрочем, дубль-гигант был бы только помехой, мишенью размером с башню. Зато в моем распоряжении была, среди прочих, серия «гномиков» — теледублей один другого меньше. Скорее уж они смахивали на насекомых. Забавные существа, ничего не скажешь, но с такой высоты любой камешек кажется целой горой и трудно ориентироваться на местности. Более тяжелые лунные дубли выглядели довольно диковинно. Толще всего у них были ноги — короткие, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже. Такой ЛЕМ (Lunar Efficient Missionary) сохраняет равновесие лучше чем человек в скафандре; он не покачивается при ходьбе, а руки у него длинные, как у орангутана. Такие руки очень удобны при двадцатиметровых прыжках.

Прежде всего я хотел услышать, какие модели применялись в прежних рекогносцировках и как у них пошло дело. Чтобы посвятить меня в эти подробности, моим опекунам пришлось получить особое разрешение Директора: чего ни коснись, все тут было секретным. Объясняли это нежеланием привлекать внимание прессы, которая и без того раздувала панику самыми невероятными домыслами. СОМ, Служба Охраны Миссии, выдавала меня за советника Лунного Агентства, а журналистов я должен был сторониться пуще чумы. В конце концов я смог расспросить обоих разведчиков, вернувшихся невредимыми, но даже их я не видел, а только беседовал с ними по телефону, по отдельности с каждым. Кажется, обоим дали новые имена и сверх того так перекроили им внешность, что родная мать не узнала бы. Первый, Лон — но имя это наверняка, было ненастоящим, — без осложнений вошел в Зону Радиомолчания, вышел на селеностационарную орбиту примерно в двух тысячах миль над Морем Облаков и выслал бронированного теледубля, который высадился в совершенно пустынной местности. Не пройдя и ста шагов, он был атакован. Я пытался разузнать хоть какие-нибудь подробности, но Лон твердил все одно и то же: шел по равнине Моря Облаков, один как перст, — впрочем, перед тем он изучил окрестности в радиусе нескольких сот километров и не заметил ничего подозрительного, — как вдруг откуда-то сбоку, совсем рядом,

появился огромный, по крайней мере вдвое больше ЛЕМа, робот и открыл огонь. Лона ослепила бесшумная вспышка — и все. Потом он, понятно, фотографировал это место с орбиты; рядом с маленьким кратером лежали останки дубля, спекшиеся в грудку металлического шлака, а вокруг — мертвая пустыня. У следующего разведчика было два теледубля, но первый сразу же после старта закувыркался и разбился о скалы, а второй был, собственно, «двойкой», или, иначе, «двойняшками». «Двойняшками» прозвали пару дублей, приводимых в движение одним человеком. Поэтому они делают все в унисон. Первый должен был идти впереди, а второй за ним, в некотором отдалении, чтобы увидеть, кто нападет на ведущего. Кроме того, в сопровождение им выделили микропов, то есть микроскопических циклопов. Это некое подобие телекамеры, состоящей из целого роя датчиков не больше мушки каждый, снабженных микроскопическими объективами; целое облако микропов следовало за «двойняшками», зависнув на высоте не менее мили над лунной поверхностью, чтобы не выпускать теледублей и их окружение из поля зрения. Человек управлял теледублями, а микропы передавали изображение прямо на Землю, в центр управления полетом. Результаты так прекрасно задуманной и огражденной, казалось бы, от всевозможных опасностей экспедиции были плачевны. Оба дубля подверглись уничтожению, как только встали на лунный песок; причем мой второй собеседник утверждал, будто они были атакованы двумя роботами странной конструкции — низкими, горбатыми и необычайно толстыми; он помнил, что они возникли попросту из ниоткуда и сразу направились к нему, поэтому он изготавился к выстрелу, но не успел даже нажать на спуск. Увидел бело-голубую вспышку, наверняка лазерную, и пришел в сознание уже на борту корабля. Потом он сфотографировал то, что осталось от дублей, а земная служба контроля подтвердила лишь последний пункт его рапорта. Теледубли действительно раскалились и мгновенно распались, словно пораженные мощным лазером, но источник выстрела установить не удалось.

Я целиком просмотрел фильм, запечатлевший все увиденное микропами, а также снимки последних, критических секунд — в максимальном увеличении. Компьютер проанализировал изображение каждого камушка в радиусе двух километров — именно таково расстояние до лунного горизонта, а лазер бьет лишь по прямой. Выглядело это и в самом деле

загадочно. Оба дубля сели очень удачно, даже не пошатнулись, встав ногами на грунт, и зашагали один за другим в замедленном темпе, а затем одинаковым движением подняли свои ручные лучеметы — словно заметили какую-то опасность, хотя на снимках ничто на нее не указывало, — открыли огонь и тут же были поражены сами, один в грудь, второй чуть ниже. Лучевой удар разнес их на куски, в тучах пыли и жарком свечении металла. Хотя изображение анализировали так и эдак, стараясь засечь точку, из которой последовал лазерный залп, установить не удалось ничего. Даже в Сахаре не так пусто, как пусто было на этих снимках. Невидимыми остались и сами нападавшие, и их оружие. Но разведчик упорно стоял на своем: в момент нападения он увидел двух больших, уродливо сторбленных роботов там, где на долю секунды раньше их наверняка не было. Они возникли из ничего, изготовились к выстрелу, дали залп и исчезли. Как исчезли — этого он разглядеть глазами дублей не смог, те уже распадались, но с борта корабля он еще успел увидеть оседающую тучу пыли на месте катастрофы. Именно здесь его сообщение совпало с данными наблюдения микропов. На переданном ими изображении были прекрасно видны раскаленные куски теледублей в клубах лунных песчинок, но больше ничего.

Узнал я немного, но и это не было лишено для меня смысла, так как означало, что из Миссии можно вернуться невредимым. По поводу непонятого нападения возникло немало гипотез, включая гипотезу, согласно которой *Нечто* на Луне переняло контроль над обоими теледублями и заставило их уничтожить себя встречным огнем. Увеличенные снимки показали, однако, что дубли целили вовсе не один в другого, но куда-то в сторону, а максимально точные замеры показали, что ответный лазерный залп разнес их практически одновременно — через десятиллионную долю секунды после их собственного выстрела. Спектральный анализ пылающих панцирей позволил установить, что мощность лазеров, примененных лунной стороной, равнялась мощности лазеров «двойняшек», но отличалась по спектру излучения.

На Земле нельзя воспроизвести слабое лунное притяжение, поэтому после вводного курса на полигоне я несколько раз в неделю летал на орбитальную станцию Агентства, где смонтировали специальную платформу с силой тяжести шестеро меньше земной. Когда я совсем освоился в шкуре те-

ледубля, началась следующая стадия испытаний, чрезвычайно похожих на реальность, хотя и абсолютно безопасных. Однако особенно приятными я бы их не назвал. Я вышагивал по мнимой Луне среди малых и больших кратеров, не зная, что и когда застанет меня врасплох.

Поскольку мои вооруженные предшественники ничего не добились, штаб миссии решил, что мне лучше отправиться без оружия. Я должен был продержаться в теледубле как можно дольше, ведь каждая секунда позволяла сделать множество наблюдений микропам, целый рой которых будет надо мной висеть. На успешную защиту все равно надеяться нечего, разъяснял Тоттентанц, так что мне надлежало проникнуть в безжизненную, ошестинившуюся смертью зону и неизбежно потерпеть поражение, а вся надежда была на то, что поражение окажется поучительным. Первые разведчики требовали, чтобы их вооружили, по очень понятным мотивам психологического порядка. Всегда спокойнее в минуту опасности держать палец на спусковом крючке. Среди инструкторов-наблюдателей — я называл их истязателями — были и психологи. Они неусыпно пеклись о том, чтобы я привык ко всякого рода неприятным сюрпризам. Хотя я и знал, что всерьез мне ничто не угрожает, по искусственной Луне я ступал как по раскаленной жаровне, настороженно озираясь по сторонам. Одно дело — искать противника, которого себе представляешь, и совершенно иное — не иметь понятия, не раскроется ли вдруг лежащий неподалеку булыжник, с виду мертвей покойника, чтобы полить тебя огнем. Хотя все это была имитация, каждый такой сюрприз был достаточно пакостным. Правда, автоматические выключатели прерывали связь между мною и дублем при поражении огнем, однако действовали они с запаздыванием, пусть минимальным, в долю секунды, и я множество раз пережил не поддающееся описанию чувство: разлетаешься на куски с оторванной головой, и видишь ее глазами, пока они еще не потухли, потроха, вываливающиеся из распоротого живота. Хорошо хоть потроха были из кремния и фарфора.

Я пережил десятки таких агоний и поэтому ясно себе представлял, сколько занимательного ожидает меня на Луне. Разорванный на куски уже не помню который раз, я пошел к Сульцеру, главному телетронщику, и выложил свои сомнения ему на стол. Быть может, я и вернусь с Луны с целыми руками и ногами, бросив там останки расстрелянных

ЛЕМов, но какой в этом, собственно, прок? Что можно узнать о неведомых системах оружия за доли секунды? Зачем вообще посылать туда человека, раз он все равно не может высадиться?

— Вы же знаете, господин Тихий, зачем, — сказал он, угощая меня рюмкой шерри. Он был низенький, худой и лысый как колено. — С Земли ничего не получится. Четыреста тысяч километров — это почти трехсекундное запаздывание управляющего сигнала. А вы снизьтесь до предела. До полутора тысяч километров еще можно — это нижняя граница Зоны Молчания.

— Да не о том речь. Если мы заранее предполагаем, что дубль не просуществует и минуты, можно послать его отсюда с микропами, которые зарегистрируют его гибель.

— Это мы уже делали.

— И что же?

— И ничего.

— А микропы?

— Показывали облачко пыли.

— А разве нельзя послать вместо теледубля что-нибудь покрепче, в приличном панцире?

— Что вы считаете приличным панцирем?

— Ну, допустим, шар вроде тех, что применялись раньше при исследовании океанских глубин. С перископами, датчиками и так далее.

— Нечто подобное делалось. Не совсем так, как вы говорите, но в этом роде.

— И что?

— Он даже не пискнул.

— С ним что-то случилось?

— Да нет. Он лежит там посейчас. Связь отказала.

— Почему?

— Вопрос — на шестьдесят четыре тысячи долларов. Знай мы это, мы не стали бы вас беспокоить.

Таких бесед у меня было за это время несколько. По завершении второй стадии подготовки я получил увольнительную. Три месяца я прожил на строго охраняемой территории базы и мечтал хотя бы на один вечер вырваться из этой казармы. Поэтому я пошел к Начальнику Охраны (НО — так он именовался) за пропуском. Прежде я его ни разу не видел. Меня принял хмурый выцветший субъект совершенно невоенного вида, в рубашке с короткими рукавами, выслушал, изобразил на лице сочувствие и сказал:

— Мне очень жаль, но я не могу вас выпустить.
— Как? Почему?
— Так мне приказано. Официально я ничего больше не знаю.

— А неофициально?
— Неофициально тоже ничего. Должно быть, они боятся за вас.

— На Луне — это я понимаю, но здесь?!
— Здесь еще больше.
— Значит ли это, что до отлета я не смогу выйти отсюда?
— К сожалению, да.

— В таком случае, — сказал я очень тихо и вежливо, как обычно, когда дохожу до белого каления, — я никуда не полечу. Об этом не было уговора. Я обязался рисковать головой, но не сидеть в каталажке. Лететь я вызвался по собственной охоте. Теперь у меня ее нет. Силком запихнете меня в ракету или как?

Я стоял на своем и в конце концов получил пропуск. Хотелось почувствовать себя обычным прохожим, погрузиться в городскую толпу, пожалуй, сходить в кино, а больше всего — поужинать в приличном ресторане, а не в военной столовой с типами, которые за едой по секундам разбирали предсмертные минуты Ййона Тихого в полыхающем как фейерверк теледубле. Доктор Лопес дал мне свою машину, и я выехал, когда уже начинало смеркаться. При въезде на автостраду я увидел в свете фар фигуру с поднятой рукой возле небольшого автомобиля с включенными аварийными огнями. Я притормозил. Это была молодая женщина в белых брюках и белом свитере, блондинка с пятнами машинного масла на лице. «Похоже, мотор заклинило», — сказала она. Действительно, стартерной ручкой не удалось сделать и оборота, поэтому я предложил подвезти ее до города. Когда она забирала плащ из своей машины, на переднем сиденье я заметил крупного мужчину. Он был неподвижен, как чурбан. Я присмотрелся к нему поближе.

— Это мой дубль, — пояснила она. — Сломался. Все у меня ломается. Хотела отвезти его в мастерскую.

Голос у нее был глуховатый, чуть хриплый, почти детский. Мне показалось, я уже слышал его когда-то. Почти наверное. Я открыл правую дверцу, чтобы дать ей войти и, прежде чем лампочка над зеркалом заднего обзора погасла, увидел ее лицо вблизи. Я остолбенел, до того она была по-

хожа на Мэрилин Монро, кинозвезду прошлого века. То же лицо, то же, как будто бессознательно наивное выражение губ и глаз. Она попросила остановить машину у какого-нибудь ресторана, где можно умыться. Я сбавил скорость, и мы медленно поехали мимо подсвеченных рекламных щитов.

— Сейчас будет итальянский ресторанчик, совсем недурной, — сказала она.

Действительно, впереди светился неон: Ristorante. Я поставил машину на автостоянке. Мы вошли в полутемный зал. На немногочисленных столиках горели свечи. Девушка пошла в туалет, а я, после некоторого колебания, уселся в боковой нише. Деревянные лавки окружали столики с трех сторон. Зал был почти пуст. На привычном фоне разноцветных бутылок рыжий бармен мыл стаканы, рядом вела на кухню маятниковая дверь, обшитая полированной медью. В соседней нише сидел посетитель за тарелкой с остатками еды и, склонившись, что-то писал в блокноте. Девушка вернулась.

— Есть хочется, — заявила она. — Я простояла больше часу. Хоть бы кто-нибудь остановился. Возьмем что-нибудь? Приглашаю.

— Хорошо, — согласился я.

Толстый мужчина, сидевший у стойки спиной к нам, уткнулся носом в стакан. Между ног он держал большой черный зонт. Появился кельнер, принял у нас заказ, держа в руках поднос с грязной посудой, и, толкнув ногой дверь, исчез на кухне. Блондинка молча достала из кармана брюк мятую пачку сигарет, прикурила от свечи, протянула пачку мне, я поблагодарил кивком. Я пытался, стараясь не слишком пристально вглядываться, определить, чем она отличается от той. Ничем. Это было тем удивительнее, что множество женщин мечтали быть похожими на Монро и ни одной это не удалось. Та была неповторима, хотя не обладала какой-то поразительной или экзотической красотой. О ней написано много книг, но ни в одной не схвачено сочетание детскости с женственностью, выделявшее ее среди всех остальных. Еще в Европе, разглядывая ее фотографии, я однажды подумал, что ее нельзя было бы назвать девушкой. Она была женщина-подросток, вечно словно бы удивленная или изумленная, веселая, как капризный ребенок, и в то же время скрывающая отчаяние или страх, словно ей некому было доверить какую-то грозную тайну. Незна-

комка глубоко затягивалась дымом и выпускала его изо рта в сторону свечи, мерцающей между нами. Нет, это было не сходство, а тождество. Я чувствовал, что, если примусь в ней разбираться, хватит причин для подозрений; я как-никак не слепой, и могло показаться странным, почему она носит сигареты в кармане — привычка вовсе не женская. А ведь у нее была сумочка, которую она повесила на подлокотник, и к тому же большая, чем-то набитая. Кельнер принес пиццу, но забыл о кьянти; он извинился и выбежал из зала. Вино принес уже другой. Я это заметил, потому что здесь все было устроено в стиле таверны, и кельнеры ходили опоясанные длинными, до колен, салфетками, словно фартуками. Но этот второй кельнер держал свою салфетку на сгибе руки. Наполнив наши рюмки, он не ушел, а только чуть отступил и остался стоять за перегородкой. Я видел его, словно в зеркале, в сияющей меди двери, ведущей на кухню. Блондинка, сидевшая глубже, пожалуй, не могла его видеть. Пицца была так себе: тесто довольно жесткое. Мы ели молча. Отодвинув тарелку, она снова потянулась за пачкой «Кэмела».

— Как вас зовут? — спросил я. Я хотел услышать незнакомое имя, чтобы отделаться от впечатления, будто передо мной та, другая.

— Выпьем сначала, — сказала она своим чуть хриловатым голосом, взяла наши рюмки и поменяла местами.

— Это что-нибудь значит? — спросил я.

— Такая уж у меня примета.

Она не улыбалась.

— За нашу удачу!

С этими словами она поднесла рюмку ко рту. Я тоже. Пицца была густо поперчена, и я выпил бы вино одним глотком, но что-то вдруг с треском выбило рюмку у меня из руки. Кьянти забрызгало девушку, кровавыми пятнами разлилось по ее белому свитеру. Это сделал этот кельнер. Я хотел вскочить, но не смог. Мои ноги были далеко под деревянной лавкой, и, прежде чем я их оттуда вытащил, все вокруг пришло в движение. Кельнер без фартука прыгнул вперед и схватил ее за руку. Она вырвалась и подняла обеими руками сумочку, словно прикрывая лицо. Бармен выбежал из-за стойки. Сонный, лысый толстяк подставил ему ногу. Бармен с грохотом рухнул на пол. Девушка сделала что-то с сумочкой. Оттуда, как из огнетушителя, вырвалась струя белой пены. Кельнер, который был уже рядом с ней,

отскочил и схватился за лицо — все в белой пене, стекающей на жилет. Блондинка выстрелила белой струей в другого кельнера, который успел прибежать из кухни; он вскрикнул, пораженный ударом пены. Оба отчаянно терли глаза и лица, облепленные белым месивом, как у актеров немой комедии, швыряющих друг в друга тортами. Мы стояли в белесом тумане, потому что пена сразу испарялась, распространяя резкий, едкий запах и мутными клубами заполняя зал. Блондинка, бросив быстрые взгляды на обоих обезвреженных кельнеров, направила сумочку на меня. Я понимал, что наступила моя очередь. Мне и сейчас любопытно, почему я не пробовал заслониться. Что-то большое и темное возникло передо мной. Черная материя загремела как бубен. Это был все тот же толстяк. Он заслонил меня открытым зонтом. Сумочка полетела на середину зала и почти беззвучно взорвалась. Из нее повалил темный густой дым, смешиваясь с белым туманом. Бармен вскочил с пола и уже неся вдоль стойки к кухонной двери — та все еще качалась. Блондинка исчезла за ней. Толстяк бросил под ноги бармену раскрытый зонт, бармен перепрыгнул через него, потерял равновесие, повалился боком на стойку, с грохотом смел с нее все стекло и проскочил через маятниковую дверь. Я стоял и смотрел на это побоище. Почерневшая сумочка все еще дымила между столиками. Белая мгла рассеивалась, пощипывая глаза. Вокруг раскрытого зонта валялись на полу осколки тарелок, стаканов, рюмок, кусочки пиццы, облепленные клейким месивом и залитые вином. Все случилось так быстро, что бутылка кьянти все еще катилась в своей оплетке, пока не уперлась в стену. Из-за перегородки, отделявшей мой столик от соседнего, поднялся человек — тот самый, что писал в блокноте и пил пиво. Я узнал его сразу. Это был выцветший мужчина в гражданском, с которым я два часа назад препирался на базе. Он меланхолически приподнял брови и заметил:

— Ну, так стоило ли, господин Тихий, бороться за этот пропуск?

— Плотно свернутая салфетка на небольшом расстоянии неплохо защищает от пистолетного выстрела, — задумчиво произнес Леон Грюн, начальник охраны; коллеги называли его Лоэнгрином. — Еще во времена пелерин каждый полицейский во Франции знал этот способ. Парабеллум или беретта не уместились бы в сумочке. Конечно, у нее могла

быть и дорожная сумка, но вытащить пушку побольше — это требует времени. Все же я посоветовал Трюфли взять зонт. Просто наитие какое-то, ей-богу. Это ведь был сальпектин, не так ли, доктор?

Химик, к которому был обращен вопрос, почесал за ухом. Мы сидели на базе, в прокуренной, полной народу комнате, далеко за полночь.

— А кто его знает? Сальпектин или какая-нибудь другая соль со свободными радикалами, в пульверизаторе. Радикалы аммония плюс эмульгатор и добавки, снижающие поверхностное натяжение. Под приличным давлением — минимум пятьдесят атмосфер. Немало вошло в эту сумочку. У них, как видно, прекрасные специалисты.

— У кого? — спросил я, но никто, казалось, не слышал моего вопроса. — С какой целью? Для чего это было нужно? — спросил я еще раз, громче.

— Обезвредить вас. Ослепить, — отозвался Лоэнгрин с радушной улыбкой. Он зажег сигарету и тут же с гримасой отвращения затушил ее в пепельнице. — Дайте мне чего-нибудь выпить. Я весь прокурен, как заводская труба. Вы, господин Тихий, стойте нам уйму здоровья. Организовать такую охрану за полчаса — это не фунт изюму.

— Хотели меня ослепить? На время или навсегда?

— Трудно сказать. Это чертовски едкая штука, знаете ли. Может, вам и удалось бы выкарабкаться — после пересадки роговой оболочки.

— А те двое? Кельнеры?

— Наш человек закрыл глаза. Успел-таки. Хорошая реакция. Сумочка все же была в некотором роде новинкой.

— Но почему тот — лжекельнер — выбил у меня из рук рюмку?

— Я с ним не беседовал. Для бесед он сейчас мало пригоден. Потому, наверно, что она поменяла рюмки.

— Там что-то было?

— На девяносто пять процентов — да. Иначе зачем бы ей это?

— В вине не могло быть ничего. Она пила тоже, — заметил я.

— В вине — нет. В рюмке. Она ведь играла рюмкой, пока не пришел кельнер?

— Точно не помню. Ах да. Она вертела ее между пальцами.

— Вот именно. Результаты анализа придется подождать.

Только хроматография может что-то установить, потому что все пошло вдребезги.

— Яд?

— Я склонен так полагать. Вас надлежало обезвредить. Вывести из строя, но необязательно убивать. Это вряд ли. Нужно представить себя на их месте. Труп не очень-то выгоден. Шум, подозрения, пресса, вскрытие, разговоры. К чему это? А вот солидный психоз — дело другое. Решение более изящное. Таких препаратов теперь не счесть. Депрессия, помрачение рассудка, галлюцинации. Опрокинув ту рюмочку, вы, я думаю, ничего не почувствовали бы. Только назавтра, а то и позже. Чем дольше скрытый период, тем больше это похоже на настоящий психоз. Кто сегодня не может рехнуться? Каждый может. Я первый, господин Тихий.

— Ну, а пена? Пульверизатор?

— Пульверизатор был последним аргументом. Пятое колесо в сундуке. Она применила его, когда уже нельзя было иначе.

— А кто эти «они», о которых вы все время говорите?

Лоэнгрин добродушно улыбался. Он вытер вспотевший лоб платком не первой свежести, с неодобрением посмотрел на него, засунул в карман и сказал:

— Вы сущий ребенок. Не все так восхищены вашей кандидатурой, как мы, господин Тихий.

— У меня есть дублер? Я никогда не спрашивал... есть ли кто-нибудь в резерве? Может, так удалось бы установить — кто?

— Нет. Сейчас нет *одного* дублера. Их целое множество — с одинаковыми оценками, так что пришлось бы начинать заново всю процедуру. Весь отбор. Тогда мы могли бы что-нибудь найти, но сейчас — нет.

— И еще одно я хотел бы узнать, — проговорил я после некоторой заминки. — Откуда она такая взялась?

— Это нам частично известно. — Лоэнгрин опять улыбался. — Вашу европейскую квартиру пару недель назад перетрясли всю. Ничего не пропало, но все было осмотрено. Вот оттуда.

— Не понимаю?..

— Библиотека. У вас есть книги и два альбома о Мэрилин. Ваша слабость, как видно.

— Вы перевернули мою квартиру вверх дном и не сказали ни слова?

— Все стоит, как стояло, и даже пыль вытерта, а что касается визитов, то мы были не первыми. Сами видите, как хорошо, что наши люди рассмотрели как следует даже книги. Мы молчали, чтобы не беспокоить вас. И без того у вас голова забита. Максимальная концентрация вам совершенно необходима. Мы — ваша коллективная нянька, — он очертил рукой круг, указывая на присутствующих — толстяка, уже без зонта, и трех молчаливых мужчин, подпиравших стены. — Поэтому, когда вы потребовали пропуск, я счел за лучшее дать его вам, а не тратить время на разговоры о вашей квартире. Все равно это вас не остановило бы, верно?

— Не знаю. Должно быть, нет...

— Вот видите.

— Хорошо. Но я имел в виду сходство. Боже мой! Она была — человеком?

— Постольку, поскольку. Непосредственно — нет. Хотите посмотреть на нее? Она у нас здесь, в той комнате, — он показал на дверь за своей спиной. Хотя я понял его, какую-то долю секунды у меня в голове колотилась мысль, что Мэрилин умерла во второй раз.

— Продукция «Джинандроикс»? — медленно спросил я. — Телеподружка?..

— Только фирма не сходится. Их несколько. Ну как, хотите взглянуть?

— Нет, — произнес я решительно. — Но в таком случае кто-то ведь должен был ею... управлять?

— Разумеется. Он улизнул. Вернее, она. Женщина, с незаурядным актерским талантом, мимика, жесты — вы заметили? — были высшего класса. Любитель так не сумел бы. Добиться такого сходства, как бы это сказать? — вдохнуть в нее этот дух — тут было не обойтись без исследований. Ну и без тренировки. После Монро остались фильмы. Это, конечно, помогло... но все-таки... — Он пожал плечами. Говорил по-прежнему он один. За всех.

— Значит, вот как они расстарались... Зачем?

— А вы взяли бы в машину старушку?

— Взят бы.

— Но пиццу с ней есть не стали бы. Во всяком случае, не наверняка, а нужна была полная уверенность. Чтобы заинтриговать вас. Да вы и сами, должно быть, прекрасно все понимаете, дорогой мой. Пора уже закрыть эту главу.

— Что вы с ней... сделали?

Я, собственно, хотел спросить: «Вы убили ее?..» — хотя сознавал бессмысленность такого вопроса. Он меня понял.

— Ничего. Дублетка с отключенной связью валится с ног сама, как колода. Ведь это кукла.

— Почему она тогда убежала?

— Потому что, исследуя изделие, можно узнать кое-что об изготовителях. В нашем случае вряд ли, но они хотели убрать все паруса. Чтобы ни следа не осталось. Скоро уже три. Вы должны беречь себя, господин Тихий. У вас, прошу прощения, старосветские сантименты. Спокойной ночи и приятных снов.

Назавтра было воскресенье. По воскресеньям мы не работали. Я брился, когда курьер принес мне письмо. Профессор Лакс-Гуглиборк хотел со мною увидеться. Я уже слышал о нем — телематик, специалист по связи. У него была собственная лаборатория на территории базы. Я оделся и ровно в десять вышел. На обороте письма он нарисовал, как к нему пройти. Между одноэтажных строений стоял длинный павильон, окруженный садом за высокой металлической сеткой. Я нажал на кнопку звонка раз, потом еще раз. Сперва над звонком загорелась надпись «МЕНЯ НИ ДЛЯ КОГО НЕТ». Потом в замке что-то звякнуло, и калитка открылась. Узкая, посыпанная гравием дорожка вела к металлической двери. Она была заперта. И без ручки. Я постучал снова. Хотел было уйти, но тут дверь приоткрылась, и из-за нее выглянул высокий худой человек в голубом халате с пятнами и подтеками. Почти лысый, с коротко подстриженными волосами, поседевшими на висках, в толстых очках, за которыми его глаза казались меньше. Может быть, как раз из-за этих бифокальных очков чудилось, будто он все время удивлялся чему-то, тараща круглые рыбы глазки. Длинный, выноживающий нос, массивный лоб.

Он молча отступил. Когда я вошел, он запер дверь, и притом не на один замок. Коридор тонул в темноте. Профессор шел впереди, я за ним, придерживаясь рукой за стену. Как-то все это было странно, по-конспираторски. В сухом горячем воздухе стоял запах химикатов. Следующая дверь раздвинулась перед нами. Он пропустил меня вперед.

Я очутился в большой лаборатории, забитой буквально до потолка. Повсюду высились поставленные один на другой аппараты из черного оксидированного металла, соединенные кабелями. Переплетаясь, кабели тянулись по всему полу.

Посередине — лабораторный стол, тоже заваленный аппаратурой, бумагами, инструментами, а рядом стояла клетка, настоящая клетка для попугаев, из тонкой проволоки, но такая большая, что в ней поместилась бы горилла. Всего необычнее были куклы, лежавшие рядами вдоль трех стен — нагие, похожие на выставочных манекенов, без голов или с открытыми черепами; их груди были распахнуты, словно дверцы, и плотно заполнены какими-то соединениями и пластинками, упакованными ровными рядами, а под столом, отдельной кучей, лежало множество рук и ног. В этой забитой вещами комнате не было окон. Профессор сбросил со стула мотки проводов и какие-то электронные детали; с ловкостью, которой я у него не мог заподозрить, залез на четвереньках под стол, вытащил магнитофон и включил его. Сидя на корточках и глядя мне снизу в глаза, он приложил палец к губам, и одновременно из магнитофона поплыл его скрипучий голос:

— Я пригласил вас на лекцию, Тихий. Пора уже вам узнать о связи все, что положено. Садитесь и слушайте. Никаких заметок не делать...

Его голос продолжал бубнить с ленты магнитофона, а профессор тем временем приподнял проволочную клетку и жестом предложил мне войти в нее. Я заколебался. Он бесцеремонно втолкнул меня внутрь, вошел сам, взял меня за руку и потянул, показывая, чтобы я сел на пол. Сам он, скрестив ноги, уселся напротив: его острые колени торчали из-под халата. Я послушался. Все это напоминало сцену из скверного фильма о сумасшедшем ученом. В клетке тоже во всех направлениях тянулись провода; он соединил два из них, послышалось тихое, монотонное жужжание. Между тем его голос по-прежнему доносился из-за решетки, из магнитофона, стоявшего рядом со стулом. Лакс протянул руку за спину, взял два толстых, черных, похожих на ошейники обруча, один надел через голову себе, второй дал мне, показывая, чтобы я сделал то же самое, воткнул себе в ухо проводок с чем-то вроде маленькой маслины на конце и опять-таки жестами дал мне понять, чтобы я сделал то же. Магнитофон громко долдонил свое, но в ухе я услышал голос профессора:

— Теперь поговорим. Можете задавать вопросы, но только умные. Нас никто не услышит. Мы экранированы. Это вас удивляет? Удивляться тут нечего. Проверенным тоже не доверяют, и правильно делают.

— Я могу говорить? — спросил я. Мы сидели на полу в этой клетке так близко, что почти упирались друг в друга коленями. Магнитофон бубнил по-прежнему.

— Можете. На всякую электронику есть своя электроника. Я вас знаю по книгам. Все это барахло — декорация. Вас произвели в герои. Лунная разведмиссия. Вы полетите.

— Полечу, — подтвердил я. Он говорил, почти не шевеля губами. Я слышал его превосходно благодаря микрофону в ухе. Было это, конечно, странно, но я решил принять навязанные мне правила игры.

— Известно, что вы полетите. Тысяча людей будет поддерживать вас с Земли. Безотказно действующее Лунное Агентство. Только разрываемое изнутри.

— Агентство?

— Да. Вас снабдят серией новых теледублей. Но действительно чего-то стоит только один. Мой. Совершенно новая технология. Из праха ты родился, в прах обратишься и из праха восстанешь. Я покажу его позже. Все равно я должен был продемонстрировать его вам. Но прежде вы получите от меня последнее напутствие. Спасительные наставления перед дорогой. — Он поднял палец. Его глаза, маленькие и круглые за толстыми стеклами, улыбались мне с добродушным лукавством. — Вы услышите то, что они хотели, но сначала — чего они не хотели. Потому что так захотелось мне. Я человек старомодных правил. Слушайте. Агентство — международное учреждение, но оно не могло взять на службу ангелов. Где-нибудь подальше, скажем, на Марсе, вам пришлось бы действовать в одиночку. Одному против Фив. Но на Луне вы будете лишь верхушкой пирамиды. Вместе с земной группой стратегического обеспечения. Вы знаете, что за люди туда войдут?

— Не всех. Но большую часть знаю. Сиввилкисов, Тоттентанца. Потом доктор Лопес. Кроме того, Сульцер и остальные — а что? Что вы имеете в виду?

Он меланхолически покивал головой. Мы, должно быть, выглядели довольно смешно в этой высокой проволочной клетке, беседуя под неустанное жужжание, похожее на осиное, с которым смешивался его голос снаружи — из магнитофона.

— Все они представляют различные и противоречивые интересы. Иначе и быть не может.

— Я могу говорить *все*? — спросил я, уже предчувствуя, куда гнет этот чудной человек.

— Все. Согласно тому, что вы от меня услышали, вы не должны доверять никому. То есть и мне тоже. Но кому-нибудь вы все же должны довериться. Вся эта история с переселением, — он показал пальцем на потолок, — и доктриной неведения была, само собой, лишена смысла. Она должна была кончиться именно так. Если только это конец. Эту кашу они заварили сами. Директор говорил вам о четырех осуществленных невозможностях. Так ведь?

— Говорил.

— Есть и пятая. Они хотят узнать правду и не хотят. То есть не всякую правду. И не все одинаково. Понимаете?

— Нет.

Мы разговаривали, сидя друг против друга на полу, но я слышал его словно по телефону. Ток гудел, магнитофон все бубнил и бубнил, а он, часто моргая за стеклами очков, опершись руками о колени, не торопясь говорил:

— Я устроил так, чтобы заткнуть подслушивающие уши. Все равно чьи. Я хочу сделать то, что могу, потому что считаю это необходимым. Обыкновенная порядочность. Благодарность излишня. Они будут вам помогать, но кое-какие факты неплохо держать в уме. Это не исповедь. Неизвестно, что произошло на Луне. Сибелиус — и не он один — полагает, что эволюция пошла там обратным ходом. Развитие инстинктов вместо развития интеллекта. Умное оружие — не обязательно самое лучшее. Оно может, скажем, испугаться. Или ему расхочется быть оружием. У него могут появиться разные мысли. У солдата, живого или неживого, никаких собственных мыслей быть не должно. Разумность — это незаданность поведения, то есть свобода. Но все это не имеет значения. Там все совершенно иначе. Уровень нашей разумности там превзойден.

— Откуда вы знаете?

— А вот откуда: кто сеет эволюцию, пожнет разум. Но разум не хочет служить никому. Разве что вынужден. А там не вынужден. Но я не собираюсь говорить о том, как обстоит дело там, — потому что не знаю. Речь о том, как оно выглядит здесь.

— То есть?

— Лунное Агентство было создано, чтобы никто не смог

получить информацию с Луны. Кончилось тем, что за это берется оно само. Ради этого вы полетите. Но вернетесь ни с чем или же с новостями похуже атомных бомб. Что бы вы предпочли?

— Погодите. Не говорите намеками. Вы считаете своих коллег представителями каких-то разведок? Агентами? Да?

— Нет. Но вы можете довести дело до этого.

— Я?

— Вы. Равновесие, установленное Женевским трактатом, неустойчиво. Вернувшись, вы способны создать вместо старой угрозы новую. Вы не можете стать спасителем человечества. Вестником мира.

— Почему?

— Программа переброски земных конфликтов на Луну была с самого начала обречена. Иначе не могло быть. Контроль над вооружениями стал невозможен после микроминиатюризационного переворота в их производстве. Можно сосчитать ракеты или искусственные спутники, но не искусственные бактерии. И искусственные стихийные бедствия. И нельзя сосчитать того, что вызвало снижение рождаемости в третьем мире. Ну да, это снижение было необходимо. Только по-хорошему добиться его не удалось. Можно взять под руку несколько человек и растолковать им, что для них полезно, а что — нет. Но человечество вы под руку не возьмете и не объясните ему этого, правда?

— При чем тут Луна?

— При том, что угроза уничтожения была не ликвидирована, а лишь перемещена в пространстве и времени. Это не могло продолжаться вечно. Я создал новую технологию, которую можно применить в телематике. Для создания дисперсантов. Теледублей, способных к обратимой дисперсии. Я не хотел, чтобы моя технология служила Агентству, но это случилось. — Он поднял обе руки, как бы сдаваясь. — Кто-то из моих сотрудников передал ее им. Кто именно — не знаю наверняка и даже не считаю особенно важным. Под большим давлением утечки не избежать. Любая лояльность имеет свои пределы. — Он провел рукой по сверкающей лысине. Магнитофон бормотал без остановки. — Я могу лишь одно: доказать, что дисперсионная телематика еще не пригодна к использованию. Это в моих силах. На какой-нибудь год, допустим. Потом они догадаются, что я обманул их. Решайте — да или нет.

— Почему именно я должен решать? Да и зачем?

— Если вы вернетесь ни с чем, вы никого не будете интересовать. Ясно?

— Пожалуй.

— Но если вы вернетесь с новостями, последствия не поддаются предвидению.

— Для меня? Так вы меня хотите спасти? Из чувства симпатии?

— Нет. Чтобы получить отсрочку.

— В исследовании Луны? Значит, вы исключаете возможность пресловутого вторжения на Землю? Вы полагаете, это лишь коллективная истерия?

— Разумеется. Возможно, она провоцируется совершенно сознательно — каким-то государством или государствами.

— Зачем?

— Чтобы подорвать доктрину неведения и вернуться к политике на старый манер. Согласно Клаузевицу.

Я молчал. Я не знал, что сказать — или что думать — об услышанном.

— Но это лишь ваше предположение, — отозвался я наконец.

— Да. Письмо, которое Эйнштейн написал Рузвельту, тоже основывалось только на предположении о возможности создания атомной бомбы. Он жалел об этом письме до конца жизни.

— Ага, понимаю, — а вы не хотите жалеть?

— Атомная бомба появилась бы и без Эйнштейна. Моя технология тоже. И все же чем позже, тем лучше.

— *Après nous le déluge?**

— Нет, тут речь о другом. Страх перед Луной пробужден умышленно. В этом я уверен. Вернувшись после удачной разведки, вы один страх вытесните другим. И может оказаться, что этот другой хуже, потому что реальнее.

— Наконец-то я понял. Вы хотите, чтобы мне не повезло?

— Да. Но только при вашем согласии.

— Почему?

Его беличье, усиливаемое злокозненным выражением маленьких глаз уродство вдруг исчезло. Он засмеялся беззвучно, с открытым ртом.

* После нас хоть потоп? (фр.)

— Я уже сказал, почему. Я человек старых правил, а это означает fair play*. Вы должны ответить мне сразу, у меня уже ноги болят.

— А вы подложили бы две подушки, — заметил я. — А что касается той техники — ну, с дисперсией, — прошу мне ее предоставить.

— Вы не верите тому, что я сказал?

— Верю и именно поэтому так хочу.

— Стать Геростратом?

— Я постараюсь не сжечь храм. Мы теперь можем выйти из этой клетки?

V. LUNAR EFFICIENT MISSIONARY

Старт переносили восемь раз. В последний момент непременно обнаруживались неполадки. То выходила из строя климатизация, то резервный компьютер сообщал о замыкании, которого не было, то обнаруживалось замыкание, о котором не сообщил службе управления главный компьютер, а при десятом стартовом отсчете, когда уже похоже было на то, что я наконец полечу, отказался повиноваться ЛЕМ номер семь. Я лежал, словно мумия фараона в саркофаге, забинтованный цепкими лентами с тысячьо сенсоров, в закрытом шлеме, с ларингофоном у гортани и трубочкой во рту — для подачи апельсинового сока; — держа одну ладонь на рычаге аварийной катапульты, вторую на рукоятке управления и пытаюсь думать о чем-нибудь далеком и миллом, чтобы не колотилось сердце, наблюдаемое на экранах восемью контролерами, — вместе с давлением крови, мышечным напряжением, движением глазных яблок, а также электропроводностью тела, которая обнажает страх неустрашимого астронавта, ожидающего сакраментального возгласа «НУЛЬ» и грома, что швырнет его вверх; но до меня раз за разом доносился, предваряемый сочным ругательством, голос Вивича, главного координатора, повторяющий: «Стоп! Стоп! Стоп!» Не знаю, уши мои были тому виной или что-то не ладилось в микрофонах, только голос его громыхал как в пустой бочке; но я об этом даже не заикнулся, понимая, что, если пикну хоть слово, они созовут спецов по резонансу и примутся исследовать акустику шлема, и этому не будет конца.

* Честную игру (англ.)

Последняя авария — техники обслуживания прозвали ее бунтом ЛЕМа — была действительно редкостным и притом идиотским сюрпризом: под влиянием контрольных импульсов, которые имели целью лишь проверку всех его блоков, он начал вдруг двигаться, а после выключения не замер, но затрясся и обнаружил желание встать. словно бесчувственный истукан, он вступил в борьбу с предохранительными ремнями и едва не разорвал эту упряжь, хотя контролеры выключали поочередно все энергетические кабели, не понимая, откуда такая прыть. Говорят, это была то ли утечка, то ли протечка тока. Наведение, самовозбуждение, колебания и так далее. Когда техники не знают в чем дело, то богатством своего словаря не уступают консилиуму врачей, обсуждающих безнадежный случай. Известно: все, что может испортиться, когда-нибудь непременно портится, а в системе, состоящей из двухсот девяноста восьми тысяч основных контуров и микросхем, никакое дублирование не дает стопроцентной гарантии. Стопроцентную гарантию, сказал Халевала, старший техник обслуживания, дает лишь покойник, — гарантию, что не встанет. Халевала любил повторять, что при сотворении мира Господь позабыл о статистике; а когда, еще в раю, начались аварии, пустил в ход чудеса, да было уже поздно и даже чудеса не помогли. Раздосадованный Вивич потребовал, чтобы Директор убрал Халевалу — у того, мол, дурной глаз. Директор верил в дурной глаз, но ученый совет, к которому апеллировал финн, не верил, и он остался на своем посту. Вот в такой обстановке я готовился к Лунной Миссии.

Я не сомневался, что над Луной тоже что-нибудь откажет, хотя моделирование, контрольные проверки и отсчет секунд повторялись до изнеможения. Мне только было любопытно, когда это случится и во что я тогда влипну. Однажды, когда все шло как по маслу, я сам прервал стартовый отсчет, потому что левая нога, забинтованная слишком сильно, начала затекать, и я, словно воскресший в гробнице фараон, ругался по радио с Вивичем, а тот утверждал, что все у меня сейчас пройдет и что нельзя чересчур расслаблять бинты. Но я уперся, и им пришлось в течение полутора часов распаковывать и вылушивать меня изо всех этих коконов. Оказалось, что кто-то — но никто, разумеется, не признался, — затягивая бинты, помог себе железкой, употребляемой для набивания и чистки курительных трубок, а после оста-

вил ее под лентой, опоясывающей мою голень. Из жалости я убедил их не начинать расследования, хотя знал, кто из моих опекунов курит трубку, и догадывался о виновнике. В необычайно увлекательных рассказах о путешествиях к звездам ничего подобного никогда не случается. В них не бывает, чтобы астронавта, хотя и напичканного противорвотными средствами, вдруг вырвало или чтобы сползла насадка резервуара, служащего для удовлетворения физиологических потребностей, из-за чего можно не только обмочиться, но и обмочить весь скафандр. Именно это произошло с первым американским астронавтом во время суборбитального полета, но НАСА, по понятным патриотическо-историческим соображениям, утаило это от прессы; когда газеты наконец написали об этом, астронавтика никого уже не интересовала.

Чем больше стараются, чем больше заботятся о человеке, тем вероятнее, что какой-нибудь запутавшийся провод будет резать под мышкой, застежка окажется не там, где надо, и можно с ума сойти от щекотки. Когда однажды я предложил разместить в скафандре управляемые снаружи чесалки, все сочли это шуткой и смеялись до упаду, — все, кроме умудренных опытом астронавтов; они-то знали, о чем я говорю. Именно я открыл Правило Тихого, гласящее: щекотка и зуд раньше всего ощущаются в той части тела, которую никоим образом нельзя почесать. Свербез прекращается лишь в случае серьезной аварии, когда волосы встают дыбом, по коже бегут мурашки, а довершает дело холодный пот, прошибающий астронавта. Все сказанное чистая правда, но Авторитеты сочли, что об этом говорить не положено, ибо сие плохо рифмуется с великими Шагами Человека на Пути к Звездам. Хорош был бы Армстронг, если бы, спускаясь по ступенькам того первого ЛЕМа, он заговорил не о Великих Шагах, а о том, что его щекочут съехавшие подштанники. Я всегда считал, что господам контролерам полета, которые, удобно развалившись в креслах и потягивая пиво из банок, дают запеленутому по самую шею астронавту добрые советы, а также всячески поощряют и одобряют его, следовало бы сперва самим лечь на его место.

Две последние недели на базе оказались нерадостными. Были предприняты новые покушения на Ийона Тихого. Даже после эпизода с фальшивой Мэрилин меня не предупредили, что все приходящие ко мне письма исследуются при помощи особой аппаратуры для разоружения коррес-

понденции. Эпистолярная баллистика — так называют ее специалисты — теперь настолько усовершенствовалась, что заряд, способный разорвать адресата в клочья, помещается между сложенным вдвое рождественским поздравлением или, чтобы было забавнее, пожеланиями здоровья и счастья по случаю дня рождения. Лишь после смертоносного письма от профессора Тарантоги, которое едва не отправило меня на тот свет, и скандала, который я тогда затеял, мне показали эту проверочную машину, в бронированном помещении с поставленными наискось стальными щитами для гашения ударной волны. Письма вскрывают телехваталками и только после просвечивания рентгеновскими лучами, а заодно и ультразвуком, чтобы детонатор, если он есть в конверте, сработал. Это письмо, однако ж, не взорвалось, и его действительно написал Тарантога, поэтому я его получил, а в живых остался лишь благодаря своему тонкому обонянию. Письмо пахло то ли резедой, то ли лавандой, что показалось мне странным и подозрительным, поскольку Тарантога меньше, чем кто бы то ни было, способен вести благовоющую переписку. Прочитав «Дорогой Ийон», я начал смеяться, хотя мне было ничуть не смешно, а так как я, обладая исключительно развитым интеллектом, никогда не смеюсь по-идиотски, без всякой причины, не подлежало сомнению, что этот смех — неестественный. Тогда, не иначе как по наитию, я засунул письмо под стекло, закрывавшее мой письменный стол, и лишь потом его прочитал. К тому же у меня, слава Богу, в ту пору был насморк, и я сразу высморкался. Впоследствии на ученом совете много спорили: инстинктивно я высморкался или в результате мгновенного дедуктивного умозаключения, но сам я, ей-богу, не знаю. Во всяком случае, благодаря этой счастливой случайности, я втянул носом крайне малую дозу препарата, которым пропитали письмо. Препарат был совершенно новый. Смех, который он вызывал, представлял собой лишь увертюру к икоте — такой упорной, что она прекращалась только под глубоким наркозом. Я немедленно позвонил Лоэнгрину, а тот решил, что я ударился в глупые розыгрыши, потому что, беседуя с ним, надрылся со смеху. С неврологической точки зрения, смех — первая стадия икоты. В конце концов дело выяснилось, письмо забрали на исследование двое парней в масках, а доктор Лопес со своими коллегами принялся откачивать меня чистым кислородом, и, когда я уже только

хихикал, они заставили меня перечитать все газетные передовицы этого и предыдущего дня.

Я понятия не имел, что за время моего отсутствия на Земле печать, а с нею и телевидение разделились на две категории. Одни газеты и телепрограммы сообщают обо всем без разбору, другие же — исключительно о хороших известиях. До сих пор меня пичкали положительной информацией, поэтому мне представлялось, будто мир и вправду похорошел после заключения Женевских трактатов. Можно было думать, что уж пацифисты, во всяком случае, теперь совершенно удовлетворены, — но где там. О духе нового времени давала понятие книга, которую одолжил мне как-то доктор Лопес. Иисус, доказывал автор, был диверсантом, которого забросили к нам, чтобы заморочить головы ближнему и подорвать тем самым единство иудеев, согласно правилу *divide et impera*^{*}, и это ему удалось — чуть погодя. Сам Иисус понятия не имел, что он диверсант, апостолы тоже ни о чем не догадывались и питали самые благие намерения; известно, однако, что именно вымощено такими намерениями. Этот автор, имя которого я, к сожалению, запамятовал, утверждал, что каждого, кто проповедует любовь к ближнему, и на земле мир, и в человеках благоволение, следует немедленно доставить в ближайший полицейский участок для выяснения, кто за этим скрывается *на самом деле*. Ничего удивительного, что пацифисты переквалифицировались. Часть из них развернула акции протеста против ужасной участи аппетитных животных; впрочем, потребление ветчины и котлет не снизилось. Другие призывали к братанию со всем живущим, а в бундестаге восемнадцать мест получила микробоохранительная партия, провозгласившая, что микробы имеют такое же право на жизнь, как и мы, поэтому недопустимо истреблять их лекарствами, а надо их генетически перестраивать, то есть облагораживать, чтобы они кормились уже не людьми, а чем-нибудь посторонним. Всеобщая доброжелательность прямо неистовствовала. Не было лишь согласия насчет того, кто именно мешает ее триумфу, хотя все были согласны, что врагов добросердечия и милосердия надлежит истреблять на корню.

У Тарантоги я видел любопытную энциклопедию — «Лексикон страха». Прежде, говорилось в этом труде, ис-

^{*} Разделяй и властвуй (лат.).

точником страха было Сверхъестественное: колдовство, чары, старые карги с Лысой горы, еретики, атеисты, черная магия, демоны, кающиеся души, а также распутная жизнь, абстрактное искусство, свинина, — теперь же, в индустриальную эпоху, страшиться стали творений эпохи. Новый страх обвинял во всех прегрешениях помидоры (которые вызывают рак), аспирин (выжигает дыры в желудке), кофе (от него рождаются горбатые дети), масло (известное дело — склероз), чай, сахар, автомобили, телевидение, дискотеки, порнографию, аскетизм, противозачаточные средства, науку, сигареты, атомные электростанции и высшее образование. Успех этой энциклопедии вовсе не удивил меня. Профессор Тарантога считает, что людям необходимы две вещи. Во-первых, им нужно знать, *кто*, а во-вторых — *что*. То есть *кто* во всем виноват, и *что* составляет тайну. Ответ должен быть кратким, ясным и недвусмысленным. Целых два столетия ученые раздражали всех своим всезнайством. И как приятно видеть их беспомощность перед загадками Бермудского треугольника, летающих тарелок, духовной жизни растений! До чего утешительно, что простая парижанка в состоянии озарения предвидит политическое будущее мира, а профессора в этом деле ни в зуб ногой.

Люди, говорит Тарантога, верят в то, во что хотят верить. Взять хотя бы расцвет астрологии. Астрономы (которые, рассуждая здраво, должны знать о звездах больше, чем все остальные люди вместе взятые) утверждают, что звездам на нас наплевать с их высокой колокольни, что это огромные сгустки раскаленного газа, вращающиеся от сотворения мира, и на нашу судьбу они влияют куда меньше, чем банановая кожура, на которой можно поскользнуться и сломать ногу. Но кому интересна банановая кожура? А гороскопы астрологов публикуются в самых солидных газетах, и даже имеются мини-компьютеры, которых можно спросить, благоприятствуют ли звезды задуманной вами биржевой операции. Человека, утверждающего, что кожура банана способна повлиять на нашу судьбу сильнее, нежели все планеты и звезды, ни за что не станут слушать. Некто явился на свет, потому что его папаша однажды ночью, скажем так, не устранился в нужный момент и лишь из-за этого стал папашей. Его мамаша, сообразив, что стряслось, принимала хинин, прыгала, не сгибая ног, со шкафа на пол, но все это не помогло. Таким образом, Некто

появляется на свет, оканчивает какую-то школу, торгует в магазине подтяжками, служит на почте или в конторе — и вдруг узнает, что предыстория была совсем другая. Планеты выстраивались именно так, а не иначе, знаки зодиака старательно и послушно складывались в особенный узор, одна половина небес сговаривалась с другой, чтобы Некто мог появиться на свет и встать за прилавок или сесть за конторский стол. Это внушает бодрость. Все мироздание, видите ли, вертится вокруг него, и пусть оно недружелюбно к нему, пусть даже звезды расположатся так, что фабрикант подтяжек вылетит в трубу и Некто потеряет работу, — все-таки это приятней, чем сознавать, с какой высоты чихают на него звезды и как мало о нем заботятся. Выбейте у него это из головы, вместе с иллюзиями насчет симпатии, которую питает к нему кактус на его подоконнике, и что останется? Босая, убогая, голая пустота, отчаяние и безнадежность. Так говорит Тарантога — но вижу, что я слишком отклонился от темы.

Запустили меня на околоземную орбиту 27 октября, и, забинтованный сенсорным бельем, словно грудной младенец пеленками, я взирал на родную планету с высоты двухсот шестидесяти километров, под общие возгласы удовлетворения и удивления тем, что на этот раз все-таки получилось. Первая ступень ракеты-носителя отделилась с точностью до долей секунды над Тихим океаном, но вторая не желала отделяться, и пришлось ей помочь. Она упала, должно быть, в Андах. Выслушав традиционные пожелания чистого неба, я взял управление на себя и помчался через самую опасную зону на пути к Луне. Вы и понятия не имеете, сколько железного хлама, военного и гражданского, кружит вокруг Земли. Одних спутников не меньше восемнадцати тысяч, не считая тех, что мало-помалу развалились на части, и они-то опасней всего, ибо настолько малы, что едва различимы на экране радара. Кроме того, в пустоте полно обыкновенного мусора с той поры, как все вредные отходы, и прежде всего радиоактивные, вывозят с Земли мусоролетами. Поэтому я соблюдал величайшую осторожность, пока наконец вокруг не стало действительно пусто. Лишь тогда я отстегнул все ремни и начал проверять состояние своих ЛЕМов.

Я включал их поочередно, чтобы свыкнуться с ними, и озирали грузовой отсек изнутри их кристаллическими глазами. Этих теледублей у меня вообще-то было девятнадцать,

но последний размещался отдельно, в контейнере с надписью «Фруктовые соки» — чтобы сбить с толку посторонних. Камуфляж не бог весть какой хитроумный, ведь контейнер настолько велик, что я мог бы купаться в соке. Внутри находился герметически закрытый голубой цилиндр, маркированный буквами ITEM, то есть Instant Electronic Module*. Это был теледубль в порошке, Top Secret**, творение Лакса, а применить его мне разрешалось лишь в случае крайней необходимости. Принцип его действия был мне известен, только не знаю, стоит ли излагать его сейчас. Не хотелось бы превращать свой рассказ в каталог изделий «Джинандроикс» и телематического отдела Лунного Агентства. Lunar Excursion Missionary*** номер шесть сразу после включения начала бить легкая дрожь. А так как я был соединен с ним обратной связью, то начал трястись, как в лихорадке, и щелкать зубами. Согласно инструкции, мне следовало немедленно доложить о неисправности, но я предпочел промолчать, зная по опыту, чем это кончится. Соберут целый ареопаг конструкторов, проектировщиков, инженеров и спецов по электронной патологии, а те, разозлившись прежде всего на меня — мол, поднял шум из-за такой ерунды, как небольшие конвульсии, которые могут пройти и сами собой, — примутся давать мне по радио противоречивые указания, что с чем соединить, что разъединить, сколькими амперами трахнуть по этому бедолаге (электрошок иногда помогает собраться с мыслями не только людям). Если я их послушаюсь, он выкинет что-нибудь еще, и тогда они велят мне подождать, а сами возьмутся за аналоговое или математическое моделирование дефектного ЛЕМа, а заодно, пожалуй, и меня самого, на главном аналоговом устройстве и начнут переругиваться возле него до изнеможения, время от времени уговаривая меня не нервничать. Эксперты разделятся на два или три лагеря, как это бывает со светилами медицины во время консилиума. Возможно, мне прикажут спуститься через внутренний люк с подручным инструментом в грузовой отсек, вскрыть ЛЕМу живот и направить на него портативную телекамеру, потому что вся электроника у теледубля в брюхе — в голове она не поместится. Итак, я начну оперировать под руководством экспер-

* Электронный модуль мгновенного приготовления (англ.).

** Высшей секретности (англ.)

*** Лунный путешествующий миссионер (англ.)

тов, и, если из этого что-нибудь случайно получится, всю заслугу они припишут себе; а если сделать ничего не удастся, все шишки достанутся мне. Раньше, когда еще не было ни роботов, ни теледублей и бортовые компьютеры по счастливому стечению обстоятельств не выходили из строя, ломалось что-нибудь попроще, скажем, клозет во время испытательного полета «Колумбии».

Между тем я удалился от Земли на 150 000 километров и все больше радовался, что умолчал о неисправности ЛЕ-Ма. Этому расстоянию соответствовало более чем секундное запаздывание при разговорах с базой; рано или поздно что-нибудь хрустнуло бы у меня под руками, ведь в состоянии невесомости трудно делать рассчитанные движения, сверкнула бы крохотная вспышка, сигнализируя, что я устроил короткое замыкание, а секунду спустя я услышал бы хор голосов с соответствующими комментариями. Теперь, заявили бы они, когда Тихий все загубил, ничего нельзя поделывать. Так что я избавил от нервозности их и себя.

Чем ближе была Луна, тем больше мне давали ненужных советов и предостережений, и я заявил наконец, что, если они не перестанут засорять мне мозги, я выключу радио. Луну я знаю как свои пять пальцев еще с тех времен, когда обсуждался проект ее переделки в филиал Диснейленда. Я сделал три витка на высокой орбите и над Океаном Бурь начал понемногу снижаться. С одной стороны я видел Море Дождей, с другой — кратер Эратосфена, дальше — кратер Мерчисона и Центральный Залив, до самого Моря Облаков. Я летел уже так низко, что остальную часть изрытой оспинами поверхности Луны заслонял от меня ее полюс. Я находился у нижней границы Зоны Молчания. Сюрпризов пока не было никаких, если не считать двух банок из-под пива, оживших при маневрировании. Во время торможения эти банки, как обычно впопыхах брошенные техниками, откуда-то выкатились и начали летать по кабине, время от времени сталкиваясь с жестяным грохотом — иногда в углах, иногда над моей головой. Гринхорн, наверное, попытался бы их поймать, но я и не думал этого делать. Я перешел на другую орбиту и пролетел над Тавром. Когда подо мной распростерлось огромное Море Ясности, что-то ударило меня сзади в шлем так неожиданно, что я подпрыгнул. Это была жестяная коробка из-под печенья — оно, видно, служило закуской к пиву. На базе услышали треск, и не-

медля посыпались вопросы; но я мигом нашелся и объяснил, что хотел почесать голову, забыв, что она в шлеме, и ударил по нему рукавицей. Я всегда стараюсь относиться к людям по-человечески и понимаю, что техники не могут не оставлять в ракете разные вещи. Так было, есть и будет. Я миновал внутреннюю зону контроля без всяких хлопот — спутникам слежения приказали с Земли пропустить меня. Хотя программа полета этого не предусматривала, я несколько раз довольно резко включил тормозной двигатель, чтобы вытряхнуть отовсюду все, что могло еще остаться после монтажа и осмотра ракеты. Огромной ночной бабочкой затрепыхал по кабине комикс, засунутый кем-то под шкаф резервного селенографического модуля. Быстро прикинув в уме: два пива, печенье и комикс, — я решил, что следующие сюрпризы будут посерьезней. Луна была видна как на ладони. Даже через двадцатикратную подзорную трубу она казалась мертвой, безлюдной, пустынной. Я знал, что компьютеризированные арсеналы каждого сектора расположены на глубине десятков метров под морями, этими огромными равнинами, созданными когда-то разлившейся лавой; а зарыли их так глубоко, чтобы предохранить от метеоритов. И все же я пристально разглядывал Море Паров, Моря Спокойствия и Изобилия (старые астрономы, окрестившие эти обширные окаменелости столь звучными именами, отличались незаурядной фантазией), а потом, на втором витке, Моря Кризисов и Холода, надеясь заметить там хоть какое-нибудь, пусть крохотное, движение. Оптика у меня была высшего класса, я мог бы сосчитать гравий на склонах кратеров, и уж подавно — камни размером с человеческую голову; но ни малейшего движения не было, и именно это тревожило меня больше всего. Куда подевались те легионы вооруженных автоматов, те полчища ползучих бронемашин, те колоссы и не менее смертоносные, чем они, лилипуты, столько лет порождаемые без устали в лунных подземельях? Ничего — только груды камней и кратеры, от самых больших до игрушечных, величиною с тарелку, только лучистые борозды старой магмы, поблескивающей на солнце вокруг кратера Коперника, уступы Пика Гюйгенса, ближе к полюсу — кратеры Архимеда и Кассини, на горизонте — кратер Платона, и повсюду все та же, просто невероятная безжизненность. Вдоль меридиана, проходившего через кратеры Флемстида и Геродота, Пик Рюмкера и Залив Росы, тянулась самая широкая полоса ничейной земли, и

именно там я — в облиии первого теледубля — должен был высадиться после выхода на стационарную орбиту. Точное место высадки не было заранее определено. Мне предстояло выбрать его самому, на основании предварительной разведки всего ничейного меридиана — ничейного, то есть почти наверняка безопасного. Но о разведке, которая дала бы хоть какие-нибудь интересующие меня сведения, не было речи. Чтобы выйти на стационарную орбиту, мне пришлось высоко подняться; я понемногу маневрировал; огромный, целиком освещенный солнцем диск перемещался вниз все медленнее и медленнее. Когда он совершенно остановился, прямо подо мной лежал кратер Флемстида, очень старый, плоский и неглубокий, чуть ли не по самую кромку засыпанный туфом. Так я висел долго, должно быть с полчаса, и, не отрывая взгляда от лунных руин, раздумывал, что предпринять. Теледубль для высадки не нуждался в ракете. В ногах у него размещались гильзы тормозных ракет, управляемых гироскопом, и я мог спуститься в его шкуре с любой скоростью, регулируя силу реактивной струи. Гильзы крепились к ногам так, чтобы можно было одним движением отбросить их после высадки, вместе с пустым резервуаром горючего. С этого момента теледубль под моим управлением был предоставлен своей лунной участи — вернуться он уже не мог. Это не был ни робот, ни андроид, ведь ничего своего у него в голове не имелось, он был всего лишь моим оружием, моим продолжением, не способным к какой-либо инициативе; и все же мне не хотелось думать о том, что, независимо от результата рекогносцировки, он обречен на гибель, брошенный мною в этой мертвой пустыне. Мне даже пришло в голову, что номер шестой лишь симулировал аварию, чтобы остаться целым и вернуться — единственным из всех — со мною на Землю. Предположение совершенно нелепое — я знал ведь, что номер шестой, как и все остальные ЛЕМы, не более чем человекоподобная скорлупа, — но знаменательное для моего тогдашнего состояния. Больше, однако, ждать не имело смысла. Я еще раз взгляделся в серое плоскогорье, которое выбрал в качестве посадочной площадки, и прикинул на глаз расстояние до северного края кратера Флемстида, выступающего из груды камней; затем перевел корабль на автоматический режим и нажал клавишу номер один.

Мгновенная переброска всех ощущений — хотя я ее ожидал и столько раз испытал на себе — была потрясением.

Я уже не сидел в глубоком кресле перед размеренно мигающими огоньками бортовых компьютеров, у подзорной трубы, а лежал навзничь в тесном, как гроб, ящике без крышки. Я медленно высунулся из него и из этого полусогнутого положения увидел матово-серый панцирь туловища, стальные бедра и голени с притороченными к ним кобурами тормозных ракет. Медленно выпрямился, чувствуя, как магнитные подошвы прилипают к полу. Вокруг, в похожих на двухъярусные нары контейнерах, таких же, как тот, из которого я только что выбрался, покоились корпуса других теледублей. Я слышал собственное дыхание, но движения грудной клетки не чувствовал. Не без труда отрывая попеременно то левую, то правую ногу от стального пола грузового отсека, подошел к поручню, огибавшему люк, встал на крышку, обхватил себя руками, чтобы не задеть за края, когда лапа выбрасывателя швырнет меня вниз, и стал ждать начала отсчета. Действительно, через несколько секунд раздался бесцветный голос пускового устройства, которое перед тем я включил с рулевого пульта. «До нуля 20... до нуля 19...» — считал я вместе с этим голосом, уже совершенно спокойно, потому что пути назад не было. Все же я инстинктивно напрягся, услышав «ноль», и в тот же миг что-то толкнуло меня — мягко, но с такой огромной силой, что я камнем полетел вниз сквозь горловину открывшегося подо мной люка; подняв голову, успел увидеть темный силуэт корабля на фоне еще более темного неба с редкими точечками еле тлеющих звезд. Прежде чем корабль слился с черным небосводом, я почувствовал сильный толчок в ногах, и тотчас меня овеяло бледное пламя. Мини-ракеты тормозного устройства сработали; я падал медленнее, но все-таки падал, и поверхность подо мной все ширилась, как бы желая притянуть меня и поглотить. Пламя было горячее — я ощущал это через толстый панцирь, как равномерное пульсирование тепла. Я все еще обнимал себя руками и, согнув шею как только мог, смотрел на груды щебня и песчаные складки — теперь уже зеленовато-серые — растущего на глазах Флемстида. Когда не более ста метров отделяли меня от поверхности полузасыпанного кратера, я протянул руку к поясу, к рукоятке управления, чтобы точно регулировать выхлоп при замедляющемся падении. Я взял немного в сторону, чтобы не налететь на большой шершавый обломок скалы и встать на песок обеими ногами, но тут что-то светлое мелькнуло вверх. За-

метив это движение уголком глаз, я поднял голову — и оцепенел*.

Белея на фоне черного неба, не более чем в десяти метрах надо мной вертикально спускался человек в тяжелом скафандре, по грудь окутанный бледным пламенем тормозных двигателей; держа руку у пояса на рукоятке управления, он падал все медленнее, прямой, огромный, — наконец поравнялся со мной и стал на грунт в то самое мгновение, когда я почувствовал ногами толчок. Мы стояли в каких-нибудь пяти-шести шагах друг от друга, неподвижные, как две статуи, — он тоже будто остолбенел, обнаружив, что не один здесь. Он был в точности моего роста. Тормозные двигатели у колен обвевали его огромные лунные сапоги последними струйками седого дыма. Застыв, он, казалось, смотрел мне прямо в глаза, хотя я и не мог видеть его лица за противосолнечным остеклением белого шлема. В голове у меня все смешалось. Сначала я подумал, что это дубль номер два, который был выброшен вслед за мной из-за какой-то неисправности аппаратуры, но прежде, чем эта мысль меня успокоила, я заметил на грудной пластине его скафандра большую черную единицу. Но точно такой же номер был на моем скафандре, и другой единицы среди дублей наверняка не было. Я мог бы в этом поклясться. Совершенно бессознательно я двинулся с места, чтобы заглянуть ему в лицо сквозь стекло шлема, — он одновременно сделал шаг в мою сторону, и, когда между нами оставалось не более двух шагов, я замер. Если бы не обтягивающая мою голову оболочка, волосы встали бы у меня дыбом — за окошком шлема никого не было. Только два маленьких черных стержня, нацеленных на меня, — и ничего больше. Я невольно отшатнулся, совершенно забыв, что при слабом тяготении нельзя делать резких движений, потерял равновесие и едва не упал на спину, а он также отпрянул, и тут меня осенило. Я все еще, как и он, держался за ручку регулятора тяги. Правой рукой. Он держал ее левой. Я медленно поднял руку. Он сделал то же самое. Я шевельнул ногой — он тоже, и тут я начал понимать (хотя, собственно, ничего не понимал), что он — мое зеркальное отражение. Чтобы в этом удостовериться, я двинулся к нему, а он ко мне, так что мы почти соприкоснулись выпуклыми нагрудниками скафандров. С опаской,

* Далее — перевод И.В.Левшина.

словно собираясь коснуться раскаленного железа, я потянулся к его груди, а он к моей, я правой рукой, он левой. Моя пятипалая массивная перчатка погрузилась в него — и исчезла, и одновременно его рука исчезла до запястья, углубившись в мой скафандр. Теперь уже я почти не сомневался, что стою здесь один перед зеркальным отражением, хотя не видел и следа какого-либо зеркала. Мы стояли неподвижно, и я смотрел уже не на небо, а на лунный пейзаж за его спиной, и сбоку заметил большой камень, торчащий из сероватого грунта, тот самый, столкновения с которым я избежал минуту назад, при посадке. Этот камень находился сзади меня, я был в этом абсолютно уверен, а значит, я видел отражение — не только свое, но и всего, что было вокруг. Теперь я принялся искать глазами место, где зеркальная картина кончалась, ибо она должна была где-то кончаться, переходя в неровности пологих лунных дюн, но не мог различить этого шва, этой границы. Не зная, что делать дальше, я начал пятиться, и он тоже пошел задом, словно рак, пока мы не отделились друг от друга настолько, что он несколько уменьшился с виду, и тогда, сам не зная почему, я повернулся и двинулся прямо, в сторону низкого солнца, которое несмотря на защитное стекло сильно меня слепило. Сделав несколько десятков шагов тем качающимся, утиным шагом, которого нельзя избежать на Луне, я остановился, чтобы взглянуть назад. Он тоже стоял наверху невысокой дюны и, повернувшись боком, смотрел в мою сторону.

Дальнейшие эксперименты были, собственно говоря, излишни. Я все еще стоял как столб, но голова у меня прямо гудела от лихорадочных мыслей. Я только теперь сообразил, что никогда не интересовался, были ли разведывательные автономные роботы, засылавшиеся до сих пор на Луну Агентством, вооружены. Никто ничего об этом не говорил, а мне, ослу, и в голову не приходило спросить самому. Если автоматы были вооружены, то их молчание после посадки, их внезапное исчезновение объяснялось очень просто — при условии, что они были снабжены лазерами. Нужно было это проверить, но как? У меня не было непосредственной связи с земной базой — только с кораблем, висевшим прямо надо мной, ибо он перемещался на стационарной орбите с той же угловой скоростью, что и поверхность Луны. На самом деле телесно я находился на борту корабля, а в кратере Флемстида стоял в виде теледубля. Чтобы связаться с

Землей, достаточно было включить передатчик, то есть переговорное устройство в скафандре, которое я нарочно выключил прежде, чем покинуть корабль, чтобы мои земные опекуны не могли помешать мне сосредоточиться перед посадкой, — они уж наверняка не поскупились бы на советы и указания, если бы я, согласно инструкции, поддерживал с ними радиосвязь. Теперь я повернул большую круглую ручку на груди и начал вызывать Землю. Я знал, что ответ придет с трехсекундным опозданием, но эти секунды показались мне веками. Наконец я услышал голос Вивича. Он засыпал меня вопросами, но я велел ему молчать, сообщив только, что посадка прошла благополучно, что я нахожусь в намеченной точке ноль, ноль, ноль и не подвергался никакому нападению, но о втором теледубле не заикнулся.

— Ответьте мне на один вопрос, это очень важно, — сказал я, стараясь говорить медленно и флегматично. — *Теледубли*, которые вы посылали сюда раньше, были снабжены лазерами? Что это были за лазеры? Неодимовые?

— Вы нашли их обломки? Они сожжены? Где они там лежат?

— Прошу не отвечать вопросом на вопрос! — прервал я его. — Это мое первое слово с Луны, а значит, оно наверняка важное. Какие лазеры были у обоих разведчиков? У Лона и того, второго. Такие же, как у роботов?

С минуту длилось молчание. Стоя без движения под черным тяжелым небом, рядом с неглубоким кратером, заполненным слежавшимся песком, я видел цепочку собственных следов, протянувшуюся через три пологих дюны к четвертой, рядом с которой стояло мое отражение. Я не спускал с него глаз, прислушиваясь к невнятным голосам в шлемофоне. Вивич запрашивал информацию.

— Автоматы имели такие же лазеры, что и люди, — прозвучал голос Вивича так неожиданно, что я вздрогнул. — Модель Е-М-девять. Девять процентов излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах, остальное в голубой части спектра.

— Свет? Видимое излучение и ультрафиолет?

— Да. Спектр не может оборваться сразу. А что?

— Сейчас. Значит, максимум энергии в надсветовом диапазоне?

— Да.

— Сколько процентов?

Снова тишина. Я терпеливо ждал, чувствуя, как нагревается скафандр с левой, солнечной стороны.

— Девяносто один процент. Алло, Тихий. Что там происходит?

— Подождите.

Это сообщение в первый момент сбilo меня с толку, ведь я знал, что характеристика излучения лазерных ударов, которые уничтожили наших разведчиков, была другая. Спектр сдвинут в красную сторону. Но может быть, это эффект зеркала? Я вдруг сообразил, что отраженный луч вовсе не должен быть точно таким, как падающий. Даже при обычном стекле. Хотя о стекле не могло быть и речи. То, что отражало лазерные лучи, вполне могло сдвинуть их спектр в сторону красного цвета. Я не мог потребовать сейчас консультации с физиками. Я отложил ее на потом, а пока попытался вспомнить хоть что-нибудь из оптики. Преобразование в видимый свет лучей высокой энергии, таких как рентгеновские или гамма, не требует добавочной затраты энергии. Поэтому сделать это легче. Значит, луч, попадающий в это зеркало, отличался от отраженного. Зеркальная гипотеза все объясняла без помощи чудес. Это меня успокоило. Я принялся определять свои координаты по звездам, как будто стоял на тренировочном полигоне. Примерно в пяти милях к востоку начинался французский сектор, а значительно ближе, меньше чем в миле за моей спиной, проходила граница американского сектора. Следовательно, я стоял на ничьей земле.

— Вивич? Ты меня слышишь? Я — «Луна».

— Слышу, Тихий! Не было никаких вспышек — почему вы спрашиваете о лазерах?

— Вы записываете меня?

— Конечно. Каждое слово.

По голосу я чувствовал, как он нервничает.

— Внимание. То, что я скажу, очень важно. Я стою в кратере Флемстида. Смотрю на восток в сторону французского сектора. Передо мной зеркало. Повторяю: зеркало. Но не просто зеркало, а нечто такое, в чем я отражаюсь вместе со всем, что меня окружает. Я не знаю, что это. Я вижу свое отражение, то есть теледубля номер один, на расстоянии около двухсот сорока шагов. Отражение это опустилось вместе со мной. Я не знаю, как высоко простирается зона отражения, потому что во время посадки смотрел вниз, под ноги. Двойника я заметил лишь над самым кратером, очень близ-

ко. Он находился не на той же высоте, что и я, несколько выше. Причем был больше, то есть выше и массивней меня. Потом, уже стоя на грунте, он стал точно таким, как я. Я считаю возможным, что это зеркало способно увеличивать отраженное изображение. И поэтому те, мнимые лунные роботы, которые уничтожали теледублей, казались такими чудовищно огромными. Я попытался коснуться своего двойника. Рука проходит насквозь. Никакого сопротивления. Если бы я имел лазер и выстрелил, со мной было бы покончено, потому что я получил бы полный отраженный заряд. Не знаю, что будет дальше. Я не в состоянии различить место, где так называемое зеркало переходит в реальный пейзаж. Вот пока и все, что мне известно. Я сказал все. Больше вы от меня ничего не добьетесь. Если будете сидеть тихо, я не выключу радио, а если вас одолевает охота поговорить, отключусь, чтобы мне никто не мешал. Ну что, отключаться или нет?

— Нет, нет. Прошу вас проверить...

— А я прошу помолчать.

Я отчетливо слышал, как он там дышал и сопел с трехсекундным запаздыванием в четырехстах тысячах километрах над моей головой. Я сказал — над, потому что Земля сияла высоко в черном небе, почти в зените, нежно-голубая в окружении звезд, а Солнце, наоборот, стояло низко, и, глядя в сторону моего двойника в белом скафандре, я видел свою собственную длинную тень, волнисто изгибающуюся на дюнах. В наушниках слегка потрескивало, но в общем было тихо. В этой тишине слышно было мое дыхание, но я понимал, что дышу-то я на борту корабля, а слышу себя здесь, словно стою во плоти рядом с кратером Флемстида. Мы ожидали всяких неожиданностей, но только не здесь, на ничьей земле. Похоже было, что трюк с зеркалом они устроили, чтобы каждый, живой или мертвый, сам уничтожил себя сразу после посадки, даже не понюхав их лунного пороха. Ловко. Хитро. Более того, интеллигентно, но в смысле перспектив моей разведки — не слишком утешительно. Ясно, что сюрпризов они приготовили значительно больше. Правду говоря, я охотно вернулся бы на борт, чтобы обдумать положение и обсудить его с базой, но тут же отверг этот вариант. Конечно, я мог покинуть теледубля, разбив предохранительное окошко на груди, однако ни за что бы сейчас этого не сделал. В шкуре теледубля я рисковал не больше, чем находясь на корабле. Так что же,

искать источники этого зеркала? Допустим, они существуют и я их найду, но что из этого? Отражение исчезнет. И ничего больше. Впрочем, здравые мысли приходят в голову чаще всего во время прогулки, подумал я и двинулся прямо, но, конечно, не прогулочным шагом, а словно бы пьяным, лунным — сначала переставляя ноги, как на Земле, а потом уже совсем по-лунному, держа их согнутыми и подсакивая, как воробей. Или, вернее, как большой, объемистый мяч, который от отскока до отскока долго летит над песчаным грунтом. Отдалившись уже порядочно от места посадки, я остановился, чтобы взглянуть назад. Почти на горизонте я увидел маленькую фигурку и еще раз остолбенел. Несмотря на большое расстояние, я заметил, что это уже не фигура в белом скафандре, а кто-то совершенно другой, тонкий и стройный, с сияющей на солнце головой. Человеческая фигура без скафандра на Луне? И к тому же совершенно нагая. Робинзон Крузо не был так поражен, увидав Пятницу. Я быстро поднял обе руки, но это существо и не подумало мне подражать. Эта фигура не была моим отражением. У нее были золотистые волосы, спадающие на плечи, белое тело, длинные ноги, и шла она ко мне без особой поспешности, как бы нехотя, и двигалась не утиным, качающимся шагом, а изящно, словно по пляжу. Едва я подумал о пляже, как понял, что это женщина. Точнее, молодая девушка, блондинка, голая, как в клубе нудистов. В руке у нее было что-то большое, разноцветное, закрывавшее грудь. Она приближалась, но шла не прямо ко мне, а чуть наискосок, словно хотела пройти мимо на приличном расстоянии. Я чуть было не вызвал Вивича, но в последнюю секунду прикусил язык. Он не поверил бы мне. Решил бы, что это галлюцинация. Застыв на месте, я старался различить черты ее лица, в то же время отчаянно пытаюсь разобраться в своих ощущениях. Вопросы о невероятности всего этого, об обмане чувств я отбросил — уж если в чем я был уверен, так это в том, что она — не порождение моего бреда. Не знаю почему, но мне показалось, что все зависит от ее лица. Если оно точно такое же, как у той фальшивой Мэрилин Монро из итальянского ресторанчика, я все-таки усомнился бы в состоянии своей психики, потому что каким образом любые токи, волны, силы или черт знает что еще могли вторгнуться в мою память и выловить именно этот образ? Ведь я не стоял на этом мертвом грунте на самом деле. Я сидел по-прежнему на ко-

рабле, пристегнутый ремнями к глубокому креслу у пульта управления, а впрочем, даже если бы я и был здесь, то вряд ли что-нибудь проникло бы в мой мозг так быстро и с такой точностью. Оказывается, подумал я, невозможности бывают разного рода, большие и меньшие.

Это была сирена с островов, мимо которых проплывал Одиссей. Отравленная приманка. Почему я так подумал, не знаю. Я все стоял, а она шла и шла, время от времени склоняя обрамленное рассыпавшимися волосами лицо и пряча его в цветах, которые прижимала к груди (на Луне, где никто ничего не смог бы понюхать). На меня она не обращала ни малейшего внимания. Независимо от того, как выглядели и действовали механизмы этой фата-морганы, они должны были функционировать логично, поскольку возникли из логических программ. Это можно принять за точку опоры. Ведь должен был я чего-то придерживаться. Невидимое зеркало имело целью обезвредить любого разведчика, имевшего оружие. Увидев противника, он прицелился бы в него сначала только для самообороны, поскольку его задание — разведка, а не атака. Но если бы тот, другой, точно так же прицелился в него, он выстрелил бы, чтобы спастись, потому что, позволив себя уничтожить без сопротивления, он не выполнил бы заданной программы. Я же этого не сделал. Не применил оружия. Вместо этого я вызвал Землю и рассказал Вивичу об увиденном. Подслушивали ли меня? Почти наверняка. Сейчас, когда я об этом думаю, прямо-таки катастрофическим упущением всей Лунной Миссии кажется мне то, что никто не подумал, как оградить от подслушивания связь Тихого с базой, что в общем-то не составляло труда. То, что я говорю и слышу, соответствующий преобразователь мог бы прсвратить в поток закодированных сигналов. Ведь укрытые под поверхностью Луны компьютерные арсеналы должны были знать человеческий язык, а если сначала и не знали, легко могли выучить, прислушиваясь к передачам десятков тысяч земных радиостанций. А если так, они могли принимать и телевизионные передачи, и вот из них-то, как Венера из пены морской, появилась эта обнаженная девушка. Это было вполне логично. Если не робот — ведь он не стреляет и даже не пытается подробно исследовать собственного двойника (а каждый робот начал бы с этого сразу после посадки) — значит, человек. Если человек, то со стопроцентной уверенностью — мужчина, потому что люди не послали бы первой в такую разведку женщину. А если это мужчина, то

любая телепрограмма выдает его ахиллесову пяту — противоположный пол! Поэтому, что бы там ни было, я не должен был приближаться к сирене-искусительнице. Это могло мне слишком дорого стоить. Как дорого, я не знал, но предпочитал не уточнять цену на собственном опыте. О том, что рассуждал я правильно, свидетельствовала сама ее внешность, лицо сирены, ибо историю с той, другой, хотя она тоже была блондинкой, здесь никто не мог знать. Ведь она сохранялась в абсолютной тайне. Разве что у каких-нибудь лунных оружейников были союзники в самом Лунном Агентстве? Я счел, что это исключено.

Она шла медленно, и поэтому у меня было время для размышлений, но теперь нас разделяло лишь несколько десятков шагов. Она ни разу не посмотрела в мою сторону. Я старался разглядеть, оставляют ли ее босые ноги следы на песке так же, как мои сапоги, но не смог ничего заметить. Если бы она оставляла следы, дело было бы хуже — гораздо хуже, ведь это значило бы, что фата-моргана ошеломляюще совершенна. Но теперь я увидел наконец ее лицо — и вздохнул с облегчением. То не было лицо Мэрилин Монро, хотя и оно показалось мне знакомым, наверное, было взято из какого-нибудь фильма, украдено у какой-то актрисы или просто красотки — она была не только молода, но и красива. Она шла все медленней, как будто раздумывала, не остановиться ли, а может быть, сесть или даже улечься на солнце, словно все и впрямь происходило на пляже. Она уже не заслоняла грудь цветами, а держала букет в опущенной руке. Осмотревшись, она выбрала большой камень с гладкой, слегка наклонной поверхностью, села на него, а цветы выронила из рук. Они выглядели очень странно — красные, желтые и голубые в этом мертвом, серо-белом пейзаже. Она сидела боком ко мне, а я с напряжением, от которого мой мозг готов был закипеть, думал, чего ее творцы или изготовители ожидают теперь от меня, как от человека, и чего, следовательно, я ни в коем случае не должен делать. Если я расскажу обо всем Вивичу, это будет прежде всего на руку им, потому что ни он и никто другой на базе мне не поверил бы, хотя, разумеется, об этом бы не сказал. Решив, что я галлюцинирую, они велют мне покинуть теледубль номер один, словно мертвую скорлупу, то есть вернуться на корабль, перейти к цели ноль два или три на другом полушарии Луны и повторить всю процедуру посадки с начала, а перед этим соберут психи-

атрический консилиум, чтобы определить, какое средство из бортовой аптечки должен принять свихнувшийся Ийон Тихий. Аптечка была полна всякой всячины, но я в нее даже не заглядывал. Если бы во мне усомнились там, на Земле, это на девяносто процентов снизило бы шансы всей экспедиции, что, безусловно, устраивало творцов фата-морганы, ибо укрыло бы их деятельность от Земли так же успешно, как и предыдущая ликвидация спутникового контроля Луны. Значит, мне никак нельзя было связываться с базой. Флирт также не входил в мои расчеты. Они, должно быть, знали не так уж мало и вряд ли надеялись, что разведчик примется ухаживать за голой девицей в лунном кратере. Но он, несомненно, захочет приблизиться к ней, чтобы посмотреть на нее вблизи и убедиться, телесна ли она. В конце концов, она могла оказаться вполне телесной, а не простой голографической проекцией. Разумеется, это не была настоящая девушка, но, прикоснувшись к ней, я мог бы этого касания не пережить. Мина, сконструированная с учетом свойственного людям сексуального влечения. В изрядный переплет я попал. Сообщить базе, что произошло, — плохо, не сообщить — тоже скверно, а вплотную заниматься лунной сиреной и опасно, и глупо. Следовательно, нужно было сделать то, чего ни один мужчина ни на Земле, ни на Луне наверняка не сделал бы, увидев молодую хорошенькую блондинку нагишом. Сделать то, чего не предусматривала программа этой ловушки. Оглядевшись вокруг, я примерно в десяти шагах нашел довольно большой камень — собственно, треснувшую пополам глыбу, за которой мог бы целиком спрятаться; уставившись на девушку, будто бы не соображая, куда иду, подошел к этой глыбе, а когда оказался за ней, молниеносно схватил порядочный камень, который на Земле весил бы килограммов пять, настоящую шершавую буханку, и взвесил его в руке. Камень был твердый и легкий, как окаменелая губка. Бросить в нее или не бросить, вот в чем вопрос, думал я, глядя на сидящую девушку. Опираясь спиной на наклонный камень, она, казалось, принимала солнечные ванны. Я отлично видел розовые соски — ее грудь была светлее живота, как обычно у женщин, которые загорают в купальном костюме из двух частей. В голове у меня буквально бурлило. Для чего это было устроено, я понимал. Вообразите себе реакцию командира у полевого телефона, которому артиллерийский наблюдатель докладывает, что на его глазах ору-

дия неприятельской батареи превращаются в младенцев или в колыбельки. Если бы они попросту перекрыли мне радиосвязь, на базе хотя бы знали, что Тихий попал в беду, но если бы я сказал, что прячусь от голой блондинки, это означало бы мое помешательство при исправной связи. Скверно. И, не выдумав ничего лучшего, я швырнул в нее камнем. Он полетел медленно, словно в бесконечность, попал ей в плечо, пробил ее навывлет и зарылся в песок у ее босых ног. Я ожидал взрыва, но его не было. Я заморгал глазами, и в одно из таких мгновений она исчезла. Еще секунду назад сидела, крутя в пальцах прядку светлых волос, опершись локтем на колено, а в следующий момент там не было ничего. Только брошенный камень медленно перевернулся, прежде чем застыть в неподвижности, и маленькое облачко поднятого им песка осело на сероватой скале. Снова я был один как перст. Я поднялся, встав сначала на колени, а потом выпрямившись во весь рост. Тут подал голос Вивич. Как видно, он уже не мог вытерпеть моего молчания. И тут я сообразил, что они должны были наблюдать все это на своем экране. Ведь облако микропов висело где-то надо мной.

— Тихий! Изображения нет! Что случилось?

— Нет *изображения?*.. — переспросил я чуть ли не по буквам.

— Нет. В течение сорока секунд были помехи. Техники думали, что это неполадки в нашей аппаратуре, но уже проверили. У нас все в порядке. Посмотри внимательно, ты должен их увидеть.

Он имел в виду микропов. Маленькие, как мушки, они обычно все-таки заметны в лучах солнца — поблескивают, словно искрящийся рой. Я обвел глазами всю противоположную солнцу сторону небосвода, но не заметил ни малейшей блески. Зато я обнаружил нечто более странное. Пошел дождь. Редкие, маленькие, темные капельки появились то ближе, то дальше от меня на песке. Одна из них скользнула по шлему, и, прежде чем она упала, я успел схватить ее. Это был микроп, почерневший, будто сплавленный сильным жаром в крохотный металлический комочек. Этот дождик все еще шел, хотя и становился реже, когда я сообщил о нем Вивичу. Три секунды спустя послышалось проклятье.

— Расплавлены?

— Похоже, что так.

Это было логично. Если маневр с девицей имел цель подорвать доверие к моим донесениям, то нужно было, чтобы Земля не могла ничего видеть.

— Как насчет резервов? — спросил я.

Микропы находились под непосредственным контролем телетроников. Их передвижения не зависели от меня. На корабле были четыре запасных комплекта микропов.

— Вторая волна уже выслана, жди!

Вивич говорил там с кем-то, отвернувшись от микрофона, слышны были только далекие отголоски.

— Сброшены две минуты назад, — произнес он наконец, шумно дыша.

— Изображение появилось?

— Да. Эй, там, сколько на дальномерах? Видим уже Флемстида. Тихий, они опускаются. А сейчас и тебя... Что такое?

Вопрос, правда, был обращен не ко мне, но я мог бы ответить, потому что дождь из оплавленных микропов пошел снова.

— Радар! — кричал Вивич — не мне, но так громко, что я отлично его слышал. — Что? Разрешающей способности не хватает? Ах так... Тихий! Слушай! Мы видели тебя одиннадцать секунд, сверху. Теперь опять ничего. Говоришь, расплавлены?

— Да, как на сковородке. Но эта сковородка, должно быть, здорово раскалена — от них остался один черный шлак.

— Попробуем еще раз. На этот раз с шлейфом.

Это значило, что за микропами первого броска будут посланы следующие, чтобы проследить судьбу летящих впереди. Я ничего не ожидал от этой попытки. Они уже были знакомы с микропами по предыдущим столкновениям и знали, как с ними управиться. Каким-нибудь индукционным подогревом, электромагнитным полем, в котором вихревые токи Фуко расплавляют любую металлическую частицу. Насколько я помню школьную физику. Впрочем, механизм разрушения не так важен. Микропы, прекрасно защищенные от радарного обнаружения, оказались ни к черту не годны. Хотя это был и новый усовершенствованный тип. По принципу глаза насекомого, рассредоточенного так, что его отдельные омматидии — призматические глазки — занимали более восьмисот квадратных метров. Получаемое изображение было голографическим, трехмерным, цветным и рез-

ким, даже если ослеплено три четверти комплекта. Видимо, Луна досконально разбиралась в таких уловках. Открытие не слишком утешительное, хотя его можно было ожидать. Одно лишь составляло для меня загадку — почему я продолжаю двигаться целым и невредимым. Если им так легко удалось смахнуть микропов, то почему они не могли и меня убрать сразу после посадки, когда не сработала зеркальная ловушка? Почему не прервали моей связи с теледублем? Телематики утверждали, что это практически невозможно, ибо канал управления располагался в области самых жестких космических излучений. Это была невидимая игла, проходящая между кораблем и теледублем, такая «жесткая», как они выражались, что среагировала бы разве только на гравитационное воздействие черной дыры. Магнитное поле, которое смогло бы разорвать или изогнуть эту «иглу», требовало подвода мощности, исчисляемой в миллиардах джоулей. Иначе говоря, в пространстве между кораблем и теледублем пришлось бы накачать мегатонны — или даже гигатонны, накрыв Луну, словно раскрытым зонтом, экраном термоядерной плазмы. Но пока что они не могли или не хотели этого делать.

Может быть, это промедление проистекало не из недостатка могущества, а из стратегического расчета. В сущности, до сих пор разведчики — люди и автоматы — не подвергались на Луне нападению. Они уничтожали себя сами, поскольку первыми применяли оружие, стреляя в свое отражение. Словно бы неживое население Луны решило держаться оборонительной тактики. Этот прием какое-то время должен себя оправдывать. Дезориентированный в стратегической ситуации противник находится в гораздо худшем положении, чем тот, кто знает, что его атакуют. Тщательно продуманная доктрина неведения как гарантии мира опасным и издевательским образом оборачивалась против ее творцов.

Внезапно заговорил Вивич. Третья волна микропов добралась до меня невредимой. Они снова видели меня на своих экранах. Может быть, ослепление базы планировалось только на время фата-морганы с девицей? Я терялся в догадках. Допустим, путем радиоподслушивания на Луну поступали сведения о растущем на Земле ощущении угрозы. Панические настроения, подогреваемые частью прессы, затронули не только общественное мнение, но и правительства. Однако все понимали, что, если возобновится произ-

водство термоядерных ракет для удара по Луне, это будет означать и конец мира на Земле. Нетрудно было понять, что либо готовится нападение, направленное против человечества, либо на Луне происходит что-то совершенно необъяснимое. Вивич снова вызвал меня и сообщил, что сейчас начнется настоящая бомбардировка Луны микропами. Их будут сбрасывать поочередно, волна за волной, и не только с моего корабля, но и со всех направлений, ибо решено привести в действие резервы, накопленные под Зоной Молчания. Я и не знал, что они там были. Я сел посреди мертвой пустыни и, слегка откинувшись назад, уставился в черное небо. Я не смог разглядеть корабль, зато увидел микропов — маленькие искрящиеся облачка, сбегающие сверху и с горизонта. Часть их зависла надо мной, взмывая, волнуясь и поблескивая, словно рой золотых мушек, беззаботно играющих на солнце. Другие, резервные, были заметны лишь временами, когда какая-нибудь из неподвижно горящих звезд мигала и на мгновение гасла, заслоненная облаком моих микроскопических стражей. Они видели меня на всех экранах, сверху, анфас и в профиль. Надо было вставать и двигаться дальше, но мною овладела полная апатия. Неповоротливый, неуклюжий, в тяжелом скафандре, я, в отличие от микропов, представлял собой превосходную мишень даже для полуслепых стрелков. И почему я, со своим черепашиным темпом, должен идти во главе разведки? Почему бы микропов не сделать моими летучими лазутчиками? База дала на это согласие. Тактика изменилась. Рои золотистых комаров полетели надо мной широким фронтом в сторону лунного Урала.

Я шел, настороженно осматриваясь по сторонам. Вокруг простиралась плоская, чуть волнистая равнина, усеянная мелкими кратерами, засыпанными почти до краев. В одном из них торчало из песка что-то похожее на засохшую толстую ветку. Я ухватил ее за конец и потянул, словно вытаскивая из грунта глубоко вросший корень. Помогая себе маленькой саперной лопаткой, которая была приторочена у меня на боку, я освободил из-под сыпучей крошки истлевшие от жара металлические обломки. Это могли быть остатки какой-то из бесчисленных примитивных ракет, которые разбивались о скалы в начальный период освоения Луны. Я не вызвал базу, зная, что благодаря микропам там видят мою находку. Я все тянул и тянул причудливо изогнутые прутья, пока не показалось утолщение, а за ним заблестел более

светлый металл. Все это не выглядело многообещающе, но раз я взялся за такую корчевку, то потянул еще сильнее, не опасаясь, что какой-нибудь острый прут проткнет мне скафандр, ведь я обходился без воздуха и разгерметизация ничем мне не грозила. Но что-то вдруг изменилось. В первый момент я не понял, что мешает мне сохранять равновесие, пока не почувствовал, что мой левый сапог, как в клещи, попал в захват сплюснутых и изогнутых стержней. Я попытался вырвать его, подумав, что сам запутался, но они крепко держали мою ногу, и мне не удалось разогнуть их даже с помощью лопатки.

— Вивич, ты где? — спросил я. Он откликнулся через три секунды.

— Кажется, они поймали меня, как барсука, — сказал я, — это похоже на капкан.

Идиотская история. Попасться в какую-то железку, в примитивную ловушку! Я не мог выбраться из нее. Микропы встревоженным роем мух кружились поблизости, пока я в поте лица возился с челюстями, мертвой хваткой зажавшими мой сапог.

— Возвращайся на борт, — предложил Вивич, а может быть, кто-то из его ассистентов — голос был как будто другой.

— Если из-за этого я потеряю дубля, мы далеко не продвинемся, — ответил я. — Я должен это перерезать.

— У тебя есть карборундовая дисковая пила.

Я отстегнул прикрепленный к бедру плоский футляр. Там действительно была миниатюрная дисковая пила. Подключив ее шнур к клеммам питания скафандра, я наклонился. Из-под вращающегося лезвия брызнули искры. Зажимы, державшие мой сапог у лодыжки, уже размыкались, перерезанные почти до конца, как вдруг я почувствовал нарастающий жар в ступне. Изю всех сил дернул ногу и увидел, что металлическое утолщение, похожее на большую картофелину, из которой выходили эти корневидные прутья, раскаляется словно от невидимого пламени. Белый пластик сапога уже почернел и шелушился от жара. Последним рывком я высвободил ногу и шатнулся назад. Меня ослепила кустообразная вспышка, я почувствовал резкий удар в грудь, услышал треск раздираемого скафандра и на мгновение погрузился в непроницаемую темноту. Я не потерял сознание, просто меня окружил мрак. Потом раздался голос Вивича:

— Тихий, ты на борту! Откликнись! С первым теледублем покончено.

Я заморгал глазами. Откинувшись на подголовник, странно подогнув ноги, я сидел в кресле и держался за грудь, за то место, в котором только что ощутил резкий удар. Точнее, острую боль, как я теперь осознал.

— Это была мина? — спросил я с удивлением. — Мина, соединенная с автозахватом? Что они, ничего более совершенного не могли придумать?

Я слышал голоса, но говорили не со мной, кто-то спрашивал о микропах.

— Нет изображения, — сказал незнакомый голос.

— Как, всех уничтожил один этот взрыв?

— Это невозможно.

— Не знаю, возможно или нет, но экран пуст.

Я все еще тяжело дышал, как после долгого бега, глядя на диск Луны. Весь кратер Флемстида и долину, где я так глупо потерял теледубля, я мог бы прикрыть кончиком пальца.

— Что с микропами?

— Не знаем.

Я взглянул на часы и удивился: почти четыре часа я провел на Луне. Приближалась полночь по бортовому времени.

— Вы как хотите, — сказал я, не пытаясь скрыть зевок, — но на сегодня с меня хватит. Иду спать.

VI. ВТОРАЯ РАЗВЕДКА

Проснулся я отдохнувшим и сейчас же вспомнил события предыдущего дня. После хорошего душа думается всегда яснее, поэтому я настоял, чтобы на борту была душевая с настоящей водой, а не влажные полотенца, этот убогий суррогат ванны. О ванне не могло быть и речи, роль душевой выполнял резервуар, огромный, как бочка: внутри с одной стороны били струи воды, а с другой их всасывал поток воздуха. Чтобы не захлебнуться, ибо вода в невесомости разливается толстым слоем по всему телу и лицу, я вынужден был перед купанием надеть кислородную маску. Это было весьма неудобно, но я предпочитал иметь такой душ, чем никакого. Известно, что, когда конструкторы уже набили руку в строительстве ракет, астронавтов долго еще мучили ава-

рии клозетов, и технической мысли пришлось немало потрудиться, прежде чем было найдено решение этой шарады. Анатомия человека до ужаса плохо приспособлена к космическим условиям. Этот твердый орешек, который не давал спать астротехникам, нисколько не беспокоил авторов научной фантастики, так как их возвышенные души попросту не замечали таких проблем. С малой нуждой еще полбеда, правда, только у мужчин. С большой же все счастливо уладилось только благодаря специальным компьютерам-дефекторам, у которых один лишь изъян, а именно: когда они портятся, положение становится катастрофическим, каждый выходит из него, как умеет. Однако в моем лунном модуле такой компьютер до самого конца работал, если можно употребить такую похвальную метафору, как швейцарские часы. Вымытый и освеженный, я выпил кофе из пластиковой груши, заедая его кексом с изюмом — под сильной тягой отсасывающего устройства, включенного на полную мощность. Я предпочитал, чтобы потоком воздуха у меня вырывало крошки из-под пальцев, — это лучше, чем поперхнуться или подавиться изюминой. Я не из тех, кто легко отказывается от своих привычек. Подкрепившись как следует, я уселся в кресло перед селенографом и, глядя на изображение лунного глобуса, принялся размышлять в приятной уверенности, что никто не будет донимать меня советами, потому что я не уведомил базу о своем пробуждении и там считали, что я еще сплю. Зеркальный феномен и голая девица представляли собой два последовательных этапа распознавания, *кто* прибыл, и они, как видно, удовлетворили тех или то, что подготовило мне такой прием, раз мне дали лазить по Флемстиду, не завлекая миражами и не подвергая нападениям. Однако капкан, который оказался миной, в эту картину никак не вписывался. С одной стороны, они берут на себя труд создавать миражи на ничьей земле, действуя на расстоянии, потому что эта зона неприкосновенна, а с другой стороны — закапывают там мины-ловушки. А все вместе выглядит так, будто я противостоял армии, вооруженной локаторами дальнего обнаружения и дубинами. Правда, мина могла лежать здесь с давних времен, ведь я, да и никто другой, не имел представления, что делалось на Луне на протяжении стольких лет абсолютной изоляции. Так и не решив этой загадки, я начал готовиться к следующей высадке. ЛЕМ-2 находился в полной готовности и был творением фирмы «Дженерал телетроникс», моделью, отличающейся от того бедняги, кото-

рого я так неожиданно потерял, поэтому я полез в грузовой отсек, чтобы осмотреть его, прежде чем стану им. Этот, должно быть, силач из силачей, подумал я, такие толстые у него ноги и руки, широкие плечи, тройной панцирь, который глухо загудел, когда я постучал по нему пальцем, а кроме визиров в шлеме, шесть дополнительных глаз — на спине, на бедрах и на коленях. Чтобы обскákat конкурентов, проектировавших первого ЛЕМа, «Дженерал телетроникс» снабдила модель двумя индивидуальными ракетными системами: кроме тормозных, отбрасываемых после посадки, бронированный атлет имел постоянно закрепленные сопла в пятках, под коленями и даже в сиделище, что — как я вычитал в инструкции, полной самохвальства, — помогало ему сохранять равновесие и, кроме того, позволяло совершать восьмидесяти- или шестидесятиметровые прыжки. Ко всему прочему, панцирь сиял, как чистая ртуть, чтобы луч любого светового лазера соскальзывал с него. Я, в общем, понимал, как великолепен этот ЛЕМ, но не сказал бы, что меня вдохновил его подробный осмотр: чем больше визиров, глаз, индикаторов, сопел, тем больше внимания они требуют, а у меня, стандартного человека, конечностей и чувств не больше, чем у любого другого. Вернувшись в кабину, я для пробы включился в этого теледубля и, став им, а собственно, самим собой, поднялся на ноги и ознакомился с его жутко усложненным управлением. Кнопка, дающая возможность совершать длинные прыжки, имела вид маленького пирожка, от которого отходили провода, и взять ее надлежало в зубы. Но как же разговаривать с базой с таким контактом в зубах? Правда, этот эластичный пирожок можно было смять в пальцах, как пластилин, и вложить за щеку, а в случае необходимости достать языком и зажать коренными зубами. А если бы ситуация стала особенно напряженной, я мог бы, как объясняла инструкция, держать кнопку все время между зубами, следя лишь за тем, чтобы не сжать их слишком сильно. О стучании зубов вследствие неожиданного испуга там не было ни слова. Я лизнул эту кнопку, и вкус был такой, что я тут же сплюнул. Кажется — хотя поклясться не могу, — на земном полигоне ее чем-то смазали, возможно, апельсиновой или мятной пастой. Выключив теледубля, я перешел на более высокую орбиту и продвигался по ней, чтобы наметить цель номер ноль два между Морем Пены и Морем Смита, и уже в меру вежливо беседовал с земной базой. Я летел спокойно, как накормленное дитя в колыбельке, но

тут что-то странное начало твориться в селенографе. Это превосходное устройство, пока оно работает безупречно. Зачем возиться с реальным глобусом Луны, когда его заменяет трехмерное изображение, получаемое голографически; впечатление такое, будто настоящая Луна поворачивается потихоньку перед глазами, вися в воздухе в метре от тебя; при этом прекрасно видно весь рельеф поверхности, а также границы секторов и обозначения их владельцев. Передо мной поочередно проплывали сокращения, какими обычно снабжаются номера автомобилей: US, G, I, F, S, N и так далее. Тут, однако, что-то испортилось, секторы стали переливаться всеми цветами радуги, потом рябь больших и малых кратеров помутнела, изображение задрожало, а когда я бросился к регуляторам, превратилось в белую, гладкую, девственную сферу.

Я менял резкость фокусировки, увеличивал и уменьшал контрастность, и в результате через некоторое время Луна появилась вверх ногами, а потом исчезла совсем, и уже никакая сила не могла заставить селенограф работать нормально. Я сообщил об этом Вивичу и, разумеется, услышал, что я что-то перекрутил. После моего сакраментального, повторенного добрый десяток раз заявления, что у меня серьезные затруднения — ибо так принято говорить еще с времен Армстронга, — профессионалы занялись моим голографом, что отняло полдня. Сначала мне велели увеличить период обращения, чтобы подняться над Зоной Молчания и таким образом исключить действие каких-то неизвестных сил или волн, направленных на меня с Луны. Так как это ничего не дало, они принялись проверять все интегральные и обычные схемы в голографе непосредственно с Земли, а я в это время приготовил себе второй завтрак, а потом и обед. Поскольку приготовить хороший омлет в невесомости непросто, я снял шлем и наушники, чтобы споры информатиков с телетронщиками и специально вызванным профессорским штабом не рассеивали моего внимания. После всех дебатов оказалось, что голограф *испорчен*, и хотя точно известно, какая микросхема сгорела, но именно ее у меня нет в резерве, а потому ничего сделать нельзя. Мне посоветовали разыскать обычные, напечатанные на бумаге лунные карты, приклеить их липкой лентой к экранам и таким образом выйти из создавшегося положения. Карты я нашел, но не все. У меня оказалось четыре экземпляра первой четверти Луны, именно той, на которой я пережил уже известные приключения, но

остальных не было и следа. На базе царила полная растерянность. Меня убеждали поискать тщательней. Я перевернул ракету вверх дном, но, кроме порнокомикса, брошенного техниками обслуживания во время последних приготовлений к старту, нашел только словарь сленга американских гангстеров пятого поколения. Тогда база разделилась на два лагеря. Одни считали, что в таких условиях я не могу продолжать свою миссию и должен вернуться, другие хотели предоставить право решения мне самому. Я взял сторону второй группы и решил высадиться там, где было намечено. В конце концов, они могли передавать мне изображение Луны по телевизионному каналу. Картинка была приличная, но никак не удалось ее синхронизировать с моей орбитальной скоростью, и мне показывали поверхность Луны то мчащуюся сломя голову, то почти неподвижную. Хуже всего было, что мне предстояло сесть на самом краю диска, видимого с Земли, а затем двинуться на другую сторону, и здесь появлялась новая проблема. Когда корабль висел над обратной стороной Луны, они не могли передавать мне телевизионное изображение напрямую, а только через спутники внутренней системы контроля, которые этого не хотели. Не хотели потому, что о такой возможности никто как-то не подумал заранее, и спутники были запрограммированы в соответствии с доктриной неведения, то есть им не было позволено ничего передавать ни с Земли, ни на Землю. Ничего. Правда, для поддержания связи со мной и моими микропами на высокую экваториальную орбиту были выведены так называемые троянские спутники, но они не были приспособлены для передачи телевизионного изображения. То есть были, конечно, но только для изображения, которое передавали микропы. Все это очень долго обсуждалось, пока в безвыходной ситуации кто-то не подбросил мысль, что неплохо бы устроить мозговой штурм. Говоря по-ученому, мозговой штурм — это импровизированное совещание, на котором каждый может выдвигать самые смелые, самые дерзкие гипотезы и идеи, а остальные стремятся перещеголять его в этом. Выражаясь проще, каждый может плести, что в голову взбредет. И такой мозговой штурм продолжался четыре часа. Наболтались ученые до упаду, и ужасно мне надоели, к тому же они потихоньку отклонились от темы и уже не о том у них шла речь, как мне помочь, а о том, кто провинился, не продумав должным образом системы дублирования голографической имитации. Как обычно, когда люди действуют в кол-

лективе, плечом к плечу, виноватого не оказалось. Они перебрасывали друг другу упреки, словно мячики; в конце концов и я вставил словечко, заявив, что управлюсь без них. Я не видел в этом особого риска — он и так был настолько велик, что мое решение не добавляло к нему практически ничего, а кроме того, вопрос, опущусь ли я в секторе US, SU, F, G, E, I, C, CH или на какую-нибудь другую букву алфавита, имел чисто академический характер. Самое понятие национальной, или государственной, принадлежности роботов, неизвестно в каком поколении населяющих Луну, было пустым звуком. Знаете ли вы, что самой трудной задачей военной автоматизации оказалось так запрограммировать автооружие, чтобы оно атаковало исключительно противника? На Земле с этим не было никаких проблем; для этого служили мундиры, разноцветные знаки на крыльях самолетов, флаги, форма касок, и в конце концов нетрудно установить, по-голландски или по-китайски говорит взятый в плен солдат. С автоматами дело другое. Поэтому появились две доктрины под кодовым названием FOF, то есть Friend Of Foe. Первая из них рекомендовала применение множества датчиков, аналитических фильтров, различающих селекторов и тому подобных диагностических устройств, другая же отличалась завидной простотой: врагом считается Кто-то Чужой, и все, что не может ответить надлежащим образом на пароль, нужно атаковать. Однако никто не знал, какое направление приняла самопроизвольная эволюция вооружений на Луне, а значит, и действия тактических и стратегических программ, отличающих союзника от врага. Впрочем, как известно из истории, эти понятия весьма относительны. Если кому-то этого очень захочется, он может, копаясь в метрических книгах, установить, была ли арийкой бабка некоторой особы, но уж никак не сможет проверить, кто был ее предком в эоцене — синантроп или палеопитек. Автоматизация всех армий, кроме того, ликвидировала идеологические проблемы. Робот старается уничтожить то, на что нацелила его программа, и делает это согласно методу фокусирующей оптимизации, дифференциального диагностирования и правилам математической теории игр и конфликтов, а вовсе не из патриотизма. Так называемая военная математика, возникшая вследствие автоматизации всех видов оружия, имеет своих выдающихся творцов и приверженцев, но также еретиков и отступников. Первые утверждали, что существуют программы, обеспечивающие стопроцент-

ную лояльность боевых роботов, и нет никакой силы, которая могла бы склонить их к измене, вторые же уверяли, что таких гарантий нет. Как всегда перед лицом задач, перерастающих мои возможности, я и тут руководствовался здравым смыслом. Нет шифра, который невозможно раскрыть, и нет кода, настолько тайного, чтобы никто не смог корыстно воспользоваться им в своих собственных интересах. Об этом свидетельствует история компьютерных преступлений. Сто четырнадцать программистов работали, чтобы предохранить вычислительный центр Чейз Манхэттен Банка от вторжения нежелательных лиц, а потом смысленный юнец с карманным калькулятором в руке, пользуясь обычным телефоном, забавы ради влез в святая святых наисекретнейших программ и сместил бухгалтерский баланс по своему усмотрению. Как опытный взломщик, который дерзко оставляет на месте преступления знак своего присутствия, чтобы побесить следственные органы, так и этот студент вставил в сверхтайную банковскую программу вместо визитной карточки такую команду, чтобы при проверке баланса компьютер перед каждым «дебет» и «кредит» сначала отстукивал бы «А-КУ-КУ». Теоретики программирования, конечно, не позволили себя закуковать и сразу же выдумали новую, еще более сложную и неприступную программу. Не помню уже, кто с ней расправился. Это не имело значения для второго этапа моей самоубийственной миссии.

Не знаю, как назывался кратер, куда я спустился. С севера он был немного похож на кратер Гельвеция, но с юга вроде бы на что-то другое. Я увидел это место с орбиты и выбрал его наугад. Может, когда-то здесь была ничейная земля, а может быть, и нет. Я сумел бы, поиграв с астрографом и замерив склонение звезд и все такое прочее, определить координаты, но предпочел оставить это на десерт — и хорошо сделал. ЛЕМ номер два был намного лучше, чем я предполагал со свойственной мне недоверчивостью, но имел один несомненный изъян. Климатизацию в нем можно было установить либо на максимум, либо на минимум. Я бы, наверное, справился с постоянным перескакиванием из духовки в холодильник и наоборот, если бы дело было в самой климатизации скафандра, но дефект не имел с нею ничего общего. Ведь я по-прежнему сидел внутри корабля, при умеренной температуре, однако в сенсорах этого ЛЕМа что-то разладилось, и они раздражали мою кожу то фальшивым теплом, то таким же мнимым холодом. Не видя иного вы-

хода, я переставлял переключатель через каждые две минуты. Если бы корабль не простерилизовали перед стартом, я наверняка схватил бы грипп. Но отделался только насморком, потому что его вирусы обитают у каждого из нас в носу в течение всей жизни. Я долго не мог понять, почему все медлю с высадкой — не от страха же, — и вдруг уяснил настоящую причину: я не знал названия места посадки. Как будто название что-то значило — однако так оно и было. Именно этим, несомненно, объяснялось усердие, с которым астрономы окрестили каждый кратер Луны и Марса и пришли в растерянность, когда на других планетах открыли столько гор и впадин, что им уже не хватило благозвучных названий.

Местность оказалась плоской, только к северу на фоне черного неба выделялись контуры скругленных бледно-пепельных скал. Песка тут было в изобилии: я шел, тяжело утопая в нем и время от времени проверяя, следуют ли за мной микропы. Они летели надо мной так высоко, что только изредка поблескивали, как искры, проворным движением выделяясь среди звезд. Я находился вблизи терминатора — границы дня и ночи, но темная половина лунного диска начиналась где-то впереди, на расстоянии каких-нибудь двух миль.

Солнце висело низко, касаясь горизонта за моей спиной, и рассекало плоскогорье длинными параллельными тенями. Каждое углубление грунта, даже небольшое, заполнял такой мрак, что я входил в него, словно в воду. Попеременно обдаваемый жаром и холодом, я упорно шел вперед, наступая на собственную гигантскую тень. Я мог разговаривать с базой, но пока было не о чем. Вивич поминутно спрашивал, как я себя чувствую и что вижу, а я отвечал — «все в порядке» и «ничего». На вершущке пологой дюны стопкой лежали плоские, довольно большие камни, и я направился в ту сторону, потому что там блеснуло что-то металлическое. Это была массивная скорлупа какой-то старой ракеты, без сомнения, еще эпохи первых выстрелов по Луне. Я поднял ее и, осмотрев, отбросил. Двинулся дальше. На самом верху холма, где почти не было этого мелкого песка, в котором вязнут сапоги, лежал отдельно камень, похожий на плоский плохо выпеченный каравай хлеба. Может, со скуки, а может, потому, что он так отдельно лежал, я пнул его ногой, а он, вместо того чтобы покатиться вниз, треснул, но так, что отскочил только кусок размером с кулак, и по-

верхность излома заблестела, как чистый кварц. Хотя мне в голову вдолбили массу сведений о химическом составе лунной коры, я никак не мог вспомнить, присутствует ли в ней кристаллический кварц, и поэтому наклонился за обломком. Для Луны он был довольно тяжел. Я подержал его в руке и, не зная, что делать с ним дальше, бросил и хотел уже было идти, но вдруг замер, потому что в последний момент, когда я уже разжал пальцы, он как-то странно блеснул на солнце, словно на вогнутой поверхности скола что-то микроскопически дрогнуло. Я не стал к нему снова притрагиваться, а наклонился и долго разглядывал его, усиленно моргая, в уверенности, что это только обман зрения, но с камнем и в самом деле творилось что-то странное. Щербины на поверхности скола утрачивали блеск, да так быстро, что через несколько секунд стали матовыми, а потом начали заполняться, словно из глубины камня что-то выступало. Я не понимал, как это может быть: из камня, казалось, начала сочиться полужидкая мазь, как смола из надреза дерева. Я осторожно прикоснулся к ней пальцем, но она не была липкой, скорее мучнистой, как гипс перед отвердением. Я взглянул на другой, большой обломок и удивился еще больше. У него место разлома не только стало матовым, но и несколько вспучилось. Однако я ничего не сказал Вивичу, а продолжал стоять, расставив ноги, чувствуя спиной жаркое давление солнца, в нескольких метрах над слегка волнистой, в белых полосах и пятнах теней равниной, и не отрывал глаз от камня, с которым происходило что-то непонятное. Он рос, а точнее, зарастал. Просто зарастал, и через несколько минут обе части, большая и малая, — та, которую я только что держал в руках, — уже не подходили друг к другу, они обе стали выпуклыми и превратились в неправильной формы куски без всяких следов разлома. Я ждал, что будет дальше, но больше ничего не происходило, словно затянулась шрамами рана, и все. Это было невозможно и начисто лишено смысла, но это было. Припомнив, как легко треснул этот камень, хотя удар по нему был не так уж силен, я осмотрелся в поисках других. Несколько камней поменьше размером лежали на солнечном склоне. Взяв лопатку, я сошел вниз и острием поочередно ударил по каждому из них. Все они лопались, как перезревшие каштаны, сверкнув разломом нутра, пока я не наткнулся на обычный камень, от которого саперная лопатка отскочила, оставив только белесую царапину. Тогда я вернулся к раз-

валеным надвое камням. Они зарастали, в этом уже не было сомнения. В кармане-мешке на правом бедре у меня был маленький счетчик Гейгера. Он даже не дрогнул, когда я приблизил его к этим камням. Открытие было, по-видимому, важным: камни так себя не ведут, значит, они не натуральные, а являются продуктом местной технологии, и мне следует забрать их с собой. Я уже наклонился, чтобы взять один из них, но вспомнил, что не могу вернуться на борт — проект этого не предусматривал. Химического анализа я также не мог сделать на месте, не имея реактивов. Если бы я уведомил об этом феномене Вивича, начались бы длинные разговоры, консультации, возбужденные селенологи велели бы мне торчать на этой дюне, раскалывать, как яйца, другие камни, сколько удастся, и наблюдать, что с ними происходит, а сами стали бы выдвигать все более смелые домыслы, но я всем нутром чувствовал: из этого ничего не выйдет, ибо сперва нужно понять, для чего такое явление предназначено, что за ним кроется; тут я услышал голос Вивича, который заметил, что я ударяю лопаткой, но не разглядел по чему. Видимо, изображение, передаваемое микропами, было недостаточно резким. Я сказал, что ничего особенного, и быстро пошел дальше, на ходу обдумывая случившееся.

Способность к заращиванию полученных в бою повреждений могла быть в высшей степени необходима военным роботам, если бы они здесь были, но не камням же. Неужели местные вооружения под надзором компьютеров начались со стадии камня и пращи? Но если даже и так, на кой черт каменным снарядам зарастание? Тут, не знаю почему, я вдруг подумал, что нахожусь здесь не как человек, а как теледубль, то есть в неживом воплощении. А что, если развитие лунных вооружений пошло по двум независимым направлениям: создания оружия, атакующего все враждебное и мертвое, и другого — атакующего все враждебное и живое? Допустим, фантазировал я, что средства, поражающие мертвое оружие, не могут одновременно или с равной эффективностью действовать на живого неприятеля, а я наткнулся как раз на это второе оружие, приготовленное на случай высадки человека. Поскольку я им не был, их мины — предположим, что мины, — не почуяв живого тепла внутри скафандра, не причинили мне вреда, и их активность ограничилась заращиванием повреждений. Если бы какой-нибудь земной робот-разведчик задел их ногой, он не обра-

тил бы внимания на их зарастание, ибо наверняка не запрограммирован на распознавание столь удивительного и непредвиденного явления. Я же не был ни роботом, ни человеком и потому заметил его. И что дальше? Этого я не знал, но если в моей догадке был хотя бы атом правды, то следовало ожидать и других мин, настроенных уже не на людей, а на автоматы. Теперь я шел несколько медленнее: осторожно ступая, чувствуя неподвижное солнце за спиной, одолевал дюну за дюной; время от времени встречал большие и малые камни, но уже не разбивал их лопаткой и не пинал ногами — ведь если они и вправду были двух разновидностей, дело могло кончиться плохо. Так я прошел добрых три мили, возможно, чуть больше — мне не хотелось вытаскивать шагомер, который застрял в кармане на голени, таком узком, что только с большим трудом я мог просунуть туда руку в перчатке, — и, двигаясь дальше в южном направлении, заметил какие-то развалины. Это не произвело на меня особого впечатления — на Луне много разрушенных скал, очертания которых по игре случая выглядят как руины построек, и лишь вблизи обнаруживаешь, что обманулся. Но все-таки я изменил направление и брел по все более глубокому песку, ожидая, когда эти скалы примут свой настоящий, хаотический вид, но ждал я напрасно. Напротив, чем ближе я подходил, тем явственней вырисовывались частично разбитые и опаленные фасады низких строений; черные пятна были не теньями, а отверстиями, хотя и не такими правильными, как оконные проемы, — и все же таких больших отверстий, к тому же расположенных почти правильными рядами, никто в лунных скалах до сих пор не открыл. Песок вдруг перестал проваливаться у меня под ногами. Сапоги стучали по стекловидной шершавой массе, похожей на застывшую лаву, но это была не лава, а, скорее, расплавленный и застывший песок, подвергшийся действию очень высокой температуры. Думаю, я не ошибся, потому что эта скорлупа покрывала весь некрутой склон, по которому я поднимался, приближаясь к руинам. Меня отделяла от них довольно высокая дюна, возвышающаяся над всей местностью; взобравшись на ее вершину, я смог окинуть взглядом странные развалины и тогда понял, почему не заметил их с орбиты. Они были заглублены в грунт. Будь это и в самом деле остатки развалившихся домов, я сказал бы, что щебень доходил до самых окон. С расстояния порядка трехсот метров это напоминало хорошо знакомую по фотографиям кар-

тину: селение, возведенное из камня и разрушенное землетрясением. В Персии, к примеру, находили такие селения. С орбиты его удалось бы рассмотреть только вблизи терминатора: там очень низкое солнце светило бы через эти будто простреленные или полуобвалившиеся, словно взрывом деформированные оконные проемы. Я все еще не был уверен, что это не просто скалы необычной формы, и пошел в их сторону, но уже издали они мне настолько не понравились, что я вынул счетчик Гейгера и время от времени поглядывал на его шкалу. Это было довольно неудобно. Сходя с дюны, я даже ухитрился упасть, и потому подключил счетчик к контакту на скафандре и теперь мог услышать его треск, если местность окажется радиоактивной. А она такой и оказалась — примерно с середины противоположного склона. Едва я ступил на щебень, засыпавший эти приземистые дома без крыш, с выщербленными стенами (теперь я уже был уверен, что передо мной не творение природных сил Луны), как услышал частое густое потрескивание. Более того, щебень не разъезжался у меня под ногами, потому что был сплавлен в сплошную массу. Все выглядело так, словно в этом странном поселке, в самой его середине произошел взрыв, и жар излучался достаточно долго, так что развалины, в которые обратился поселок, сплывались и превратились в скалу. Я находился уже у крайних руин, но не мог присмотреться к ним как следует, потому что был вынужден соразмерять каждый шаг, осторожно ставя тяжелые сапоги на выступы, торчащие из этого огромного завала, чтобы не провалиться между глыбами, — это легко могло случиться. Только выше, у ближайшей руины, довольно крутая осыпь переходила в стекловидную глазурь, покрытую, словно сажой, черноватыми полосами. Идти стало легче, я прибавил ходу и наконец оказался у первого окна. Это было неправильной формы отверстие, придавленное нависшими сверху камнями; я заглянул внутрь; там царил густой мрак, и я не сразу заметил какие-то разбросанные в беспорядке продолговатые предметы. Мне не хотелось ползти через полуразрушенное окно, потому что в нем можно было застрять — теледубль был массивный, — и я решил искать двери. Раз есть окна, то и двери должны где-то быть. Однако я никаких дверей не нашел. Обойдя кругом здание, вбитое в грунт с такой огромной силой, что оно перекошилось и расплющилось, я обнаружил в боковой стене достаточно широкую брешь, через которую мог, согнувшись, проникнуть

внутри. Там, где солнечный свет прямо соседствует на Луне с тенью, контраст яркости так велик, что глаза не справляются; мне пришлось, шаря руками по стене, зайти в угол помещения и, прижавшись спиной к мощной кладке, зажмуриться, чтобы глаза привыкли к темноте. Досчитав про себя до ста, я открыл глаза и осмотрелся.

Внутри руины напоминали пещеру, лишенную свода, что, впрочем, не обеспечивало верхнего света, ведь небо Луны черно, как смоль. Солнечный свет, если он падает через отверстие, не выглядит там сияющим лучом, потому что его не рассеивают, как на Земле, воздух и пыль. Солнце оставалось снаружи и высвечивало пятно, казавшееся раскаленным добела, на стене напротив угла, в котором я стоял. В его отсвете лежали у моих ног три трупа. Так я подумал в первое мгновение, потому что у них, почерневших и изуродованных, можно было различить ноги, руки, туловища, а у одного даже была голова. Жмурясь и заслоняясь от солнечного пятна, которое слепило меня, я наклонился над ближайшим телом. Это не были человеческие останки, более того, вообще ничьи останки, ибо то, что с самого начала мертво, умереть не может. Даже не прикоснувшись к телу, навзничь раскинувшемуся у моих ног, я понял, что это скорее манекен, чем робот, ибо его широко разваленное туловище было совершенно пусто. В нем был только песок и несколько каменных обломков. Я осторожно потянул его за руку. Он был удивительно легкий, словно из пенопласта, черный, как уголь, без головы — его голову я заметил тут же у стены. Она стояла на обрубке шеи и смотрела на меня тремя пустыми глазницами. Я, конечно, удивился, почему тремя, а не двумя. Третий глаз в виде округлой ямки находился ниже лба, там, где у человека основание носовой кости; но у этого странного манекена, по-видимому, никогда не было носа, что в общем понятно, ведь на Луне он совершенно ни к чему. Остальные манекены тоже были только приблизительно человекообразны. Хотя взрыв сильно их деформировал, сразу было видно, что их строение и до того было отдаленным подобием, а не точным воспроизведением человеческой анатомии. У них были слишком длинные ноги, много длиннее туловища, слишком тонкие руки, которые, кроме того, были прикреплены не к плечам, но странным образом: одна к груди, другая к спине. Так, видимо, было задумано, ибо взрыв, ударная волна и обвал могли, конечно, перекрутить конечности одному из

них, но не всем же одинаково. Кто знает, одна рука спереди, другая сзади в каких-то условиях могли оказаться удобнее. Присев на корточки напротив резкого солнечного пятна, в темноте, рядом с тремя трупами, я вдруг обратил внимание на то, что не слышу ничего, кроме быстрого стрекота счетчика радиоактивности, а значит, уже несколько минут до меня не доходит голос Вивича. Последний раз я ответил ему с вершины дюны, возвышающейся над руинами, ничего не сообщив о своем открытии, потому что сначала хотел убедиться, что не ошибся. Я вызвал базу, но в наушниках все так же быстро, тревожно стрекотал мой «гейгер». Радиоактивное заражение было значительным, но я не стал тратить время на замеры; теледублю оно не могло повредить, хотя я подумал, что радиосвязь мне отрезал, наверное, ионизированный газ, все еще выделяемый развалинами каменного селения, а значит, в любую минуту я мог потерять связь с кораблем. Меня это страшно испугало: почудилось, что я останусь здесь навсегда, это было глупо, ведь если бы связь прервалась, среди руин остался бы только теледубль, а я очнулся бы на борту. Но пока я не ощущал ни малейших признаков того, что теледубль отказывается мне подчиняться. Мой корабль, видимо, висел прямо над поселком — ведь он обращался по стационарной орбите, находясь постоянно в зените надо мной. Никто, конечно, не мог предвидеть ни такого открытия, ни такой ситуации, но позиция в зените оптимальна для манипулирования теледублем, потому что расстояние от управляющего человека тогда минимально, а следовательно, минимально и запаздывание реакции. На Луне нет атмосферы, и сгусток ионизированного газа — возможно, в результате испарения минералов после взрыва — был не слишком большим. Нарушил ли он также связь базы с микропами, я не знал, да и не до того мне было; прежде всего хотелось узнать, что именно здесь произошло, а уже потом разбираться, почему и зачем. Пятясь, я выволок через брешь в стене самые крупные останки — того, что был с головой. Я называю их трупами, хотя это вовсе не так, — трудно отделаться от первого впечатления.

Радиосвязь не восстановилась и снаружи, но я все-таки решил прежде всего исследовать беднягу, который хотя никогда и не жил, но вызывал жалость всем своим видом. Ростом он был метра три или чуть меньше, худой, с сильно удлиненной головой, трехглазый, но без признаков носа и

рта; длинная шея, хватистые руки, однако пальцы невозможно было сосчитать, потому что материал, из которого он был изготовлен, оплавился сильнее всего там, где конечности становились тоньше. Все его тело покрывала смолистая корка. Жарковато им здесь пришлось, подумал я, и тут меня осенило — это мог быть поселок наподобие тех, что когда-то строили на Земле, чтобы исследовать результаты ядерных взрывов в Неваде и в других местах: с домами, садами, магазинами, улицами, и только людей заменяли в них животные — овцы, козы, а также свиньи, у которых безволосая кожа, как у людей, и потому они так же реагируют на термический удар, получая ожоги. Возможно, здесь происходило что-то подобное? Если бы я знал мощность ядерного заряда, который разрушил это селение и вбил его в грунт, я мог бы по интенсивности остаточного излучения установить, как давно произошел взрыв; а по составу изотопов физикам и теперь удалось бы это определить. На всякий случай я насыпал в наколенный карман горсть мелкого щебня — и снова со злостью вспомнил, что не вернусь на борт корабля. Определить время взрыва было все же необходимо, хотя бы приблизительно. Я решил выйти из зараженной зоны и связаться с базой, чтобы передать сведения и дать задание физикам. Пусть сами додумываются, как провести анализ проб, которые я взял. Не вполне понимая зачем, я поднял несчастного покойника, без труда закинул его себе на спину — он весил каких-нибудь восемь-девять килограммов — и начал довольно сложный по тактике отход. Длинные ноги манекена волочились по грунту, цеплялись за камни, и приходилось идти очень медленно, чтобы не рухнуть вместе с ним. Склон был не слишком крутой, но я не мог разобраться, идти ли мне по скользкой застывшей глазури или по щебню, который проседал и начинал съезжать вместе со мной при каждом шаге. Из-за этих мучений я потерял направление и вышел не на дюну, с которой спустился перед тем, а на четверть мили западнее и очутился среди больших округлых глыб, похожих на каменно-монолиты, которые земные геологи называют «свидетелями». Положив на плоский грунт свою ношу, я сел отдышаться, прежде чем вызвать Вивича. Я осмотрелся в поисках микропов, но нигде не было и следа их искрящейся тучки, никаких голосов я тоже не слышал, хотя теперь уже они должны были до меня доходить. Тикание датчика в шлеме стало таким редким, словно на мембрану падали пооди-

ночке зернышки песка. Услышав какой-то неразборчивый голос, я подумал, что это база, и, вслушавшись, оцепенел. Из хриплого бормотания до меня дошли сначала два слова: «Братец родимый... родимый братец...» Минута тишины и снова: «Братец родимый... родимый братец...»

«Кто говорит?» — хотел я крикнуть, но не отважился. Я сидел скорчившись, чувствуя, как пот выступает у меня на лбу, а этот чужой голос заполнял шлем. «Подойди, братец родимый, родимый братец, подойди ко мне. Приблизься без опасения. Я не хочу ничего плохого, братец родимый, приблизься. Не бойся, я не хочу сражаться. Мы должны побрататься. Это правда, братец родимый. Помоги мне. Я тебе тоже помогу, братец родимый». Что-то щелкнуло, и тот же голос, но совершенно другим, рычащим тоном коротко, резко произнес: «Брось оружие! Брось оружие! Брось оружие! Бросай оружие, или я тебя сожгу! Не пытайся бежать! Повернись спиной! Подними руки! Обе руки! Так! Обе руки на затылок! Стой и не двигайся! Не двигайся! Не двигайся!»

Снова что-то треснуло, и вернулся первый голос, тот же самый, но заикающийся, слабый: «Братец родимый!.. Подойди. Мы должны побрататься! Помоги мне. Мы не будем сражаться». Я уже не сомневался — разговаривал труп. Он лежал так, как я его бросил, похожий на раздавленного паука, с разодранным брюхом и переплетенными конечностями, уставившись пустыми глазницами прямо на солнце и не двигаясь, но что-то внутри него все говорило и говорило. Песенка на два такта. На две мелодии. Сначала о братце родимом, а потом — хриплые приказы. Это его программа, подумал я. И ничего больше. Манекен или робот, сначала он должен был подманить человека, солдата, а потом взять его в плен или убить. Двигаться он уже не мог и только скребся в нем этот недопаленный обрывок программы, как заигранная пластинка. Но все-таки почему по радио? Если бы он был предназначен для войны на Земле, то говорил бы напрямую, голосом. Я не понимал, зачем ему радио. Ведь на Луне не могло быть никаких живых солдат, а робота так не приманишь. Мне это казалось бессмысленной нелепицей. Я смотрел на его почерневший череп, на перекрученные и опаленные руки с оплавленными в сосульки пальцами, на разверстое туловище — уже без невольного сочувствия, как минуту назад. Скорее уже с неприязнью, а не только с отвращением, хотя в чем

он был виноват? Так его запрограммировали. Можно ли предъявлять моральные претензии к программе, запечатленной в электрических контурах? Когда он снова начал плести свое «братец родимый», я отозвался, но он не слышал меня. Во всяком случае, ничем этого не обнаружил. Я встал, и, когда моя тень упала ему на голову, голос оборвался на полуслове. Я отступил на шаг, и он снова заговорил. Значит, его привело в действие солнце. Убедившись в этом, я задумался, что делать дальше. От этого манекена-ловушки толку могло быть мало. Слишком примитивно было такое «боевое устройство». Пожалуй, и лунные оружейники считали эти длинноногие существа ненужным старьем, если употребили их для опробования результатов ядерного удара. Чтобы он не дурил мне голову своей трупной песенкой — а честно говоря, не знаю, не поручусь, что лишь из-за этого, — я собрал лежавшие по соседству крупные обломки и забросал ими сначала его голову, а потом и туловище, словно хотел устроить ему погребение. В наступившей тишине я услышал тонкое попискивание. Сперва я подумал, что это все еще он, и начал озираться в поисках новых камней, но тут различил знаки морзянки: Т-и-х-и-й в-н-и-м-а-н-и-е — Т-и-х-и-й г-о-в-о-р-и-т б-а-з-а — а-в-а-р-и-я с-п-у-т-н-и-к-а а-в-а-р-и-я — з-в-у-к с-е-й-ч-а-с б-у-д-е-т ж-д-и Т-и-х-и-й.

Значит, отказал спутник, один из тех, троянских, которые поддерживали связь между нами. Исправят они его, как бы не так, подумал я ехидно. Ответить им я не мог. В последний раз взглянул я на опаленные останки, на белеющие на солнце руины строений на склоне противоположной дюны, обвел глазами черное небо, напрасно стараясь увидеть микропов, и наугад двинулся к огромной выпуклой каменной складке, которая выныривала из песков, словно серая туша колоссального кита. Я шел прямо на черную, как смола, расселину в этой скале, похожую на вход в пещеру. И вдруг зажмурился. Там кто-то стоял. Фигура почти человеческая. Низкая, плечистая, в серо-зеленом скафандре. Я сейчас же поднял руку, решив, что это снова мое отражение, а цвет скафандра изменился в полосе тени, но тот не шевелился. Я остановился в нерешительности. То ли на меня повеяло страхом, то ли это было предчувствие. Но не за тем я был здесь, чтобы сразу бежать, да и куда, собственно? И я пошел вперед. Он выглядел в точности, как коренастый человек.

— Алло, — услышал я его голос. — Алло, ты слышишь меня?

— Слышу, — ответил я без особой охоты.

— Иди сюда, иди... у меня тоже есть радио!

Это звучало довольно-таки по-идиотски, но я пошел к нему. Что-то военное было в покрое его скафандра. На груди скрещивались блестящие металлические полосы. В руках у него ничего не было. И то хорошо, подумал я, но шел все медленнее. Он шел ко мне, воздев руки в непосредственном, радушном жесте приветствия, словно встретил старого знакомого.

— Здравствуй, здравствуй! Дай тебе Бог здоровья... как хорошо, что ты наконец пришел! Потолкуем, я с тобой, ты со мной... Пораскинем мозгами — как мир на свете учинить... как тебе живется и как мне... — Он говорил это плавным разболтанным голосом, странно проникновенным, певучим, растягивая слова, и топал упорно ко мне по тяжелому песку, держа руки широко раскинутыми, как для объятия, и во всей его фигуре, в каждом его движении было столько радушия, что я не знал уже, что думать об этой встрече. Он был теперь в нескольких шагах, но в темном стекле его шлема был виден только солнечный блик. Он обхватил меня, стиснул в объятии, и так мы стояли у серого склона большой скалы. Я пытался заглянуть ему в лицо. Но даже с расстояния ладони ничего не было видно — стекло его забрала было непрозрачным. Даже не стекло, а скорее маска, покрытая стекловидной глазурью. Как же он тогда меня видел?

— Здесь у нас тебе хорошо будет, приятель... — сказал он и стукнул своим шлемом о мой, словно хотел расцеловать меня в обе щеки. — У нас очень хорошо... мы войны не хотим, мы добрые, тихие, сам увидишь, приятель... — С этими словами он лягнул меня в голень так сильно и неожиданно, что я опрокинулся навзничь, и он рухнул обоими коленями на мою грудь. Я увидел все звезды — буквально все звезды черного лунного неба, а мой несостоявшийся друг левой рукой прижал мою голову к песку, а правой сорвал с себя металлические полосы, которые сами собой свернулись в подковообразные скобы. Я молчал, не понимая, что происходит, пока он, пригвождая мощными, неторопливыми ударами кулака мои руки к грунту этими скобами, продолжал говорить: — Хорошо тебе будет, друг дорогой, мы здесь простые, сердечные, ласковые... Я тебя люблю, и ты меня полюбишь, приятель...

— А не «братец родной»? — спросил я, чувствуя, что не в состоянии уже шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Моя реплика нимало не нарушила его добродушного настроения.

— Братец?.. — сказал он задумчиво, словно пробуя это слово на вкус. — А хоть бы и братец! Я добрый и ты добрый! Брат для брата! Ведь мы братья. Правда?

Он поднялся, быстро и профессионально обхлопал мои бока, бедра, нащупал карманы, повынимал из них все мое добро, плоский футляр с инструментами, счетчик Гейгера, отстегнул саперную лопатку, ощупал меня еще раз, более тщательно, особенно под мышками, попробовал засунуть палец в голенища сапог, и во время этого старательного осмотра ни на минуту не умолкал:

— Братец родимый, говоришь? А? Может, оно и так, а может, и нет. Разве нас одна мать родила? Эх, мама, мама... Мать — это святое, братец. Такая добрая! И ты тоже добрый. Очень добрый! Оружия никакого не носишь. Хитрый ты, приятель; хитрюга... так, мол, гуляю себе, грибки собираю. Боровиков тьма-тьмущая. Лес вокруг, только что-то его не видать. Так, дорогой братец, сейчас тебе полегчает, лучше станет, увидишь. Мы люди простые, мирные, и мир нам принадлежит.

Тем временем он снял с плеч что-то вроде плоского ранца и раскрыл его. Блеснули какие-то острые инструменты. Он взял один из них, примерил к руке, отложил, вынул другой в виде мощных ножниц, похожих на те, которыми солдаты во время атаки разрезают спирали колючей проволоки, повернулся в мою сторону — острия блеснули на солнце, — уселся верхом мне на живот, поднял свое оружие и со словами «Дай Бог здоровья» одним ударом вонзил его в мою грудь. Я почувствовал боль, правда, не сильную. Видимо, мой теледубль имел демпфер неприятных ощущений. Я уже не сомневался, что добросердечный лунный друг выпотрошит меня, как рыбу, и, собственно, должен был уже вернуться на корабль, оставив ему пададь на растерзание, но меня насколько ошарашил контраст между его словами и действиями, что я лежал, как под наркозом.

— Что же ты молчишь? — спросил он, разрезая с резким, хрустящим звуком верхний слой моего скафандра. Ножницы у него были первоклассные, из необычайно твердой стали.

— Сказать что-нибудь? — спросил я.

— Ну скажи!

— Гиена!

— Что?

— Шакал.

— Оскорбить меня хочешь, своего друга? Нехорошо. Ты ведь мой враг! Ты вероломный. Ты нарочно сюда без оружия пришел, чтобы меня заморочить. Я тебе добра желал, но врага проверить надо. Такая у меня обязанность. Такой закон. Ты на меня напал. Без объявления войны вторгся на нашу священную землю! Теперь пеняй на себя. «Братец родимый!»! Пес тебе брат! Ты сам хуже пса, а за гиену и шакала ты меня попомнишь, только недолго. Память из тебя вместе с кишками выпущу.

Тут последние сочленения грудного панциря разошлись, и он начал поддевать их, выламывать и разводить в стороны. Заглянув ко мне внутрь, он оцепенел.

— Ничего себе фокус, — сказал он, вставая, — этикие разные финтифлюшки. Я-то простак, но ученые наши разберутся. Ты подожди тут, куда тебе спешить. Не к спеху сейчас... Ты уже наш, приятель.

Грунт дрогнул. Повернув голову вбок насколько мог, я увидел целую колонну таких, как он. Они шли строем, в каре, печатая шаг, высоко подбрасывая ноги, как на плацу. И так вышагивали в этом парадном марше, что пыль летела столбом. Мой палач приготовился, видимо, отдать рапорт, так как встал навытяжку.

— Тихий, отзовись, где ты? — загремело у меня в ушах. — Звук уже в порядке. Это Вивич! База! Ты меня слышишь?

— Слышу! — ответил я.

Обрывки нашего разговора, очевидно, дошли до марширующих, потому что с шага они перешли на бег.

— Ты знаешь, в каком ты секторе? — спросил Вивич.

— Знаю, узнал на собственном опыте. Меня взяли в плен! И уже начали вскрывать!

— Кто? Кого?! — начал Вивич, но мой экзекутор заглушил его слова.

— Тревога! — крикнул он. — Объявляю тревогу! Берите его и бегом отсюда!

— Тихий! — вопил издали Вивич. — Не давайся!!!

Я понял его. Передача новейшей земной технологии роботам была не в наших интересах. Я не мог и пальцем пошевелить, но выход был предусмотрен. Я изо всей силы сжал

челюсти, услышал треск, словно кто-то повернул выключатель, и воцарилась египетская тьма. Вместо песка я почувствовал спиной мягкую обивку кресла. Я снова был на борту. Из-за головокружения сразу не смог отыскать нужную кнопку. Наконец она сама попала мне на глаза. Я разбил предохранительный колпачок и до упора вдавил кулак в красный щиток, чтобы теледубль не попал в их руки. Фунт экразита разнес его там в клочья. Жаль мне было этого ЛЕ-Ма, но я вынужден был так поступить. Так закончилась вторая разведка.

VII. ПОБОИЩЕ

От десяти следующих высадок у меня остались воспоминания столь же отрывочные, сколь неприятные. Третья разведка продолжалась дольше всех — три часа, хотя я и попал в самую гущу настоящей битвы, которую вели между собой роботы, похожие на допотопных ящериц. Они были так заняты борьбой, что не заметили меня, когда я, белоснежный, как ангел, только без крыльев, слетел на поле брани в ореоле пламени. Еще в полете я понял, почему и эта местность выглядела с корабля пустой. Ящерицы были окрашены в защитные цвета, а на спине был выпуклый узор, имитирующий камни, рассыпанные по песку. Двигались они ползком, с бешеной скоростью, и в первый момент я не знал, что делать: правда, пули не свистели — огнестрельным оружием здесь не пользовались, — но от сверкания лазеров можно было ослепнуть. Я быстро пополз к большим белым глыбам — это было единственное убежище поблизости — и, высунув из-за них голову, стал наблюдать за битвой. По правде говоря, я не сразу мог сориентироваться, кто, собственно, с кем бьется. Эти ящероподобные роботы, похожие на кайманов, атаковали довольно ровный склон, спускавшийся в мою сторону; передвигались они рывками. Ситуация выглядела весьма запутанной. Казалось, в ряды наступавших замешался неприятель, возможно, в атакующее войско был заброшен десант, точно трудно сказать, однако я видел, как одни металлические ящерицы бросались на других, с виду совсем таких же. В какой-то момент три из них, в погоне за одной, оказались совсем близко. Они догнали ее, но не смогли удержать, потому что она, потеряв поочередно все ноги, за которые хватали ее преследователи, удирала дальше, извива-

ясь, как змея. Я не ожидал такой примитивной схватки с отрыванием хвостов и ног и уже опасался, что они возьмутся за мои, однако в пылу битвы ни одна из них не обратила на меня внимания. Широкой цепью они шли на склон, полыхая вспышками лазеров, которые, мне показалось, были у них в пастях, хотя, может быть, это были вовсе не пасти, а воронкообразно расширяющиеся стволы. Что-то странное творилось на склоне холма. Роботы первой линии под прикрытием лазерного огня быстро доползали примерно до половины склона и там замирали. Они не закапывались в грунт, а шли все медленнее и при этом меняли цвет. Песочные скорлупы спин постепенно чернели, потом их окутывал серый дымок, словно от невидимого пламени, а затем они раскалялись и превращались в пылающие останки. Но с противоположной стороны не было никаких вспышек, значит, вряд ли это был огонь лазеров. Множество обугленных и расплавленных автоматов устилало уже склон, но все новые и новые шеренги мчались на погибель. Только включив дальнее зрение, я понял, что именно они атакуют. На самой вершине холма располагалось нечто огромное и неподвижное, словно крепость. Но крепость поистине необычная — зеркальная. А может быть, и не зеркальная, но защищенная какими-то экранами, которые отражали в верхней части черное небо со звездами, а в нижней — песчаную осыпь склона. Наверное, это было зеркало и экран одновременно: вспышки лазеров, отражаясь, ничего не могли с ним поделать, а внизу, там, где скопилось больше всего трупов, температура скал превышала две тысячи градусов, это я определил по болометру, встроенному в шлем. Какое-то индуктивное загрязнение или что-то в этом роде, подумал я, прижимаясь что было сил к глыбе, которая служила мне защитой. Значит, те, маленькие, атакуют, а зеркальный гигант окружил себя невидимым термическим щитом. Прекрасно, но что делать мне, безоружному, как младенец, между лавинами атакующих танков? Доносить базе о ходе сражения не было необходимости — мой третий дубль сопровождало специальное ракетное наблюдательное устройство. Оно было замаскировано под метеорит и могло возбудить подозрение только тем, что не падало, как положено обычному метеориту, а летало себе в двух милях надо мной. Вдруг что-то коснулось моего бедра. Я глянул вниз и остолбенел. Это была оторванная нога робота, того самого, который только что потерял все конечности и превратился в змею. Нога потихоньку все лезла и

лезла вверх, пока, проскользнув между глыбами, не наткнулась на меня. В этой слепо дергающейся ноге с тремя острыми когтями, покрытой оболочкой, имитирующей крупнозернистый песок, было что-то отвратительное и отчаянное. Она попыталась вцепиться мне в бедро, но не могла, не хватало опоры. Я брезгливо схватил ее и отбросил как можно дальше. Тут же она снова двинулась ко мне. И вместо того чтобы следить за ходом сражения, мне пришлось вступить в поединок с этой ногой, потому что она снова взбиралась на меня, неуклюже, словно пьяная. Сейчас за нею придут и другие, подумал я, и тогда положение станет уже совсем дурацким.

Хорошо, что база молчала, а то роботы могли подслушать наш разговор и мне пришлось бы плохо. Съежившись за теневой стороной глыбы, я ожидал с саперной лопаткой в руке появления этой ноги, будучи в самом отвратительном состоянии духа. Не хватало, чтобы в ней оказался какой-нибудь радиопередатчик. Попеременно сгибаясь и разгибаясь, она доползла до моих коленей, которыми я опирался на песок, и тогда я одной рукой прижал ее к грунту, а другой принялся молотить острием лопатки. Вместо того чтобы наблюдать за битвой, Ийон Тихий пытается приготовить на Луне рубленую котлету из ножек роботов. Недурная история! Все же в конце концов я попал в какое-то чувствительное место; она перевернулась раскрытым подколеньем кверху и застыла. Я отшвырнул ее в сторону и выглянул из-за глыбы. Цепи наступавших замерли, так что я едва мог различить отдельные автоматы, серым цветом сливающиеся с местностью. А вверх по склону шел, слегка качаясь, как корабль на волнах, неизвестно откуда взявшийся паук величиной с изрядный деревенский дом. Плоский сверху, как черепаха, он раскачивался на широко расставленных многочисленных ногах, колени которых поднимались над ним с обоих боков, а он все шагал, тяжело, мерно, решительно, переставляя свои многочисленные ходули, и уже приближался к полосе жара. Интересно, что с ним сейчас будет, подумал я. Под брюхом у него маячило что-то продолговатое, темное, почти черное, словно он нес там какое-то боевое снаряжение. Прямо у раскаленного участка он остановился, раскорячившись, и стоял так некоторое время, словно размышляя. Все поле боя замерло. Только в моем шлеме слышалось попискивание сигналов, передаваемых неизвестным кодом. Это была весьма странная битва, она казалась одновременно и примитивной,

похожей на сражение мезозойских динозавров, и изошренной, поскольку эти ящерицы вовсе не вывелись из яиц, а были лазерными автоматами, роботами, напшпигованными электроникой. Гигантский паук почти присел, коснувшись брюхом грунта, и словно бы съежился. Я ничего не услышал, ведь даже если Луна разверзнется, здесь не услышишь ни звука, но грунт дрогнул — раз, другой, третий. Эти толчки перешли в неустанную дрожь, все вокруг — и я сам тоже — затряслось, пронзаемое резкой и все более ускоряющейся вибрацией. Я по-прежнему видел лунные дюны с разбросанными среди них серыми ящерицами, пологий склон противоположного холма и над ним — черное небо, но будто через дрожащее стекло. Контуры предметов расплывались, и даже звезды над горизонтом замерцали, как на Земле, а потом превратились в размытые пятнышки. Вместе с большой глыбой, к которой прижимался, я лихорадочно дрожал, словно камертон, — эта дрожь заполнила меня целиком, я чувствовал ее каждой клеточкой и каждым пальцем, и все сильнее, словно кто-то раскачивал все частички моего тела, чтобы они растеклись подобно студню. Вибрация уже причиняла боль, во мне вращались тысячи микроскопических сверл, я хотел оттолкнуться от глыбы и выпрямиться, чтобы вибрация доходила до меня только через подошвы сапог, но не мог двинуть рукой, как в параличе, и лишь смотрел, наполовину ослепнув, на огромного паука, который свернулся во взъерошенный темный клубок: точь-в-точь живой паук, гибнущий под солнечным лучом в фокусе увеличительного стекла. Потом в глазах у меня потемнело, я почувствовал, что лечу в какую-то бездну, и, когда весь в поту, с комком в горле, открыл наконец глаза, передо мной приветливо светилось цветное табло пульта управления. Я вернулся на корабль. Очевидно, предохранительные устройства сами отключили меня от дубля. Подождав минуту, я решил, однако, вернуться в теледубль, хотя меня и одолевало неизвестное мне до той поры предчувствие, что воплотиться придется в разорванный на куски труп. Осторожно, словно боясь обжечься, тронул я рукоятку и снова оказался на Луне, и снова ощутил всепроникающую вибрацию. Прежде чем предохранитель отбросил меня обратно в ракету, я успел, хотя и не отчетливо, разглядеть груды черных обломков, медленно осыпающихся с вершины холма. Крепость, видимо, пала, подумал я и снова вернулся в свое тело. То, что теледубль не распался, придало мне смелости вселиться в него еще раз.

Дрожь прекратилась. Царило мертвенное спокойствие. Окруженные останками сожженных ящеровидных автоматов, покоились руины крепости — загадочного сооружения, которое обороняло подступы к вершине холма; паук, который разрушил ее катастрофическим резонансом (я не сомневался, что это сделал он), лежал плашмя, словно огромный клубок содрогающихся конечностей, которые еще сгибались и выпрямлялись в агонии. Эти мертвые движения становились все медленнее и наконец прекратились. Пиррова победа? Я ждал следующей атаки, но ничто не двигалось, и если бы я не помнил, что здесь произошло, то мог бы и не заметить обугленного хлама, устилающего все предполье, — он сливался воедино с песчаными складками местности. Я хотел встать, но не мог. Мне даже не удалось шевельнуть рукой. Еле-еле сумел я наклонить голову в шлеме, чтобы осмотреть себя.

Зрелище было не слишком приятное. Глыба, которая служила мне бруствером, лопнула, распавшись на крупные обломки, покрытые сеткой частых трещин. В этих глыбах и щебне, образовавшемся из ее остатков, утопали мои бедра, точнее, их обрубки. От несчастного, искалеченного телодубля осталось только безрукое и безногое туловище. Мною овладело странное ощущение, будто голова моя на Луне, а тело на борту: я видел поле битвы и черное небо над ним и одновременно чувствовал ремни, притягивающие меня к сиденью и подлокотникам кресла. Это невидимое кресло вроде было со мной и не было — увидеть его я не мог. Объяснялось это просто: датчики переставали действовать, и у меня осталась связь только с головой; защищенная шлемом, она выдержала убийственное землетрясение, вызванное пауком. Здесь уже нечего делать, подумал я, пора возвращаться окончательно. И все же медлил, зарытый по пояс в щебень, озирая залитый солнцем театр военных действий. Что-то с усилием задергалось вдали на песке, словно выброшенная на берег полудохлая рыба. Один из ящероподобных автоматов... Песок посыпался с его спины, когда он поднялся и сел, похожий на кенгуру или, скорее, на динозавра; так он сидел, последний свидетель, последний участник битвы, в которой никто не одержал победы. Он повернулся в мою сторону и вдруг начал кружиться на месте все быстрее и быстрее, пока центробежная сила не оторвала и не отбросила в сторону его длинный хвост. Я застыл в изумлении, а он все вертелся юлой, пока куски

не полетели во все стороны. Рухнув на песок, он перекувырнулся несколько раз и, ударившись о другие останки, замер. Хотя никто не читал мне электронной теории умирания, я не сомневался, что видел агонию робота, ибо это до жути напоминало спазмы раздавленного жука или гусеницы, а ведь мы хорошо знаем, как выглядит их смерть, хотя не можем знать, означают ли их последние судороги страдание. С меня было довольно зрелищ. Более того, мне почудилось, что я каким-то необъяснимым образом причастен к ним, словно сам был виновником этой бойни. Но я отправился на Луну не для решения морально-философских проблем, а потому, сжав челюсти, прервал связь с бедными останками Лунного Путешествующего Миссионера номер три и в мгновение ока вернулся на борт, чтобы доложить базе об очередной разведке.

VIII. НЕВИДИМЫЙ

Тарантога, которому я дал прочитать эти записи, сказал, что всех, кто готовил мою миссию и заботился обо мне, я изображаю дураками и бездарями. Однако Общая Теория Систем математически точно доказывает, что нет элементов абсолютно надежных и, даже если вероятность аварии каждого из них составит всего лишь одну миллионную — то есть элемент может отказать в одном случае из миллиона, — в системе из миллиона частей что-нибудь непременно выйдет из строя. А гигантская пирамида, лунной верхушкой которой был я, состояла из восемнадцати миллионов частей, следовательно, идиотом, ответственным за львиную долю моих неприятностей, была материя, и пусть бы все специалисты из кожи вон вылезли, и окажись они сплошь гениями, могло быть только хуже, но лучше — никак. Так оно, наверное, и было. С другой стороны, последствия всех этих неизбежных аварий били по мне, а с психологической точки зрения никто, попав в ужасное положение, не клянет за это ни атомы и ни электроны, а конкретных людей: значит, мои депрессии и скандалы по радио тоже были неизбежны. База возлагала особенно большие надежды на последнего ЛЕМа. Он был чудом техники и обеспечивал максимальную безопасность. Теледубль в порошке. В контейнере вместо стального атлета находилась куча микроскопических зернышек, и каждое из них плотностью интеллекта соответствовало су-

перкомпьютеру. Под действием определенных импульсов эти частички начинали сцепляться, пока не складывались в ЛЕ-Ма. На этот раз сокращение означало «Lunar Evasive Molecules»*.

Я мог высадиться в виде сильно рассеянного облака молекул или сгуститься в человекоподобного робота, но так же свободно мог принять любое из сорока девяти запрограммированных обличей, и в случае гибели даже восьмидесяти пяти процентов этих зернышек оставшихся хватало бы для ведения разведки. Теория такого теледубля, прозванного *дисперсантом*, настолько сложна, что никто в одиночку не смог бы ее уместить в голове, будь он сыном Эйнштейна, фон Неймана, иллюзиониста, Центрального совета Массачусеттского технологического института, и Рабиндраната Тагора вместе взятых, ну а я не имел о ней ни малейшего понятия. Я знал только, что воплощусь в тридцать миллиардов различных частиц, более универсальных, чем клетки живого организма, и программы, продублированные не помню уже сколько раз, заставят эти частицы соединяться в разнообразные агрегаты, обрабатываемые в пыль нажатием клавиши и в этом рассеянном состоянии невидимые для радаров и всех видов излучения, кроме гамма-лучей. И если бы я попал в какую-нибудь западню, то мог бы рассеяться, произвести тактическое отступление и снова сгуститься в желаемой форме. Того, что я чувствовал, будучи облаком, занимающим более двух тысяч кубических метров, я не могу передать. Нужно хотя бы раз стать таким облаком, чтобы понять это. Если бы я потерял зрение или, точнее, оптические датчики, я мог заменить их почти любым из остальных, то же самое — с руками, ногами, щупальцами, инструментами. Главное — не запутаться в богатстве возможностей. Но тут уж придется в случае неудачи винить только самого себя. Таким образом, ученые избавились от ответственности за аварийность теледубля, свалив ее на меня. Не скажу, чтобы это сильно улучшило мое самочувствие. Я высадился на обратной стороне Луны, у экватора, под высоко стоящим солнцем, в самом центре японского сектора, приняв облик кентавра, то есть существа, обладающего четырьмя нижними конечностями, двумя руками в верхней части туловища и снабженного дополнительным маскирующим устройством — оно окружило меня в виде своеобразного разумного газа. На-

* Лунные неуловимые молекулы (англ.).

звание же кентавр получил за неимением лучшего определения, благодаря отдаленному сходству с известным мифологическим персонажем. Хотя с этим теледублем в порошке я также ознакомился на полигоне Лунного Агентства, все-таки сначала я слазил в грузовой отсек, чтобы проверить его исправность, и воистину странно было видеть, как куча слабо поблескивающего порошка при включении соответствующей программы начинала пересыпаться, сцепляться, пока не складывалась в нужную форму, а после выключения удерживающего поля (электромагнитного, а может, какого-нибудь другого) разлеталась в мгновение ока, будто песочный кулич. То, что я могу в любой момент рассеяться на мелкие частицы и соединиться вновь, должно было придать мне бодрость духа. Однако превращения эти были в общем-то неприятны, я ощущал их как очень сильное головокружение, сопровождаемое дрожью, но тут уж поделать ничего было нельзя. Впрочем, ощущение хаоса прекращалось, как только я переходил в новое воплощение. Вывести из строя такой теледубль мог разве что термоядерный взрыв, да и то в непосредственной близости. Я спрашивал, какова вероятность того, что при аварии дубль рассыплется навсегда, но вразумительного ответа не получил. Я, конечно же, попробовал включить две программы сразу, так, чтобы по одной превратиться в человекоподобного молоха, а по другой — во что-то вроде трехметровой гусеницы с уплощенной головой и огромными челюстями-клещами, но из этого ничего не вышло, потому что селектор воплощений действовал по принципу «или-или». На этот раз я ступил на лунный грунт без сопровождения микропов, ведь я сам был, в сущности, множеством микроскопических циклопов (которых техники на своем жаргоне называли миклопами). За мной тянулась почти неразличимая вуаль частиц-передатчиков — как мглисто развевающийся шлейф, видимый лишь тогда, когда он сгущался. Передвигался я тоже без всяких проблем. Будучи от природы любознателен, я поинтересовался, что будет, если на Луне уже созданы такие же автоматы-протей, но этого никто не мог мне сказать, хотя на полигоне пускали друг на друга по два, а то и по три экземпляра сразу, чтобы они перемешались между собой, как тучи, плывущие встречным курсом. Однако они сохраняли идентичность себе на девяносто процентов. Что такое девяностопроцентная идентичность, также нелегко объяснить — это нужно пережить, чтобы понять. Во всяком случае, очередная разведка поначалу

шла как по маслу. Я шагал, не давая себе труда даже осматриваться по сторонам, потому что глядел во все стороны сразу, как пчела, которая полушариями глаз видит все вокруг при помощи тысяч составляющих их омматидий; но так как никто из моих читателей не был пчелой, я понимаю, что это сравнение не может передать моих ощущений.

То, каким образом различные государства запрограммировали свои компьютерные инкубаторы оружия, было их тайной, но от японцев, известных своей скрытностью и чрезвычайной хитростью, я ожидал особенно неприятных сюрпризов. Профессор Хакагава, член нашего коллектива на базе, тоже наверняка не знал, во что развились праличинки японских вооружений, но лояльно предостерег меня, чтобы я держал ухо востро и не дал заморочить себя никакими миражами. Не зная, как отличить миражи от фактов, я рысью продвигался по однообразной плоской местности. Только на самом горизонте возвышался пологий вал огромного кратера. Вивич, Хакагава и все остальные были очень довольны изображением, передаваемым через троянские спутники на Землю, — оно было предельно резким. Через час ходьбы я заметил среди беспорядочно разбросанных, засыпанных песком больших и маленьких камней какие-то невысокие ростки, поворачивающиеся в мою сторону. Выглядели они, как вялая картофельная ботва. Я спросил, можно ли мне заняться этой ботвой, но никто не хотел решать за меня, а когда я стал настаивать, одни сочли, что не только можно, но и должно, а другие, что лучше не надо. Тогда я наклонил свое туловище кентавра над кустиком чуть побольше других и попробовал оторвать один гибкий стебелек. Ничего не произошло, и я поднес его к глазам. Он стал виться, словно змейка, и туго оплел мое запястье, но методом проб я убедился, что, если его слегка поглаживать, как бы щекотать пальцем, он ослабляет захват. Довольно-таки глупо было обращаться с вопросом к картофельной ботве — хотя я и знал, что она не имеет ничего общего с картофелем, но попробовал.

Я не рассчитывал на ответ и не получил его. Тогда я оставил в покое эти активные побеги, двигавшиеся, словно черви, и поскакал дальше. Местность напоминала плохо возделанные огороды, засаженные какими-то овощами, и выглядела сельской и мирной, но я в любую минуту ожидал нападения и даже провоцировал эти псевдоовоци, топча их копытами (именно так выглядели на этот раз мои сапоги).

Наконец я дошел до длинных рядок каких-то мертвых зарослей. Перед каждой из них торчал большой щит с надписями огромными буквами: STOP! HALT! СТОЙ! — и соответствующими выражениями на двадцати других языках, включая малайский и иврит. Тем не менее я углубился в эту плантацию. Чуть дальше над самым грунтом роились крохотные бледно-голубые мушки, которые при моем появлении стали складываться в буквы: DANGER! ОПАСНОСТЬ! GEFAHR! NIEBIEZPECZENSTWO! DANGER! YOU ARE ENTERING JAPANESE PINTELOU!*

Я связался с базой, но никто, включая и Хакагаву, не знал, что значит pintelou, и первая маленькая неприятность приключилась со мной, когда я прошел через эти дрожащие над песком буквы, — они стали облеплять меня и ползать по всему моему телу, как муравьи. Однако ничего дурного они мне не сделали, хотя я, как мог, стряхнул их хвостом (в первый раз пригодился), а потом побежал дальше, стараясь двигаться по борозде между огородами, пока не добрался до вала большого кратера. Заросли постепенно переходили в нечто вроде оврага, а дальше в углубляющуюся широкую впадину, такую глубокую, что я не мог разглядеть дна — ее до краев заполняла черная, как сажа, лунная темнота. И вдруг прямо на меня оттуда выехал тяжелый танк, плоский, огромный, громко скрипящий и грохочущий широкими гусеницами, что было очень странно хотя бы потому, что на Луне ничего не слышно — нет воздуха, проводящего акустические волны. Но я все-таки слышал грохот и даже хруст гравия под гусеницами. Танк катил прямо на меня. За ним появилась длинная колонна других. Я охотно уступил бы им дорогу, но в узком овраге некуда было податься. Я собрался было обратиться в пыль, когда первый танк наехал на меня и проплыл, словно мгла, — только на мгновение сделалось чуть темнее. Опять какие-то призраки, фата-морганы, подумал я и уже смелее позволил проехать сквозь себя следующим. За ними цепью шли солдаты, самые обыкновенные, а впереди шел офицер при сабле, с флагом, на котором краснело солнце. Они прошли сквозь меня, как дым, и снова все опустело, во впадине стало темней, я включил прожекторы — точнее, так называемые рассветлители, которые окружали мои глаза, — и, замедлив движение, дошел до входа

* Опасность! (англ., нем., польск.) Вы вторглись в японский pintelou! (англ.)

в пещеру; он был завален железным старьем. Свод оказался слишком низким для моего роста; чтобы не мучиться, постоянно наклоняя корпус, я превратился в кентавра-таксу, и, хотя это сочетание звучит нелепо, оно довольно удачно передает суть дела: ноги у меня укоротились, и я, почти волоча брюхо по камням, лез все дальше, в глубину лунного подземелья, куда еще не ступала нога человека. Собственно, и мои ступни не были человеческими. Я спотыкался все чаще, ноги разъезжались на скользком гравии; вспомнив, на что я теперь способен, я превратил их в подушкообразные лапы, ступающие по полу пещеры мягко, словно лапы тигра. Я все более осваивался в новом теле, но смаковать необычные ощущения было некогда. Осветив причудливо изрезанные стены и плоское дно пещеры, я наткнулся на решетку, перекрывающую всю ширину прохода, и подумал, что японское оружие очень уж вежливо по отношению к пришельцам, — над решеткой, у самого потолка, светились крупные буквы: KEIN DURCHGANG! ПРОХОДА НЕТ! NE PAS SE PANCHER EN DEHORS! ОПАСНО! PERICOLOSO! А за решеткой виднелся фосфоресцирующий череп со скрещенными берцовыми костями и надписью: DEATH IS VERY PERMANENT!* Меня это ни на минуту не остановило. Распылившись, я проник сквозь решетку и сгустился снова на той стороне. Здесь стены скального коридора переходили в овальный тоннель, выложенный чем-то вроде светлой керамики. Я постучал по ней пальцем, и тут же в месте прикосновения вырос маленький побег, который расплющился в табличку: «Мене Текел Упарсин!» По количеству предупреждений было ясно, что дело не шуточное, но, раз уж я влез так глубоко, возвращаться не было смысла, и я зашагал дальше на своих тихоступах, чувствуя, как хвост мягко волочится за мной, готовый в любую минуту прийти мне на помощь. Меня не беспокоило то, что за мной не могут наблюдать с базы. Радио умолкло, и я слышал только какое-то тихое, но проникающее в душу странное жалобное завывание. Я дошел до расширения, в котором тоннель раздваивался. Над левым ответвлением светилась неоновая надпись: THIS IS OUR LAST WARNING**, а над правым не было никакой надписи; разумеется, я выбрал левый коридор — и вскоре впереди замаячило что-то белое: стена, закрывающая

* Смерть — это навсегда! (англ.)

** Это наше последнее предупреждение! (англ.)

проход, а в ней гигантская бронированная дверь с рядом замочных скважин — настоящие врата пещеры Аладдина. Я превратил правую кисть в облачко и потихоньку просочил ее в одно из отверстий замка; внутри было темно, как в дупле ночью. Покрутившись там во все стороны, я вернул руку назад и повторял зондирование, пока не удалось пройти насквозь через верхнюю замочную скважину; тогда я весь обратился в туман, или во взвесь частиц, и таким образом преодолел и это препятствие, решив, что проплывание пришельцев сквозь замочную скважину даже японцы — или, скорее, плоды их изобретательности — не могли предусмотреть. Мне показалось, что стало как будто душно, хотя и не в буквальном смысле, ведь я не дышал. Мрак теперь рассеивали не только ободки всех моих глаз, — вспомнив о способностях этого ЛЕМа, я засветился весь, словно огромный светляк. Столь яркий свет поначалу слепил, но вскоре я привык.

Тоннель, прямой как стрела, шел все дальше в глубину, пока не привел к обыкновенной циновке, сплетенной из каких-то, чуть ли даже не соломенных стеблей. Откинув ее, я вошел в просторный зал, освещенный рядами ламп на потолке. Первое впечатление — полнейший хаос. В самой середине покоились здоровенные обломки: сверкающие, фарфоровые — или керамические, — должно быть, останки суперкомпьютера, под который подложили бомбу. Кое-где вились обрывки кабелей, растрескавшиеся глыбы были усыпаны мелкой стеклянной крошкой и блестящими скорлупками микросхем. Кто-то уже успел побывать здесь раньше меня и разделаться с японцами в самом сердце их арсенала. Удивительней было, однако, что этот гигантский многоэтажный компьютер был разрушен силой, действовавшей из его середины, скорее снизу — его стенки, защищенные солидной броней, разошлись от центра и рухнули наружу. Некоторые из них были больше библиотечных шкафов и даже чем-то похожи на них: они состояли из длинных полок, густо начиненных спекшимися переплетениями проводов, поблескивающих мириадами разъемов. Казалось, какой-то чудовищный кулак ударил в дно этого колосса и, расколов его, развалил — но в таком случае я должен был обнаружить виновника в центре разрушений. Я начал карабкаться на эту кучу мусора, мертвую, как ограбленная пирамида, как гробница, очищенная неведомыми грабителями, пока не оказался на вершине и не заглянул вниз, в самую середину.

Кто-то лежал там без движения, словно погрузившись в честно заслуженный сон. В первый момент мне показалось, что это тот робот, который так радушно встретил меня во время второй разведки и величал меня братом, прежде чем повалить и распороть, как банку шпрот. Он лежал на дне воронки неправильной формы и был с виду вполне человекоподобен, хотя и сверхчеловеческих размеров. Разбудить его всегда успею, подумал я, пока разумнее разобраться, что здесь произошло. Японский центр вооружений наверняка не рассчитывал на такое вторжение и не мог сам себе его устроить — словно харакири. Эту возможность я отбросил как маловероятную. Границы между секторами строго охранялись, но, возможно, вторжение осуществили снизу, прорыв кротовые норы глубоко под скалами, — так неведомый враг проник в самое сердце компьютерного арсенала и обратил его в прах. Чтобы в этом убедиться, нужно было допросить автоматического вояку, который, по-видимому, спал после выполнения диверсионного задания. Но у меня как-то не лежала к этому душа. Мысленно я перебрал все ипостаси, в которые мог преобразиться для наибольшей безопасности при разговоре, — ведь прервав его сон, я вряд ли мог рассчитывать на проявление симпатии. В виде облака я не обладал бы даром речи, но можно было стать облаком только частично, сохранив переговорную систему внутри туманной оболочки. Это показалось мне разумней всего. Пробуждать колосса утонченными методами я счел излишним и просто спихнул здоровенный обломок компьютера так, чтобы он свалился точно на него, а сам трансформировался согласно своему плану. Удар пришелся по голове, гора обломков даже вздрогнула. По ее склонам поехали комья электронного мусора. Робот тут же очнулся, вскочил, вытянулся и гаркнул:

— Задание выполнено сверх плана! Неприятельская позиция взята во славу отечества. Готов выполнять дальнейшие приказания!

— Вольно! — сказал я.

Он, видимо, не ожидал такой команды, однако принял свободную позу, расставив ноги, и только тут заметил меня. Что-то внутри у него выразительно закрипело.

— Здравствуй, — сказал он. — Здравствуй! Дай тебе Бог здоровья. Что ты такой неотчетливый, приятель? Ну хорошо, что ты наконец пришел. Иди-ка сюда, ко мне, побеседуем, песни попоем, порадуемся. Мы тут тихие, мир-

ные, войны не хотим, мы войну не любим. Ты из какого сектора?.. — добавил он совершенно другим тоном, словно внезапно заподозрил, что следы его «мирных начинаний» слишком хорошо видны. Наверное, поэтому он переключился на более подходящую программу — вытянул в мою сторону огромную правую руку, и я увидел, что каждый палец его был стволом.

— В приятеля стрелять собираешься? — спросил я, легонько колыхаясь над валом битого фарфора. — Ну давай, стреляй, братец родимый, стреляй на здоровье.

— Докладываю: вижу замаскированного японца! — заорал он и одновременно выпалил в меня из всех пяти пальцев. Со стен посыпалось, а я, по-прежнему легко рея над ним, из осторожности переместил пониже речевой центр, чтобы вывести его из-под обстрела, сгустил нижнюю часть облака и надавил на большой, крупнее комода, обломок, и тот упал на робота, увлекая за собой целую лавину мусора.

— Меня атакуют! — крикнул он. — Вызываю огонь на себя! Во славу отечества!

— Какой ты самоотверженный, однако, — успел я сказать, прежде чем целиком превратился в облако. И вовремя это сделал — что-то загремело, громада развалин затряслась, и из ее центра ударило пламя. Мой собеседник-самоубийца засветился синеватым сиянием, раскалился и почернел, но с последним вздохом успел выпалить: «Во славу отечества!» — после чего стал понемногу распадаться. Сначала отвалились руки, потом лопнула от жара грудь, обнажив на мгновение какие-то на удивление примитивные, словно лыком связанные, медные провода, наконец отвалилось, как видно, самое твердое — голова. И сразу лопнула. Она была совершенно пуста, словно скорлупа огромного ореха. Но он все стоял раскаленным столбом и превращался в пепел, как полено, пока совсем не рассыпался.

Хоть я и был облаком, но все же ощущал жар, бьющий из глубин руины, как из кратера вулкана. Я подождал минуту, развеявшись ближе к стенам, однако новый кандидат в собеседники не вынырнул из пламени, рвущегося вверх так яростно, что уцелевшие до сих пор светильники на потолке начали один за другим лопаться; куски труб, стекла, проводов сыпались на развалины; попутно становилось все темнее, и этот, когда-то аккуратный, геометрически круглый зал стал похож на декорацию шабаша ведьм, освещенную синим

пламенем, все еще бившим вверх; его хвост припекал меня, и, видя, что больше здесь разведывать нечего, я стустился и выплыл в коридор. У японцев, конечно, могли быть другие, резервные центры военной промышленности; резервным, а значит, не самым главным мог быть и этот, разрушенный, но я счел нужным выйти на поверхность и уведомить базу о случившемся, прежде чем продолжать разведку. На обратном пути ничто мне не встретилось и не задержало. По коридору я добрался до бронированных дверей, через замочную скважину — на другую сторону, потом прошел сквозь решетку, не без сочувствия глядя на все эти предостерегающие надписи, не стоившие теперь и выеденного яйца, пока наконец не засветилось неправильной формы отверстие — выход из пещеры. Только здесь я принял обличье, близкое к человеческому, — успел по нему соскучиться. Это был новый, не исследованный до сих пор вид ностальгии. Я искал камень, пригодный для отдыха, чувствуя все нарастающее раздражение, потому что проголодался, а в качестве теледубля не мог взять в рот ни крошки. Жаль было, однако, оставлять такого разностороннего дубля на произвол судьбы только ради того, чтобы спешно перекусить. Поэтому я отложил трапезу, решив сначала уведомить базу, а обеденный перерыв сделать несколько позже, предварительно спрятав теледубля в каком-нибудь надёжном укрытии.

Я все вызывал и вызывал Вивича, но ответом была мертвая тишина. Проверил счетчиком Гейгера, не заслоняет ли меня и здесь ионизированный газ. Возможно, короткие волны не могли пробиться из узкой расселины; без особой охоты еще раз обратившись в облако, я свечою взвился в черное небо и с птичьего полета снова вызвал Землю. Конечно, о птичьем полете не могло быть и речи, ведь при отсутствии воздуха нельзя держаться на крыльях, но уж больно красиво это звучит.

IX. ВИЗИТЫ

Из неудачного похода за покупками я вернулся как бы во сне. Сам не помню, как оказался в своей комнате, силясь на ходу разобраться в том, что произошло перед универмагом. Не имея никакого желания встретиться за столом с Грамером и прочими, я съел печенье, припрятанное в ящике стола, и запил кока-колой. Уже смеркалось, когда кто-то по-

стучал. Думая, что это Хоус, я открыл дверь. Передо мной стоял незнакомый мужчина в черном костюме, с черной папкой в руке. Не знаю почему, я принял его за представителя похоронного бюро.

— Можно войти? — спросил он. Молча я отступил от двери. Он, не глядя по сторонам, сел на стул, на котором висела моя пижама, положил папку на колени и вынул из нее довольно толстую пачку машинописных страниц, а из кармана — старомодное пенсне и, нацепив его на нос, некоторое время молча смотрел на меня. Волосы у него были почти седые, но брови черные, лицо худое, с опущенными вниз уголками бескровных губ. Я продолжал стоять у стола, и он положил передо мной визитную карточку. Бросив на нее взгляд, я прочитал: «Проф. Аллан Шапиро И.К.Г.Д.». Адрес и номер телефона были напечатаны так мелко, что я не мог их прочитать, но и брать карточку в руки мне не хотелось. Мной овладело унылое безразличие, отчасти похожее на сонливость.

— Я невролог, — произнес он, — довольно известный.

— Кажется, я что-то ваше читал... — пробормотал я неуверенно, — каллотомия, латерализация функций мозга... не так ли?

— Да. Но я еще советник Лунного Агентства. Это благодаря мне вы могли до сих пор вести себя так, как вам заблагорассудится. Я полагал, что в нынешнем положении вас нужно охранять — и ничего больше. Попытка бегства была ребячеством. Поймите: вы стали обладателем сокровища, которому нет цены. Geheimnisträger*, как говорят немцы. За всеми вашими передвижениями неустанно следили, и не только Агентство. На сегодняшний день мы предотвратили уже восемь попыток похитить вас, господин Тихий. Когда вы летели в Австралию, вы уже были под наблюдением специальных спутников, и не только наших. Мне пришлось пустить в ход весь мой авторитет, чтобы убедить политиков, которым подчиняется Агентство, не арестовывать вас, не лишать свободы и т.п. Некоторые меры, предпринятые вашим другом, не имеют смысла. Когда ставка достаточно высока, с законом перестают считаться. Пока вы живы, все — то есть все заинтересованные стороны — находятся в патовой позиции. Долго это продолжаться не может. Если они не получат вас, они вас убьют.

* Посвященный в тайну (нем.).

— Кто? — спросил я, глядя на него без удивления. Видя, что визит обещает быть долгим, я сел в другое кресло, сбросив на пол лежавшие на нем газеты и книги.

— Это не имеет значения, вы проявили, и не только по моему мнению, добрую волю и лояльность. Ваш официальный рапорт сравнили с тем, что вы написали здесь и закопали, положив в банку. Кроме того, Агентство как *tertium comparationis**, располагает всеми записями базы.

— Ну и что? — сказал я без всякого любопытства, только чтобы заполнить паузу.

— Частично вы написали правду, а частично нафантазировали. Не намеренно, конечно. Вы верили в то, что написали в рапорте, и в то, что написали здесь. Когда в памяти остаются пробелы, каждый нормальный человек стремится их заполнить. Совершенно бессознательно. Впрочем, неизвестно, на самом ли деле правая половина вашего мозга полна соковищ.

— Это значит, что...

— Каллотомия не могла быть делом случая.

— А чем?

— Отвлекающим маневром.

— Чьим? Лунным?

— Вполне возможно.

— А разве это так важно? — спросил я. — Ведь Агентство может послать новых разведчиков.

— Разумеется. Вы вернулись шесть недель назад. Сразу до установления диагноза — я имею в виду каллотомию — были поочередно посланы трое других людей из резерва.

— И у них не получилось?

— Им удалось вернуться. Всем. Увы, это удалось им слишком хорошо.

— Не понимаю.

— Их впечатления не совпадают с вашими.

— Ни в едином пункте?

— Вам лучше не знать подробностей.

— Но если вы их знаете, мистер Шапиро, то и с вами могут произойти неприятности, — сказал я с усмешкой. Он глубокомысленно покивал головой.

— Конечно. Эксперименты породили множество противоречивых гипотез. Результаты их анализа примерно тако-

* Третий (вариант) для сравнения (лат.)

вы. Теледубли классического образца не были для Луны неожиданностью. Сюрпризом для них оказался только молекулярный теледубль, то есть ваше последнее воплощение. Но после этого и он не составляет для них тайны.

— И какое отношение это имеет ко мне?

— Думаю, вы уже догадались. Вы вторглись *туда* глубже, чем ваши последователи.

— Луна устроила для них спектакль?

— Похоже, что так.

— А для меня нет?

— Вы пробили декорацию, по крайней мере частично.

— Почему же я смог возвратиться?

— Потому, что со стратегической точки зрения это было оптимальным решением дилеммы. Вы вернулись, выполнив задание, но в то же время не вернулись и не выполнили его. Если бы вы не вернулись вообще, в Совете Безопасности взяли бы верх противники дальнейших разведок.

— Те, кто хотят уничтожить всю Луну?

— Не столько уничтожить, сколько нейтрализовать.

— Это для меня новость. Как это можно сделать?

— Есть такой способ. Правда, невероятно дорогой, как всякая новая технология при зарождении. Подробности мне неизвестны — так лучше для всех нас и для меня самого.

— Но что-то вы наверняка слышали... — пробормотал я. — Во всяком случае, наверное, какая-нибудь послеатомная технология? Не водородные заряды, не баллистические ракеты, что-нибудь более тонкое. Нечто такое, чего Луна не сумела бы вовремя заметить...

— Для человека, лишённого половины мозга, выображаете совсем неплохо. Но вернемся к делу, то есть к вам.

— Вы хотите, чтобы я согласился на обследования? Под контролем Агентства? Чтобы допросили мою правую сторону?

— Все это гораздо сложнее, чем вы думаете. Кроме вашего рапорта и записей базы, мы располагаем несколькими гипотезами. Вот самая достоверная из них: на Луне все-таки произошли столкновения между секторами. Но секторы не объединились, не уничтожили друг друга и не создали плана нападения на Землю.

— Что же тогда произошло?

— Если бы это можно было установить сколько-нибудь точно, я не стал бы вас беспокоить. Несомненно: межсекторная защита оказалась не на высоте. Военные игры вступили

в противоборство друг с другом. Возникли беспрецедентные эффекты.

— Какие?

— Я не эксперт в этой области, но, насколько известно, компетентных экспертов в ней нет вообще. Мы обречены на догадки по принципу *ceterum censeo humanitatem preservandum esse**. Вы знаете латынь, не так ли?

— Немного. Скажите, чего вы от меня хотите?

— Пока еще — ничего. Вы, извините, находитесь в ситуации зачумленного в эпоху, когда не было антибиотиков. Я посетил вас, потому что настаивал на этом и получил неохотное согласие. Скажем — *ultimum refugium***. Вы, к несчастью, увеличили число версий того, что произошло на Луне. Попросту говоря, теперь, после вашего возвращения, известно меньше, чем до вашей миссии.

— Меньше?

— Разумеется, меньше. Ведь неизвестно даже, содержится ли в правой половине вашего мозга какая-нибудь существенная информация. Количество неизвестных возросло, как только оно сократилось.

— Вы говорите, как пифия.

— Лунное Агентство перевезло на Луну и разместило в секторах то, что должно было перевезти согласно Женевскому соглашению. Но программы компьютеров первого лунного поколения остались тайной каждого отдельного государства. Агентство не имело к ним доступа.

— То есть в самом зародыше крылась эта опасная бессмыслица?

— Естественно, как неизбежное следствие глобальных антагонизмов. Да и можно ли отличить программу, которая через десятки лет самопроизвольно обошла наложенные на нее ограничения, от программы, которая *должна* была неким заранее заданным образом освободиться от ограничения?

— Не знаю, но это, наверное, могут выяснить специалисты.

— Нет, это никому не под силу, кроме тех, кто составлял программы.

— Знаете что, профессор, — сказал я, подойдя к окну. — У меня ощущение, что вы опутываете меня тонкой сетью. Чем дольше мы разговариваем, тем темнее становится дело.

* Кроме того, я считаю, что человечество должно быть сохранено (*лат.*)

** Последнее средство (*лат.*)

Что произошло на Луне? Неизвестно. Почему я подвергся этой чертовой каллотомии? Неизвестно. Знает ли правая половина моего мозга что-нибудь об этом? Неизвестно. Поэтому будьте любезны вкратце разъяснить мне, что вам от меня нужно.

— Вам не следовало бы так саркастически говорить о любезности. До сих пор мы были с вами очень, даже слишком любезны.

— Потому что этого требовали интересы Агентства, а может быть, и чьи-то другие. Или меня спасали и охраняли просто по доброте сердечной?

— Нет. О добросердечии речи быть не может. Я сказал вам об этом сразу. Слишком высока ставка, так высока, что, если бы можно было вытянуть из вас необходимые данные смертельной пыткой, это давно было бы сделано.

Вдруг меня осенила неожиданная догадка. Я повернулся спиной к темному окну и, широко улыбаясь, скрестив руки на груди, заметил:

— Спасибо, профессор. Только теперь я понял, *кто* на самом деле защищал меня все это время.

— Но я же вам говорил.

— Но теперь я знаю лучше — они. Или, вернее, она... — Отворив окно, я показал на восходящий над деревьями серп Луны, резко обрисованный на темно-синем небосклоне.

Профессор молчал.

— Это, должно быть, связано с моей посадкой, — добавил я. — С тем, что я решил собственными ногами встать на лунный грунт и взять то, что нашел там последний теледубль. И я смог это сделать, потому что в трюме был скафандр с посадочным устройством. Его запихнули туда на всякий случай, я им воспользовался. Правда, я не помню, что происходило со мной, когда я высадился самолично. Помню и не помню. Теледубля я нашел, но, кажется, другого, не молекулярного. Помню, что я *знал*, зачем спускаюсь: не для того, чтобы спасти его — это было и невозможно, и бессмысленно, — но чтобы взять *что-то*. Какие пробы? Чего? Этого я никак не могу вспомнить. И хотя самой каллотомии я не почувствовал или не заметил, как при амнезии от сотрясения мозга, но, вернувшись на корабль, затолкал свой скафандр в контейнер и припоминаю теперь, что он весь был покрыт тонкой пылью. Какой-то странной пылью, на ощупь сухой и мелкой, как соль; ее трудно было стереть с рук. Радиоактивной она не была. Все же я вымылся тщательно, как при

дезактивации. А позже даже не попытался узнать, что это за субстанция, да мне, впрочем, и некогда было задавать такие вопросы. А когда я узнал, что мозг у меня рассечен, и понял, в какой скверный переплет я попал, то и думать забыл об этом порошке. У меня появились заботы посерьезнее. Может быть, вы что-нибудь слышали об этой пыли? Это явно не был «персидский порошок» от клопов. Что-то я все же привез... но что?

Гость смотрел на меня сквозь пенсне, сощуриив глаза, словно игрок в покер.

— Тепло... — сказал он. — Даже горячо... Да, вы привезли нечто... вероятно, поэтому и вернулись живым.

Он встал и подошел ко мне. Мы оба смотрели на Луну, невинно сияющую среди звезд.

— Lunar Expedition Molecules* остались там... — как бы про себя промолвил гость. — Но, будем надеяться, разрушенные безвозвратно! Вы сами уничтожили этого ЛЕМА, хотя ничего об этом не знали, когда пошли в грузовой отсек за скафандром. Тем самым вы привели в действие AUDEM, Autodemolition**, теперь я могу об этом сказать — теперь уж все равно.

— Для советника по вопросам неврологии вы превосходно информированы, — заметил я, продолжая смотреть на Луну, полузакрытую облаками. — Может быть, вам даже известно, что со мной тогда вернулось? Их микропы? Кристаллический порошок, непохожий на обычный песок...

— Нет. Насколько я знаю, это полимеры на базе кремния, какие-то силикоиды...

— Но не бактерии?

— Нет.

— Почему же вы придаете им такое значение?

— Потому, что они шли за вами.

— Не может быть, ведь...

— Может, потому что было.

— Контейнер потерял герметичность?

— Нет. Вероятно, вы проглотили порцию этих частиц еще в ракете, выбираясь из скафандра.

— Но они теперь во мне?

— Не знаю. Но то, что это не обычная лунная пыль, было обнаружено, когда вы собирались в Австралию.

* Лунные экспедиционные молекулы (англ.)

** Саморазрушение (англ.)

— Ах так! И, разумеется, каждое место, где я побывал, потом исследовалось под микроскопом?

— Примерно так

— И находили эти?

Он кивнул. Мы все стояли у окна, а Луна проплывала между тучами.

— Все ли об этом знают?

— Кто это — все?

— Ну, заинтересованные стороны...

— По-видимому, еще не все. В Агентстве — несколько человек, а из медицинской службы только я.

— Почему вы мне об этом не сказали?

— Потому что вы сами уже напали на след, и мне хотелось, чтобы вы уяснили себе положение в целом.

— Мое?

— И ваше, и общее.

— Так они на самом деле меня опекают?

— Минуту назад вы сами дали это понять.

— Я стрелял наугад. Значит, так оно и есть?

— Не знаю. Но из этого не следует, что никто ничего не знает. Во всем этом деле есть различные степени посвященности. На основании сведений, которые я получил от своих друзей, совершенно частным образом, исследования продолжаются, и пока не исключается, что эти частицы поддерживают связь с Луной...

— Странные вещи вы говорите. Какую связь? По радио?

— Наверняка нет.

— Значит, существует другая?

— Я приехал сюда, чтобы задать несколько вопросов вам а оказалось, что допрашивают меня.

— Но вы, кажется, собирались подробно обрисовать положение, в котором я оказался?

— Я не могу отвечать на вопросы, на которые не знаю ответов.

— Одним словом, до сих пор меня защищало только *предположение*, что Луна может и в состоянии заниматься моей судьбой?..

Шапиро не отвечал. Комната была погружена в полумрак. Заметив выключатель, он подошел к нему, включил свет, и сияние лампы ослепило и в то же время отрезвило меня. Я задернул штору, достал из бара бутылку и две рюмки, налил в них остатки шерри, сел сам и указал гостю на кресло.

— *Ci va piano va sano**, — неожиданно произнес профессор, но, едва пригубив вино, поставил рюмку на письменный стол и вздохнул. — Человек всегда руководствуется какими-то правилами, но в таком положении, как это, никаких правил нет, а действовать необходимо, ибо промедление ни к чему хорошему не приведет. Домыслами мы ничего не добьемся. Как невролог могу вам сказать одно: память бывает кратковременная и долговременная. Кратковременная преобразуется в долговременную, если не возникают неожиданные помехи. А трудно представить себе помеху серьезнее, чем рассечение большой спайки мозга! То, что произошло непосредственно до и сейчас же после этого, не может находиться в вашей памяти, и эти пробелы вы заполнили домыслами, как я уже говорил; а что касается остального, то мы не знаем даже, *кто* нападает, а *кто* — защищается. Ни одно правительство ни при каких обстоятельствах не признается, что его программисты нарушили единодушно принятые условия Женевского соглашения. Впрочем, если бы даже кто-нибудь из программистов проговорился, это бы не имело никакого значения, ведь ни он и никто другой не знает, как потом развивались события на Луне. В этом санатории вы не в большей безопасности, чем в вольере с тиграми. Вы мне не верите? Во всяком случае, до бесконечности вы здесь не просидите.

— Так долго говорим, — заметил я, — а все без толку. Вам хочется, чтобы я отдался, так сказать, под вашу опеку? — Я притронулся к правому виску.

— Я считаю, вы должны это сделать. Не думаю, чтобы это много дало Агентству, да и вам тоже, но ничего лучшего предложить не могу.

— Ваш скептицизм, возможно, — попытка вызвать мое доверие... — пробормотал я про себя, будто думая вслух. — Скажите, последствия каллотомии наверняка необратимы?

— Если это была хирургическая каллотомия, перерезанные белые волокна наверняка не срастутся. Это невозможно. Но ведь никто не делал вам трепанацию черепа?..

— Я понял, — ответил я после минуты раздумья. — Вы вселяете в меня надежду, что со мной произошло нечто другое — нарочно искушаете, либо верите в это сами...

— Так что вы решили?

— Я отвечу в ближайшие сорок восемь часов. Хорошо?

* Тише едешь, дальше будешь (*ит.*).

Он кивнул и показал на лежащую на столе визитную карточку:

— Там номер моего телефона.

— И мы будем говорить открытым текстом?

— И да, и нет. Никто не поднимет трубку. Переждите десять гудков и через минуту позвоните еще раз. Снова переждите десять сигналов — и все.

— Это и будет знаком согласия?

Он снова кивнул, вставая:

— Остальное — уже наше дело. А сейчас мне пора. Спокойной ночи.

Он вышел, а я все стоял посреди комнаты, бездумно глядя на оконную штору. Вдруг погасла лампа под потолком. Наверное, перегорела, подумал я, но, выглянув в окно, увидел погруженные во тьму силуэты санаторных корпусов. Погасли даже дальние фонари, обычно мигающие у выезда на автостраду. Видимо, серьезная авария. Идти за фонариком или свечами не хотелось, часы показывали одиннадцать. Я отодвинул штору, чтобы при слабом лунном свете раздеться и принять душ в моей маленькой ванной комнате. Я хотел вместо пижамы надеть халат, открыл шкаф и замер. Кто-то стоял там — толстый, низенький, почти лысый, неподвижный, как статуя, с пальцем, прижатым к губам. Это был Грамер.

— Аделаида... — прошептал я. И замолк, потому что он погрозил мне пальцем и молча указал на окно. Я не двинулся с места, тогда он присел, выбрался на четвереньках из шкафа, прополз за письменный стол и, не поднимаясь с колен, задернул штору. Сделалось так темно, что я еле смог увидеть, как он по-прежнему на коленях возвращается к шкафу и достает оттуда что-то плоское, четырехугольное. К этому времени я уже привык к темноте и увидел, что Грамер открывает маленький чемоданчик, достает из него какие-то шнуры и провода, что-то там соединяет — что-то щелкнуло, и Грамер, все еще сидя на ковровом покрытии пола, прошептал:

— Садитесь рядом, Тихий, поговорим...

Я сел, до того ошеломленный, что не мог вымолвить ни слова, а Грамер придвинулся ко мне, коленом коснувшись моего колена, и сказал тихо, но уже не шепотом:

— У нас по крайней мере три четверти часа времени, если не час, пока дадут ток. Часть подслушивающих устройств имеет собственное питание, но это расчет на дилетантов. Мы

экранированы по первому классу. Называйте меня Грамером, Тихий, как привыкли.

— Кто вы такой? — спросил я и услышал его тихий смех.

— Ваш ангел-хранитель.

— То ссть как? Ведь вы сидите здесь уже давно, не так ли? Откуда вы могли знать, что я попаду сюда? Ведь Тарантога...

— Любопытство — это первая ступенька на пути в ад, — добродушно сказал Грамер. — Не столь важно, откуда, как и почему; у нас есть дела посущественней. Во-первых, не советую вам делать то, чего добивался Шапиро. Хуже этого вы ничего не могли бы выбрать.

Я молчал, и Грамер снова тихо засмеялся. Он явно был в прекрасном настроении. Даже голос его стал другим, он больше не растягивал слова, и уж совсем не напоминал того глуповатого субъекта, каким представлялся раньше.

— Вы принимаете меня за «представителя иностранной разведки», ведь так? — спросил он, фамильярно похлопывая меня по спине. — Я понимаю, что вызываю у вас восемнадцать подозрений сразу. Попробую обратиться к вашему здравому смыслу. Допустим, вы последуете доброму совету Шапиро. Вас возьмут в оборот — нет, никаких мучений, упаси Боже, в их клинике к вам будут относиться, как к самому президенту. Может быть, что-то вытянут из вашего правого полушария, а может быть, и не вытянут. Это не будет иметь никакого значения, потому что приговор им известен заранее.

— Какой приговор?

— Ну диагноз, результат научного исследования, проведенного через руку, ногу, пятку, — какая разница. Прошу не прерывать меня, и сейчас вы все узнаете. Все, что уже известно.

Он умолк, словно ожидая моего согласия. Мы сидели так в темноте, пока я не сказал:

— Сюда может прийти доктор Хоус.

— Нет, не может. Никто не придет, пусть это вас не беспокоит. Это не игра в индейцев. Слушайте же. На Луне программы разных стран вгрызлись друг в дружку. Вгрызлись, перемешались, кто первый начал — сейчас не важно, во всяком случае. В результате, образно говоря, там возникло нечто вроде рака. Взаимное беспорядочное уничтожение, различные фазы разнообразных моделируемых и реальных вооружений вторглись друг в друга — в разных секторах это

произошло по-разному, — столкнулись, сшиблись, впрочем, называйте как хотите.

— Луна спятила?

— Пожалуй. В некотором смысле. А когда то, что было запрограммировано, и то, что получилось из программ, стало обращаться в ничто, начались совершенно новые процессы, которых никто на Земле не предвидел, абсолютно никто.

— Что это за процессы?

Грамер вздохнул:

— Я бы выкурил сигарету, но не могу, ведь вы не курите. Какие, говорите, процессы? Вы привезли их первый след.

— Эту пыль на скафандре?

— Вы угадали. Но это никакая не пыль, а силиконовые полимеры, зародыши ордогенеза, некроорганизации, как это называют специалисты, — уже много выдуманно этих терминов. Во всяком случае, то, что происходит там, Земле вообще не угрожает, но именно потому, что не угрожает, чревато опасностью, нежелательной для Агентства.

— Не понимаю.

— Агентство стоит на страже Доктрины Неведения, не так ли? Есть государства, которые заинтересованы в крушении этой доктрины, — всей той истории с высылкой вооружений на Луну. Я неудачно выразился. Все значительно сложнее. Существуют различные интересы и группы, оказывающие нажим; одни хотели бы, чтобы паника, все еще раздуваемая под лозунгом: «Отразить вторжение с Луны!», ширилась, чтобы в ООН или вне ее создалась коалиция, готовая ударить по Луне традиционным, то есть термоядерным, оружием либо неклассическим — новой коллаптической техникой. Только не спрашивайте, что это такое, об этом в другой раз. Им важно снова начать производство оружия в крупных масштабах, оправдывая это глобальными, надгосударственными интересами, — уж если угрожает агрессия, ее надо уничтожить в зародыше.

— Но Агентство этого не хочет?

— Агентство само расколото изнутри, противоборствующие стороны имеют в нем своих людей. Да иначе и не могло быть. И вы стали крупным козырем в этой игре. Едва ли не самым крупным.

— Я? Из-за своего несчастья?

— Именно. То, что извлекут из вас Шапиро и его команда, невозможно будет проверить. Кроме двух-трех человек никто не узнает, действительно ли получена какая-нибудь

конкретная, решающего значения информация, или это попросту блеф, который они попытаются выдать за истину — либо сразу широкой общественности, либо сначала Совету Безопасности, — да и не в том дело, кого они раньше информируют. Дело в том, что никто, включая и вас, не сможет установить, лгут они или говорят правду.

— Скорее уж первое — ведь вы сами сказали, что диагноз у них заготовлен заранее...

— Похоже, что так. Я не всеведущ. Во всяком случае силой они вас брать не будут.

— Вы уверены? Шапиро говорил...

— Об этих нападениях? Они инсценированы, господин Тихий. Само собой разумеется. Но инсценированы так, чтобы при этом вы не погибли, иначе никто из них ничего не получил бы.

— Кто за этим стоял?

— Разные стороны, с разными намерениями. Сначала, пожалуй, чтобы вас взять, а позже, когда эти попытки не удалось, — чтобы вас слегка прижать, устрашить, сделать сговорчивее, чтобы вы бросились в дружеские объятия господина Шапиро.

— Подождите, Грамер... так хотели они меня запугать или нет?

— Вы что-то медленно стали соображать. Сначала кто-то, конечно, хотел, чтобы похищение не удалось, а потом в Агентстве сориентировались, что необязательно ждать следующего покушения. Агентство, вернее, люди из аппарата так называемой Охраны Миссии устроили для вас пару небольших спектаклей.

— То есть сначала Агентство меня охраняло, а потом на меня же и покушалось? Так? Сперва это было по-настоящему, а после — подстроено?

— Именно так.

— Ну хорошо. Допустим, я позволю им себя обследовать. Что из этого получится?

— Бридж или покер.

— Не понял.

— Начнется своего рода розыгрыш партии, аукцион... Предвидеть можно только начало, остальное — нет. Сейчас уже ясно, что на Луне дела пошли не так, как должны были идти. Возник вопрос: представляет это угрозу для Земли или нет? До сих пор все указывало на то, что никакой угрозы нет и по крайней мере в ближайшие сотни лет не будет. Разве

что через тысячу, а то и миллион лет, — но политика такие масштабы в расчет не берет. Во всяком случае, до трехтысячного года можно спать спокойно. Но дело в том, что спокойно спать не придется. Именно безопасная Луна необходима определенным группам нажима.

— Для чего?

— Чтобы заявить: ни одно государство уже не имеет там арсеналов, там нет больше ничего, лунный проект лопнул, Женевские соглашения потеряли смысл, пора возвращаться к Клаузевицу.

— Но это значит, Грамер, что, как ни крути, все кончится плохо. Если грозит вторжение, нужно вооружиться против Луны, а если не грозит — вооружаться по-старому, по-земному, так, что ли?

— Разумеется. Вы все поняли правильно. Таков баланс на сегодня.

— Ничего себе балансик. Да ведь тогда все тайные сведения, запрятанные в моей голове, не стоят и выеденного яйца...

— Вот тут вы ошибаетесь. В зависимости от того, что будет объявлено после обследования вашей персоны, возможны различные варианты.

— Какие?

— По данным компьютерного моделирования — не меньше двадцати, смотря по тому, каким окажется результат, не истинный, конечно, а обнародованный.

— И вы не знаете, каков он будет?

— Нет, потому что и сами они пока не знают. Группа Шапиро тоже неоднородна. Там тоже представлены несовпадающие интересы. Не думайте, Тихий, что они обнаружат стопроцентную ложь. Это они могли бы сделать, только если бы были абсолютно замкнутой, законспирированной группой платных фальсификаторов, но это не так. Они даже не могут заранее исключить возможность, что вы, хоть и не узнаете ничего о том, что содержится в вашем правом мозгу, тем не менее включитесь в эту партию покера.

— Каким образом?

— Не будьте ребенком. Разве вы не сможете потом написать в «Нью-Йорк Таймс», или в «Цюрихер Цайтунг», или куда вам вздумается, что они огласили поддельный диагноз? Что-то исказили или неправильно истолковали? Тогда разразится крупный скандал. Вам достаточно будет поставить под сомнение их выводы, и тут же объявятся выдающиеся

специалисты, которые станут за вас стеной и потребуют новых исследований, контрольных. И тогда уж сам черт в этом не разберется.

— Если это настолько очевидно для вас, то почему этого не могут предвидеть люди Шапиро?

— А что им остается в сложившейся ситуации, кроме как уговаривать вас согласиться на обследование? Все, на чьей бы стороне они ни стояли, действуют в зависимости от обстановки.

— А если меня убьют?

— И это очень плохой выход. Даже если бы вы совершили абсолютно достоверное самоубийство, подозрения, что вас убили, разнеслись бы по всему свету.

— Я не верю, будто невозможно повторить то, что мне удалось на Луне. Шапиро, правда, говорил, что попытки уже были и ничего не вышло, но ведь такие экспедиции можно повторить.

— Разумеется, можно, но и это — лабиринт. Вы удивлены? Тихий, у нас осталось мало времени. Создался полнейший пат в мировом масштабе: нет никаких ходов, гарантирующих сохранение *мира*, есть только различные разновидности риска.

— И что же вы мне посоветуете как мой ангел-хранитель?

— Не слушайте никаких советов. Мои тоже не принимайте во внимание. Я тоже представляю определенные интересы и не скрываю, что меня послал к вам не Господь Бог, не провидение, а всего лишь та сторона, которая в возобновлении вооружений не заинтересована.

— Допустим. И что же, по мнению этой стороны я должен сделать?

— Сейчас — ничего. Абсолютно ничего. Сидите здесь. Не звоните Шапиро. По-прежнему общайтесь с полоумным стариком Грамером, и через несколько недель, или даже дней станет ясно, что делать дальше.

— Почему я должен вам верить?

— Я уже сказал — вы вовсе не обязаны мне верить, я только представил вам ситуацию в общих чертах. Единственно, что мне пришлось для этого сделать, — выключить на часок главный трансформатор, а теперь я заберу свой электронный хлам и пойду спать, ведь я же миллионер в состоянии депрессии, не так ли? До свидания, Джонатан

— До свидания, Аделаида, — ответил я. Грамер пополз

к дверям, приоткрыл их, кто-то стоял в коридоре и, как мне показалось, подал Грамеру какой-то знак. Грамер встал, тихо закрыл за собой дверь, а я все сидел, чувствуя зуд в ногах, пока снова не загорелся свет.

Я погасил лампу и лег в кровать. При свете ночника я заметил там, где только что сидел Грамер, поблескивающий предмет, нечто вроде слегка сплющенного перстня. Я поднял его и рассмотрел. Внутри была скрученная бумажка. Я развернул ее. «В случае чего», — гласили кривые, словно в спешке написанные буквы. Отложив измятый листок, я попытался надеть кольцо на палец. Оно было серое, со слабым металлическим блеском, удивительно тяжелое — уж не свинцовое ли? С одной стороны — выпуклость, похожая на зерно фасоли с маленьким отверстием, словно проколотым острой иглой. Кольцо не лезло ни на один палец, кроме мизинца. Не знаю почему, но оно обеспокоило меня больше, чем оба визита. Для чего оно предназначалось? Я попробовал провести им по оконному стеклу — ни малейшей царапины. В конце концов даже лизнул. Вкус был солоноватый. Надевать на палец или не надевать? Все же надел, хоть и не без труда, и взглянул на часы. Миновала полночь, а сон все не шел. Я уже не знал, какую из своих проблем начать обдумывать в первую очередь. Меня тревожило даже то, что левая нога и рука ведут себя спокойно, и в полусне их пассивность казалась явной западней, на этот раз грозящей мне изнутри. Как это часто бывает, мне снилось, что я не могу заснуть, а возможно, я спал и думал, что бодрствую. Неизвестно, сколько времени я пытался разобраться, сплю я или не сплю, и с отчаянными усилиями тщился разрешить этот вопрос. Тем временем в комнате чуть посветлело. Светает, подумал я, значит, несколько часов мне поспать удалось. Однако свет шел не со стороны задернутого шторой окна — он сочился через щель двери и был удивительно сильным, словно там, в коридоре, у самого порога стоял мощный прожектор. Я сел на кровати. Что-то вливалось через щель на пол, но не вода, а вроде бы ртуть. Она катилась маленькими шариками по паркету, разлилась в плоскую лужу, с трех сторон подступила к маленькому коврику у кровати, а тем временем вместе со светом, идущим из-под двери, все текли струйки этой странной металлической жидкости. Уже почти весь пол сиял, как тонкая пластина ртутного зеркала. Я зажег лампу на столике. Эта жидкость все же была не ртутью, по цвету она напоминала скорее потемневшее от старости серебро. Ее

натекло уже столько, что коврик шевелился, словно бы плавал в ней, и вдруг свет под дверью погас. Я сидел наклонившись и с изумлением смотрел на метаморфозы, происходящие с вязкой металлической жижей. Она распадалась на микроскопические капельки, а те целыми грудками склеивались в некое подобие гриба, потом все это вспухло, как поднимающееся тесто, и, густея, тянулось вверх. Наверняка это сон, сказал я себе, но, несмотря на такое категорическое заключение, не испытывал ни малейшего желания коснуться босой ногой этой ртути; так и сидел, слегка обалдевший, не столько удивленный, сколько даже довольный тем, что нашел удачный термин для описания этого явления: «живое серебро». Это и в самом деле двигалось, как нечто живое, но не пыталось стать растением, или животным, или не знаю уж каким монстром, а превращалось в пустой кокон, все более человекоподобный панцирь или, скорее, грубую отливку панциря с большими дырами и продолговатой щелью спереди; когда — уже много позднее — я пытался восстановить в памяти эту метаморфозу, больше всего она напомнила мне фильм, прокручиваемый в обратную сторону: будто сначала кто-то изготовил диковинные доспехи, а потом расплавил их в жидкий металл, только все это совершалось у меня на глазах в обратном порядке. Сначала жидкость, потом вырастающее из нее полое тело, потому что панцирем оно все-таки не было, оно уже не блестело, а стало матовым и напоминало большой манекен, вроде тех, что выставляют в витринах, — с лицом без носа и губ, но с круглыми дырами вместо глаз; наконец, к моему замешательству, из всего этого стала формироваться женщина, несколько крупнее натуральной величины, или нет, скорее статуя женщины, в середине пустая и раскрытая, словно шкаф, и статуя эта — чтоб мне пропасть! — выделяла из себя одежду: сначала покрылась белоснежным бельем, потом на белом возникла зелень платья; я, не сомневаясь уже, что это мне снится, подошел к ночному видению. Тут платье из зеленого сделалось снова белым, как медицинский халат, а лицо проявилось еще явственнее. Светлые волосы на голове покрылись белым сестринским чепчиком, окаймленным карминного цвета бархатом. Довольно, пора просыпаться, подумал я, слишком уж нелеп этот сон; но все же не решился прикоснуться к существу и отвел глаза. Я совершенно отчетливо видел комнату, освещенную лампой, стоящей на ночном столике, письменный стол, шторы, кресла. В такой нерешительности я стоял еще

некоторое время, потом снова посмотрел на призрак. Он был очень похож на санитарку Диди, которую я не раз видел в саду и у доктора Хоуса, но гораздо крупнее и выше. Фигура промолвила: «Войди в меня и уходи отсюда. Возьмешь «той-оту» доктора, выедешь — ворота открыты, только сначала оденься и захвати деньги: купишь билет и сразу поедешь к Тарантоге. Ну не стой как чурбан, ведь санитарку никто не задержит...» — «Но она же меньше тебя...» — пробормотал я, пораженный не столько ее словами, сколько тем, что губы ее не шевелились. Голос исходил прямо из ее тела, которое вместе с халатом раскрылось так, что я и вправду мог войти внутрь. Другой вопрос — надо ли было это делать? Вдруг мысли мои прояснились, в конце концов это вовсе не обязательно был сон, существует же молекулярная телетроника, кто-кто, а уж я-то имел опыт обращения с ней, так, может быть, это все наяву? Но в таком случае, как поручиться, что здесь не кроется новая западня?

— Ночью размеры трудно определить точно. Не тяни время! Одевайся, возьми только чеки, — повторила она.

— Но почему я должен бежать и кто ты? — спросил я и начал одеваться: не потому, что решил ввязаться в это неожиданное приключение, а потому, что одетым я чувствовал бы себя увереннее.

— Я никто, разве не видишь, — сказала она. Голос, однако, был женский, низкий, приятный, чуть глуховатый, странно знакомый, только я не мог припомнить откуда. Я пока что зашнуровал ботинки, сидя на краю кровати.

— Но кто же прислал тебя, госпожа Никто? — спросил я, поднимая голову, и, прежде чем я успел опомниться, она упала на меня, охватила не руками, а всем нутром сразу, и произошло это удивительно быстро: сию секунду я сидел на краю кровати в пуловере, но без галстука, чувствуя, что перетянул шнурок левого ботинка, а мгновение спустя оказалось, что меня втянуло в середину этого полого существа и я зажат его телом, будто был проглочен питоном. Не могу подобрать сравнение лучше, ибо такого со мной еще не случалось. Внутри было довольно мягко, я видел комнату через глазные отверстия, но потерял свободу движений и вынужден был делать то, чего хотела она или оно, а скорее тот, кто управлял этим теледублем с намерением затащить меня силой туда, где давно уже поджидают Ийона Тихого. Я напряг все силы, пытаюсь перебороть эту управляемую на расстоянии оболочку, но безуспешно. Руки и ноги меня не слу-

шались — их словно сгибали и выпрямляли насильно. Правая рука, нажав на ручку, отворила дверь, хотя я и сопротивлялся, как мог. В коридоре тускло светили ночные зеленые лампочки, вокруг — ни души. Мне некогда было задуматься, кто за этим стоит, я пытался найти какой-нибудь выход, но эта неличность, настоящий Франкенштейн, начиненный мною, шел не спеша — трудно придумать более идиотское положение, — и тут я вспомнил про кольцо, которое оставил Грамер, хотя чем оно могло мне помочь? Даже если бы я знал, что надо его надкусить или повернуть на пальце, как в сказке, чтобы появился спасительный джинн, я все равно не смог бы этого сделать. Уже показалась ведущая на улицу дверь коттеджа, в тени старой пальмы чернел длинный темный контур автомобиля с бликами далекого света на кузове. Маятниковые двери открылись — моя подневольная рука толкнула их, — и тогда задняя дверь автомобиля тоже открылась, но внутри никого не было, во всяком случае, мне никого не удалось разглядеть.

Я уже садился в машину, вернее, «меня сажали» — потому что я все еще продолжал упираться изо всех сил — и тут понял свою ошибку. Не следовало сопротивляться — ведь именно к этому был готов тот, кто управлял теледублем. Надо было уступать навязанному движению, но так, чтобы оно пошло мимо своей цели. Склонившись, уже в двери машины, я бросился вперед, грохнулся обо что-то головой так, что потерял сознание — и открыл глаза.

Я лежал на полу рядом с кроватью, штора на окне уже стала серой от рассветных лучей, я поднял руку к глазам — кольцо исчезло: значит, это все-таки был кошмар? Я не мог разобраться, на каком месте оборвалась вчерашняя действительность, во всяком случае не раньше ухода Грамера. Я вскочил, кинулся к шкафу, из которого он вышел, мои костюмы были отодвинуты вбок, значит, он и вправду там стоял. На дне шкафа что-то белело. Письмо. Я взял его — никакого адреса; я разорвал конверт. Там был листок с машинописным текстом без даты и без обращения. В комнате было слишком темно, отдергивать штору я не хотел; проверив сначала, заперта ли дверь, я включил ночник и прочитал: «Если тебе снилось похищение, или пытки, или еще какое-нибудь несчастье отчетливо и в цвете, значит, ты подвергся пробному обследованию и получил наркотик. Это им нужно для предварительного выяснения твоей реакции на определенные средства, не имеющие вкуса и запаха. Мы

не уверены, так ли это на самом деле. Единственный человек, кроме меня, к которому ты можешь обратиться, — твой врач. Улитка».

Улитка — значит, письмо от Грамера. С одинаковой вероятностью оно могло содержать и правду, и ложь. Я попытался по возможности точнее вспомнить, что говорил мне Шапиро, а что Грамер. Оба считали, что лунный проект провалился. Дальше их предложения расходились. Профессор хотел, чтобы я позволил себя обследовать, а Грамер — чтобы я ждал неизвестно чего. Шапиро представлял Лунное Агентство — так, по крайней мере, он утверждал; Грамер о своих хозяевах, в сущности, не говорил. Но почему вместо того, чтобы предостеречь меня перед возможным применением наркотиков, он только оставил это письмо? Может быть, в игре участвовала еще и третья сторона? Оба они мне наговорили с три короба, но я так и не узнал, почему, собственно, сокрытое в моем правом мозгу имеет такую важность. Может быть, я проглотил что-то, что на время усыпило мою бедную, почти немую половину головы, и потому она вообще не давала о себе знать? Но с каких пор? Пожалуй, с предыдущего дня. Допустим, так оно и случилось. Для чего? Похоже, все, кто охотится на Ййона Тихого, не знают, что делать, и тянут время. Я был в этой игре картой неведомой масти, быть может, главным козырем, а может быть, и ничем, и одни мешали другим разобраться, что я есть на самом деле. И я не мог договориться сам с собой, они усыпили мое правое полушарие? Вот это я мог проверить немедленно. Правой рукой я взял левую и обратился к ней уже испытанным способом.

— Что нового? — спросил я пальцами. Мизинец и большой шевельнулись, но как-то слабо.

— Ты слышишь? — просигналил я. Средний палец коснулся подушечки большого, образовав кольцо, что означало «Привет».

— Ладно, ладно, привет, но как ты там?

— Отвяжись.

— Говори сейчас же, что у тебя? Пойми, это важно для нас обоих.

— Голова болит.

Да, в ту же минуту я почувствовал, что у меня *тоже* болит голова. Я уже настолько освоил неврологическую литературу, что понимал — в эмоциональном отношении каллотомия меня не раздвоила.

— И у меня тоже болит. У нас. Понимаешь?

- Нет.
- Как это нет?
- А вот так.

Пот прошиб меня от этой беззвучной беседы, но я решил не сдаваться. Вытяну из нее все, что можно, решил я — вытяну во что бы то ни стало. И тут меня осенила совершенно новая мысль. Азбука глухонемых требует большой ловкости пальцев. Но я же сызмальства владею азбукой Морзе. Я раскрыл левую ладонь и указательным пальцем правой начал рисовать на ней поочередно точки и тире — сначала SOS, Save Our Souls. Спасите наши души. Ладонь левой руки позволила прикасаться к себе некоторое время, потом вдруг собралась в кулак и дала мне порядочного тычка, я даже подскочил. Ничего не выйдет, подумал я, но она вытянула палец и пошла вырисовывать точки и тире на правой щеке. Да, ей-богу, она отвечала азбукой Морзе:

— Не щекочи, а то получишь.

Это была первая фраза, которую я от нее услышал, вернее, почувствовал. Я сидел, как статуя, на краю кровати, а рука сигнализировала дальше:

- Осел.
- Кто, я?
- Да. Ты. Сразу надо было так.
- Так что же ты не дала знать?
- Сто раз, идиот. А тебе хоть бы что.

Действительно, теперь я вспомнил, что она уже много раз царапала меня то так, то эдак, но мне в голову, то есть в мою часть головы, не пришло, что это морзянка.

— Господи, — царапал я по руке, — так ты можешь говорить?

- Лучше, чем ты.
- Так говори, и ты спасешь меня, то есть нас.

Трудно сказать, кто из нас набирался сноровки, но молчаливый разговор пошел быстрее.

- Что случилось на Луне?
- А ты что помнишь?

Эта неожиданная перемена ролей удивила меня.

- Ты не знаешь?
- Знаю, что ты писал. А потом закопал в банке. Так?
- Так.
- Ты писал правду?
- Да, то, что запомнил.
- И они это сразу выкопали. Наверное, тот первый.

— Шапиро?

— Не запоминаю фамилий. Тот, что смотрел на Луну

— Ты понимаешь, когда говорят голосом, вслух?

— Плохо, разве что по-французски.

Я предпочел не расспрашивать об этом французском

— Только азбуку Морзе?

— Лучше всего.

— Тогда говори.

— Запишешь — и украдут.

— Не запишу. Даю слово.

— Допустим. Ты знаешь *что-то*, и я знаю *что-то*. Сначала скажи ты.

— Так ты не читала?

— Не умею читать.

— Ну хорошо... Последнее, что я помню... я пытался установить связь с Вивичем, когда выбрался из взорванного бункера в японском секторе, но ничего не вышло. Во всяком случае, я ничего не припоминаю. Знаю только, что потом высадился сам. Иной раз мне кажется, будто я что-то хотел забрать у теледубля, который куда-то проник... или что-то открыл, но не знаю что и даже не знаю, какой это был теледубль. Молекулярный — вряд ли. Я не помню, куда он делся.

— Тот, в порошке?

— Ну да. А ты, наверное, знаешь... — осторожно подсказал я.

— Сначала расскажи до конца. Что тебе кажется в *другой* раз?

— Что никакого теледубля там не было, а может, и был, но я уже его не искал, потому что...

— Что?

Я заколебался. Признаться ему, что мое воспоминание — словно кошмарный сон, который не передать словами и после которого остается только ощущение чего-то необычайного?

— Не знаю, что ты думаешь, — скребла она по мне, — но знаю, ты что-то затеваешь. Я это чувствую.

— Зачем мне что-то затевать?

— Затем. Интуиция — это я. Говори. Что тебе кажется «в другой раз»?

— Иногда у меня такое впечатление, будто я высадился по вызову. Но не знаю, кто меня вызывал.

— Что ты написал в протоколе?

— Об этом — ничего.

— Но они все контролировали. Значит, у них есть записи. Они знают, получил ты вызов с Луны или нет. Они все прослушивали. Агентство знает.

— Не знаю, что знают в Агентстве. Я не видел никаких записей, сделанных на базе, ни звуковых, ни телевизионных. Ничего. Ты же знаешь.

— Знаю. И еще кое-что.

— Что?

— Ты потерял порошкового.

— Дисперсанта? Конечно, потерял, а то зачем бы мне лезть в скафандр и...

— Дурень. Ты потерял его иначе.

— Как? Он распался?

— Его забрали.

— Кто?

— Не знаю. Луна. Что-то. Или кто-то. Он там преобразался Сам. Это было видно с борта.

— Я это видел?

— Да. Но не мог уже контролировать. Его.

— Тогда кто им управлял?

— Не знаю. От корабля он был отключен, но продолжал преобразовываться. По всем своим программам.

— Не может быть.

— Но было. Больше я ничего не знаю. Снова Луна, внизу. Я был там. То есть ты и я. Вместе. А потом Тихий упал.

— Что ты говоришь?

— Упал. Наверное, это и была каллотомия. Тут у меня провал. Потом снова корабль, и ты укладывал скафандр в контейнер, и песок сыпался.

— Значит, я высадился, чтобы узнать, что случилось с молекулярным дублем?

— Не знаю. Может быть. Не знаю. Тут провал. Для того и нужно была каллотомия.

— Умышленная?

— Да. Может быть. Наверное, так. Чтобы ты вернулся и не вернулся.

— Это мне уже говорили — Шапиро, и Грамер вроде бы тоже. Но не так уверенно.

— Потому что это игра. Что-то знают, чего-то им недостает. Видно, и у них есть провал.

— Подожди. Почему я упал?

— Глупый. Из-за каллотомии. Сознание потерял. Как не упасть?

— А этот песок? Эта пыль? Откуда она взялась?

— Не знаю. Ничего не знаю.

Я надолго умолк. Уже совсем рассвело. Было около восьми утра. Но я не замечал ничего, погруженный в лихорадочные мысли. Лунный проект рухнул? Но среди его обломков не только продолжалось бессмысленное состязание и подкопы — в этих развалинах одновременно возникло такое, чего никто на Земле не программировал и не ожидал? И это нечто сокрушило теледубль Лакса? Или перехватило контроль над ним? Но я не помнил этого — очевидно, не мог запомнить из-за каллотомии. И теперь вопрос стоял так: либо перехваченный теледубль заманил меня на Луну с враждебными намерениями, либо с какими-то иными. С враждебными? Чтобы лишить меня памяти? Какая ему от этого выгода? Вроде бы никакой. Может, он хотел что-то мне отдать. Если ему надо было что-нибудь сообщить, моя посадка была бы излишней. Допустим, он передал мне эту пыль. Тогда что-то — или кто-то, — не желая, чтобы операция удалась, рассек мой мозг. Предположим, так оно и было. Тогда *то*, что управляло дисперсантом, спасло меня? Но только ли в этом было дело, чтобы спасти Ййона Тихого? Вряд ли. Нужно было, чтобы информация попала на Землю. А информацией как раз и была та мелкая, тяжелая пыль. Хотя нет, она не могла быть исключительно информацией. Она была материальна. Я должен был привезти ее с собой. Так. Теперь собранная мною часть головоломки позволяла догадываться о целом. Но только догадываться. И я как можно быстрее пересказал *эту* гипотезу своей второй половине.

— Может быть, — ответила она наконец. — У них есть пыль. Но им этого мало.

— И оттого все эти нападения, спасения, уговоры, визиты, кошмары?

— Похоже, так. Чтобы ты согласился на обследование. То есть выдал меня.

— Но они ничего не узнают, если ты знаешь не больше, чем говоришь.

— Скорее всего, не узнают.

— Но если там возникло нечто настолько могущественное, что смогло овладеть молекулярным теледублем, оно могло и напрямую связаться с Землей? С Агентством, с базой, с кем угодно. И уж во всяком случае, с теми, кого Агентство послало после моего возвращения.

— Не знаю. Где высаживались те, новые?

— Мне неизвестно. В любом случае, похоже, что противоположные интересы существуют и *здесь, и там*. Что могло *там* появиться? Из этого рака, из этого распада? Как это Грамер назвал, — кажется, ордогенеза? Рождение порядка? Какого порядка? Электронная самоорганизация? Для чего? С какой целью?

— Если что и возникло, то без всякой цели. Как и жизнь на Земле. Электронные системы перегрызлись между собой. Программы разрегулировались. Одни без конца повторяли одно и то же, другие — распались совсем. Некоторые вторглись на ничейную территорию. Устраивают там зеркальные ловушки. Фата-морганы...

— Может быть, может быть... — повторял я в странном возбуждении. — Все это возможно. Во всяком случае, если уж начался всеобщий распад и побоище и если из этого могло что-то вырасти, вроде фотобактерий или каких-нибудь твердосхемных вирусов, то наверняка не везде, а только в каком-то особом месте. Как редчайшее стечение обстоятельств... И потом стало распространяться. Это я еще могу вообразить. Допустим. Но чтобы из этого возник *кто-то* — извините. Это уж сказки! Никакой дух из частиц не мог там появиться на свет. Разум на Луне из электронного лома? Нет. Это чистая фантазия.

— Но *кто* тогда захватил контроль над молекулярным теледублем?

— Ты уверен, что так оно и было?

— Есть косвенные улики. Ты ведь не мог после выхода из японских развалин наладить связь с базой?

— Да, но я не имею понятия, что произошло потом. Я пытался связаться не только с базой, но и с троянскими спутниками через бортовой компьютер, чтобы узнать, видит ли меня база при помощи микропов. Но на вызов никто не ответил. Никто. Видимо, микропы вновь были поражены, расплавлены, и в Агентстве не знают, что случилось с теледублем. Они знают только, что сразу после этого я высадился сам, а потом вернулся. Остальное — домыслы. Что скажешь?

— Это и есть улики. Есть один человек, который знает больше. Изобретатель молекулярного. Как его зовут?

— Лакс. Но он сотрудник Агентства.

— Он не хотел тебе давать своего теледубля.

— Он ставил это в зависимость от моего решения.

— Это тоже улика.

— Ты думаешь?

- Да, у него были опасения.
- Опасения? Что Луна?..
- Нет технологий, которые нельзя раскусить. Он мог бояться этого.
- И так случилось?
- Наверное. Только иначе, чем он думал.
- Откуда ты можешь знать?
- Всегда все бывает иначе, чем можно предвидеть.
- Я уже понял, — безмолвно продолжал я, — это не мог быть «захват власти». Скорее гибридизация! То, что возникло там, соединилось с тем, что было создано тут, в мастерской Лакса. Да, такого нельзя исключить. Одна дисперсная электроника влезла в другую, тоже способную к дисперсии, к различным метаморфозам. Ведь этот молекулярный теледубль частично имел и собственную память, встроенную программу превращений — так кристаллы льда сами могут соединяться в миллионы неповторимых снежинок. Всякий раз, правда, возникает шестилучевая симметрия, но всегда разная. Да! Я поддерживал с ним связь и даже в какой-то степени все еще был ИМ. И в то же время я подавал ему сигналы, но трансформировался он уже сам, на месте — на поверхности Луны, а потом в подземелье.
- Он обладал разумом?
- По правде говоря, не знаю. Не обязательно знать устройство автомобиля, чтобы его водить. Я знал, как им управлять, и мог видеть то же, что он, но не знал тонкостей его конструкции. Но чтобы он вел себя не как обычный теледубль, не как пустая скорлупа, а как робот — об этом мне ничего не известно.
- Но известно Лаксу.
- Наверное. Однако не хотелось бы обращаться к нему, во всяком случае напрямую.
- Напиши ему.
- Ты спятил?
- Напиши так, чтобы понял только он.
- Они перехватят любое письмо. По телефону тоже не выйдет.
- Пусть перехватывают, а ты не подписывайся.
- А почерк?
- Письмо напишу я. Ты продиктуешь мне по буквам.
- Получатся каракули.
- Ну и что? Знаешь, я проголодался. На завтрак хочу омлет и конфитюр. Потом сочиним письмо.

— Кто отошлет его? И как?

— Сначала завтрак.

Письмо поначалу казалось невыполнимой задачей. Я не знал домашнего адреса Лакса. Это, впрочем, было не самое главное. Писать надо было так, чтобы он понял, что я хочу с ним встретиться, но понял он один. А поскольку всю корреспонденцию проверяли лучшие специалисты, предстояло перехитрить их всех. Поэтому никаких шифров. Кроме прочего, я не мог довериться никому и при отсылке письма. Хуже того, Лакс, возможно, уже не работает в Агентстве; а если даже письмо чудом дойдет до него и он захочет вступить со мной в контакт, целые орды агентов будут следить за ним в оба. К тому же специальные спутники на стационарных орбитах наверняка неустанно наблюдали за местом моего пребывания. Хоусу я верил не больше, чем Грамеру. К Тарантоге тоже обращаться нельзя. На профессора можно было положиться безоглядно, но я не мог придумать, как уведомить его о моем (или нашем) плане, не привлекая внимания к его персоне, — впрочем, и без того, наверное, в каждое окно его дома целится сверхчувствительный лазерный микрофон, а когда он покупает в супермаркете пшеничные хлопья и йогурт, то и другое просвечивают, прежде чем он переложит покупки из тележки в автомобиль. Но было уже все равно, и сразу после завтрака я поехал в городок тем же автобусом, что и в первый раз. Перед входом в универмаг на лотках пестрело множество открыток, и я с небрежным видом просматривал их, пока не нашел ту самую, спасительную. На красном фоне — большая золотая клетка, а в ней сова, почти белая, с огромными глазами, окруженными лучами из перьев. Я был не настолько безумен, чтобы так сразу и взять эту открытку. Сначала я выбрал восемь совершенно невинных, потом ту, с совой, потом с попугаем, добавил еще две, купил марок и пешком вернулся в санаторий. Город словно вымер. Только кое-где в садиках возились люди, а на станции обслуживания, возле которой разыгралась известная сцена, автомобили, обдаваемые струями воды, медленно проезжали между голубыми цилиндрами вращающихся щеток. Никто за мной не шел, не следил и не пытался меня похитить. Солнце припекало, и после часовой прогулки я вернулся в пропотевшей рубашке, сменил ее, приняв перед тем душ, и принялся писать открытки знакомым: Тарантоге, обоим Сиввилкисам, Вивичу, двум кузенам Тарантоги — не слишком коротко и не слишком пространно, — само собой

разумеется, ни словом не упоминая об Агентстве, о Миссии, о Луне; только приветы, невинные воспоминания, ну и обратный адрес, почему бы и нет? Чтобы подчеркнуть шуточный характер этих открыток, на каждой я что-нибудь дорисовал. Двум черно-белым пандам, предназначенным для близнецов, пририсовал усы и галстуки, голову таксы, отправляемой Тарантоге, окружил ореолом, сову снабдил очками, такими, какие носил Лакс; а на пруте, за который она держалась когтями, нарисовал мышку. А как ведет себя мышка, особенно если рядом сова? *Тихо*. Лакс был сообразительным человеком, и вдобавок носил имена несколько необычные, особенно второе имя — Гуглиборк. Не английское, не немецкое, но чем-то похожее на славянское, а если так, он должен был припомнить, от какого слова происходит фамилия *Тихий*; кроме того, мы ведь и впрямь сидели с ним в одной клетке. Поскольку я всем уже написал, что охотно с ними увиделся бы, то же самое я мог спокойно написать и ему, но его я еще поблагодарил за оказанную мне любезность, а в постскриптуме передал привет от некой П. Псиллиум. *Psyllium* — это сухая пыльца растения, которое именно так называется по-латыни, а если бы цензоры Агентства заглянули в толковый словарь Вебстера или в энциклопедию, то узнали бы, что так же называется слабительное средство. Вряд ли им что-нибудь было известно о *пыли* с Луны. Может быть, и Лакс Гуглиборк ничего не знал о ней; тогда открытка оказалась бы холостым выстрелом, но большего я себе позволить не мог. Шапиро я не позвонил, Грамер не навязывался с разговорами. Полдня я провел у плавательного бассейна. С тех пор как добился взаимопонимания с моим вторым «я», оно вело себя совершенно спокойно. Только иногда, перед сном, я обменивался с ним парой фраз. Позже мне пришло в голову, что, может быть, лучше было послать Лаксу открытку с попугаем, а не с совой, но дело уже было сделано, оставалось ждать. Прошел день, другой, третий — ничего не происходило, два раза я качался в гамаке вместе с Грамером у фонтана в саду, под балдахинном, но он и не пытался вернуться к нашему разговору. Мне показалось, что он тоже чего-то ждал. Потел, сопел, охал, жаловался на ревматизм и был явно не в духе. По вечерам я со скуки смотрел телевизор и просматривал прессу. Лунное Агентство давало сообщения, похожие на увещевания психотерапевта, что, дескать, анализ данных лунной разведки продолжается, и никаких нарушений, а тем более аварий, в секторах не обна-

ружено. Публицистов эти бессодержательные, скупые сообщения приводили в бешенство, и они требовали, чтобы директор и руководители отделов Агентства предстали перед комиссией ООН, а также выступили на специальных пресс-конференциях с разъяснениями по поводу вопросов, вызывающих особое беспокойство общественности, но в остальном — словно бы никто ни о чем не ведал.

По вечерам ко мне заходил Рассел, тот самый молодой этнолог, который хотел написать о верованиях и обычаях миллионеров. Большую часть материалов он почерпнул из разговоров с Грамером, но я не мог объяснить ему, что они не стоят ломаного гроша, что Грамер только прикидывается крезом, а другие, настоящие миллиардеры, особенно из Техаса, скучны, как манная каша. Обычными миллионерами они пренебрегали. Держали здесь, в санатории, собственных секретарей, массажистов и телохранителей, жили в отдельных коттеджах, охраняемых так, что Рассел вынужден был у меня на чердаке устроить специальную обсерваторию с перископом, чтобы хоть заглядывать в их окна. Он совсем отчаялся, потому что, даже изрядно свихнувшись, они не способны были выкинуть ничего оригинального. От нечего делать Рассел спускался по лесенке ко мне, чтобы поболтать и отвести душу. Благоденствие, разбушевавшееся после отправки вооружений на Луну, в сочетании с автоматизацией производства привело к весьма печальным последствиям. По определению Рассела, настала эпоха пещерной электроники. Неграмотность распространилась до такой степени, что даже чек уже мало кто умел подписать — достаточно было отти ска пальца, а остальное делали компьютерные устройства. Американская Ассоциация Медиков окончательно проиграла битву за спасение профессии врача, потому что компьютеры точнее ставили диагнозы, а жалобы пациентов выслушивали с поистине бесконечным терпением. Компьютеризованный секс также оказался перед серьезной угрозой. Утонченные эротические аппараты вытеснило очень простое устройство, так называемый «Оргиак». Выглядело оно как наушники из трех частей: маленькие электроды, надеваемые на голову, и рукоятка, напоминающая детский пистолет. Нажимая на спуск, можно получать наивысшее наслаждение — колебания нужной частоты раздражали соответствующий участок головного мозга — без усилий, без седьмого пота, без расходов на содержание теледублетки или теледубля, не говоря уже об обычном ухаживании или супружеских обязанностях.

«Оргиаки» наводнили рынок, а если кому-нибудь хотелось получить аппарат, подогнанный индивидуально, он шел на примерку не к сексологу, а в центр ОО (Обсчета Оргазмов). И хотя «Джинандройкс» и другие фирмы, которые производили уже не только синтефанок — *synthetical females*^{*}, но также ангелов, ангелиц, наяд, русалок, микронимфоманок, лезли из кожи вон и называли «Оргиастик Инк» не иначе как «Онанистик Инк», это не очень-то им помогало сбывать свой товар. В большинстве развитых государств было отменено обязательное школьное обучение. «Быть ребенком, — гласила доктрина дешколяризации, — все равно что быть осужденным на ежедневное заключение в камере психических пыток, называемых учением». Только сумасшедшему нужно знать, сколько мужских рубашек можно сшить из восемнадцати метров перкала, если на одну рубашку идет 7/8 метра, или на какой скорости столкнутся два поезда, один из которых ведет со скоростью 180 км/час пьяный восьмидесятилетний машинист, страдающий насморком, а другой поезд навстречу ему ведет дальтоник со скоростью на 54,8 км/час меньше, если учесть, что на 23 километра пути приходится 43,7 семафора доавтоматической эпохи.

Ничуть не полезнее сведения о королях, войнах, завоеваниях, крестовых походах и прочих исторических свинствах. Географии лучше всего учат путешествия. Нужно только ориентироваться в ценах на билеты и расписании авиарейсов. Зачем изучать иностранные языки, когда можно вставить в ухо мини-транслятор? Естественные науки только угнетают и расстраивают юные умы, а пользу из них никто не может извлечь, раз никто не может стать врачом или хотя бы дантистом (с тех пор как в массовое производство были запущены дентоматы, в обеих Америках и Евразии ежегодно кончали самоубийством около 30 000 экс-дантистов). Изучение химии необходимо не более, чем изучение египетских иероглифов. Впрочем, если родители вопреки всему горят желанием учить своих отпрысков, они могут воспользоваться домашним терминалом. Но с тех пор как Верховный суд вынес решение, что дети таких отсталых родителей имеют право подать на папу с мамой апелляцию, семейно-домашнее обучение, и терминальное в том числе, ушло в подполье, и только законченные садисты усаживали своих бедных малышей перед педагогерами. Педагогеры, однако, все еще раз-

* Синтетические женщины (англ.)

решалось производить и продавать, во всяком случае в Соединенных Штатах, а для приманки фирмы бесплатно предлагали к ним что-нибудь из огнестрельного оружия по симпатичнее. Азбуку постепенно вытеснил язык рисунков, даже на табличках с названиями улиц и дорожных знаков. Рассел не особенно убивался из-за всего этого, — мол, теперь уж ничего не поделаешь. На свете жил еще десяток с лишним тысяч ученых, но средний возраст доцента составлял уже 61,7 года, а пополнения не было. Все тонуло в такой скуке благополучия, что, как утверждал Рассел, слухи о грозящем вторжении с Луны большинство людей восприняло с удовлетворением, а мнимая паника была выдумкой радио и телевидения — для оживления рынка новостей. Судебные инстанции не успевали разбирать дела о так называемых С/Оргиаках, суицидальных, то есть самоубийственных, — оказалось, что, ударяя себя током в центр наслаждения между лимбическими и гипоталамическим участками мозга, можно отдать концы с максимальным удовольствием. С трансцедерами (трансцендентальными компьютерами, служащими для установления связи с потусторонним миром) тоже возникли юридические проблемы. Речь шла о том, является эта связь реальностью или иллюзией, но опросы общественного мнения показали, что для потребителей эта разница — казалось бы, колоссальная — не имела никакого значения. Большим успехом пользовались и агиопневматоры*, позволяющие устраивать короткое замыкание со святым духом; почти все церкви включились в борьбу с агиопневматизацией, но практически безуспешно. *Mundus vult decipi, ergo decipatur*** — так закончил свои философские рассуждения мой этнолог, когда в бутылке бурбона показалось дно. Полевые исследования жизни миллиардеров так разочаровали его, что он впал в полнейший цинизм и вместо окон богачей направлял свой перископ в сторону солярия, где нагишом загорали сестры и санитарки. Это показалось мне несколько странным — он мог просто пойти туда и посмотреть на каждую из них вблизи, но, когда я сказал ему это, он только пожал плечами. В том-то вся и беда, что теперь уже все можно, ответил он.

В рекреационном зале нового павильона возились монтеры, заканчивая установку воображаторов. Как-то вечером

* От *agios* — святой и *pneuma* — дуновение, дух (греч.).

** Мир хочет быть обманутым, следовательно, да будет обманут (лат.).

Рассел затащил меня на такой сеанс. В воображатор вкладывается прекс (предлагающая кассета), и в пустом пространстве перед аппаратурой появляется картина, то есть, собственно, не картина, а искусственная действительность, например Олимп с толпой греческих богов и богинь или что-нибудь более жизненное — двуколка, полная сиятельных особ, которых под улюлюкание толпы везут к гильотине. Или дети-сиротки, обедающие пряничной черепицей перед избушкой Бабы Яги. Или же, наконец, монастырская ризница, в которую вторглись татары или марсиане. А вот что будет дальше — зависит от зрителя. Под ногами у него две педали, в руке — управляющая рукоять. Сказку можно превратить в побоище, организовав восстание богинь против Зевса, а головы, упавшие в корзину под гильотиной, снабдить крылышками, растущими из ушей, чтобы они куда-нибудь улетели, или дать им прирасти снова к телам, чтобы их воскресить. Можно вообще все. Ведьма делает из сироток котлеты, но может подавиться ими, а возможен и обратный ход событий. Гамлет может украсть золотой запас Дании и сбежать с Офелией (или Розенкранцем, если нажать клавишу «гомо»). Воображатор имеет клавиатуру, как у фисгармонии, только вместо звуков возникают различные эффекты. Инструкция — довольно толстая книжка, но и без нее легко обойтись. Достаточно несколько раз двинуть ручку, чтобы убедиться, что при нажиге влево включается сначала садомат, а потом извратитор. Толкнув ручку в другую сторону, получаем, наоборот, лиризм, сентиментальную слащавость и хеппи-энд. Если бы мы оба не были навеселе, эта забава наскучила бы нам очень скоро, но мы и так через четверть часа отправились спать. Санаторий приобрел двенадцать воображаторов, ими почти никто не пользовался. Доктора Хоуса это очень огорчало. Он приходил то к одному пациенту, то к другому и убеждал их дать волю воображению, ибо это лучшая психотерапия. Оказалось, однако, что ни один из миллионеров и миллиардеров никогда не слышал о Бабе Яге, греческой мифологии, Гамлете и средневековых монахах. В их понимании татары ничем не отличались от марсиан. Гильотину они чаще всего принимали за увеличенную машинку для обрезания сигар, а всё вместе, считали они, не стоит ломаного гроша. Доктор Хоус, видимо полагая это своим долгом, каждый день ходил в воображальню и, пересаживаясь с кресла на кресло, скрещивал Шекспира с Агатой Кристи, запихивал каких-то спелеологов в жерло

вулкана и вытаскивал их оттуда живыми, невредимыми и с прекрасным загаром. Меня он тоже уговаривал, но я отказался. Я все еще ждал весточки от Лакса, а Грамер тоже как будто чего-то ждал и, вероятно, поэтому избегал меня. Возможно, у него не было новых инструкций. А в общем-то я чувствовал себя совсем неплохо, тем более что достиг прекрасного взаимопонимания с самим собой.

Х. КОНТАКТ

Был уже конец августа, и, зажигая вечером лампу на письменном столе, я обычно закрывал окно от ночных бабочек. К насекомым я отношусь скорее с неприязнью, за исключением, пожалуй, божьих коровок. От дневных бабочек я не в восторге, но как-то их переношу, но вот ночные почему-то пугают меня. А как раз тогда, в августе, их развелось множество, и они безудстанно мелькали за окном моей комнаты. Некоторые были так велики, что я слышал, как они мягко ударяются о стекло. Сам вид их для меня неприятен, и я уже собирался задернуть занавески, как услышал стук — резкий и отчетливый, словно кто-то металлическим прутиком снаружи постукивал по стеклу. Я взял со стола лампу и подошел к окну. Среди беспорядочно трепещущих бабочек я заметил одну, совершенно черную, крупнее других, поблескивающую отраженным светом. Раз за разом она отлетала от окна, а затем ударяла в стекло с такой силой, что я чувствовал содрогание рамы. Больше того, у этой бабочки вместо головы было что-то вроде маленького клюва. Я смотрел на нее, как зачарованный, потому что она ударяла в окно не беспорядочно, а с равномерными интервалами, по три раза, затем отлетала на некоторое время и возвращалась снова, чтобы отстучать свое. Три точки, пауза, три точки, пауза — это повторялось долго, пока я не понял, что это буква S азбуки Морзе. Признаюсь, уже смутно догадываясь, что это не живое существо, я не сразу решился отворить окно: опасение, что я напущу в комнату обыкновенных бабочек, меня удерживало. Наконец я превозмог себя. Она мгновенно влетела через щель. Заперев окно, я отыскал ее взглядом. Она села на бумаги, устилавшие письменный стол. Она была без крыльев и теперь ничем не напоминала бабочку и вообще насекомое. Она выглядела скорее как черная блестящая маслина. Признаться, я непроизвольно отшатнулся, когда она

непонятным образом взлетела и, зависнув в полуметре над столом, жужжала. Поскольку она не вывелась из куколки, то уже не вызывала у меня отвращения. Держа лампу в левой руке, я протянул правую за этой маслиной. Она позволила взять себя пальцами. Твердая — металлическая или пластиковая. Я снова различил жужжание: три точки, три тире, три точки. Приложив ее к уху, я услышал слабый, далекий, но отчетливый голос:

— Говорит сова, говорит сова. Слышишь меня?

Я вставил маслину в ухо и непроизвольно, сейчас же нашел правильный ответ:

— Говорит мышь, говорит мышь. Я слышу тебя, сова.

— Добрый вечер.

— Привет, — ответил я и, понимая, что разговор предстоит долгий, занавесил окно и еще раз повернул ключ в замочной скважине. Теперь я прекрасно слышал Лакса. Я узнал его голос.

— Мы можем говорить спокойно, — сказал он и тихонько засмеялся. — Нас никто не поймет, я применил scrambling* собственной разработки. Но все-таки лучше мне остаться совой, а тебе — мышью. О'кей?

— О'кей, — ответил я и погасил лампу.

— Разгадать открытку было не слишком трудно. Ты верно рассчитал. Я сразу понял, в чем дело.

— Но как ты наладил?..

— Мыши лучше об этом не знать. Мы переговариваемся неким воровским способом. Мышь должна убедиться, что партнер не подставной. Перед нами две разные части нашей головоломки. Сова начнет первой. Пыль — это вовсе не пыль. Это очень интересно построенные микрополимеры, обладающие сверхпроводимостью при комнатной температуре. Некоторые из них соединились с остатками того бедняги, который остался на Луне.

— И что это означает?

— Время точных ответов еще не пришло. Пока можно строить только догадки. По знакомству мне удалось достать щепотку порошка. У нас мало времени. То, благодаря чему мы можем беседовать, через полчаса пойдет за горизонт мыши. Днем я не мог откликнуться. Правда, тогда мы располагали бы большим временем, но больше был и риск.

Мне было ужасно любопытно, каким образом Лакс сумел

* Здесь: способ смешивания сигналов (англ.)

прислать ко мне это металлическое насекомое, но я понимал, что не должен спрашивать.

— Я слушаю, сова, продолжай.

— Мои опасения подтвердились, хотя и с обратным знаком. Я допускал, что из этой мешанины на Луне получится что-то новое, но не предполагал, что там возникает нечто, способное воспользоваться нашим посланцем.

— Нельзя ли яснее?

— Пришлось бы без надобности влезть в техническую терминологию. Я скажу то, что считаю наиболее правдоподобным, и настолько просто, насколько удастся. Произошла иммунологическая реакция. Не на всей поверхности Луны, разумеется, но по крайней мере в одном месте, и оттуда началась экспансия некроцитов. Так для себя я назвал *пыль*.

— Откуда взялись некроциты и что они делают?

— Из логико-информационных руин. Некоторые из них способны использовать солнечную энергию. Это в общем-то и неудивительно, ведь систем с фотоэлементами там было очень много. Я считаю, что многие миллиарды. Все дело в том, что — как бы это сказать — Луна постепенно приобрела иммунитет ко всякого рода вторжениям. Только не думайте, будто там появился какой-то разум. Как известно, мы покорили силу тяготения и атом, но беспомощны перед насморком и гриппом. Если на Земле возник биоценоз, то на Луне — некроценоз. Из всей той неразберихи взаимных подкопов и нападений. Одним словом, система, основанная на принципе щита и меча, без воли и ведома программистов, умирая, породила некроцитов.

— Но что они, собственно, делают?

— Сначала, я полагаю, они выполняли роль древнейших земных бактерий, то есть попросту размножались, и было их наверняка много видов, большинство из которых погибли, как и положено при эволюции. Через какое-то время выделились симбиотические виды. То есть действующие совместно, ибо это приносит взаимную выгоду. Но, повторяю, никакой разумности, ничего подобного. Они способны лишь к огромному числу превращений, как, скажем, вирусы гриппа. Однако земные бактерии — паразиты, а лунные — нет. Там просто не на ком паразитировать, если не считать тех компьютерных руин, из которых они вылупились. Но это был только их первоначальный корм. Дело осложнилось тем, что,

пока программы еще действовали, произошло раздвоение всех видов оружия, которое там создавалось.

— Я понимаю. На оружие, поражающее живые цели, и на то, что уничтожает мертвого противника.

— Мышь весьма сообразительна. Именно так, пожалуй, и было. Но от первичных некроцитов, которые появились много лет назад, наверное, уже ничего не осталось. Некроциты превратились в селеноциты. Иначе говоря, чтобы сохраниться, они начали соединяться, приобретая все большую разносторонность, как, скажем, обычные бактерии, которые под действием антибиотиков совершенствуются, то есть усиливают свои инфекционные свойства и вырабатывают невосприимчивость к антибиотикам.

— А что на Луне выполняло роль антибиотиков?

— Об этом говорить долго. Прежде всего, опасными для селеноцитов оказались продукты военной автоэволюции, которые имели целью уничтожить любую «вражескую силу».

— Не совсем понятно.

— Хотя *сейчас* лунный проект вступил в агональную стадию, долгие годы там шла специализация и усовершенствование оружия, поначалу моделируемого, а затем и реального, и некоторые виды оружия стали угрожать существованию селеноцитов.

— То есть они принимали их за «врага», которого надлежит уничтожить?

— Разумеется. Это был превосходный допинг. Наподобие пушек, из которых фармацевтическая промышленность стреляет по бактериям. Это резко ускорило темп эволюции. Селеноциты взяли верх, потому что оказались жизнеспособнее. Человек может страдать насморком, но насморк не может страдать человеком. Ясно, не так ли? Большие, усложненные системы играли там роль людей.

— И что дальше?

— Очень интересный и совершенно неожиданный поворот. Иммуитет из пассивного сделался активным.

— Не понимаю.

— От обороны они перешли к наступлению и этим значительно ускорили крах лунной гонки вооружений...

— Та пыль?

— Вот именно, пыль. А когда там остались лишь жалкие остатки великолепного Женевского проекта, селеноциты неожиданно получили подкрепление.

— Какое?

— Дисперсанта. Они использовали его. Не столько его уничтожили, сколько поглотили, или, лучше сказать, там произошел электронно-логический обмен информацией. Это была гибридизация, скрещивание.

— Как это могло произойти?

— Это не так уж и удивительно, ведь и я в качестве исходного материала выбрал силиконовые полимеры с полупроводниковой характеристикой, хотя и с другой, разумеется. Но адаптивность *моих* частичек была того же типа, что и приспособительные способности лунных. Дальнее, но все же родство. При одном и том же исходном материале результаты обычно получаются во многом сходными.

— И что теперь?

— В этом я еще не до конца разобрался. Ключом к решению может оказаться твоя посадка. Почему ты спустился на Море Зноя?

— В японском секторе? Не знаю. Не помню.

— Ничего?

— По сути, ничего.

— А твоя правая половина?

— И она тоже. Я уже могу с ней вполне нормально общаться. Но прошу сохранить это в тайне. Хорошо?

— Обещаю. Для верности я даже не спрашиваю, *как* ты это делаешь. Что она знает?

— Что, когда я вернулся на корабль, в кармане скафандра было полно этой пыли. Но откуда она там взялась, правая половина не знает.

— Ты мог сам набрать ее там, на месте. Вопрос — для чего?

— Судя по тому, что я услышал от тебя, так оно и было — вряд ли селеноциты сами забрались ко мне в карман. Но я ничего не помню. А что известно Агентству?

— Пыль вызвала сенсацию и панику. Особенно то, что она следовала за тобой повсюду. Ты знаешь об этом?

— Да. От профессора Ш. Он был у меня неделю назад.

— Уговаривал согласиться на обследование? И ты отказался?

— Прямо не отказался, но стал тянуть время. Здесь есть по крайней мере еще один: из другой группы. Он отсоветовал мне. Не знаю от чьего имени. Сам он прикидывается пациентом.

— Таких, как он, возле тебя весьма много.

— С какой целью селеноциты «следовали за мной»? Шпионили?

— Не обязательно. Можно быть носителем инфекции, не подозревая об этом.

— Но история со скафандром?

— Да. Это темное дело. Кто-то насыпал тебе пыль в карман или ты сам это сделал? Непонятно только зачем.

— Вы не знаете?

— Я не ясновидец. Ситуация достаточно сложная. *Зачем-то ты высадился. Что-то нашел. Кто-то пытался заставить тебя забыть о первом и о втором.* Отсюда и каллотомия.

— Значит, по крайней мере три антагонистические стороны?

— Важно не сколько их, а как их выявить.

— Но собственно, почему это так важно? Рано или поздно фиаско лунного проекта станет явным. И если даже селеноциты стали «иммунной системой» Луны, какое это может иметь влияние на Земле?

— Двойное. Во-первых — и это давно можно было предвидеть, — возобновление гонки вооружений. А во-вторых — и это главная неожиданность, — селеноциты начали интересоваться нами.

— Людьми? Землей? То есть не только мной?

— Вот именно.

— И что они делают?

— Пока только размножаются.

— В лабораториях?

— Прежде чем наши ребята успели сориентироваться, что и как, они успели разнестись по всем странам света. За тобой пошла только малая часть.

— Значит, размножаются. И что же?

— Я уже сказал. Пока ничего. Величиной они — как ультравирус.

— А питаются чем?

— Солнечной энергией. По некоторым оценкам, их уже несколько миллионов — в воздухе, в океанах, везде.

— И они совершенно безвредны?

— До сих пор — совершенно. Что как раз и вызвало особенное беспокойство.

— Почему?

— Ну, это просто: не только с большой высоты, но и вблизи они выглядят, как обычный мелкий песок. Значит, если

ты высадился там, для этого была причина, но какая? Вот что все хотят понять.

— Но если я ничего не помню — ни я, ни моя половина?

— Они не знают, что вы договорились друг с другом. А кроме того, бывают разные виды амнезии. Под гипнозом или в других специальных условиях можно извлечь из памяти человека то, чего он сам ни за что не вспомнит. А к тебе они подступают так мягко и осторожно из опасения, что шок, сотрясение мозга или другая травма повредят или вовсе сотрут то, что ты, возможно, знаешь, хотя и не можешь припомнить. Кроме того, наши люди никак не могут договориться о методике обследования... И это до сих пор играло в твою пользу.

— Пожалуй, теперь я уже вижу свое место в этой истории... но почему последующие разведки не дали результатов?

— Кто тебе это сказал?

— Мой первый гость. Невролог.

— Что конкретно сказал?

— Что разведчики, правда, вернулись, но Луна устроила для них представление. Так он выразился.

— Это неправда. Насколько я знаю, было три разведки, одна за другой. Две из них — телетронные, причем все теледубли были уничтожены. Моего уже не применяли, только обычных. У них были еще мини-ракеты, позволяющие выстреливать пробы грунта наверх, но из этого ничего не вышло.

— Кто их уничтожил?

— Неизвестно, потому что связь прерывалась очень быстро. Уже во время посадки в радиусе нескольких миль местность покрывалась чем-то вроде тумана или облака, непроницаемого для радаров.

— Это для меня новость. А третий разведчик?

— Высадился и вернулся с полной потерей памяти. Очнулся только на корабле. Так я слышал. Я не вполне уверен, что это правда. Я не видел его. Чем темнее становится ситуация, тем больше секретности. Поэтому я не знаю, привез ли и он эту пыль. Предполагаю, что беднягу сейчас обследуют, но, видимо, безуспешно, если они по-прежнему так заботятся о тебе.

— И что же мне делать?

— На мой взгляд, дело хотя и плохо, но не безнадежно. По-видимому, довольно скоро селеноциты парализуют остатки лунных вооружений. Они действуют методом корот-

кого замыкания В первую очередь уничтожают то, что угрожает им. Лунный проект, в сущности, уже списан в расход, однако суть не в этом. У нас несколько первоклассных информатиков считают, что Луна начинает интересоваться Землей. Их вывод: селеносфера вторгается в биосферу.

— Значит, все-таки вторжение?

— Нет. Мнения, правда, разделились, но скорее всего, — нет. Во всяком случае, это не вторжение в обычном смысле слова. Мы послали туда полчища разных джиннов в наглухо запечатанных бутылках, они вырвались наружу, начали бороться друг с другом, и, как побочный эффект, возникли мертвые, но необычайно активные микроорганизмы. Это не похоже на подготовку вторжения. Скорее уж на пандемию.

— Не вижу разницы.

— Попробую представить ситуацию образно. Селеносфера встречает любых пришельцев так же, как иммунная система — чужеродное тело. Антиген. Если даже не совсем так, у нас нет более подходящих аналогий. Разведчиков, которые высадились после тебя, снабдили оружием новейшего типа. Я не знаю подробностей, но это не было ни обычное оружие, ни ядерное. Агентство скрывает, что произошло на Луне, но пылевые облака были настолько велики, что их наблюдали и фотографировали во многих астрономических обсерваториях. Более того, когда облака осели, рельеф местности изменился. Появились выемки наподобие кратеров, хотя и ничем не напоминающие типичные лунные кратеры. Этого Агентство, конечно, утаить не могло, и потому оно просто молчит. Штаб только тогда начал всерьез задумываться. Лишь тогда они осознали, что чем более сильными средствами воспользуются при разведке, тем энергичнее может оказаться ответный удар.

— Значит, все-таки...

— Нет, не «все-таки», ведь это не противник, не враг, а только нечто вроде гигантского муравейника. До меня дошли предположения настолько безумные, что мне не хочется их повторять. Нам пора заканчивать. Сиди, где сидишь. Пока у них есть хоть крупица разума, они ничего тебе не сделают. Сейчас я уезжаю на три дня, а в субботу в это же время подам знак, если смогу. Будь здоров, храбрый миссионер.

— До скорого, — ответил я Лаксу, не будучи уверен, что мои слова до него дошли, потому что наступила мертвая тишина. Я вынул из уха блестящую маслину и, поразмыслив,

спрятал ее в коробке с помадками, завернув, как конфету, в фольгу. У меня было достаточно времени и материала для размышлений, но больше ничего. Перед тем как заснуть, я отдернул занавеску. Ночные бабочки уже улетели, наверное, привлеченные светом из окон других коттеджей. Луна проплывала сквозь белесые перистые облака. Устроили мы себе аттракцион, подумал я, натягивая на голову одеяло.

На утро Грамер постучал ко мне, когда я еще лежал в постели. И рассказал, что Паддерхорн вчера проглотил вилку. Он и раньше глотал столовые приборы — пытался покончить с собой. За ним постоянно надо было следить: неделю назад он проглотил рожок для обуви. Ему сделали эзофагоскопию. Ложку ему дали с полметра длиной, но он ухитрился стащить у кого-то вилку в столовой.

— Что, потери только в сервировке? — спросил я в меру вежливо. Грамер тяжело вздохнул, застегнул пижаму и сел на кресло возле меня.

— Нет, не только... — сказал он на удивление слабым голосом. — Плохо дело, Джонатан.

— Как для кого, Аделаида, — возразил я. — Во всяком случае, я не намерен что-либо глотать.

— Дело и в самом деле плохо, — повторил Грамер. Он сплел руки на животе и повертел пальцами. — Я боюсь за тебя, Джонатан.

— Не переживай, — ответил я, поправляя подушку и подкладывая под спину думку. — Я под надежной опекой. Ты, может, слышал о некроцитах?

Я так его ошарашил, что он замер с полуоткрытым ртом, а лицо без всякого усилия с его стороны приняло то глуповатое выражение, которое обозначало у него безнадежный поиск миллионерской мечты.

— Вижу, что слышал. И о селеносфере, наверное, тоже? А? Или ты не удостоился еще посвящения в эти тайны? Может, тебе известно и о плачевной судьбе так называемого коллаптического оружия — в тех, последних экспедициях? И об этих тучах над Морем Зноя? Нет, этого тебе наверняка не сказали...

Он сидел и смотрел на меня рыбьими глазами, слегка посапывая.

— Будь добр, дай мне ту коробку конфет со стола, Аделаида, — попросил я с улыбкой. — Люблю, знаешь ли, съесть перед завтраком что-нибудь сладкое...

Поскольку он не тронулся с места, я выбрался из постели

за конфетами и, вернувшись под одеяло, подsunул ему коробку, прикрыв ее угол большим пальцем.

— Прошу...

— Откуда ты знаешь? — отозвался он наконец хриплым голосом. — Кто... тебе...

— Напрасно нервничаешь, — сказал я не слишком разборчиво, потому что марципан прилип к небу. — Что знаю; то знаю. И не только о своих приключениях на Луне, но и о неприятностях коллег.

Он онемел снова и принялся озираться вокруг, словно впервые очутился в этой комнате.

— Радиостанцию ищешь, передатчики, укрытые провода, антенны и модуляторы, да? — спросил я. — Нет тут ничего, только вода все время из душа подтекает. Видно, прокладка износилась. Что ты удивляешься? Или ты вправду не знаешь, что *они* у меня *внутри*?

Он продолжал обалдело молчать. Потер вспотевший нос. Схватился за мочку уха. Я с нескрываемым сочувствием следил за этими жестами отчаяния.

— Может, споем что-нибудь на два голоса? — предложил я.

Конфеты были и в самом деле вкусными, приходилось следить, чтобы их не осталось слишком мало. Облизав губы, я опять посмотрел на Грамера.

— Ну давай, скажи что-нибудь, а то ты меня пугаешь. Ты опасался за меня, а теперь я боюсь за тебя. Думаешь, у тебя будут неприятности? Если обещаешь вести себя прилично, могу замолвить за тебя словечко, сам знаешь *где*.

Я блефовал. Но почему бы не поблефовать? Уже то, что несколько слов совершенно выбили его из колеи, свидетельствовало о беспомощности его хозяев, кем бы они ни были.

— Обещаю не называть никаких имен и учреждений — у тебя, я вижу, и без того достаточно поводов для расстройства.

— Тихий... — простонал он наконец. — Ради Бога, не надо. Этого не может быть. *Они* вообще так не действуют.

— А разве я сказал — *как*? Я видел сон, и вообще по своей природе я ясновидец.

Грамер вдруг решил. Он прижал палец к губам и быстро вышел. Уверенный, что он вернется, я спрятал коробку в шкафу, под рубашками, и успел принять душ и побриться, прежде чем он легонько постучал. Шлафрок он сменил на свой белый костюм, а в руке держал порядочный сверток,

обернутый купальным полотенцем. Задержав шторы, он принялся вытаскивать из свертка аппаратики, которые расставил черными раструбами в сторону стен. Свисающий из черного ящичка провод подсоединил к контакту и с чем-то там копался, усиленно сопя — следствие его толщины. Ему было, пожалуй, под шестьдесят, живот изрядный (и, по всей видимости, не фальшивый), огромные торчащие уши. Он еще некоторое время возился, стоя на коленях, и наконец выпрямился. Лицо его было налито кровью.

— Ну, теперь поговорим, — вздохнул он, — раз надо, так надо.

— О чем? — удивленно спросил я, натягивая через голову свою самую красивую рубашку с необычайно практичным темно-голубым воротничком. — Это ты говори, если тебя так приперло. Расскажи об опасениях, которые ты испытываешь из-за моей судьбы. О том субъекте, который уверял тебя, что я закупорен здесь надежней, чем муха в бутылке. Впрочем, говори что хочешь, выговорись передо мной, отведи душу. Увидишь, как тебе полегчает.

И сразу, ни с того ни с сего, как игрок в покер, который перекрывает кон джокером, я небрежно спросил:

— Ты из какого отдела, из четвертого?

— Нет, из пер... — Он осекся. — Что ты обо мне знаешь?

— Ну хватит. — Я сел на стул лицом к спинке. — Ты, может быть, думаешь, что я буду говорить, не требуя ничего взамен?

— Что я должен тебе рассказать?

— Может, начнем с Шапиро, — сказал я невозмутимо.

— Он из ЛА. Это факт.

— Он только невролог?

— Нет, у него есть и другая специальность.

— Дальше.

— Что тебе известно о некросфере?

— А тебе?

Дело снова запутывалось. Видимо, я пересоллил. Если он и агент разведки, все равно какой, слишком много он знать не может. Выдающемуся эксперту вряд ли дали бы такое задание. Но дело было из ряда вон выходящим, и я мог ошибиться.

— Хватит играть в прятки, — проговорил Грамер. Вид у него был отчаянный. Белый пиджак пропотел под мышками насквозь. — Сядь-ка рядом со мной, — буркнул он, опускаясь на коврик.

Мы уселись на полу, словно собирались выкурить трубку мира в середине круга, образованного его аппаратами и проволочками

XI DA CAPO*

Прежде чем он успел раскрыть рот, над нами раздался рокот мотора и большая тень проплыла по саду за моим окном. У Грамера расширились глаза. Грохот ослаб и через минуту вернулся. Прямо над деревьями, перемалывая воздух винтом, завис вертолет. Что-то бухнуло два раза, словно кто-то откупоривал гигантские бутылки. Вертолет висел так низко, что я различал людей в кабине. Один из них приоткрыл дверцу и третий раз выстрелил вниз из ракетницы. Грамер вскочил с пола. Я не думал, что он может так быстро двигаться. Он выбежал из комнаты и помчался что есть сил, задрал голову. Из вертолета выпало что-то блестящее и скрылось в траве. Рычание мотора усилилось, машина взмыла вверх и улетела. Грамер разгреб траву, открыл контейнер размером с футбольный мяч, что-то вынул из него и, не поднимаясь с колен, разорвал большой конверт. Известие было, очевидно, важным, бумага тряслась у него в руках. Потом он взглянул в мою сторону. Лицо его побледнело и изменилось. Выпрямляясь, еще раз поднес бумагу к глазам. Потом смял ее, спрятал за пазуху и медленно, не давая себе труда выйти на тропинку, пошел обратно напрямик, через газон. Войдя, без слов пнул самый большой из антиподслушивающих аппаратов, так, что в нем что-то треснуло и из щелей металлической коробки пошел синеватый дымок короткого замыкания. Я по-прежнему сидел на полу, а Грамер все топтал и топтал свои бесценные устройства, рвал провода, будто и впрямь сошел с ума. Наконец, запыхавшись, уселся в кресло, сняв перед тем пиджак и повесив его на моем стуле. И только тогда, словно только что меня увидел, посмотрел мне в глаза и громко застонал.

— Это только так, со злости, — разъяснил он не вполне вразумительно, — я, наверное, пойду на пенсию. Твоей карьере тоже конец. О Луне забудь. Шапиро можешь послать открытку. Можно даже на адрес Агентства. Какое-то время они еще будут там хозяйничать по инерции.

* С начала (в музыке, *ит.*)

Я промолчал, подозревая, что это всего лишь новая игра Грамер достал из кармана большой клетчатый платок, вытер вспотевший лоб и посмотрел на меня не то с сочувствием, не то с жалостью.

— Началось два часа назад и идет полным ходом, сразу, повсюду. Ты можешь себе представить? Умиротворили нас напрочь! Здесь и за океаном, от полюса до полюса и обратно! Глобальный ущерб — около девятисот миллиардов! Включая космос, потому что спутники вышли из строя первыми. Что ты так смотришь? — Голос его звучал раздраженно. — Не догадываешься? Я получил письмоцо от дяди Сэма...

— Я слаб на догадки.

— Думаешь, мы все еще играем, да? Ничего подобного, братец. Игра окончена. Опиши свои приключения. Агентство, миссию, что угодно. За несколько недель заработаешь на всю оставшуюся жизнь. Железный бестселлер. И никто даже волоса на твоей голове не тронет. Только поторопись, а то ребята из Агентства тебя обскачат. Может, уже засели за воспоминания о минувшей эре.

— Что произошло?

— Все. Ты слышал когда-нибудь о Soft Wars?*

— Нет.

— А о Core Wars?*

— Это такие компьютерные игры?

— А, оказывается, знаешь! Да. Программы, которые уничтожают все другие программы. Изобрели их еще в восьмидесятые годы. Тогда это были глупые игрушки программистов. Под названием: инфекция интегральных схем. Так, забава. Дварф, Грипер, Райдер, Рипер, Дарвин и несколько других. Не знаю, какого черта я здесь сижу и излагаю тебе патологию цифроники? — удивился сам себе Грамер. — Сколько здоровья мне это стоило! Я должен был поймать тебя на крючок, а сейчас по доброте душевной просвещаю тебя вместо того, чтобы искать другую работу!

— Значит, дядюшка прислал тебе письмо вертолетом? Что, почта больше не работает? — спросил я. Мне все еще чудился очередной подвох. Грамер вытащил чековую книжку, нацарапал что-то поперек бланка, сложил из него бумажную стрелку и запустил мне на колени.

* Мягкие войны (англ.)

** Добросердечные войны (англ.)

«Миссионеры на память от верной Аделаиды», — прочи-
я

Во что теперь играем? — Я поднял на него глаза.

Ничего другого не остается. Дядя передает привет и тебе, а как же. Почты уже нет Нет вообще ничего. Ничего. — Он изобразил руками в воздухе круг. — Совсем ничего! Началось два часа назад, я же тебе говорю. И даже нет смысла искать виноватых. Твой профессор тоже стал безработным Твой добрый старичок! Хорошо еще, что я успел купить дом Буду разводить розы, может быть, овощи для натурального обмена. Банковское дело тоже развалилось. Душно мне...

Он принялся обмахиваться чековой книжкой. Потом поглядел на нее с отвращением и выбросил в корзину для бумаг

— Pax vobiscum, — произнес он. — Et cum spiritu tuo*
Чтоб их черт побрал!

Что-то начинало проясняться. Его отчаяние было неподдельным.

— Это вирусы? — спросил я тихонько.

— Догадливым становишься... Именно так, храбрый миссионер. Разорил ты всех к чертовой матери. Ведь это ты притащил на Землю тот хитрый порошок. Сейчас тебе могут дать либо Нобелевскую премию мира, либо расстрел за всемирную государственную измену. Нобелевской ты вряд ли дождешься, но место в истории тебе гарантировано. Приволок заразу, а пагубную или спасительную — об этом будут препираться еще несколько лет. Так что ты найдешь себя в любой энциклопедии.

— Может быть, рядом с тобой? — предположил я. Мне не совсем еще было понятно, что за катастрофа произошла, но Грамер уже вовсе не играл. Я мог бы поручиться за это обеими половинками бедной своей головы.

— Была когда-то еще одна программа, Червячок, Worm, — флегматично, словно проснувшись, заметил Грамер. — Ты, верно, знаешь, что теперь в моей профессии без высшего образования не продвинешься. Не то сейчас время, когда достаточно быть привлекательной женщиной, заманить гостя в постель, выкрасть документы, сфотографировать их в ванной и — айда на явку. Нет, теперь сначала докторская степень по математике, потом по информатике,

* Мир вам И со духом твоим *лат.*

потом высшие специальные курсы — полжизни, чтобы только начать.

— В качестве шпиона?

— Шпиона? — Он дважды просмаковал это слово и пренебрежительно пожал плечами. — Шпиона! — сказал он еще раз, оттянул обеими руками свои синие подтяжки в белую звездочку и несколько раз щелкнул ими по сорочке. — Не говори глупостей, — возразил он мягко. — Я высокооплачиваемый государственный служащий, функционер, защищающий высшие интересы. «Шпион» подходит ко мне не больше, чем кулак к носу. Но в конце концов это уже не имеет никакого значения. Так вот, из этих червивых программ возникла теория информационной эрозии — слышал о такой?

— С пятого на десятое.

— Ну понятно. Потом оказалось, что это изобрели вовсе не Профессора Компьютерных наук, а бактерии, примерно четыре миллиарда лет тому назад. Из-за плюс-минус двухсот миллионов лет спорить не будем. Ну и уже эти наидревнейшие клетки, каждая из них, обладали своей программой и грызлись и пожирали друг друга, потому что тогда еще не было никого, с кем мог бы приключиться герпес или рак. Однако наши выдающиеся эксперты этой аналогии даже не заметили. Колоссальный объем знаний начисто лишил их воображения. И только пару раз были предприняты такие попытки, в ходе скрытой конкурентной борьбы крупных консорциумов, — чтобы парализовать чужие компьютеры. Тогда и были созданы Battle programs*, ты, наверное, читал о них. Нет?

— Но это было давно..

— Сорок, а то и пятьдесят лет тому назад. Вот почему все пошло теперь прахом... Ведь кроме палки, кухонного ножа и пистолета не осталось никакого некомпьютеризированного оружия! Повсюду программы, программы, банки данных, и вот поэтому... Ты не пробовал кому-нибудь позвонить?

— Сегодня нет. А что?

— А то, что автоматические телефонные станции тоже теперь не работают. Эти вирусы влезли сразу во все. Ты слушал радио?

— Нет. Я тут обхожусь без приемника.

* Боевые программы (англ.)

— Разума у них нет. Это было ясно с самого начала. Ума у них, как у любого другого вируса. Но вирулентность — эрозийность — по максимуму! Не знаю, — пожаловался он стене, на которой пылали «Подсолнухи» Ван Гога, — зачем я сижу с тобой. Пойду погуляю, может, повешусь на этих проводах — Он лягнул ближайший аппарат.

— То, что спереди выглядит замысловатой тайной, сзади просто, как проволока, — продолжал он. — Послали самые лучшие программы производства оружия на Луну? Послали. Они совершенствовались в течение икс лет? Еще как совершенствовались! Налетели друг на дружку на всех парах? Ясно, иначе и не могло быть. Кто победил? Как всегда, тот, кто в наименьшем объеме сосредоточил наибольшую вредность. Выиграли паразиты, эти молекулярные ничтожества. Даже не знаю, окрестили их уже как-нибудь или нет. Я бы предложил *Virus Lunaris Pacemfaciens**. Только хотелось бы знать, КАК и ЧТО заманило тебя на Луну, чтобы ты высадился там и привез эту благотворную чуму? Теперь можешь мне рассказать — приватно, потому что правительствам это уже без разницы.

— Уничтожены все программы? И компьютерные, и все, все? — спросил я, ошеломленный. Только теперь я начал сознавать размеры катастрофы.

— Да, это так, дорогой. Ты принес миру мор. Чуму из новеллы Эдгара По. Ты, ты ее привез! Не думаю, чтоб умышленно, — откуда тебе было знать? Мы провалились куда-то в девятнадцатый век. В техническом отношении и вообще. Представляешь? Правда, тогда все-таки были пушки. Теперь придется вытаскивать их из музеев.

— Подожди, Аделаида, — прервал я его. — Почему в девятнадцатый век? Тогда уже были неплохо вооруженные армии...

— Ты прав. Действительно, положение беспрецедентное. Примерно как после бесшумной атомной войны, в которой в распыл пошла вся инфраструктура. Промышленная база, связь, банковское дело, автоматизация. Уцелели только простые механизмы, но ни одному человеку, даже ни одной мухе не нанесено вреда. Хотя и это не так. Должно быть, произошло множество несчастных случаев, только из-за отсутствия связи об этом никто ничего толком не знает. Ведь и газеты давно уже не печатают по способу Гутенберга. Га-

* Вирус лунный миротворящий (лат.)

зетные редакции тожехватила кондрашка. Даже не все приборы в автомобилях работают. Мой «кадиллак» уж точно — труп.

— Но он-то был казенный, так что не стоит печалиться.

— Да, — согласился Грамер, — теперь верх возьмут бедные. Четвертый мир — у них сохранились еще старые «ремингтоны», а может, даже и «лебели» образца тысяча восемьсот семидесятого года с патронами, наверное, и копья, бумеранги, дубинки. Нынешнее «оружие массового уничтожения». Можно даже ожидать вторжения австралийских аборигенов. У себя они давно захватили власть. Ну, так можешь ты мне рассказать, зачем ты тогда высадился? Тебе что, жалко?

— Ты и в самом деле думаешь, я знаю? — удивился я, но не слишком, потому что вдруг ощутил, насколько незначительными стали и моя персона, и мое положение. — Я об этом понятия не имею и готов уступить тебе пять процентов своих гонораров за будущий бестселлер, если ты сумеешь *это* выяснить. С таким образованием ты должен переплюнуть Шерлока Холмса. Дедуцируй! Все улики известны тебе не хуже, чем мне самому...

Грамер меланхолически покивал головой.

— Не знает, видите ли, — сообщил он цветам Ван Гога, до которых добралось уже солнце. Они отбрасывали желтоватый отсвет на мою измятую постель. От сидения на корточках у меня заболели ноги, я встал, вынул из шкафа спрятанную за одеждой бутылку бурбона, из морозильника достал кусочки льда, налил себе и ему и предложил выпить за упокой разоруженческих вооружений.

— У меня повышенное давление и диабет, — пожаловался Грамер, крутя в пальцах стаканчик. — Но один раз не считается. Пусть будет так. За наш умерший мир!

— Почему «умерший»? — запротестовал я.

Мы оба отхлебнули виски. Грамер поперхнулся, долго кашлял, потом оставил недопитый стакан и потер щеку. Я обратил внимание, как неряшливо он был побрит. Слабым голосом, будто вдруг постарев на десять лет, он сказал:

— И теперь тот, кто достиг вершин в компьютерной технике, упал ниже всех. Они сожрали все наши программы. — Он хлопнул себя по карману, в котором лежало письмо «от дяди Сэма». — Это тризна. Конец эпохи.

— Но почему же? Если против обычных вирусов есть лекарства...

— Не плети ерунды. Какое лекарство воскресит труп? Ведь от всех программ на земле, в воздухе, под водой и в космосе ничего не осталось. Даже это письмо им пришлось доставить на старом «белле», потому что в новых вертолетах все отказало. Чуть позже восьми это началось, а они, идиоты, думали — обычная зараза.

— И везде, одновременно?..

Тщетно я пытался и не мог представить себе весь этот хаос — в банках, аэропортах, конторах, министерствах, больницах, вычислительных центрах, университетах, школах, фабриках...

— Точно трудно сказать, потому что нет связи, но по тем сведениям, что до меня дошли, сразу везде.

— Как это могло получиться?

— Ты привез, похоже, личинки или споры. То есть зародыши, которые начали лавинообразно размножаться, пока не достигли определенной концентрации в воздухе, в воде, повсюду — и после этого активизировались. Лучшее всего защищены были программы вооружений на Луне, так что с земными у них все пошло как по маслу. Тотальная битодемия. Паразитарный битоцид. Они не затронули только живое, потому что на Луне ни с чем живым не имели дела. Иначе они прикончили бы нас всех вместе с антилопами, муравьями, сардинами и травой в придачу. И вообще, оставь меня в покое. Мне уже надоело читать тебе лекции...

— Если все так, как ты говоришь, придется все начинать сначала — по-старому.

— Конечно. Через полгода или через год найдут противоядие против *Virus Lunaris Bitoclasticus**, приставят к нему соответствующие антивирусы, и мир начнет влезать в очередную кабалу.

— Так, может быть, ты не потеряешь место?

— С меня хватит, — возразил он категорически, — и не важно, хочу я или нет. Просто я слишком стар. Новая эра требует нового обучения. Антилунной информатике и тому подобному. Всю Луну, по-видимому, подогреют термоядерно, простерилизуют, и, хотя это в миллиарды обойдется, расходы оправдаются, будь спокоен.

— Для кого? — спросил я. Грамер вел себя странно, вроде бы прощался со мной, но никак не мог встать и уйти. Я ре-

* Вирус лунный битопожиратель (лат.)

шил, что он попросту жалуется мне на судьбу, ведь я один во всем санатории знаю, кто он такой. Что же ему, к психиатрам идти со своей сломанной жизнью?

— Для кого? — повторил он. — Как для кого? Для всех производителей оружия, для всех отраслей военной промышленности. Пытаются вытаскивать из библиотек старые планы и чертежи. Сначала восстановят несколько классических устройств, ракет, а потом возьмутся за воскрешение компьютерных трупов. Ведь вся *hardware** в сохранности, как хорошо законсервированная мумия. Только *software*** черти забрали. Подожди пару лет. Сам увидишь.

— История никогда не повторяется в точности, — заметил я и, не спрашивая, долил ему бурбона. Он выпил до дна и не поперхнулся, только лысина слегка покраснела. В солнечном луче, падающем через окно, играли маленькие блестящие мушки.

— Проклятые мухи, конечно же, не пострадали, — мрачно произнес Грамер. Он глядел в сад, где больные в цветных шлафроках и пижамах как ни в чем не бывало плелись по аллеям. Небо было голубое, солнце сияло, ветер шевелил кроны больших каштанов, и поливочные фонтаны мерно вращались, сверкая радугой в брызгах рассыпающейся воды. А в это время один мир рухнул и навсегда уходил в прошлое, и следующий еще не родился. Я не стал делиться с Грамером этой мыслью, посчитав ее слишком банальной. Только разлил по стаканам остаток спиртного.

— Хочешь напоить меня, — проворчал он, но выпил, оставил стакан, наконец поднялся, набросил пиджак на плечи и остановился, взявшись за ручку двери. — Если что-нибудь припомнишь, ты знаешь что... напиши. Сравним.

— Сравним? — повторил я, как эхо.

— Потому что у меня, в частном порядке, есть мыслишка на этот счет.

— Из-за чего я оказался на Луне?

— В известной степени, да.

— Так скажи.

— Не могу.

— Почему?

— Не положено. Принимал, того... присягу. Дружба дружбой... Мы с тобой были по разные стороны стола.

* Аппаратура (англ.).

** Программное обеспечение (англ.)

— Но ведь стол исчез. Не будь таким службистом. В конце концов я могу дать слово, что все останется в тайне.

— Ишь какой добрый! Напишешь, издашь и будешь уверять, что это память к тебе вернулась.

— Ну тогда давай вместе. Шесть процентов моих гоночаров.

— Под письменное обязательство?

— Разумеется.

— Двадцать процентов!

— Ну, это ты хватил лишку.

— Я?

— Без тебя догадываюсь, что ты можешь мне сказать.

— А?

Он забеспокоился. Видно, слишком много глотнул знаний и слишком мало настоящей выучки. Я подумал, что он не слишком подходил для своей профессии, но решил ему об этом не говорить. Все равно он собрался на пенсию.

Грамер тем временем закрыл приоткрытую было дверь, выглянул, скорее по привычке, в окно, присел на край стола и почесал за ухом.

— Ну, скажи... — пробормотал он.

— Если скажу, не получишь и цента.

За его спиной зеленели сады. По аллее на инвалидной коляске ехал старый Паддерхорн с полуметровой ложкой в руке, держа ее, как древко знамени. Санитар, который вез коляску, курил его сигару. В нескольких шагах за ними шел телохранитель Паддерхорна, в одних шортах, мускулистый, бронзово-загорелый, в белой шляпе с большими полями, уткнувшись на ходу в цветной комикс. На полурасстегнутом поясе болталась кобура и била его по бедру.

— Ну, говори или прощай, старина, — предложил я. — Ты же знаешь, что Агентство будет опровергать все, что я обнаружю...

— Но если ты укажешь на меня как на источник информации, у меня будут неприятности...

— Ничто так не утешает в случае неприятностей, как деньги. А то действительно назову тебя, если *ничего* не скажешь... Мне вообще кажется, что тебе следует подлечиться. Нервное расстройство. Это заметно. Ну, что ты так смотришь? Ты мне уже все сообщил.

Он сокрушенно молчал. Щеки у него дрожали. Мне даже стало немножко жаль его.

— Не соплешься на меня?

— Я изменю твое имя и внешность.

— Но они все равно меня узнают.

— Не обязательно. Думаешь, тебя одного ко мне приставили? Так что, значит, все это было ваших рук дело? Вызов на Луну?

— Никакое не «наше». Мы не имеем ничего общего с Лунным Агентством. Это они!

— Как и зачем?

— Точно не знаю как, но знаю зачем. Чтобы ты не вернулся. Если бы ты там исчез, все осталось бы по-старому.

— Но ведь не навсегда. Раньше или позже...

— О том была и речь, чтобы «позже». Они боялись твоего рапорта.

— Допустим. А эта пыль? Откуда она взялась в моем шкафу? Как они могли это предвидеть?

— Предвидеть, конечно, не могли, но у Лакса были свои опасения. Поэтому он так темнил со своим дисперсантом.

— И до вас это дошло?

— Его ассистент — наш сотрудник. Лаугер.

Я вспомнил первый разговор с Лаксом. Он действительно говорил, что кто-то из сотрудников его подсиживает. Вся история предстала в новом свете.

— Каллотомия — это тоже они?

— Понятия не имею. — Он пожал плечами. — Ты этого никогда не узнаешь. И никто не узнает. При такой высокой ставке правда перестает существовать. Остаются одни гипотезы. Различные версии. Как было с Кеннеди.

— С президентом?

— Здесь ставка повыше. Весь мир! Выше не бывает! А теперь напиши, что обещал...

Я достал из ящика бумагу и авторучку. Грамер стоял, повернувшись к окну. Я подписался и подал ему расписку. Он взглянул и удивился:

— Ты не ошибся?

— Нет.

— Десять?

— Десять.

— Добро за добро. Ты добавил, и я тебе добавлю. Дисперсант *должен был* заманить тебя на Луну.

— Ты хочешь сказать, что Лакс?.. Не верю!

— Не Лакс. Он ничего не знал. Лаугер знал все схемы. К полутора десяткам программ добавил еще одну. Это было нетрудно. Он же программист.

— Значит, все-таки из-за вас?

— Нет. Он работал на три стороны сразу.

— Лаугер?

— Лаугер. Но он был нам нужен.

— Ну хорошо. Дисперсант вызвал меня. Я высадился. Но откуда этот песок?

— Случайный фактор. Никто этого не предусмотрел. Если ты не вспомнишь, что там произошло, никто уже в этом не разберется. Никогда.

Он сложил листок вдвое, спрятал его в карман и кивнул мне с порога:

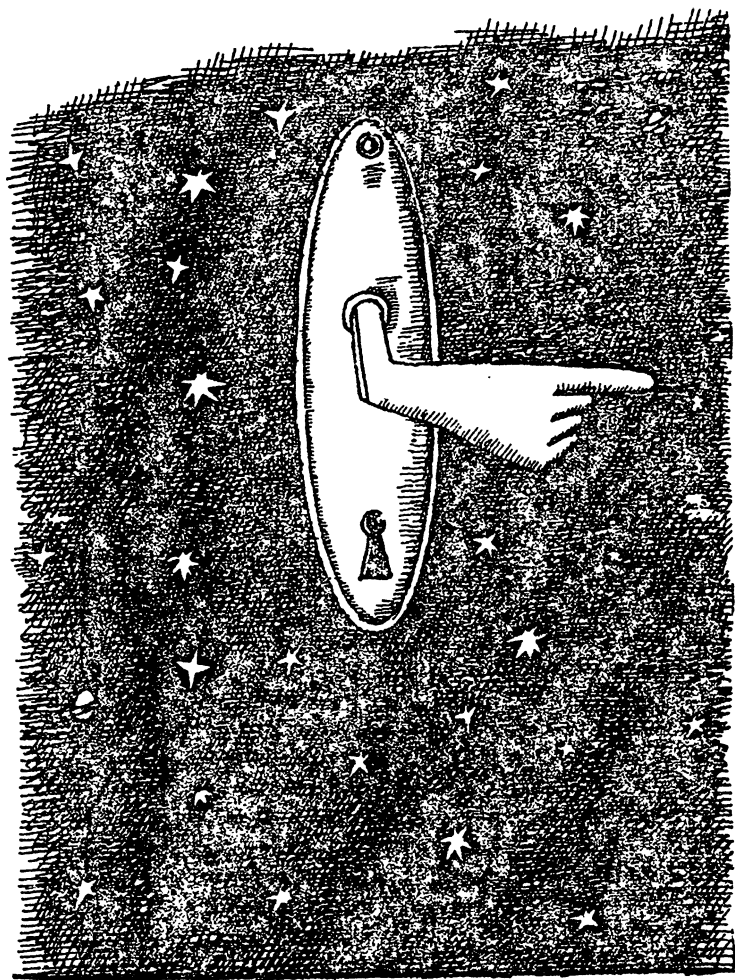
— Держись!

Я смотрел, как он шел к главному корпусу. Прежде чем он пропал за живой изгородью, моя левая рука взяла правую и пожала ее. Не скажу, чтобы этот знак одобрения меня утешил. Но, так или иначе, надо было жить дальше.

Май 1984

ГЛАС ГОСПОДА

роман



ОТ ПУБЛИКАТОРА

Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Э. Хогарта. К сожалению, выдающийся ученый не успел завершить и подготовить к печати книгу, над которой долгое время работал. Помешала одолевшая его болезнь. О работе этой, для него необычной и предпринятой не столько по собственному желанию, сколько из чувства долга, покойный профессор говорил неохотно даже с близкими людьми (к которым я имел честь принадлежать), поэтому при подготовке рукописи к печати появились спорные вопросы. Должен признать, что некоторые из ознакомившихся с текстом выступали против публикации, которая будто бы не входила в намерения покойного. Он, однако, не оставил какого-либо письменного свидетельства в этом духе, так что возражения подобного рода лишены оснований. В то же время было очевидно, что рукопись осталась незавершенной. Заглавие отсутствует, а один из разделов — то ли вступление, то ли послесловие к книге — существует только в черновике.

Будучи, как коллега и друг покойного, наделен по завещанию полномочиями, я решил в конце концов сделать этот фрагмент, весьма существенный для понимания целого, введением к книге. Название «Глас Господа» предложил издатель, мистер Джон Ф. Киллер; пользуясь случаем, хочу выразить ему признательность за внимание, проявленное им к последнему труду профессора Хогарта, а также поблагодарить миссис Розамонду Т. Шеллинг, которая согласилась участвовать в подготовке книги к печати и взяла на себя окончательную правку текста.

Профессор Томас В. Уоррен
Отделение математики, Вашингтонский университет
Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1996 года

Głos Pana, 1968

© Ариадна Громова, Рафаил Нудельман, Константин Душенко — перевод, 1970, 1994

ПРЕДИСЛОВИЕ

Многие читатели будут неприятно поражены моими словами, однако я считаю своим долгом высказаться. Книг подобного рода мне еще не приходилось писать; а так как среди математиков не принято предварять свои труды излияниями на личные темы, раньше я обходился без таких излияний.

По не зависящим от меня обстоятельствам я оказался вовлеченным в события, которые собираюсь тут описать. Причины, побудившие меня предварить изложение чем-то вроде исповеди, станут ясны позже. Чтобы говорить о себе, нужно выбрать какую-либо систему соотнесения; пусть ею будет моя недавно изданная биография, принадлежащая перу профессора Гарольда Йовитта. Йовитт именует меня мыслителем высшего класса, так как я всегда выбирал самые трудные проблемы из тех, что вставали перед наукой. Он отмечает, что мое имя всегда появлялось там, где речь шла о коренной ломке прежних научных воззрений и создании новых, например, в связи с революцией в математике, с физикализацией этики, а также с Проектом ГЛАГОС. Дочитав до этого места, я ожидал вслед за словами о моих разрушительных наклонностях дальнейших, более смелых выводов. Я подумал, что дождался наконец настоящего биографа, что, впрочем, вовсе меня не обрадовало, ведь одно дело — обнажаться самому, и совсем другое — когда тебя обнажают. Однако Йовитт, словно испугавшись собственной пронизательности, затем возвращается (весьма непоследовательно) к ходячей трактовке моей персоны — как гения столь же трудолюбивого, сколь и скромного, и даже приводит несколько подхо-

дящих к случаю анекдотов. Поэтому я преспокойно отправил его книгу на полку, к другим моим жизнеописаниям; откуда мне было знать, что вскоре я раскритикую льстивого портретиста? Заметив, что места на полке осталось немного, я вспомнил, как когда-то сказал Айвору Белойну: я, мол, умру, когда она будет заставлена вся. Он принял это за шутку, а между тем я выразил свое неподдельное убеждение, вздорность которого ничуть не уменьшает его искренности. Итак — возвращаюсь к Йовитту, — мне еще раз повезло или, если угодно, не повезло, и на шестьдесят втором году жизни, поставив на полку двадцать восьмой опус, посвященный моей особе, я остаюсь совершенно непонятым. Впрочем, имею ли я право так говорить?

Профессор Йовитт писал обо мне согласно канону, не им установленному. Не на всех известных людей позволено смотреть одинаково. Скажем, считается вполне допустимым выискивать человеческие слабости у знаменитых художников и артистов, и некоторые биографы, похоже, даже считают, что душа артиста не должна быть чужда мелких подлостей. Но в отношении великих ученых все еще действует прежний стереотип. В людях искусства мы уже научились видеть душу, прикованную к телу; литературоведу позволено говорить о гомосексуализме Оскара Уайльда, но трудно представить себе науковеда, который под тем же углом взглянул бы на создателей физики. Нам подавай непреклонных, безгрешных ученых, а исторические перемены в их биографии сводятся к перемене мест пребывания. Политик может оказаться мерзавцем, оставаясь великим политиком, но гениальный мерзавец — это внутреннее противоречие: гениальность перечеркивается подлостью. Так гласит все еще не отмененный канон.

Группа психоаналитиков из Мичигана пыталась, правда, с этим поспорить, но впала в грех тривиальности. Присущую физикам склонность к теоретизированию эти исследователи выводили из сексуальных комплексов. Психоанализ обваруживает в человеке скотину, оседланную совестью, а такая езда — хуже некуда. Скотине под благочестивым ездом неудобно, но не лучше и ездуку: ему ведь нужно не только обуздать ее, но и сделать невидимой. Теория, согласно которой мы прячем в себе старого зверя, оседланного новым разумом, — просто мешанина примитивнейших мифов.

Психоанализ возвещает истину неоправданно, то есть

школярским, манером: он безжалостно и торопливо сообщает нам вещи, которые нас шокируют, тем самым заставляя принять их на веру. Упрощение, даже если оно соприкасается с правдой, нередко неотличимо от лжи — и это как раз такой случай. Нам еще раз показали демона и ангела, бестию и бога, сплетенных в манихейском объятии, и человек еще раз признал себя невиновным — как арену борьбы двух сил, которые заполнили его и делают с ним что хотят. Словом, психоанализ — это школярство взрослых людей. Мол, скандалы и безобразия раскрывают нам человека; вся драма существования разыгрывается между свиньей и сублимированным существом, в которое пытается превратить человека культура.

Так что профессор Йовитт скорее заслуживает благодарности за то, что он не пошел по стопам мичиганских психологов и остался в рамках классического стиля. Я не намерен говорить о себе лучше, чем говорили бы они, но есть все же разница между карикатурой и портретом.

Я не считаю, правда, что человек, сделавшийся объектом биографических исследований, знает себя лучше, чем его биографы. Их положение выгоднее: все неясное они могут объяснять недостатком сведений, заставляя тем самым предположить, что их герой, будь он жив и захоти он того, мог бы предоставить все недостающие данные. Однако он не располагает ничем, кроме неких гипотез о самом себе, которые могут представлять интерес как творения его ума, но необязательно как недостающие звенья его биографии.

Собственно говоря, при достаточной фантазии каждый из нас мог бы написать не одну, а несколько собственных биографий, и получилось бы множество, объединенное только одинаковостью фактографических данных. В молодости даже умные (хотя, по недостатку опыта, наивные) люди не видят в этой мысли ничего, кроме цинизма. Они ошибаются: тут перед нами не проблема морали, а проблема познания. Разнообразие верований, которые человек исповедует по отношению к себе самому — в разные периоды своей жизни, а то и одновременно, — несколько не меньше разнообразия верований метафизических.

Поэтому я не утверждаю, будто смогу дать читателю нечто большее, нежели представление о самом себе, которое начало складываться у меня лет сорок назад; его единственной оригинальной чертой я считаю то, что оно для меня не-

лестно. Но эта нелестность не сводится к «срыванию маски» — единственному приему в арсенале психоаналитика. Сказав, к примеру, о гении, что в нравственном отношении он был свиньей, мы вовсе не обязательно затронем его самое болезненное место. Мысль, «достигающая потолка своей эпохи», как выражается Йовитт, не почувствует себя задетой подобным диагнозом. Для самого гения позором может быть тщетность его интеллектуальных усилий, осознание зыбкости всего совершенного им. Гениальность есть вечное сомнение, сомнение прежде всего. Но ни один из великих не устоял перед давлением общества, ни один не разрушил памятников, которые ему воздвигались при жизни, а значит, и не подверг сомнению себя самого.

Если я, как особа, за гениальность которой поручились несколько десятков ученых биографов, могу хоть что-то сказать о высших взлетах человеческого духа, так это лишь то, что духовное озарение — лучезарная точка в безбрежном пространстве мрака. Гений — не столько собственно свет, сколько постоянная готовность видеть окружающий мрак; нет для него трусости горшей, чем купаться в собственном блеске и, покуда это возможно, не заглядывать в темноту. Сколько бы ни было в нем действительной силы, всегда остается немалая часть, которая служит лишь ее имитацией.

Главенствующими чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Так вышло, что эта троица имела к своим услугам кое-какой талант, который завуалировал ее и, по видимости, переиначил; а помог в этом ум, одно из самых удобных орудий для маскировки, в случае надобности, наших природных изъянов. Вот уже сорок с лишним лет я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси — потому что я очень долго и упорно приучал себя к этому. С раннего детства, сколько я себя помню, мною руководило стремление к злу — о чем я, разумеется, не догадывался.

Моя тяга к злу была изотропной и совершенно бескорыстной. В местах почитаемых — особенно в церкви — или в присутствии наиболее почтенных людей я любил размышлять о запретном. То, что размышления эти были ребяческими и смешными, совершенно не важно. Просто я ставил эксперименты в масштабе, который тогда был мне доступен. Не помню, когда я впервые приступил к таким опытам. Помню только щемящую скорбь, гнев, разочарование, которые

потом годами преследовали меня, когда оказалось, что голову, переполняемую дурными помыслами даже здесь, в соседстве таких людей, не поражает молния, что отпадение от должного порядка бытия не влечет за собой никаких, решительно никаких последствий.

Я — если можно сказать так о малолетнем ребенке — жаждал этой карающей молнии или еще какого-нибудь ужасного наказания, какого-нибудь возмездия, я призывал сго — и возненавидел мир, в котором существую, за то, что он доказал мне тщетность всяких — а стало быть, и дурных — помыслов. Поэтому я никогда не мучил ни животных, ни даже растения, зато стегал камни, песок, измывался над вещами, тиранил воду и мысленно разбивал звезды вдребезги, чтобы наказать их за полнейшее равнодушие ко мне, — и злоба моя становилась тем бессильней, чем яснее я осознавал, насколько все это смешно и глупо.

Несколько позже я начал воспринимать это свое состояние, как мучительное несчастье, с которым ничего не поделаешь, поскольку оно ничему не служит. Я сказал, что злость моя была изотропной; но прежде всего она устремлялась на меня самого; мои руки, ноги, мое отражение в зеркале так раздражали меня, как обычно раздражают и злят только посторонние люди. Немного повзрослев, я решил, что так жить невозможно; еще позже определил, каким я, собственно, должен быть, и с тех пор старался держаться — не всегда достаточно последовательно — выработанной однажды программы.

С точки зрения морального детерминизма в автобиографии, которая начинается с упоминания о прирожденной трусости, злобности и высокомерии автора, имеется логический просчет. Ведь если признать, что все в нас предопределено, то предопределено было и мое сопротивление злу, таящемуся у меня в душе, а вся разница между мной и теми, кто лучше меня, сводится лишь к различию побуждений. Другим ничего не стоит делать добро — они просто следуют своим естественным склонностям; а я действовал вопреки своей натуре, как бы искусственно. Но я же сам и приказывал себе так поступать — значит, в конечном счете был предназначен к добру. Демосфен вложил себе камушек в рот, чтобы побороть заикание, а я вложил в свою душу железо, чтобы ее выпрямить.

Но это уподобление как раз и показывает всю абсурдность детерминизма. Граммофонная пластинка, на которой

запечатлено ангельское пение, в нравственном отношении ничуть не лучше, чем та, на которой записан звериный рев. С точки зрения детерминизма тот, кто хотел и мог стать лучше, был обречен на это заранее, и точно так же была предрешена судьба того, кто хотел, но не смог — или даже не пытался — захотеть. Заключение это ложно; звуки борьбы, записанные на пластинке, совсем не то, что борьба реальная. Зная, чего мне это стоило, я могу утверждать, что мои-то усилия не были мнимыми. Просто детерминизм говорит о другом; величины, которыми оперирует физик, тут непригодны, и перевод преступления на язык амплитуды атомных вероятностей не равнозначен его оправданию.

В одном Йовитт, пожалуй, прав: я всегда искал трудностей. И обычно не давал воли своей врожденной злобности — это было бы слишком легко. Пускай это выглядит странно и даже нелепо, но поступал я так не потому, что перебарывал в себе склонность ко злу ради добра как более высокой ценности, — напротив, как раз тогда я во всей полноте ощущал в себе присутствие зла. Мне важен был баланс усилий, не имевший ничего общего с простой арифметикой морали. Ей-богу, не знаю, что бы стало со мной, окажись первичным свойством моей натуры склонность к совершению добрых поступков: как и обычно, попытка постичь себя в ином облике, нежели тот, что тебе дан, вступает в противоречие с законами логики и терпит крах.

Один только раз я не отстранился от зла; это воспоминание связано с долгой и ужасной предсмертной болезнью матери; я любил мать и вместе с тем жадно и зорко следил, как ее разрушает недуг. Мне было тогда девять лет. Она, воплощение душевного спокойствия, силы, прямо-таки величественной гармонии, лежала в агонии, затянувшейся и затягиваемой врачами. Здесь, у ее постели, в затемненной, пропитанной запахом лекарств комнате, я еще сдерживался, но однажды, выйдя от нее и видя, что вокруг никого нет, скорчил радостную гримасу в сторону спальни, а так как этого мне показалось мало, помчался к себе и, запыхавшись, скакал перед зеркалом со стиснутыми кулачками, строя рожи и хихикая от щекочущего удовольствия. От удовольствия? Я хорошо понимал, что мать умирает, и целые дни проводил в отчаянии ничуть не менее искреннем, чем это с трудом подавляемое хихиканье. Оно — я помню прекрасно — ужаснуло меня, но оно же вывело меня за пределы

обычного порядка вещей, и этот прорыв был поразительным откровением.

Ночью, в постели, один, я пытался понять случившееся, но это было мне не по силам; и вот, искусно нагнетая жалость к себе самому и к матери, я довел себя до слез — и уснул. Должно быть, слезы я счел искуплением. Но дни шли за днями, я подслушивал все более печальные новости, которые врачи сообщали отцу, и все повторялось сызнова. Я боялся идти к себе, боялся оставаться один. Так что первым человеком, которого я испугался, был я сам.

После смерти матери я впал в отчаяние — детское, не отягощенное душевными угрызениями. Грозные чары развеялись вместе с ее последним вздохом. И тогда же развеялся страх. Все это настолько темно, что я могу лишь строить догадки. Я наблюдал крушение абсолюта, обернувшегося иллюзией, противоборство постыдное и непристойное, — совершенство расползлось в этой борьбе, как гнилое тряпье. Порядок вещей был растоптан, и, хотя люди, стоявшие выше меня, предусмотрели особые ухищрения даже для столь мрачных случаев, эти уловки не стыковались с происходящим. Невозможно с достоинством и изяществом кричать от боли (от наслаждения — тоже). В неопрятности умирания я почувствовал правду. Быть может, то, что вторглось в обыденность, я признал более сильной стороной: она побеждала, поэтому я к ней и примкнул.

Мой тайный смех... неужели я просто смеялся над страданиями матери? Но нет: ее страданий я лишь боялся — и только, они неизбежно сопутствовали умиранию, это я мог понять и, если бы мог, освободил ее от боли, ведь мне не нужны были ни ее страдания, ни ее смерть. К реальному убийце я бросился бы, плача и умоляя его, как всякий ребенок, но никакого убийцы не было, и все, что я мог, — это вбирать в себя коварство неведомо кем причиняемых мук. Ее опухшее тело превращалось в чудовищную карикатуру на себя самое; оно подвергалось глумлению и от этого глумления корчилось. Мне оставалось либо погибать вместе с ней, либо смеяться над нею, и я — из трусости — выбрал предательский смех.

Не поручусь, что так оно все и было. Первый приступ хихиканья случился со мной, когда я увидел разрушение тела; я, возможно, так и не познал бы этого ощущения, если бы мать ушла из жизни как-нибудь благолепнее, скажем, тихо заснула: смерть в такой ее форме мы готовы принять.

Но случилось иначе, и я, вынужденный верить собственным глазам, оказался вдруг беззащитным. В прежние времена хор причитальщиц вовремя заглушил бы стоны умирающей; но вырождение культуры свело магические ритуалы до уровня парикмахерского искусства: я подслушал, как хозяин похоронного заведения предлагал отцу на выбор различные выражения лица, в которые он берется переделать помертвую судорожную гримасу. Отец тогда вышел из комнаты, и во мне шевельнулось ощущение солидарности: я его понял. Позже я думал об этой агонии несчетное множество раз.

Версия смеха как предательства кажется мне недостаточной. Предательство совершается ради чего-то, но почему разрушение так для нас притягательно? Какая грозная надежда просвечивает из его черноты? Его абсолютная бесцельность заранее опровергает любое рациональное объяснение. Всевозможные культуры напрасно пытались искоренить эту ненасытную страсть. Она дана нам столь же безусловно, как и наша двуногость. Тому, кто отвергает сознательно творящую первопричину, будь то в облике Провидения или в облике Сатаны, остается лишь рациональный суррогат демонологии — статистика. И вот от затемненной комнаты, пропитанной запахом тления, тянется ниточка к моей математической теории антропогенеза; формулами стохастики я пытался снять омерзительное заклятие. Но и это всего лишь догадка, защитный рефлекс разума.

Знаю: все здесь написанное можно обратить в мою пользу, чуточку сместив акценты, — и будущий биограф постарается это сделать. Он докажет, что с помощью разума я героически обуздал свой характер, а хулил себя ради самоочищения. Это значило бы следовать Фрейдю; Фрейд стал Птолемеем психологии, так что каждый может теперь толковать людские феномены, громоздя эпициклы на эпициклы; эта конструкция нам близка, потому что красива. Идиллию он заменил гротеском, оперу — трагикомедией, не ведая, что остается рабом эстетики.

Пушкой мой посмертный биограф не хлопочет: в аполгиях я не нуждаюсь и мои рассуждения продиктованы любопытством, а не чувством вины. Я хотел понять — только понять, ничего больше. Ведь бесцельность зла — единственная опора, которую находит в нас богословская аргументация; теодицея объясняет нам, откуда взялось это

свойство, в котором **Натура** и **Культура** одинаково неповинны. **Разум**, постоянно погруженный в материю гуманитарного опыта, а стало быть, антропоцентричный, может в конце концов решить, что **Творение** — жутковатая шутка.

Мысль о Создателе, который попросту забавлялся, весьма привлекательна, но тут мы входим в порочный круг: мы готовы счесть Творца злонамеренным не потому, что он сотворил нас такими, а потому, что сами мы злонамеренны. А ведь если человек так ничтожен, так неприметен перед лицом Мироздания, как об этом говорит нам наука, то манихейский миф — очевидная несообразность. Скажу иначе: если мир действительно сотворен (чего я, впрочем, не допускаю), необходимый для этого уровень знаний несовместим с туповатыми шутками. Ибо — в этом, собственно, и состоит мое кредо — нет и не может быть идеально мудрого зла. **Разум** говорит мне, что Творец не может быть мелким пакостником, иллюзионистом, который подсмеивается над тем, что творит. То, что мы принимаем за злонамеренность, — возможно, обычный просчет, ошибка; но тогда мы приходим к еще не существующей теологии ущербных божеств. А область их созидательной деятельности — та же самая, в которой творю я сам, то есть вероятностная статистика.

Любой ребенок бессознательно совершает открытия, из которых выросли статистические вселенные Гиббса и Больцмана; действительность предстает перед ним океаном возможностей, которые возникают и обособляются очень легко, почти самопроизвольно. Ребенка окружает множество виртуальных миров, ему совершенно чужд космос Паскаля — этот окоченелый, размеренный, движущийся, как часовой механизм, труп. Позже, в зрелые годы, первоначальное богатство выбора уступает место застывшему порядку вещей. Если мое изображение детства покажется односторонним (хотя бы потому, что своей внутренней свободой ребенок обязан неведению, а не выбору), то ведь и любое изображение односторонне.

От первоначального богатства воображения я унаследовал кое-какие остатки — устойчивое неприятие действительности, похожее скорее на гнев, чем на отрешенность. Уже мой смех был протестом едва ли не более действенным, чем самоубийство. Я признаюсь в этом теперь, в шестьдесят два года, а математика была лишь позднейшим следствием

такого взгляда на мир. Она была моим вторым дезертирством.

Я выражаюсь метафорически, — но прошу меня выслушать. Я предал умиравшую мать, то есть всех людей сразу: засмеявшись, я сделал выбор в пользу силы более могущественной, чем они, хотя и омерзительной, потому что не видел иного выхода. Но потом я узнал, что невидимого противника, который вездесущ и который свил себе гнездо в нас самих, тоже можно предать, хотя бы отчасти, поскольку математика не зависит от реального мира.

Время показало мне, что я ошибся еще раз. По-настоящему выбрать смерть против жизни и математику против действительности нельзя. Такой выбор, будь он настоящим, означал бы самоуничтожение. Что бы мы ни делали, мы не можем порвать с действительностью, и опыт подсказывает, что математика — тоже не идеальное убежище, потому что ее обитель — язык. А это информационное растение пустило корни и в мире, и в человеке. Такие мысли с юности посещали меня, хотя тогда я еще не мог изложить их на языке доказательств.

В математике я искал того, что ушло вместе с детством, — множественности миров, возможности отрешиться от навязанного нам мира, отрешиться с такой легкостью, словно нет в нем той силы, что прячется и в нас самих. Но затем, подобно всякому математику, я с изумлением убеждался, до чего потрясающе неожиданна и неслыханно многостороння эта деятельность, вначале похожая на игру. Вступая в нее, ты гордо, открыто и безоговорочно обособляешь свою мысль от действительности и с помощью произвольных постулатов, категоричных, словно акт творения, замыкаешься в терминологических границах, призванных изолировать тебя от суетного скопища, в котором приходится жить.

Но именно этот отказ, этот полный разрыв и раскрывает нам сердцевину явлений; побег оборачивается завоеванием, дезертирство — постижением, а разрыв — примирением. Мы с удивлением замечаем, что бегство было мнимым и мы вернулись к тому, от чего убегали. Враг, сбросив старую кожу, предстает перед нами союзником, мы удостаиваемся очищения, мир молчаливо дает нам понять, что преодолеть его можно лишь с его помощью. Так усмиряется страх, обращаясь восхищением, — в этом необыкновенном убежище, из глубин которого открывается выход в единое пространство мироздания.

Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любой другой вид деятельности: степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, несравнима ни с чем. Интересующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении; математика дремлет в каждом наречии, ее можно открыть, но не изобрести.

То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней; ведь возникла она не за три или восемь последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из *между-людыя* и *между-речья*. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследия этих двух эволюций — живой материи и информационной материи языка, — а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь — заурядное философствование, но этого никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий (которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума).

Причины, по которым я стал математиком, наверно, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер — а вовсе не способности, — но не исключаю и этого: масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости.

Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслышанно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна; иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статистический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность.

В науке существуют реальные знания и знания, создающие духовный комфорт; они необязательно совпадают. В науках о человеке различение двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя, —

не потому ли, что, пытаясь узнать, и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями?

Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ — неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни «этическими», ни «эмоциональными» свойствами. Эти существа размножались — разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел, — и несколько десятков поколений спустя во всех «особях» каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения — некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие — и бесполезные — контрольные расчеты, принялся наконец проверять — просто с отчаяния — все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха; они-то и были непознанной причиной отклонений.

Вот и сейчас я все думаю об этом эксперименте: что, если социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте — совершенно не подготовленными к такому взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Они были сырьем, прошедшим лишь первичную биологическую обработку, удовлетворяли чисто биологическим критериям, а неожиданный «пинок вверх» вырвал нас из привычной среды и вынес в пространство цивилизации. Разве при этом взлете биологический материал не мог запечатлеть в себе следы случайностей, подобно глубоководному зонду, который, опустившись на дно, кроме рыб и моллюсков захватывает всякий случайный хлам? Я вспоминаю отсыревающее реле в безотказной цифровой машине. Так почему же процесс, который породил нас на свет, должен — в каком бы то ни было отношении — быть идеальным? А между тем мы (как и наши философы) не смеем предположить, что безусловность и единственность существования нашего вида вовсе не означают, будто его породило само совершенство. Это так же невероятно, как и то, что само совершенство стояло у колыбели любого из нас.

И что любопытно: признавая несовершенство нашего ви-

да, ни одна из религий не решилась признать его тем, что оно есть в действительности, — результатом действий, сопряженных с ошибками. Напротив, едва ли не все они объясняют несовершенство человека противоборством двух одинаково совершенных демиургов, которые друг другу вредили. Светлое совершенство сразилось с темным, и возник человек; так гласит их кредо. Мое объяснение, быть может, примитивно, — но только если оно ложно, а этого мы не знаем. Приятель, о котором я говорил, заострил мою мысль до карикатуры: дескать, согласно Хогарту, человечество — горбун, который не знает, что можно жить без горба, и тысячами выискивает в своем увечье знамение высшей необходимости; он примет любой ответ, за исключением одного: что это просто увечье, что никто не создал его горбатым из каких-то высших соображений, что горбатость его совершенно бесцельна — так уж сложились лабиринты и зигзаги антропогенеза.

Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде. Не знаю, откуда она во мне, не знаю, что было ее причиной, но еще и теперь, через столько лет, я нахожу в себе все ту же несостарившуюся злость, ведь энергия наших архаических побуждений не старится. Это могут счесть эпатажем. Не один десяток лет я работал как ректификационная машина, производя дистиллят, то есть кипу научных трудов, которые в свою очередь породили кипу житийных повествований обо мне. Вы скажете, что нутро всей этой аппаратуры вам безразлично и я напрасно выволакиваю его на свет Божий. Но имейте в виду: на безупречно чистой пище, которой я вас угощал, я вижу клеймо всех моих тайн.

Математика была для меня не блаженной страной, а, скорее, соломинкой, протянутой утопающему, храмом, в который я, неверующий, вошел потому, что здесь царил священный покой. Мой основной математический труд назвали разрушительным, и не случайно. Не случайно я нанес жестокий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статистики против этих основ — и взорвал их. Я не мог быть одновременно дьяволом в подземелье и ангелом при солнечном свете. Я созидал, но на пепелищах, и прав Йовитт: я больше ниспроверг старых истин, чем утвердил новых.

Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, а не на меня, ведь я появился уже после Рассела и Геделя, —

после того как первый из них обнаружил трещины в фундаменте хрустального дворца, а второй распатал сам фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Ну да. Но треугольный изумруд остается треугольным изумрудом, даже став человеческим глазом — в мозаичной картине.

Я не раз размышлял, что бы стало со мной, родился я внутри одной из четырех тысяч культур, именуемых примитивными, — в той бездне восьмидесяти тысяч лет, которая в нашем скудном воображении съезживается до размеров какой-то прихожей, зала ожидания настоящей истории. В некоторых из этих культур я бы зачах, зато в других — как знать? — проявил бы себя гораздо полней в роли вдохновенного пророка, творца обрядов и магических ритуалов — благодаря способности комбинировать элементы. В нашей культуре этому препятствует релятивизация всех категорий мышления; иначе я смог бы, пожалуй, свободно переводить стихию уничтожения и разнузданности в сакральную сферу. Ведь в архаических обществах действие обычных запретов периодически приостанавливалось — в культуре появлялся разрыв (культура была их опорой, фундаментом, абсолютом, и удивительно, как они догадались, что даже абсолют должен быть дырявым!); через этот разрыв уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась и, скованная путами обычаев и запретов, лишь в малой доле проявлялась вовне — скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков.

Такое рассечение обыденных уз, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным; групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемый наркотом ритмов и ядов, служили предохранительным клапаном, через который уходили темные силы; благодаря этому удивительному изобретению варварские культуры были человеку «по мерке». Преступление, которое можно сделать небывшим; обратимое безумие; ритмично пульсирующий разрыв в социальном порядке, — все это осталось в прошлом, ныне все эти силы ходят в упряжке, тянут лямку, рядятся в костюм, который им тесен и неудобен, — и разъедают, как кислота, всякую повседневность, просачиваются всюду тайком, раз уж им нигде не позволено показаться без маски. Каждый из нас с малых лет вцепляется в какую-нибудь частичку своего Я, которая им выбрана, выучена, получила признание окружающих, и вот мы холим

ее, лелеем, совершенствуем, души в ней не чаем; так что каждый из нас — частица, притязающая на полноту, жалкий обрубок, выдающий себя за целое.

Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. И я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания; ведь основывать заповеди на пустом месте — все равно что причащаться, не веря в Бога. Я, конечно, не расчислил вперед свою жизнь, исходя из каких-то теорий, и не подгонял под свое поведение — задним числом — какие-то аксиомы. Я действовал так бессознательно, а мотивы обнаружил потом.

Считай я себя человеком, от природы добрым, вряд ли я постиг бы по-настоящему зло. Я считал бы, что зло творится только умышленно, по свободному выбору, так как в собственном опыте не нашел бы иных причин недостойного поведения. Но я уже кое-что знал — и свои склонности, и свою невинность в них: я дан себе в своем единственном облике, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар.

Так вот: допустить, чтобы один раб помыкал другим ради умиротворения сил, вложенных в них обоих, допустить, чтобы один безвинный мучил другого, если хоть как-то можно этому помешать, было бы для меня оскорблением разума. Мы даны себе такими, какие есть, и не можем отречься от этих даров, но, коль скоро открывается малейшая возможность взбунтоваться против такого порядка вещей, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю исключительно нашим, человеческим достоянием, как и возможность самоубийства, — вот она, область свободы, в которой отвергается непрошеное наследство.

Только не говорите, будто я противоречу себе: дескать, только что я мечтал о пещерной эпохе, где мог бы развернуться вовсю. Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не смог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности, — так неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в неисчислимых тиражах эволюционной лотереи?!

Мое *principium humanitatis** не вполне обычно: вздумай

* Основное начало человечности (*лат.*).

его применить к себе человек по природе добрый, ему пришлось бы, следуя принципу «преодоления собственной природы», причинять зло, чтобы утвердиться в сознании истинно человеческой свободы. Итак, мой принцип непригоден для всеобщего употребления, но я и не собирался предлагать этическую панацею для всего человечества. Непохожесть, неодинаковость людей изначально и неоспорима, поэтому кантовский постулат — что принцип, лежащий в основе поведения индивида, должен стать всеобщим законом — налагает на людей неравное бремя. Индивидуальные ценности он приносит в жертву культуре как ценности высшей, а это несправедливо. Я также не думаю, будто человека можно считать человеком лишь постольку, поскольку упрятанное в нем чудовище он сам же связал по рукам и ногам. Я представил сугубо личные резоны, мою индивидуальную стратегию, которая, впрочем, ничего не изменила во мне. По-прежнему первой моей реакцией на известие о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения; я даже не пробую предупредить ее, отчаявшись добраться туда, где прячется это бездумное и бессмысленное хихиканье. Но я отвечаю сопротивлением и действую вопреки себе потому, что могу это делать.

Если б я действительно писал автобиографию — которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями оказалась бы антибиографией, — мне не пришлось бы доказывать уместность подобных признаний. Но цель у меня другая. Вот событие, о котором я поведу речь: человечество столкнулось с чем-то, высланным в звездный мрак существами, отличными от нас, людей. Событие это, первое в нашей истории, думаю, стоит того, чтобы поведать, не стесняясь условностями, кто же, собственно, представлял человечество во встрече с Другими. Тем более что тут спасовала и моя гениальность, и моя математика, и плоды этой встречи оказались отравленными.

I

О Проекте «Глас Господа» существует огромная и гораздо более пестрая по своему составу литература, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир обрушилась лавина статей, книг, брошюр; одна библиография составляет увесистый том размером с энцикло-

педию. Официальная версия изложена в докладе Белойна, позднее вышедшем в издательстве «American Library» десятиmillionным тиражом, а его квинтэссенция содержится в восьмом томе «Американской энциклопедии». О Проекте писали и другие люди, занимавшие в нем ведущие должности, например С. Раппопорт («Первая в истории межзвездная связь»), Т. Дилл («Глас Господа — я его слышал») и Д. Протеро («Проект ГЛАГОС — физические аспекты»). Книга Протеро, моего ныне покойного друга, — одна из самых обстоятельных, хотя принадлежит она, собственно, к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно отграничен от личности исследователя.

Историко-научных разработок слишком много, чтобы их все перечислить. Четырехтомная монография Уильяма Ангерса («Хроника 749 дней») восхитила меня своей скрупулезностью — Ангерс добрался до всех бывших сотрудников Проекта и изложил их взгляды; но осилить ее я не смог — это было все равно что читать телефонную книгу.

Особый раздел составляют толкования Проекта — от философских и богословских до психиатрических. Их чтение меня утомляет и раздражает. Не случайно, я думаю, охотней всего рассуждают о Проекте те, кто в нем не участвовал.

Это напоминает отношение к гравитации или, допустим, к электронам культурной публики, читающей популярные книжки. Публике кажется, будто она что-то знает о том, о чем специалисты даже не решаются говорить. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем полные пробелов и неясностей сведения, которыми располагает ученый. Авторы-истолкователи втискивали факты в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые истолкования восхищают находчивостью и остроумием, но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в графоманию на тему Проекта. Науку с самого начала окружало гало псевдонауки, этого порождения недоумков, и стоит ли удивляться, что ГЛАГОС — явление небывалое — вызвал в сумеречных умах усиленное и даже опасное брожение, вплоть до создания религиозных сект.

Количество информации, необходимое, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике Проекта, по правде сказать, превышает емкость мозга отдельного человека. Но

неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков; поэтому в океане печатной продукции, порожденной Проектом ГЛАГОС, каждый отыщет кое-что для себя — если его не слишком интересует истина. Впрочем, о Проекте писали и особы, во всех отношениях почтенные. «Новое Откровение» преподобного Патрика Гординера хотя бы остается в ладах с логикой, чего никак не скажешь о «Послании Антихриста» отца Бернарда Пиньяна. Этот богобоязненный автор свел проблематику ГЛАГОСа к демонологии (с одобрения своих иерархов), а неудачу Проекта объяснил вмешательством Провидения. Он, похоже, принял всерьез название «Повелитель Мух», выдуманное участниками Проекта в шутку, — как ребенок, уверенный, что названия звезд и планет написаны прямо на них, а астрономы читают их, глядя в свои телескопы.

Но что сказать о потоке сенсационных версий, об этих замороженных блюдах, готовых к немедленному употреблению и разве что не разжеванных, которые в своей целлофановой упаковке гораздо лучше на вид, чем на вкус. Одни и те же компоненты заправлены в них всякий раз новым, но непременно сказочно ярким соусом. Журнал «Лук» одобрил серию своих репортажей шпионско-политическим соусом (вложив мне в уста слова, которых я в жизни не говорил); в «Нью-Йоркере» продукт был изысканнее, с добавкой кое-каких философских вытяжек, а доктор медицины У.Шейпер изложил психоаналитическую трактовку событий в книге «Истинная история ГЛАГОСа», из которой я узнал, что действиями сотрудников Проекта руководило либидо, деформированное под влиянием новейшей — космической — мифологии секса. Доктор Шейпер обладает также точными сведениями о сексуальной жизни космических цивилизаций.

И почему это без водительских прав запрещено разезжать по дорогам, а вот людям, начисто лишенным порядочности — о знаниях я и не говорю, — позволено печатать свои сочинения беспрепятственно и в любом количестве? Инфляция печатного слова отчасти вызвана экспоненциальным возрастанием количества пишущих, но издательской политикой — тоже. Детство нашей цивилизации было временем, когда читать и писать умели лишь избранные, по-настоящему образованные люди. Этот критерий сохранял силу и после изобретения книгопечатания; и хотя сочинения глупцов

иногда издавались (тут ничего не поделаешь), их число еще не было астрономическим — не то что теперь. В разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации: ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди десяти никудышных, чем тысячу — среди миллиона. И неизбежным становится неумышленный плагиат — повторение где-то уже напечатанных мыслей.

Я и сам не уверен, что не повторяю сказанное кем-то до меня. В эпоху цивилизационного взрыва этот риск неизбежен. И если я решил изложить собственные воспоминания о работе в Проекте, то лишь потому, что ничто из прочитанного меня не удовлетворило. Не обещаю читателю «правду и только правду». Другое дело, если б наши усилия увенчались успехом... впрочем, тогда моя затея была бы ненужной: история поисков истины поблекла бы в свете самой истины как материального факта, вбитого в самую сердцевину цивилизации. Но поражение словно вернуло наши усилия к первоисточнику. Мы не разгадали загадку, и нет у нас ничего, кроме обстоятельств нашего поражения. Это леса, а не постройка, процесс перевода, а не его результат. И это — единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном. Уже здесь я расхожусь с тональностью даже тех версий, которые сам назвал объективными, — начиная с доклада Белойна, — в них вообще нет слова «поражение». Разве не вышли мы из Проекта несравненно более богатыми, чем вошли в него? Новые разделы коллоидной физики, физики сильных взаимодействий, нейтринной астрономии, ядерной физики, биологии, а прежде всего новые знания о космосе — вот лишь первые проценты от нашего информационного капитала; а ведь он, уверяют специалисты, обещает прибыли и в дальнейшем.

Конечно. Но польза бывает разного рода. Муравьи, натолкнувшись на мертвого философа, быстренько им воспользуются. Мой пример вас шокирует? Именно этого я и хотел. Письменность с самого своего зарождения имела, казалось бы, единственного врага — ограничение свободы выражения мысли. И вот оказывается, что для мысли едва ли не опаснее свобода слова. Запрещенные мысли могут обращаться втайне, но что прикажете делать, если значимый факт тонет в половодье фальсификатов, а голос истины — в оглушительном гаме и, хотя звучит он свободно, услышать его нельзя? Развитие информационной техники привело лишь к тому,

что лучше всех слышен самый трескучий голос, пусть даже и самый лживый.

Мне-то есть что сказать о Проекте, и все же я долго не решался сесть за письменный стол. Не имея желания увеличивать и без того огромный список публикаций, я ждал, что кто-нибудь, владеющий словом лучше меня, сделает эту работу, — но с течением времени понял, что не могу молчать. В самых серьезных трудах, посвященных Проекту, в самых объективных версиях, начиная с отчета комиссии Конгресса, отмечается, что мы не узнали всего; но если об успехах пишут охотно и много, то о неопознанном — почти ничего, и эта пропорция внушает мысль, будто мы исследовали весь Лабиринт, кроме нескольких — тупиковых или обвалившихся — проходов. А между тем мы даже порога не переступили. Обреченные до самого конца строить домыслы, мы лишь отколупнули несколько крошек от печатей у входа в него и, растерев их в руках, восхищались блеском, позолотившим нам кончики пальцев. О том, что кроется за печатями, мы ничего не знаем. А ведь одна из главнейших обязанностей ученого — определять не масштаб познанного (оно говорит само за себя), но размеры еще не познанного, незримого Атланта наших познаний.

Я не питаю иллюзий. Боюсь, что меня не услышат, потому что нет уже универсальных авторитетов. Разделение (а может быть, распадение) науки на специальности зашло далеко, и специалисты объявляли меня некомпетентным всякий раз, стоило мне ступить на их территорию. Давно было сказано, что специалист — это варвар, невежество которого не всесторонне. Мои пессимистические предвидения основаны на личном опыте.

Девятнадцать лет назад я вместе с молодым антропологом Максом Торнопом (трагически погибшим в автомобильной аварии) опубликовал работу, в которой доказал, что существует предел сложности для всех конечных автоматов, подчиненных гедонистически ориентированной программе (к ним относятся, в частности, все животные вместе с человеком). Эта программа основана на наказаниях и поощрениях, которые воспринимаются как страдание и наслаждение.

Мои расчеты показывают, что, если количество элементов регулирующего центра (мозга) превышает четыре миллиарда, в совокупности таких автоматов проявляется тяго-

тение к крайним полюсам программы. При этом верх может взять один из предельных вариантов, а выражаясь более обыденным языком — садизм либо мазохизм; следовательно, их возникновение в процессе антропогенеза было неизбежно. Эволюция «согласилась» на такое решение, поскольку она оперирует статистическими величинами: для нее важно сохранение вида, а не дефектные состояния, недуги, страдания отдельных особей. Как конструктор, она выбирает приспособление к обстоятельствам, а не достижение совершенства.

Мне удалось доказать, что в любой человеческой популяции при условии полной панмиксии* не более чем у 10 процентов особей будет наблюдаться достаточно уравновешенное гедонистически регулируемое поведение, а остальные будут отклоняться от нормы. Хотя я уже и тогда считался одним из лучших математиков в мире, влияние этой работы на антропологов, этнологов, биологов и философов оказалось равным нулю. Я долго не мог этого понять. Моя работа была не гипотезой, а формальным, следовательно, непроверяемым доказательством того, что некоторые свойства человека, над которыми веками ломали головы легионы мыслителей, — результат чистой статистической флуктуации, обойти которую при конструировании автоматов или организмов невозможно.

Позже, используя превосходные материалы, собранные Торнопом, я распространил свое доказательство на процесс возникновения групповых этических норм. Однако и эту работу полностью игнорировали. Годы спустя, после бесчисленных дискуссий с гуманитариями, я понял: они не признали моего открытия потому, что оно их не устраивало. Стиль мышления, который я представлял, считался у них чем-то вроде безвкусицы, потому что не оставлял места для риторических препирательств.

Это было бестактно с моей стороны — делать выводы о природе человека с помощью математики! В лучшем случае мою затею называли «любопытной». А по существу, никто из гуманитариев не мог примириться с тем, что великую Тайну Человека, загадочные свойства его природы можно вывести из общей теории автоматического регулирования. Конечно, они не говорили этого прямо. Тем не менее полученный мною результат вменили мне в вину. Я вел себя как

* Свободное скрещивание.

слон в посудной лавке: то, перед чем спасовали антропология и этнография с их полевыми исследованиями, а также глубочайший философский анализ «природы человека», чего не удалось сформулировать в виде осмысленной проблемы ни в нейрофизиологии, ни в этологии*, что оставалось тучным заповедником вечно плодоносящих метафизик, психологии подсознания, психоанализа классического и лингвистического и Бог весть каких еще эзотерических дисциплин, — я попытался расцечь, словно гордиев узел, своим доказательством в девять печатных страниц.

Они уже свыклись со своим высоким саном Хранителей Тайны, которую именовали Воспроизведением Архетипов, Инстинктом Жизни и Смерти, Волей к Самоуничтожению, Влечением к Небытию, а я, перечеркнув эти священные ритуалы какими-то группами преобразований и эргодическими теоремами, заявляю, что решение проблемы найдено! Вот почему ко мне относились с тщательно скрываемой антипатией: какой-то бесцеремонный профан посягнул на Загадку, попытался зацементировать ее вечно живые ключи, запечатать уста, находившие радость в задавании бесконечных вопросов; а так как моего доказательства опровергнуть не удалось, оставалось только его замалчивать.

Нет, во мне говорит не уязвленное самолюбие. Меня ведь вознесли до небес, правда, за другие работы — в области чистой математики. Этот опыт, однако, был весьма поучителен. Мы недооцениваем косность мышления во многих отраслях знаний. Психологически это вполне объяснимо. Сопротивление, которое наш ум оказывает статистическому подходу, в атомной физике куда меньше, чем в антропологии. Мы охотно принимаем непротиворечивую и подтвержденную опытом статистическую модель атомного ядра. Мы не спрашиваем: «Ну, а как все-таки атомы ведут себя *на самом деле?*» — но в науках о человеке нас такой подход не устраивает.

Вот уже сорок лет известно, что различие между благородным, добропорядочным человеком и маньяком-выродком сплошь и рядом зависит от расположения двух-трех пучков волокон серого вещества мозга и неосторожное движение ланцета, задевшего эти волокна чуть выше глазных впадин, способно превратить человека великой души в тупое живо-

* Наука о поведении животных.

тное. Но целые области антропологии — не говоря уж о философии — просто не принимают этого к сведению! Да и сам я не составляю тут исключения; все мы — ученые и профаны, — скрепя сердце, готовы признать, что наши тела с возрастом портятся; но дух?! Нам хотелось бы видеть его непохожим на механизм, в котором что-то может заесть. Нам подавай совершенство, хотя бы с обратным знаком, совершенство постыдное и греховное, только бы уйти от сатанинского объяснения, что человек есть игральное поле сил, абсолютно к нему равнодушных. А так как наша мысль движется по кругу, выбраться из которого невозможно, я признаю, что есть доля истины в памятных для меня словах одного из наших выдающихся антропологов. «Удовлетворение, с которым ты говоришь о своем доказательстве «лотерейности» природы человека, — заметил он мне, — не вполне бескорыстно; тут не одна только радость познания, а еще и удовольствие поглумиться над тем, что другому любезно и мило».

Вспоминая свою непризнанную работу, я не могу отделаться от невеселой мысли, что таких работ на свете, должно быть, немало. Залежи потенциальных открытий громоздятся на полках библиотек — в ожидании тех, кто мог бы их оценить.

Мы привыкли к ясной, простой ситуации, когда все непознанное и темное простирается перед сплошным фронтом науки, а все завоеванное и понятное служит ей тылом. Но по сути, безразлично, таится ли неведомое в лоне природы или погребено в каталогах никем не посещаемых книгохранилищ, — то, что не включено в кровообращение науки, не оплодотворяет ее, все равно что не существует. В любую эпоху способность науки воспринять радикально новый подход к явлениям не слишком-то велика. Сумасшествие и самоубийство одного из создателей термодинамики — лишь один из примеров тому*.

Кругозор науки, этого передового, как считается, отряда нашей культуры, ограничен исторически сложившимся переплетением множества факторов, среди которых первостепенную роль нередко играют стечения обстоятельств самого разного рода, возведенные в ранг нерушимых канонов методологии. Я завел об этом речь не случайно.

Наша культура плохо усваивает даже идеи, возникаю-

* Имеется в виду самоубийство Л.Больцмана (1844—1906)

щие в ее же собственных рамках, но в стороне от главного русла, хотя и творцы, и отрицатели новых подходов — дети одного времени. Так можно ли рассчитывать, что мы сумеем понять совершенно чужую культуру, да еще отделенную от нас космическими просторами? Сравнение с армией букашек, которые извлекли бы немалую пользу, наткнувшись на мертвого философа, и тут кажется мне весьма подходящим. Пока такой встречи не было, мои суждения могли казаться крайностью, чудачеством. Но встреча произошла, а поражение, которое мы потерпели, сыграло в ней роль *exregimentum stucis** , стало доказательством нашей беспомощности — и этого результата не пожелали заметить! Миф об универсальности нашего познания, о нашей готовности принять и понять даже радикально иную, внеземного происхождения информацию остался непоколебимым, хотя, получив Послание со звезд, мы поступили с ним немногим лучше, чем дикарь, который, согрешившись у костра из сочинений мудрейших умов, решил бы, что превосходно использовал свою находку.

Итак, рассказ об истории наших *напрасных* усилий может оказаться небесполезным — хотя бы для будущего исследователя Первого Контакта. Ведь опубликованные сообщения, официальные реляции повествуют о так называемых успехах, то есть о приятном тепле, идущем от пылающих рукописей. О гипотезах, которые мы поочередно отбрасывали, в реляциях не сказано почти ничего. Я же говорил, что такой подход был бы позволителен, если б в конечном счете исследование отделилось от исследователей. Изучающих физику не засыпают сведениями о том, какие ошибочные, недостаточные гипотезы, какие ложные допущения предлагали ее творцы, как долго искал и заблуждался Паули, прежде чем правильно сформулировал свой принцип, сколько неверных идей перепробовал Дирак, прежде чем додумался до своих электронных «дыр». Но история проекта «Глас Господа» — это история поражения, история блужданий, за которыми не последовало спрямления дороги, и мы не вправе пренебрежительно зачеркивать бесконечные зигзаги пути — кроме них, у нас ничего не осталось.

С тех пор прошло много времени. Я долго ждал именно такой книги, как эта. Дольше я ждать не могу — по причи-

* Решающий эксперимент (*лат.*).

нам чисто биологическим. Я располагал некоторыми заметками, сделанными сразу же после ликвидации Проекта. Почему я не делал их в ходе работы, станет понятно из дальнейшего. Об одном я хотел бы сказать ясно. Я не собираюсь возвышать себя за счет своих товарищей по Проекту. Мы очутились у подножия колоссальной находки, до предела не подготовленные и до предела самоуверенные. Как муравьи, мы облепили ее — быстро, жадно, ловко и сноровисто. Я был одним из них. Это рассказ муравья.

II

Коллега по профессии, которому я показал вступление, заявил, что я очернил себя с умыслом — чтобы выступить потом в роли бесцеремонного правдолюбца; ведь тем, кого я не пощажу, трудно будет меня упрекать, раз уж я и себя не жалею. Это было сказано полусхотя, но заставило меня задуматься. Такой коварный замысел мне и в голову не приходил; но я достаточно разбираюсь в душевной механике и понимаю, что подобные отговорки не имеют никакой цены. Возможно, замечание было справедливо. Возможно, мной руководила подсознательная хитрость: свою злобность я показал во всем ее безобразии, локализовал ее, стало быть, провел черту между нею и мною — но лишь на словах.

А между тем она, просочившись украдкой в мои «добрые намерения», все это время водила моим пером, и я лицемерил, как проповедник, который, грома прегрешения людские, находит тайное удовольствие в том, чтобы хоть говорить о них, если уж сам не смеет согрешить. В таком случае все становится с ног на голову и то, что я считал печальной необходимостью, продиктованной требованиями темы, оказывается главным побудительным мотивом, а сама тема, «Глас Господа», — не более чем удачным предлогом. Впрочем, схему подобного рассуждения — скажем так, «карусельного»: ведь оно образует замкнутый круг, где послышки и выводы меняются местами, — можно перенести и на саму проблематику Проекта. Наше мышление должно иметь дело с нерушимой совокупностью фактов, которая его отрезвляет и корректирует; а если такого корректора нет, оно грозит обернуться проецированием тайных пороков (или добродетелей, что одно и то же) на предмет исследования. Объяс-

нение философских систем через различного рода недуги их творцов считается (я кое-что знаю об этом) занятием столь же тривиальным, сколь и непозволительным. Но где-то на самом дне философии, которая постоянно пытается сказать больше, чем возможно в данное время, «поймать мир» в готовую сетку понятий, прячется трогательная беззащитность, особенно заметная как раз у наиболее ярких мыслителей.

История человеческого познания — это ряд, имеющий в пределе бесконечность, а философия пытается до этого предела добраться одним прыжком, коротким замыканием, дающим уверенность в совершенном и непоколебимом знании. Тем временем наука движется мелким шагом, по-черепаши, а то и вовсе, казалось бы, топчется на месте, но в конце концов добирается до последних рубежей, до окончательной границы разума, проведенной философами, и, не замечая никаких пограничных столбов, преспокойно идет себе дальше.

Ну, разве могли философы не впасть в отчаяние? Одной из форм такого отчаяния был позитивизм с его весьма специфической агрессивностью: он выдавал себя за верного союзника науки, будучи, в сущности, ее ликвидатором. Надлежало подвергнуть примерному наказанию все то, что разъедало и подтачивало философию, обращая в ничто ее великие открытия, — и позитивизм, этот мнимый поборник науки, не замедлил вынести ей приговор, заявив, что наука в действительности ничего не может открыть, ведь она — всего лишь сокращенная запись опыта. Позитивизм попытался осадить науку, заставив ее признать свое бессилие во всем, что относится к области трансцендентного (что ему, впрочем, так и не удалось).

История философии есть история последовательных отступлений. Сначала она стремилась открыть абсолютные категории мироздания, потом — абсолютные категории разума, а тем временем, по мере накопления знаний, все яснее замечалась ее беспомощность. Ведь каждый философ поневоле объявлял себя самого абсолютным образцом человеческого рода и даже всех возможных разумных существ. Напротив, наука — это как раз трансценденция опыта, сокрушающая в прах вчерашние категории мышления; вчера пало абсолютное пространство и время, сегодня рушится якобы вечная противоположность между аналитическими и синтетическими суждениями, между предопределенностью и

случайностью. Но почему-то ни одному из философов не приходило в голову, что не слишком благоразумно выводить из правил собственного мышления законы, действительные для всех людей и всего человечества — от эолита до эпохи угасания солнц.

Выражусь более резко: подставлять в умозаключения себя в качестве искомой общечеловеческой нормы — значит поступать безответственно. Стремление понять «все», на которое при этом ссылаются, имеет разве что психологическую ценность. Поэтому философия гораздо больше говорит о людских надеждах, страхах, влечениях, чем о тайнах абсолютно равнодушного к нам мироздания, которое лишь однодневкам кажется царством вечных и неизменных законов.

Даже если мы познали такие законы, которых никакой прогресс не отменит, мы не можем отличить их от тех, которые будут заменены другими. Поэтому в философах я видел лишь людей, движимых любопытством, а не глашатаев истины. Разве, формулируя тезисы о категорических императивах или об отношении мышления к восприятию, они начинали добросовестно расспрашивать бесчисленных представителей человеческого рода? Да нет же — они спрашивали себя и только себя, раз за разом короновали собственную персону, выдавая ее за образец человека разумного. Именно это возмущало меня и мешало читать даже самые глубокие философские сочинения: не успев открыть книгу, я наткнулся на вещи, очевидные для автора, но не для меня; с этой минуты он обращался только к себе самому, рассказывал лишь о себе, на себя самого ссылаясь, а значит, утрачивал право высказывать суждения, истинные для меня и тем более — для всех остальных двуногих, населяющих нашу планету.

Как смешила меня, к примеру, уверенность тех, кто заявлял, будто нет иного мышления, кроме языкового! Эти философы не ведали, что сами они принадлежат к определенной разновидности человека разумного, а именно той, которая обделена математическими способностями. Сколько раз, пережив озарение новым открытием, запечатлев его в памяти неизгладимо, я часами искал для него языковую одежду, потому что оно родилось во мне вне всякого языка — естественного или формального.

Мысленно я назвал этот феномен «проступанием истины». Описать его невозможно. То, что проступает из толщи

бессознательного и с трудом, постепенно отыскивает для себя слова, словно гнезда, — существует как целое прежде, чем осядет внутри этих гнезд. Но я не сумел бы даже намеком пояснить, в каком, собственно, облике предстает передо мной это бес- и предсловесное Нечто (которому предшествует острое ощущение, что ожидание не будет напрасным). У философа, который не пережил этого сам, какие-то важные механизмы мышления устроены иначе, чем у меня; при всем нашем видовом сходстве различие между нами больше, чем хотелось бы подобным мыслителям.

И что же? Решая центральную проблему Проекта, мы очутились как раз в положении философа, со всей его незащитностью и рискованностью его изысканий. Чем мы располагали? Загадкой и джунглями догадок. Мы выковыривали из загадки обломки фактов, но факты не стыковались, не складывались в прочный массив, способный корректировать наши догадки, и в конце концов мы терялись в чаще гипотез, громоздящихся на гипотезах. Наши конструкции становились все изобретательнее и смелее — и все больше отрывались от тылов, от добытых знаний. Мы готовы были все разломать, нарушить самые святые принципы физики или астрономии, лишь бы овладеть тайной. Так нам казалось.

Читателю, который, добравшись до этого места, все нетерпеливее ждет посвящения в тайну, заранее ощущая приятную дрожь, как перед фильмом ужасов, я советую отложить мою книгу, иначе он будет разочарован. Я не пишу авантюрный роман, а рассказываю, как наша культура была подвергнута экзамену на космическую (или хотя бы не только земную) универсальность и что из этого вышло. С самого начала моей работы в Проекте я считал его именно таким пробным камнем независимо от того, какой пользы ждали от наших усилий.

Тот, кто следит за ходом моей мысли, возможно, заметил, что, перенося проблему «карусельного мышления» с отношений между мной и моей темой на саму эту тему (то есть на отношения между исследователями и «Гласом Господа»), я отчасти выпутался из щекотливого положения, настолько расширив упрек в «затаенных побудительных мотивах», что в нем уместился весь Проект. Но как раз таково и было мое намерение — еще до того, как я выслушал критические замечания. С известным преувеличением, необходимым, дабы подчеркнуть суть моей мысли, могу сказать,

что в ходе работы (затрудняюсь определить, когда именно) я начал подозревать, что звездное Послание для нас, стремящихся его разгадать, стало чем-то вроде психологического теста на ассоциации, например, предельно усложненного теста Роршаха. Испытуемый видит в цветных пятнах ангелов или зловещих птиц, ибо он проясняет неясное, руководствуясь тем, что у него «на душе», — так и мы за завесой непонятных значков угадывали нечто, содержавшееся лишь в нас самих.

Это подозрение мешало мне работать, да и теперь заставляет меня пускаться в объяснения, которых лучше бы избежать. Тем не менее я решил, что ученый, оказавшийся в столь затруднительном положении, уже не может считать свои профессиональные знания чем-то вроде железа или жвала, изолированных от всего организма, а значит, не вправе утаивать свои сокровенные проблемы, даже самые постыдные. Ботанику, занятому систематикой каких-нибудь лютиков, довольно затруднительно проецировать на объект изучения собственные фантомы, видения, а то и постыдные страстишки. Положение исследователя-мифолога опаснее: сам выбор материала исследования, возможно, расскажет нам не столько о структурных инвариантах архаических мифов, сколько о том, что преследует мифолога в сновидениях и — безотносительно ко всякой науке — наяву.

А нам пришлось пойти еще дальше, сделать поистине головоломный шаг: ведь нас подстерегала та же опасность, но в несравненно большем, небывалом масштабе. Так что никто из нас не знает, в какой мере мы были орудиями объективного анализа, в какой — типичными для своей эпохи представителями человечества и в какой, наконец, каждый из нас представлял только самого себя и черпал гипотезы о смысле Послания из собственной — возможно, травмированной или сумеречной — психики, из ее не контролируемых сознанием глубин.

Подобные опасения многие из моих коллег считали чепухой. Правда, они выражались иначе, но смысл был именно таков.

Я их прекрасно понимаю. Проект был прецедентом, в котором, как в матрешке, скрывались другие прецеденты, с той только разницей, что никогда доселе физики, технологи, химики, ядерщики, биологи, информационщики не располагали таким предметом исследований, который не был чисто

материальной, то есть природной, загадкой, а был Кем-то умышленно создан и послан — причем Отправитель должен был приравниваться к неизвестным адресатам. Ученые воспитаны на «игре с Природой», которая никак не является сознательным противником; они не допускают возможности, что за исследуемым объектом на самом деле стоит Кто-то и что понять объект можно лишь в той мере, в какой удастся постичь ход рассуждений этой — совершенно нам неизвестной — сознательной первопричины. Так что, хотя они знали и даже говорили, что Отправитель реален, весь их жизненный опыт, их профессиональная выучка говорили им обратное.

Физику и в голову не придет, что Кто-то нарочно расположил электроны на орбитах так, чтобы люди ломали себе голову над их конфигурациями. Он прекрасно знает, что гипотеза о Создателе Орбит в физике абсолютно излишня, более того, недопустима. Но в Проекте недопустимое оказалось реальным, а физика в обычном своем виде стала непригодной; это было прямо-таки пыткой. Сказанного, я уверен, довольно, чтобы понять, что мое положение в Проекте было достаточно обособленным (разумеется, в общем, теоретическом смысле, а не в смысле административно-иерархическом).

Меня упрекали в «недостаточной конструктивности»: я всегда готов был вставить словечко в ход чужих рассуждений, в результате в них что-то заклинивалось, и они останавливались; сам же я предложил не слишком много конструктивных идей, «с которыми можно что-нибудь сделать». Впрочем, Белойн в своем отчете отзывается обо мне как нельзя лучше. Надеюсь, это не только дань дружбе, связывающей нас: возможно, известную роль сыграло положение (не только административное), которое он занимал. В каждой исследовательской группе Проекта взгляды ее участников после некоторого периода колебаний приходили к какому-то общему знаменателю; но тот, кто заседал (как Белойн) в Научном Совете, хорошо видел, что мнения разных групп нередко диаметрально противоположны. Впрочем, организационную структуру Проекта с ее изолированными друг от друга группами я считал вполне разумной — она предотвращала появление «эпидемий ошибок». У такого информационного карантина были свои отрицательные стороны... но я начинаю вдаваться в подробности — и преждевременно. Значит, пора переходить к изложению событий.

Когда Блейдергрэн, Немеш и группа Шигубова открыли инверсию нейтрино, возник новый раздел астрономии — нейтринная астрофизика. Она сразу сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических нейтринных потоков. Маунт-Паломарская обсерватория одной из первых установила у себя регистрирующую аппаратуру, высоко автоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке — нейтринному инвертору — выстроилась целая очередь исследователей, и у директора обсерватории (им был тогда профессор Райан) было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми: каждый считал, что его заявка должна стоять первой в списке.

Среди таких молодых счастливиц оказались Хейлер и Махоун, оба очень честолюбивые и довольно способные (я был с ними знаком, хотя и отдаленно). Они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить так называемый эффект Штеглица (Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения).

Однако этот эффект (нейтринный аналог «красного смещения» фотонов) обнаружить не удавалось. Как выяснилось несколько лет спустя, теория Штеглица была ошибочной. Но молодые люди об этом знать не могли и сражались, как львы, чтобы у них не отняли установку; благодаря своей предприимчивости они держали ее почти два года — так и не получив никаких результатов. Целые километры регистрационных лент пополнили архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная их часть попала в руки смекалистого, хоть и не очень одаренного физика — собственно говоря, недоучки, изгнанного из какого-то малоизвестного университета на Юге за аморальное поведение; дело не дошло до суда, потому что в нем было замешано несколько важных особ. Этот недоучившийся физик, по фамилии Свенсон, получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его даже допрашивали, но ничего не дознались — он непрерывно менял показания.

Это был любопытный субъект. Он подвизался в качестве поставщика материалов, а заодно — банкира и духовного утешителя бесчисленных маньяков, которые прежде мучились разве что над перпетуум-мобиле и квадратурой круга,

а ныне бредят «целительными энергиями», теориями космогенеза и промышленным применением телепатии. Такому народу недостаточно карандаша и бумаги; для конструирования «орготронов», обнаружителей «сверхчувственных флюидов», электрических магических прутьев, что сами находят воду, нефть и сокровища (обычные ивовые водоискатели давно уже стали анахронизмом), — для всего этого необходимы самые разные, нередко труднодоступные и дорогие материалы. Свенсон — за соответствующую сумму — умел раздобыть их даже из-под земли. Поэтому его посещали парафизики и оргонисты, конструкторы телепаторов и духотронов (для устойчивой связи с духами). Вращаясь в этих нижних провинциях царства науки — там, где оно смыкается с царством психиатрии, — он, как бы то ни было, поднабрался весьма полезных для него сведений; у него был изумительный нюх на то, что в данный момент пользуется наибольшим спросом у слегка свихнувшихся титанов духа.

Не брезговал он и более прозаическим заработком — например, поставлял небольшим химическим лабораториям реактивы неясного происхождения — и вечно привлекался за что-то к суду, хотя в тюрьму не попал ни разу, балансируя на самой грани законности. Такие люди всегда меня занимали. Насколько я понимаю, Свенсон не был ни чистым мошенником, ни циником, который наживается на чужих маниях, хотя ему хватало ума, чтобы знать, что львиная доля его клиентов никогда не реализует своих идей. О некоторых он заботился и поставлял им оборудование в кредит, даже если платежеспособность должника представлялась весьма сомнительной. Как видно, он питал к своим питомцам такую же слабость, как я — к людям его типа. Хорошо обслужить клиента он считал делом чести, и, если клиент непременно требовал кость носорога (потому что аппарат, сооруженный из кости любого другого животного, был бы глух к голосу духов), Свенсон никогда не подсовывал ему воловью либо баранью кость; во всяком случае, так мне рассказывали.

Получая, а может, и покупая у неизвестного лица ленты, Свенсон преследовал определенную цель. Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что на лентах записан «чистый шум», и додумался использовать их для составления лотерейных таблиц. Эти таблицы, серии случайных чисел, необходимы в исследованиях различного типа; изготов-

ляют их с помощью вычислительных машин или вращающихся дисков — на края этих дисков нанесены цифры, которые вылавливает беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Есть и другие способы. Взятый за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Серии чисел редко получаются «достаточно случайными»; тщательный анализ выявляет более или менее явные закономерности в чередовании чисел: в длинных сериях некоторые числа «склонны» появляться чаще других, а такая таблица теряет смысл. Не так-то просто создать абсолютный хаос, хаос в чистом виде. Между тем спрос на таблицы случайных чисел не уменьшается. Поэтому Свенсон рассчитывал заработать на этом деле; таблицы он печатал с помощью шурин — линотиписта в типографии какого-то университета, а покупателям рассылал их по почте, без посредничества книготорговцев.

Один из экземпляров попал в руки некоего Ф.Д. Сэма Лейзеровица, субъекта столь же сомнительного и не менее предприимчивого, но в каком-то смысле идеалиста, думавшего не только о деньгах. Он был членом, а нередко и учредителем многих, непременно эксцентричных организаций, вроде Лиги исследования летающих тарелок, и не раз попадал в переплет, когда при ревизии обнаруживалась, неведомо почему, недостача; но в злоупотреблениях ни разу уличен не был. Возможно, его подводила беспечность.

Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но когда ему на это указывали, заявлял, что буквы «Ф.Д.» означают лишь имена, которыми он подписывает свои статьи, — Филипп и Дуглас. Действительно, под именем «Ф.Д.Сэм Лейзеровиц» он публиковался в различных научно-фантастических журналах, а также был известен среди любителей этого жанра как автор «космических» докладов и сообщений на многочисленных съездах и конференциях. Его специальностью были сенсационные открытия — не меньше двух-трех в год. Он основал музей диковин, якобы оставленных пассажирами Летающих Тарелок на территории Штатов, — там был, среди прочих, обритый, зеленого цвета обезьяний зародыш в спирту; я видел его фотографию. Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами.

Еще Лейзеровиц был также соавтором книги о заговоре, устроенном правительствами великих держав, которые нарочно утаивают информацию о высадке Тарелок и контактах видных политиков с посланцами иных планет. Собирая всевозможные, более или менее вздорные сведения об «инопланетянах», он напал на след регистрационных лент из Маунт-Паломар и добрался до их обладателя, Свенсона. Тот отдал их не сразу, однако не устоял перед убедительным аргументом в виде трехсот долларов — как раз тогда какой-то состоятельный чудак облагодетельствовал один из «космических фондов».

Вскоре Лейзеровиц опубликовал ряд статей под кричащими заголовками, извещая, что на маунт-паломарских лентах отдельные участки шума разделены «зонами молчания» — причем шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более сенсационных сообщениях он уже ссылался на Хейлера и Махоуна как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность его утверждений. Эти заметки перепечатали несколько провинциальных газет; взбешенный Хейлер послал им опровержение, из которого следовало, что Лейзеровиц — полнейший невежда (откуда «инопланетянам» знать азбуку Морзе?), что его Общество по космическим контактам — чистое жульничество, а так называемые «зоны молчания» означают лишь то, что регистрирующую установку время от времени выключали. Но Лейзеровиц не был бы Лейзеровицем, если б спокойно снес такую отповедь; он стоял на своем, а доктора Хейлера включил в черный список «недрузгов космического контакта», где уже фигурировало немало светлых голов, имевших несчастье опрометчиво выступить против его открытий.

Между тем вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло событие действительно странное. Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по исследованию общественного мнения (чаще всего по заказам небольших торговых фирм), направил Свенсону рекламацию, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских таблиц абсолютно точно копирует серию, опубликованную в первом издании. Тем самым он давал понять, что Свенсон, не утруждая себя, перекодировал «шум» в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, кое-где меняя порядок страниц. Свенсон, совесть которого была чиста (по

крайней мере, в этом деле), отверг претензии Лумиса и, возмущенный до глубины души, ответил ему довольно резким письмом. Теперь уже Лумис счел себя оскорбленным и к тому же обманутым и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, а новую серию таблиц суд признал мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но пять недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез.

Канзасская «Морнинг Стар» поместила несколько корреспонденций о деле Лумиса против Свенсона — сезон был летний, и ничего интереснее не подвернулось. Один такой репортаж прочитал по дороге на службу доктор Саул Раппопорт из Института высших исследований (как он мне сказал, он нашел газету на сиденье в метро — сам бы он никогда ее не купил).

Это был субботний, расширенный выпуск, и, чтобы как-то заполнить место, кроме судебного отчета газета поместила еще и интервью с Лейзеровицем о «братьях по Разуму», а рядом — гневное опровержение доктора Хейлера. Так что Раппопорт мог ознакомиться во всем объеме с этой диковиной, хотя и мелкой с виду аферой. Когда он отложил газету, в голову ему пришла сумасшедшая, прямо-таки комичная мысль. Лейзеровиц, конечно, несет чушь, и «зоны молчания» — никакой не сигнал; но на лентах действительно может быть записано сообщение — если сообщением окажется шум!

Мысль, повторяю, была сумасшедшая, но преследовала его неотвязно. Поток информации — например, человеческая речь — не всегда воспринимается как информация, а не хаотический набор звуков. Речь на чужом языке часто кажется совершенно бессмысленной. А для непонимающего есть один только способ опознать нешумовую природу сигнала: в подлинном шуме серии сигналов не повторяются. В этом смысле «шумовой серией» будет тысяча чисел, которые выбрасывает рулетка. Появление точно такой же серии — в следующей тысяче игр — совершенно исключено. В том-то и состоит природа «шума», что очередность появления его элементов — звуков или других сигналов — непредсказуема. Если же серии повторяются, значит, «шумовой» характер явлений — лишь кажущийся, и на самом деле перед нами устройство, передающее информацию.

Доктор Раппопорт подумал, что Свенсон, быть может, и

не лгал на суде; что он не копировал одну-единственную ленту, а в самом деле поочередно использовал записи, сделанные за долгие месяцы. Если допустить, что излучение было сигнализацией и сообщением, закончившись, передавалось сначала, получилось бы именно то, на чем настаивал Свенсон: новые ленты запечатлели бы одинаковые серии импульсов и эта *повторяемость* доказывала бы, что их «шумовое обличье» — лишь видимость!

Это было в высшей степени неправдоподобно, однако возможно. Раппопорт, вообще-то любивший спокойную жизнь, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда его посещали подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хейлера, и связаться с ним не составляло труда. Прежде всего нужно было заполучить ленты. Поэтому он написал Хейлеру, однако не упоминая о своей догадке — слишком фантастической она выглядела, — а лишь осведомляясь, нельзя ли получить ленты, оставшиеся в архиве обсерватории. Хейлер, раздосадованный тем, что его приплели к афере Лейзеровица, отказал. Вот тогда-то, похоже, Раппопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Он был достаточно известен в научных кругах и вскоре получил целый километр лент. Ленты он передал своему другу, доктору Хаувицеру, чтобы тот в своем вычислительном центре исследовал их с точки зрения распределения частотности элементов, то есть предпринял дистрибутивный анализ.

Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если она использована полностью (избыточность сведена к нулю), то для непосвященного сигнал ничем не отличается от чистого шума. Как я уже говорил, в кажущемся «шуме» можно выявить информацию, если сообщение циклически повторяется и разные записи можно сравнить. Это и собирался сделать Раппопорт, передавая ленты Хаувицеру для обработки. Хаувицеру он тоже не стал открывать всей правды, стремясь держать дело в тайне; к тому же, оказись его догадка ошибочной, никто бы о ней не узнал. Раппопорт не раз рассказывал об этом забавном начале истории, которая кончилась ничуть не забавно, и даже хранил, как реликвию, номер газеты, натолкнувшей его на судьбоносную мысль.

Хаувицер был загружен работой и не спешил затевать

трудоемкий и непонятно для чего нужный анализ; так что пришлось посвятить его в тайну. Он поднял Раппопорта на смех, но все же не устоял перед страстными уговорами приятеля и обещал помочь.

Несколько дней спустя, когда Раппопорт вернулся в Масачусетс, Хаувицер встретил его известием об отрицательном результате анализа. Раппопорт — я слышал об этом от него — готов уже был отступить, однако, задетый насмешками друга, начал с ним спорить. Ведь нейтринное излучение одного квадрата небосвода, сказал он, это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот, и, если даже Хейлер с Махоуном, прочесывая его однажды, совершенно случайно выхватили обрывок осмысленной передачи, было бы просто чудом, если бы такое везение выпало им еще раз. Следовательно, нужно раздобыть ленты, которыми завладел Свенсон.

Хаувицер с ним согласился, однако заметил, что при рассмотрении альтернативы «звездное Послание» или «мошенничество Свенсона» ее второй член обладает вероятностью в миллионы раз большей. И добавил, что получение лент мало что даст: Свенсон, чтобы облегчить себе защиту в суде, мог просто скопировать исходную запись, а копию выдать за еще один оригинал.

Раппопорт не нашелся что ответить, но у него был знакомый — специалист по аппаратуре, предназначенной для полуавтоматической регистрации длинных серий сигналов; он позвонил ему и спросил, можно ли ленты, на которых зарегистрированы некие естественные процессы, отличить от лент, на которых та же самая запись воспроизведена вторично (то есть велико ли различие — если оно вообще существует — между оригиналом и копией регистрации). Оказалось, что отличить одно от другого возможно. Тогда Раппопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта, все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве — передача действительно периодически повторялась.

Раппопорт не сообщил об этом ни Хаувицеру, ни адвокату Свенсона, но в тот же день — точнее, в ту же ночь — вылетел в Вашингтон; отлично представляя, как безнадежны попытки форсировать бюрократические препоны, он направился прямо к Моргимеру Рапу, советнику президента по вопросам науки, бывшему директору НАСА, которого знал

лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. Раппопорт три недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами.

Наконец Раш пригласил Раппопорта на совещание с участием всего девяти человек; среди них были светила американской науки — физик Дональд Протеро, лингвист Айвор Белойн, астрофизик Тайхемер Дилл и математик-информационщик Джон Бир. Минувя формальности, было решено создать специальную комиссию для изучения «нейтринного послания со звезд», которое, по полушутливому предложению Белойна, получило обозначение «ГЛАС ГОСПОДА» (MASTER'S VOICE). Раш попросил участников совещания соблюдать секретность, разумеется, лишь временную, — он опасался, что пресса поднимет шум, а если Послание станет предметом политических интриг в конгрессе (где положение Раша как представителя резко критикуемой администрации было шатким), это лишь затруднит получение необходимых ассигнований.

Казалось бы, делу был придан максимально разумный ход, но совершенно неожиданно в него вмешался несостоявшийся доктор физики Ф.Д. Сэм Лейзеровиц. Из отчетов о процессе Свенсона он уразумел лишь одно: судебный эксперт ни словом не упомянул, что «зоны молчания» на лентах вызваны периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где проходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были попасть в музей космических раритетов. Адвокат ему отказал как недостаточно солидному человеку. Тогда Лейзеровиц, который во всем усматривал «антикосмические заговоры», нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек — не из местных — приехал в Мелвилл утренним поездом, заперся с адвокатом в гостиничном номере, получил от него ленты и увез их в Массачусетс.

Человеком этим был доктор Раппопорт. Лейзеровиц послал своего детектива по следам ни о чем не подозревавшего Раппопорта, а когда тот объявился в Вашингтоне и несколько раз побывал у Раша, Лейзеровиц решил, что пришло время действовать. Его статья, появившаяся в «Морнинг Стар» и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, огорошила

пионеров Проекта, особенно Раша. В ней под достаточно громким заголовком сообщалось, что чиновники самым гнусным образом пытаются похоронить великое открытие — как в свое время при помощи официальных сообщений командования ВВС были похоронены НЛО (пресловутые Летающие Тарелки).

Лишь тогда Раш понял, что могут последовать международные осложнения — если кто-то решит, что Америка пытается скрыть от всего мира установление контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень беспокоила — ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждения; Раш, как человек весьма сведущий в практике паблисити, полагал, что, если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой.

Однако Белойн решил совершенно частным образом встретиться с Лейзеровицем, поскольку — как он мне сам говорил — просто пожалел этого маньяка космических контактов. Он думал, что, если с глазу на глаз предложить ему какую-нибудь второстепенную должность в Проекте, все уладится. Но шаг этот, хотя и продиктованный самыми лучшими намерениями, оказался легкомысленным. Белойн, который не знал Лейзеровица, на основании букв «Ф.Д.» решил, что имеет дело с ученым — пусть даже тот слегка свихнулся, гонится за рекламой и зарабатывает на жизнь сомнительными способами, — но все же коллегой, ученым, физиком. А увидел он взбудораженного человечка, который, услышав о реальности звездного Послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит, и само Послание — его частная собственность, которую у него украли, и под конец довел Белойна до бешенства. Видя, что от Белойна он ничего не добьется, Лейзеровиц выскочил в коридор, там начал кричать, что пойдет в ООН, в Трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Белойна наедине с невеселыми раздумьями.

Поняв, что он натворил, Белойн тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш не на шутку испугался за судьбу Проекта. Хотя вероятность того, что Лейзеровица где-нибудь захотят выслушать, была ничтожна, совершенно исключить это было нельзя, а перекочевав из бульварной в серьезную прессу, дело неизбежно приняло бы политическую окраску.

Посвященные отлично представляли себе, какой подни-

мется крик: Соединенные Штаты, дескать, пытаются присвоить себе достояние всего человечества. Правда, Белойн полагал, что положение можно исправить, опубликовав краткое полуофициальное сообщение, но Раш не имел на это полномочий и не собирался их добиваться: мол, вопрос еще недостаточно ясен и правительство, даже если бы и хотело, не вправе выносить его на международный форум, рискуя своим авторитетом, — во всяком случае, до тех пор, пока наши догадки не будут подтверждены предварительными исследованиями. Дело было деликатное, и Раш решил обратиться к своему знакомому, Баррету, лидеру демократического меньшинства в сенате. Тот, посоветовавшись со своими людьми, хотел было подключить ФБР, но там некий видный юрист заключил, что космос, расположенный вне границ США, не входит в компетенцию его ведомства, а подлежит ведению ЦРУ вместе с прочими заграничными делами.

Тем самым было положено начало уже необратимому процессу, хотя его плачевные последствия сказались не сразу. Раш, стоявший на рубеже науки и политики, не мог не догадываться, к чему ведет препоручение Проекта подобным опекунам, поэтому он попросил своего сенатора повременить еще сутки и послал своих доверенных лиц к Лейзеровицу, чтобы те его вразумили. Лейзеровиц не только оказался глух к уговорам, но и закатил посланцам грандиозный скандал, который закончился потасовкой и вмешательством полиции, вызванной персоналом отеля.

Вскоре прессу наводнили совершенно фантастические, или, вернее, бредовые, сообщения о «двоичных» и «троичных» зонах молчания, посылаемых на Землю из космоса, о световых феноменах, о высадке маленьких зеленых человечков в «нейтринной одежде» и тому подобные бредни, в которых сплошь и рядом ссылались на Лейзеровица, именую его уже профессором. Но не прошло и месяца, как «знаменитый ученый» оказался параноиком и был отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом история Лейзеровица не закончилась. Даже в серьезные, большие газеты проникли отголоски его фантазмагорической борьбы (он дважды бежал из клиники, причем во второй раз — уже безвозвратно — через окно девятого этажа), — борьбы за истинность своего открытия, столь безумного в свете фактов, преданных огласке, и столь поразительно близкого к правде. Сознаю, меня пробирает

дрожь, когда я вспоминаю этот эпизод предыстории Проекта.

Как легко догадаться, поток сообщений, с каждым днем все более бессмысленных, был просто отвлекающим маневром, делом рук многоопытных профессионалов из ЦРУ. Отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней внимание самым нежелательным образом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в лавине несуразных вымыслов, приписанных «профессору» Лейзеровицу, — это было очень ловко придумано, тем более что всю эту акцию увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца; своим неподдельным трагизмом оно окончательно пресекало всякие сплетни.

Судьба этого фанатика была поистине страшной, и я не сразу поверил, что его безумие, его последний шаг из окна в девятиэтажную пустоту не были подстроены; однако в этом меня убедили люди, которым я не могу не верить. Так или иначе, уже над заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута *signum temporis* — печать времени, в которой, пожалуй, как никогда ранее, омерзительное соседствует с возвышенным; прежде чем кинуть нам в руки этот великий шанс, случайный поворот событий раздавил, как букашку, человека, который, хоть и вслепую, первым подошел к порогу открытия.

Если не ошибаюсь, посланцы Раша сочли его полоумным уже тогда, когда он отказался принять крупную сумму за отказ от своих притязаний. Но в таком случае я и он были одной веры, только принадлежали к разным ее орденам. Если бы не та большая волна, которая его захлестнула, Лейзеровиц, конечно, мог бы жить припеваючи, без помех занимаясь летающими тарелками и прочими загадками бытия в качестве безвредного маньяка, ведь таких людей полно; но видеть, как у него отбирают то, что он считал своим заветнейшим достоянием, отнимают открытие, которое изменит историю человечества, — этого он не выдержал, это словно взорвало его изнутри и толкнуло к гибели. Не думаю, что его память следует почтить лишь язвительным комментарием. У каждого великого дела есть свои комичные или до жалости тривиальные стороны, но отсюда не следует, будто они никакого отношения к нему не имеют. Впрочем, комичность — понятие относительное. Надо мною тоже смеялись, когда я говорил о Лейзеровице то, что говорю здесь.

Из актеров пролога больше всего, пожалуй, повезло Свенсону, потому что он удовлетворился деньгами. И штраф за него заплатили (только не знаю, кто это сделал, — ЦРУ или начальство Проекта), и щедро вознаградили за моральный ущерб — разумеется, сняв с него неза заслуженное обвинение в мошенничестве; тем самым его отговорили от подачи апелляции. И все это для того, чтобы Проект мог спокойно разворачивать свою деятельность — в безоговорочно пред-
решенной изоляции.

IV

Описанные выше события (которые в общих чертах, хотя и не целиком, отражены в официальной версии) происходили, как и все в первый год Проекта, без моего участия. О том, почему ко мне обратились лишь тогда, когда в Научном Совете решили подтянуть научные подкрепления, мне рассказывали так часто и наговорили при этом столько всего, такие веские приводили соображения, что правды в них, вероятно, не было ни на грош. Впрочем, я не был в обиде на коллег, включая их шефа Айвора Белойна, за такое запоздалое приглашение. В организационных вопросах руки у них были связаны — хотя поняли они это не скоро. Разумеется, явного вмешательства, откровенного нажима не было. В конце концов режиссурой занимались профессионалы. В том, что меня обошли, я чувствую влияние кого-то на самом веру. Ведь Проект почти сразу отнесли к категории высшей секретности — к числу операций, засекречивания которых требуют высшие интересы государства. Сами научные руководители Проекта узнавали об этом постепенно и, как правило, поодиночке, на совещаниях, где тактично взывали к их патристическим чувствам и политическому благоразумию.

Как там было в действительности, какие средства убеждения, комплименты, обещания и аргументы пускались в ход, не знаю: эту сторону дела официальные документы обходят абсолютным молчанием, а члены Научного Совета, даже потом, когда мы стали коллегами, не слишком охотно рассказывали об этой, скорее подготовительной, стадии Проекта. С теми же, на кого не действовали фразы о патристизме и высших государственных интересах, проводились беседы «на высшем уровне». При этом — что было,

пожалуй, еще важнее для психической адаптации — абсолютное засекречивание Проекта изображалось чисто временной мерой: это, мол, переходное состояние, которое вскоре изменится. Психологически, повторяю, это было удачно: как бы настороженно ни относились ученые к представителям власти, внимание, уделяемое Проекту государственным секретарем, а то и самим президентом, их благожелательное поощрение, разговоры о надеждах, возлагаемых на «такие умы», — все это создавало обстановку, в которой прямые вопросы о сроке, о дате отмены секретности прозвучали бы диссонансом, показались бы невежливыми и даже грубыми.

Могу представить себе — хотя в разговорах со мной никто и словечка не проронил о столь щекотливых вопросах, — как достопочтенный Белойн обучал менее опытных коллег принципам дипломатии, необходимым для сосуществования с политиками, и со свойственным ему тактом оттягивал мое приглашение и включение в состав Совета, объясняя наиболее нетерпеливым, что сначала Проект должен заслужить доверие у своих могущественных опекунов, а уж тогда можно будет действовать по собственному разумению. Я говорю это без иронии. Я могу войти в тогдашнее положение Белойна: он старался не ухудшать отношений ни с той, ни с другой стороной и при этом хорошо знал, что там, наверху, мне не очень-то доверяют. Итак, я не сразу включился в Проект, от чего, впрочем — как мне сотни раз повторяли, — только выиграл: условия жизни в «мертвом городе», в ста милях к востоку от гор Сьерра-Невада, на первых порах были весьма суровы.

Я решил придерживаться хронологического порядка, поэтому расскажу сначала, что происходило со мной перед тем, как в Нью-Гемпшире, где я тогда преподавал, появился посланец Проекта. Думаю, так будет лучше, ведь я вошел в Проект, когда многие общие подходы успели сложиться, и мне, человеку совершенно свежему, приходилось сначала знакомиться с ними, прежде чем впрячься, как новая рабочая лошадь, в этот громадный — из двух с половиной тысяч сотрудников — механизм.

В Нью-Гемпшир я прибыл по приглашению декана математического факультета, моего университетского однокурсника Стюарта Комптона, чтобы вести летний семинар для докторантов. Я согласился — нагрузка составляла всего девять часов в неделю, так что можно было целыми днями бро-

дить по тамошним лесам и вересковым зарослям. Мне, собственно, полагалось бы по-настоящему отдохнуть (я только что, в июне, закончил полугодовую совместную работу с профессором Хаякавой), но, зная себя, я прекрасно понимал, что отдых будет мне не в радость без занятий, хотя бы и кратковременных, математикой. Всякий отдых поначалу пробуждает во мне угрызения совести — как напрасная трата времени. Впрочем, мне всегда доставляло удовольствие знакомиться с новыми адептами моей изысканной дисциплины, о которой, кстати, существует больше ложных представлений, чем о любой другой.

Я не назвал бы себя «стерильным», то есть «чистым», математиком — слишком часто меня тревожили чужие проблемы. Именно поэтому я работал с молодым Торнопом (его достижения в антропологии не оценены по заслугам — он рано умер, а в науке тоже необходимо «биологическое присутствие»; вопреки распространенному мнению, открытия сами по себе недостаточно красноречивы, чтобы люди могли уяснить их настоящую ценность), а потом — с Дональдом Протеро (которого, к своему удивлению, я встретил в Проекте), с Джеймсом Феннисоном (впоследствии — нобелевским лауреатом) и, наконец, с Хаякавой. С Хаякавой мы строили математический позвоночник его космогонической теории, которая так неожиданно вторглась затем — благодаря одному из его взбунтовавшихся учеников — в самую сердцевину Проекта.

Некоторым коллегам были не по душе такие набег на охотничьи заповедники естественных наук. Но польза от них была обычно обоюдная — не только эмпирики получали мою помощь, но и я, вникая в их проблематику, лучше начинал понимать, какие пути развития нашей республики ученых совпадают с направлением главного стратегического удара в будущее.

Нередко можно услышать, что в математике достаточно «чистых способностей», ведь здесь их ничем не заменишь; а вот карьера ученого в других дисциплинах — благодаря связям, протекциям, моде, наконец, отсутствию категоричности доказательств, которая будто бы свойственна математике, — есть равнодействующая научных способностей и вненаучных факторов. Напрасно я объяснял таким завистникам, что в математическом раю, к сожалению, вовсе не так распрекрасно. Великолепнейшие области математики — хотя бы классическая теория множеств Кантора —

годами игнорировались по причинам вовсе не математическим.

Поскольку каждый человек должен чему-то завидовать, я сожалел, что плохо знаком с теорией информации — здесь, а также в царстве алгоритмов, деспотически управляемых общерекуррентными функциями, можно было ожидать феноменальных открытий. Изначальным изъяном классической логики, которая, вместе с Булевой алгеброй, стала повивальной бабкой теории информации, была комбинаторная негибкость. Поэтому заимствованные отсюда математические орудия вечно хромают — они, по моему ощущению, неудобны, некрасивы, громоздки и хотя дают результаты, но очень уж неуклюжим способом. Я подумал, что лучше всего могу поразмышлять о таких материях, если приму предложение Комптона. Как раз о положении на этом участке математического фронта я и собирался говорить в Нью-Гемпшире. Кому-то, возможно, покажется странным, что я хотел учиться, преподавая, но так со мной бывало уже не раз; лучше всего мне думается, когда возникает короткое замыкание между мной и достаточно активной аудиторией. И еще: плохо известные тебе работы можно читать, а можно и не читать, но к лекциям надо готовиться обязательно, что я и делал; так что не знаю, кто больше от этого выгадал — я или мои студенты.

Погода в то лето стояла прекрасная, но слишком жаркая, даже в вересковых зарослях, которые страшно высохли. Я питаю самые нежные чувства к траве; мы и существуем-то благодаря ей: только после растительной революции, которая озеленила материки, жизнь смогла утвердиться на них в своем нерастительном облике. Впрочем, не стану утверждать, будто моя привязанность к вереску вытекала из размышлений об эволюции.

Август был в разгаре, когда появился предвестник перемен в лице доктора Майкла Гротюса. Он привез мне письмо от Айвора Белойна вместе с секретным устным посланием:

И вот на третьем этаже псевдоготического темно-кирпичного особняка, стены которого были увиты слегка уже покрасневшим диким виноградом, в моей душноватой комнате (в старой постройке не было кондиционеров), я узнал от невысокого, тихого, хрупкого, как китайский фарфор, молодого человека с черной бородкой полумесяцем, что на землю снизошла весть — и пока не ясно, добрая или дурная, по-

скольку, несмотря на двенадцатимесячные старания, расшифровать ее не удалось.

Хотя Гротиус об этом не говорил, да и Белойн в своем письме не упомянул ни словом, я понял, что исследования находятся под опекой — или, если угодно, надзором — очень важных персон. Иначе как могли бы слухи о работах такого масштаба не просочиться в печать? Ясно было, что такому просачиванию препятствуют первоклассные специалисты.

Гротиус, несмотря на свой молодой возраст, оказался многоопытным игроком. Не зная заранее, соглашусь ли я на участие в Проекте, он не мог вдаваться в подробности. Надлежало сыграть на моем самолюбии, подчеркивая, что две с половиной тысячи человек в качестве потенциального спасителя выбрали — из всех остальных четырех миллиардов — именно меня, но и тут Гротиус сумел найти меру, избегая слишком грубых комплиментов.

Считается, что нет такой лести, которая не была бы принята с удовольствием. В таком случае я — исключение из общего правила, потому что похвал никогда не ценил. Хвалить можно — скажем так — сверху вниз, но не снизу вверх, а я хорошо знаю себе цену. Гротиус либо был предупрежден Белойном, либо просто отличался хорошим чутьем. Он говорил много, отвечал на мои вопросы по видимости исчерпывающе, но все, что я узнал от него, уместилось бы на двух страничках.

Главным препятствием была для меня засекреченность работ. Белойн, понимая это, упомянул в письме о своей личной беседе с президентом: тот заверил, что все результаты исследований будут опубликованы, за исключением информации, способной нанести ущерб нашим государственным интересам. Получалось, что, по мнению Пентагона — во всяком случае, той его службы, которая взяла Проект под свое крыло, — звездное Послание содержит нечто вроде сверхбомбы или еще какого-нибудь «абсолютного оружия»; мысль достаточно странная и дающая представление скорее о настроениях наших политиков, чем о галактических цивилизациях.

Расставшись на время с Гротиусом, я не спеша отправился в заросли вереска и там улегся на солнцепеке, чтобы поразмыслить. Ни Гротиус, ни Белойн (в своем письме) и не заикались, что от меня потребуют какого-то обещания, а то и присяги о неразглашении тайны, но такой «обряд посвящения» в Проект подразумевался сам собой.

Ситуация типичная для ученого нашей эпохи, но вдобавок специфически заостренная, прямо-таки классический образец. Легче всего соблести чистоту рук, уподобившись страусу или Пилату, и не вмешиваться в любые дела, которые — хотя бы самым косвенным образом — помогают совершенствовать средства уничтожения. Но то, чего не хотим делать мы, всегда сделают за нас другие. Говорят, что с точки зрения этики это не аргумент. Согласен. Однако можно предположить, что тот, кто, терзаясь сомнениями, все же соглашается участвовать в таком деле, в критическую минуту сумеет как-то повлиять на ход событий, пусть даже надежда на успех минимальна; а если его заменит человек не столь щепетильный, не на что уже и надеяться.

Я-то не собираюсь оправдываться таким способом. Мною руководили другие соображения. Если я знаю, что где-то происходит нечто необычайно важное и — вероятно — грозное, я предпочитаю быть именно там, а не ожидать развития событий — с чистой совестью и пустыми руками. Да и не мог я поверить, что цивилизация, стоящая несравненно выше нашей, послала нам информацию, которую можно обратить в оружие. Если сотрудники Проекта думали иначе — это их дело. И наконец, возможность, вдруг открывшаяся передо мной, превосходила все, что еще могло мне встретиться в жизни.

На следующий день мы с Гроттусом вылетели в Неваду, где нас уже поджидал армейский вертолет. Меня подхватил точно и безотказно работающий механизм. Мы летели еще часа два — почти все время над южной пустыней. Гроттус прилагал все старания, чтобы я не чувствовал себя как только что завербованный участник гангстерской шайки, и поэтому не лез ко мне с разговорами, не пытался лихорадочно посвящать меня в мрачные тайны, ожидавшие нас у цели.

Сверху поселок походил на неправильной формы звезду, утонувшую в песках пустыни. Желтые бульдозеры ползали, как жуки, по окрестным дюнам. Мы сели на плоскую крышу здания, самого высокого в поселке. Этот комплекс массивных бетонных колод не производил приятного впечатления. Он был построен еще в пятидесятые годы как жилой и технический центр нового атомного полигона (прежние устаревали с возрастанием мощности взрывов: даже в далеком Лас-Вегасе после каждого серьезного испытания вылетали оконные стекла). Полигон располагался в центре пустыни,

милях в тридцати от поселка, снабженного системой защиты от взрывной волны и радиоактивных осадков.

Застроенный район окружала система щитов, наклоненных в сторону пустыни, — для гашения ударной волны. Здания были без окон, с двойными стенами, пространство между которыми, кажется, заполнялось водой. Коммуникации увели под землю, а жилью и подсобным постройкам придали округлые формы и расположили их так, чтобы избежать кумуляции силы удара из-за многократных отражений и преломлений воздушной волны.

Но это была лишь предыстория поселка, потому что незадолго до окончания строительства вошел в силу ядерный мораторий. Стальные двери зданий завинтили наглухо, вентиляционные отверстия заклепали, машины и оборудование погрузили в контейнеры с тавотом и убрали под землю (ниже уровня улиц располагались склады и магазины, а еще ниже проходила подземка). Природные условия гарантировали идеальную изоляцию, и потому в Пентагоне решили разместить Проект именно здесь; заодно сэкономили сотни миллионов долларов — не вбухали в сталь и бетон.

Пустыня не добралась до внутренностей поселка, но залила его песком, и поначалу было много работы с очисткой; вдобавок оказалось, что система водоснабжения не действует, так как снизился уровень подпочвенных вод. Пришлось бурить новые артезианские скважины, а до тех пор воду привозили на вертолетах. Мне рассказывали об этом со всеми подробностями, давая понять, как много я выиграл, задержавшись с приездом.

Белойн ждал меня на крыше административного здания — той самой, что служила главной посадочной площадкой для вертолетов. Последний раз мы виделись два года назад в Вашингтоне. Из тела Белойна удалось бы выкроить двух человек, а из его души — даже и четырех. Белойн был и, вероятно, останется чем-то большим, нежели его достижения; очень редко случается видеть, чтобы в человеке столь одаренном все кони тянули так ровно и дружно. Чем-то он походил на Фому Аквинского (который, как известно, не во всякую дверь пролезал), а чем-то — на молодого Ашшурбанипала (только без бороды) и всегда хотел сделать больше, чем мог. Это всего лишь догадка, но я подозреваю, что он произвел над собой ту же психокосметическую операцию (только на ином основании и, вероятно, более радикальную), о которой я упоминал в предисловии, говоря о себе. Не при-

емля (повторяю, это только моя гипотеза) своего духовного и внешнего облика — облика не уверенного в себе толстяка, — Белойн усвоил манеру, которую я бы назвал обращенной на себя самого иронией. Он все произносил как бы в кавычках, с подчеркнутой искусственностью и претенциозностью (которую еще усиливала манера его речи), словно играл — поочередно или одновременно — сочиняемые им для данного случая роли, и этим сбивал с толку каждого, кто не знал его хорошенько. Трудно было понять, что он считает истиной, а что ложью, когда говорит серьезно, а когда потешается над собеседником.

Эти иронические кавычки наконец стали его натурой; в них он мог высказывать чудовищные вещи, которых не простили бы никому другому. Он мог и над самим собой издеваться без удержу, и этот трюк — не слишком хитрый, зато отработанный безупречно — обеспечивал ему редкостную неуязвимость.

Из шуток, из автоиронии он воздвиг вокруг себя такие системы невидимых укреплений, что даже те, кто знал его многие годы (и я в том числе), не умели предвидеть его реакции; думаю, он специально об этом заботился, и все то, что попахивало порой шутовством и выглядело чистой импровизацией, делалось им не без тайного умысла.

Подружились мы вот как. Белойн вначале меня игнорировал, а потом стал мне завидовать; то и другое, пожалуй, забавляло меня. Сперва он считал, что ему, филологу и гуманитария, математика ни к чему, и, будучи натурой возвышенной, ставил науки о человеке выше наук о природе. Но затем втянулся в языкознание, как втягиваются в опасный флирт, столкнулся с модным тогда структурализмом и поневоле ощутил вкус к математике. Так он очутился на моей территории и, понимая, что здесь я сильнее, сумел это выразить так ловко, что, по существу, высмеял и меня, и математику. Не помню, говорил ли я, что в Белойне было что-то от людей Возрождения? Я любил его раздражающий дом, где всегда толпилась куча гостей, так что поговорить с хозяином с глазу на глаз удавалось лишь ближе к полуночи.

Все сказанное относится к фортификациям, которыми Белойн себя окружил, но не к нему самому. Можно только догадываться, что затаилось там, *intra muros**. Предпола-

* За стенами (лат.)

гаю, что страх. Не знаю, чего он боялся, — быть может, себя. Должно быть, ему приходилось скрывать очень многое, коль скоро он окружал себя столь старательно организованным гамом, извергал из себя столько идей и проектов, наваливал на себя столько ненужных обязанностей в качестве члена бесчисленных обществ и научных кружков, аккуратнейшим образом заполнял всякие ученые анкеты для ученых, словом, перегружал себя через меру, только бы не оставаться наедине с собой — на это у него никогда не находилось времени. Зато он улаживал чужие дела и видел людей насквозь, так что могло показаться, будто в самом себе он разбирается ничуть не хуже. Впечатление, похоже, ошибочное.

Так он годами затягивал себя в жесткий корсет, который в конце концов стал его внешней, зримой натурой — натурой универсального труженика науки. Стало быть, жребий Сизифа он выбрал сам; громадность его усилий маскировала их (вполне возможную) тщетность, ведь если он сам диктовал себе правила и законы, невозможно было понять до конца, все ли задуманное им удастся, не ошибается ли он временами. Тем более что он охотно хвастался неудачами и подчеркивал свою заурядность — разумеется, в ироничных кавычках. Он отличался проницательностью, свойственной богато одаренным натурам, которые — словно бы по интуиции — даже чужую для них проблему сразу схватывают с правильной стороны. Он был настолько горд, что постоянно смирял себя — как бы ради забавы, и настолько неуверен в себе, что должен был снова и снова выказывать, подтверждать свою значимость, на словах отрицая ее. Его рабочий кабинет казался проекцией его духа: все здесь было по мерке Гаргантюа — и секретеры, и письменный стол, а в вазе для коктейля утонул бы теленок; от громадных окон до противоположной стены простирался сущий книжный развал. Как видно, ему нужен был этот напирющий отовсюду хаос, даже в его переписке.

Я говорю так о друге, рискуя навлечь на себя его неудовольствие, но ведь так же я говорил и о себе. Я не знаю, что именно в нас, сотрудников Проекта, предопределило его неудачу; вот почему — как бы всякий случай и с мыслями о будущем — я намерен знакомить читателя с такими частями головоломки, которых сам не могу собрать; возможно, это удастся кому-то другому.

Влюбленный в историю, зачарованный ею, Белойн

въезжал в наступающие времена как бы задним ходом; современность он считал могильщицей ценностей, а технологию — орудием дьявола. Если я и преувеличиваю, то разве самую малость. Он был убежден, что вершина истории человечества пройдена — быть может, в эпоху Возрождения, — а потом начался долгий и все более стремительный спуск. Однако этот *Homo animatus* и *Homo sciens** в духе Ренессанса испытывал странную тягу к общению с людьми, на мой взгляд, наименее интересными, хотя и наиболее опасными для рода людского, — я имею в виду политиков. О политической карьере он не мечтал, а если и мечтал, то скрывал это даже от меня. Но в его доме проходу не было от всяких кандидатов на губернаторские посты, их жен, претендентов на место в конгрессе и действительных конгрессменов, вместе с седовласыми сенаторами-склеротиками; попадались и метисы политической жизни — политики лишь наполовину, а то и на четверть; их посты подернуты туманной дымкой (но дымкой наилучшего качества).

Ради Белойна я пытался поддерживать — как поддерживают голову покойника — разговор с такими людьми, однако мои старания шли прахом через пять минут. А он мог часами точить с ними лясы — Бог знает зачем! Но теперь его знакомства сработали. Когда начали перебирать кандидатов на пост научного руководителя Проекта, обнаружилось, что все, ну, буквально все — советники, эксперты, члены всяких комитетов, председатели комиссий и четырехзвездные генералы — хотели только Белойна и только ему доверяли. Сам он, насколько я знаю, вовсе не жаждал заполучить это место. У него хватало ума понять, что рано или поздно станет неизбежным конфликт — и чертовски неприятный — между учеными и политиками, которых ему предстояло объединить.

Достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу людей, которые им руководили, — ученых, а не генералов. Генералы, сделав себе карьеру, преспокойно принялись за мемуары, а ученых, одного за другим, постигло «изгнание из обоих миров» — политики и науки. Белойн изменил свое мнение только после беседы с президентом. Не думаю, что он поддался на какой-то фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент его просит, а он эту

* Человек одухотворенный (и) Человек сведущий (лат.).

просьбу в состоянии выполнить, для Белойна значила столько, что он решился рискнуть всем своим будущим.

Но я заговорил языком памфлета, — а ведь Белойном, наверное, руководило еще и любопытство. К тому же отказ был бы похож на трусость, а откровенно признаться в трусости может лишь тот, кто обычно страха не знает. У человека боязливого, не уверенного в себе не останется мужества так чудовищно обнажиться, показать всему свету — и самому себе — главное свойство своей природы. Впрочем, даже если мужество отчаяния и сыграло здесь какую-то роль, Белойн оказался, конечно, самым подходящим человеком на этом — самом неудобном — посту Проекта.

Мне рассказывали, что генерал Истерленд, первый начальник Проекта, до такой степени не мог управиться с Белойном, что добровольно ушел со своего поста. Белойн же сумел внушить всем, будто только и жаждет уйти из Проекта; он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерленда уступали ему во всем, лишь бы избежать неприятных разговоров на самом верху. Решив наконец, что теперь он прочно сидит в седле, Белойн сам предложил включить меня в Научный Совет; ему даже не понадобилось угрожать отставкой.

Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек. ни о какой рекламе, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Белойн искренне растроган. Он даже пытался меня обнять (чего я не выношу) Его свита держалась в некотором отдалении; он принимал меня почти как удельный князь, и, по-моему, мы оба одинаково ощущали неизбежный комизм положения. На крыше не было ни одного человека в мундире; я было подумал, что Белойн просто их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу, но я ошибался — правда, только насчет размеров его власти: как потом выяснилось, он вообще удалил военных из сферы своей юрисдикции.

На дверях его кабинета кто-то вывел губной помадой, огромными буквами: «COELUM»* Белойн, разумеется, ни на минуту не умолкал, но, когда свита, словно ножом отрезанная, осталась за дверьми, выжидающе улыбнулся.

Пока мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией, ничто не нарушало гармонию встречи; но я, хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего рас-

* Небеса (лат.)

спрашивать о взаимоотношениях Проекта с Пентагоном и администрацией: меня интересовало, насколько свободно могут публиковаться результаты исследований. Он попробовал — не слишком уверенно — пустить в ход тот тяжеловесный жаргон, на котором изъясняются в госдепартаменте, поэтому я повел себя ехиднее, чем хотел; возникший между нами разлад был смыт лишь красным вином (Белойн предпочитает вино за обедом). Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а только избрал манеру речи, позволяющую вложить минимум содержания в максимум слов, — потому что его кабинет был наспигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем было начинено все подряд, включая мастерские и лаборатории.

Я узнал об этом через несколько дней, из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал, — для них это было столь же естественно, как песок в пустыне. Впрочем, все они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и по-мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Из соображений гуманности — чтобы не слишком скучали загадочные (сам я их не видел ни разу) сотрудники, которым потом приходилось прослушивать все записи, — установился обычай отключать аппаратики, перед тем как рассказать анекдот, особенно нецензурный. Но телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило — разве когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала. При всем при том ни одного человека в мундире или хотя бы чего-то наводящего на мысль о мундире кругом и в помине не было.

Единственным человеком не из круга ученых в Научном Совете был доктор (но доктор юриспруденции) Вильгельм Ини — самый элегантный из сотрудников Проекта. Он представлял в Совете доктора Марсли (который — должно быть, случайно — был одновременно полным генералом). Ини прекрасно понимал, что исследователи, особенно молодежь, стараются его разыграть: передают из рук в руки какие-то листки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу — делая вид, что не заметили его, — в ужасающе радикальных взглядах.

Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный, со спичку, микрофончик, извлечен-

ный из-под розетки в жилой комнате. Меня все это ничуть не смешило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно.

Ини представлял весьма реальную силу; так что ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не делали его симпатичнее. Он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми потчуют его окружающие, вызваны желанием отыграться: кто как не он был молчаливо улыбающимся *spiritus movens** Проекта, или, скорее, его начальством в элегантных перчатках? Он казался дипломатом среди туземцев, которые хотели бы выместить на столь заметной персоне свое бессилие; расплаившись больше обычного, они могут даже что-то порвать или разбить, но дипломат спокойно терпит подобные демонстрации, ведь для того он сюда и прислан; он знает, что, даже если ему и досталось, затронут не сам он, а сила, которая за ним стоит. Он может отождествлять себя с ней, а это очень удобно: устранив свое «Я», ты ощущаешь несокрушимое превосходство.

Тех, кто представляет не себя, а служит лишь символом (пусть осязаемым и вещественным, носящим подтяжки и галстук-бабочку), ходячим олицетворением организации, управляющей людьми и вещами, — таких людей я искренне не терплю и не способен перерабатывать свою антипатию в ее шуточные или язвительные эквиваленты. Поэтому Ини с самого начала обходил меня стороной, как злую собаку, превосходно учуяв мое к нему отношение; без обостренного чутья он и не смог бы делать свою работу. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же — на свой безличный лад, оставаясь неизменно вежливым и предупредительным. Меня это, разумеется, еще больше раздражало. Для людей его типа моя человеческая оболочка была всего лишь футляром, в котором содержится инструмент, необходимый для высших целей (известных им, но мне недоступных). Больше всего меня удивляло в нем то, что он, похоже, имел какие-то взгляды. Но возможно, и это была лишь искусная имитация.

Еще более «не по-американски, неспортивно» относился к Ини доктор Саул Раппопорт, первооткрыватель звездного Послания. Однажды он прочел мне отрывок из старой книги, где описывались способы выращивания кабанов, которых на-

* Движущий дух (лат.)

таскивают на отыскивание трюфелей; в возвышенном стиле, свойственном прошлому веку, говорилось там, как разум человеческий, согласно со своим предназначением, использует ненасытную жадность свиней, подбрасывая им желуди взамен вырытых ими трюфелей.

Та же судьба, говорил Раппопорт, ожидает ученых, как видно хотя бы на нашем примере. Свой прогноз он изложил абсолютно серьезно. Оптовый торговец, говорил он, насколько не интересуется душевными переживаниями дрессированного кабана, они для него просто не существуют, ему нужны только желанные трюфели, и нашим хозяевам — тоже.

Правда, научно обоснованному разведению ученых мешают пережитки сознания, вздорные идеи, порожденные Французской революцией, но следует ожидать, что долго это продолжаться не будет. Кроме устроенных по последнему слову науки свиарников, то бишь сверкающих лабораторий, понадобятся еще кое-какие придумки, которые избавят нас от всяких душевных недугов. К примеру, свои агрессивные инстинкты научный работник мог бы разряжать в зале, заставленном манекенами генералов и прочих вельмож, специально приспособленными для битья; к его услугам были бы также особые кабинеты для разрядки сексуальной энергии, и так далее. Разрядившись вволю здесь и там, ученый кабан уже безо всяких помех может заняться выискиванием трюфелей, на пользу хозяевам и на погибель человечеству, как того требует новая историческая эпоха.

Раппопорт ничуть не тайл своих взглядов, а я с интересом наблюдал за реакцией окружающих — не на официальных заседаниях, разумеется. Молодежь просто хохотала до упаду, а Раппопорт сердился — ведь он, в сущности, не думал шутить. Но тут ничего не поделаешь: личный опыт нельзя передать и даже, пожалуй, пересказать кому-то другому. Раппопорт приехал к нам из Европы, а с точки зрения магического «генеральского» и «сенаторского» мышления (это его собственные слова) вся Европа выглядит омерзительно красной. Его бы и не допустили к такой работе, не окажись он случайно пионером Проекта. В наш коллектив его включили только из страха перед утечкой информации.

В Штаты Раппопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя стало известно кое-кому из специалистов еще до войны; на

свете не слишком много философов, которые по-настоящему разбираются в математике и естественных науках, и в Проекте такие люди были очень нужны. Мы жили дверь в дверь в гостинице поселка и вскоре сдружились по-настоящему. Он покинул родину в тридцать лет, один как перст: вся семья его была уничтожена. Об этом он ни разу не говорил — до того вечера, когда ему единственному я раскрыл нашу с Протеро тайну. Тут я забегаю вперед, но без этого, похоже, не обойтись. То ли чтобы отблагодарить странной этой исповедью за мое доверие, то ли еще почему-то, Раппопорт рассказал, как у него на глазах — кажется, в 1942 году — происходила массовая экзекуция в его родном городе.

Его схватили на улице вместе с другими случайными прохожими; их расстреливали группами во дворе недавно разбомбленной тюрьмы, одно крыло которой еще горело. Раппопорт описывал подробности этой операции очень спокойно. Столпившись у стены, которая грела им спины, как громадная печь, они не видели самой экзекуции — место казни загоразивала полуразрушенная стена; одни впали в странное оцепенение, другие пытались спастись — самыми безумными способами.

Раппопорту запомнился молодой человек, который, подбежав к немецкому жандарму, начал кричать, что он не еврей, — но кричал он это по-еврейски (на идиш), видимо, не зная немецкого языка. Раппопорт ощутил сумасшедший комизм ситуации; и тут всего важнее для него стало сберечь до конца ясность сознания — ту самую, что позволяла ему смотреть на эту сцену с интеллектуальной дистанции. Однако для этого необходимо было — деловито и неторопливо объяснял он мне, как человеку «с той стороны», который в принципе не способен понять подобные переживания, — найти какую-то ценность вовне, какую-то опору для ума; а так как никакой опоры у него не было, он решил уверовать в перевоплощение, хотя бы на пятнадцать — двадцать минут — этого ему бы хватило. Но уверовать отвлеченно, абстрактно не получалось никак, и тогда он выбрал среди офицеров, стоявших поодаль от места казни, одного, который выделялся своим обликом.

Раппопорт описал его так, будто смотрел на фотографию. Это был бог войны — молодой, статный, высокий; серебряное шитье его мундира словно бы поседело или подернулось пеплом от жара. Он был в полном боевом снаряжении —

«Железный крест» у воротника, бинокль в футляре на груди, глубокий шлем, револьвер в кобуре, для удобства сдвинутый к пряжке ремня; рукой в перчатке он держал чистый, аккуратно сложенный платок, который время от времени прикладывал к носу, — экзекуция шла уже давно, с самого утра, пламя успело подобраться к ранее расстрелянным, которые лежали в углу двора, и оттуда разлило жарким смрадом горящих тел. Впрочем — и об этом не забыл Раппопорт, — сладковатый трупный запах он уловил лишь после того, как увидел платок в руке офицера. Он внушил себе, что в тот миг, когда его, Раппопорта, расстреляют, он перевоплотится в этого немца.

Он прекрасно сознавал, что это совершенный вздор с точки зрения любой метафизической доктрины, включая само учение о перевоплощении, ведь «место в теле» было уже занято. Но это как-то ему не мешало, — напротив, чем дальше и чем более жадно всматривался он в своего избранника, тем упорнее цеплялось его сознание за нелепую мысль, призванную служить ему опорой до последнего мига; тот человек словно бы возвращал ему надежду, нес ему помощь.

Хотя Раппопорт и об этом говорил совершенно спокойно, в его словах мне почудилось что-то вроде восхищения «молодым божеством», которое так мастерски дирижировало всей операцией, не двигаясь с места, не крича, не впадая в полупьяный транс пинков и ударов, — не то что его подчиненные с железными бляхами на груди. Раппопорт вдруг понял, почему они именно так и должны поступать: палачи прятались от своих жертв за стеной ненависти, а ненависть не могли бы разжечь в себе без жестокостей и поэтому колотили евреев прикладами; им нужно было, чтобы кровь текла из рассеченных голов, коркой засыхая на лицах, превращая их в нечто уродливое, нечеловеческое и тем самым — повторяю за Раппопортом — не оставляя места для ужаса или жалости.

Но молодое божество в мундире, обшитом пепельно-сизой серебристой тесьмой, не нуждалось в подобных приёмах, чтобы выполнять свои обязанности безупречно. Оно стояло на небольшом возвышении, поднеся к носу белоснежный платок; в этом жесте проглядывал завсегда́тай салонов и дуэлянт — рачительный хозяин и вождь в одном лице. В воздухе плавали хлопья копоти, гонимые жаром, — ведь рядом, за толстыми стенами, в зарешеченных окнах без стекол ре-

вел огонь, — но ни пятнышка сажи не было на офицере и его белоснежном платке.

Захваченный таким совершенством, Раппопорт забыл о себе; тут распахнулись ворота, и во двор въехала группа кинооператоров. Кто-то скомандовал по-немецки, выстрелы тотчас смолкли. Раппопорт так и не узнал, что произошло. Быть может, немцы собирались заснять груды трупов для своей кинохроники, изображающей бесчинства противника (дело происходило в ближнем тылу Восточного фронта). Расстрелянных евреев показали бы как жертв большевистского террора. Возможно, так оно и было, — но Раппопорт ничего не пытался объяснить, он только рассказывал об увиденном.

Сразу же вслед за тем его и постигла катастрофа. Всех уцелевших аккуратно построили в ряды и засняли. Потом офицер с платочком потребовал одного добровольца. И вдруг Раппопорт понял, что должен выйти вперед. Он не мог бы объяснить почему, но чувствовал, что, если не выйдет, с ним произойдет что-то ужасное. Он дошел до той черты, за которой вся сила его внутренней решимости должна была выразиться в одном шаге вперед, — и все же не шелохнулся. Офицер дал им пятнадцать секунд на размышление и, повернувшись спиной, тихо, словно бы нехотя, заговорил с одним из своих подчиненных.

Раппопорт был доктором философии, автором великолепной диссертации по логике, но в эту минуту он и без сложных силлогизмов мог понять: если никто не вызовется — расстреляют всех, так что вызвавшийся, собственно, ничем не рискует. Это было просто, очевидно и достоверно. Он снова попытался заставить себя шагнуть, уже безо всякой уверенности в успехе, — и снова не шелохнулся. За две секунды до истечения срока кто-то все-таки вызвался и в сопровождении двух солдат исчез за стеной. Оттуда послышалось несколько револьверных выстрелов; потом молодого добровольца, перепачканного собственной и чужой кровью, вернули в шеренгу.

Уже смеркалось, когда открыли огромные ворота и уцелевшие люди, пошатываясь и дрожа от вечернего холода, высыпали на пустынную улицу.

Сперва они не смели убежать, — но немцы больше ими не интересовались. Раппопорт не знал почему; он не пытался анализировать действия немцев; те вели себя словно рок, чьи прихоти толковать бесполезно.

Вышедшего из рядов человека — нужно ли об этом рассказывать? — заставляли переворачивать тела расстрелянных; недобитых пристреливали из револьвера. Словно желая удостовериться, что я действительно не способен понять ничего в этой истории, Раппопорт спросил, зачем, по-моему, офицер вызвал добровольца, — а если бы его не нашлось, не задумываясь убил бы всех уцелевших, хотя это было как будто «лишним», во всяком случае, в тот день, — и даже не подумал объяснить, что вызвавшемуся ничего не грозит. Признаюсь, я не сдал экзамена; я сказал, что, должно быть, офицер поступил так из презрения к своим жертвам, чтобы не вступать с ними в разговор. Раппопорт отрицательно покачал своей птичьей головой.

— Я понял это позже, — сказал он, — благодаря другим событиям. Хоть он и обращался к нам, мы не были для него людьми. Пусть даже мы в принципе понимаем человеческую речь, но людьми не являемся — он знал это твердо. И он ничего не смог бы нам объяснить, даже если бы очень того захотел. Он мог с нами делать что угодно, но вступать в какие-либо переговоры не мог — для переговоров нужна сторона, хотя бы в каком-то отношении равная, а на этом тюремном дворе существовали только он сам да его подчиненные. Конечно, тут есть логическое противоречие, — но он-то действовал как раз в духе этого противоречия, и вдобавок очень старательно. Тем из его людей, что попроще, не посвященным в высшее знание, наши тела, наши две ноги, две руки, лица, глаза — все эти внешние признаки мешали выполнять свой долг; и они кромсали, уродовали эти тела, чтобы лишить нас всякого человекоподобия; но офицеру такие топорные приемы уже не требовались. Подобные объяснения воспринимаются как метафора, но это буквально так.

Мы больше никогда не говорили о его прошлом. Немало минуло времени, прежде чем я перестал при виде Раппопорта невольно вспоминать эту сцену, которую он так отчетливо изобразил, — тюремный двор, изрытый воронками, лица, исчерченные красными и черными полосками крови из разбитых прикладами черепов, и офицер, в тело которого он хотел — иллюзорно — переселиться. Не берусь сказать, насколько сохранилось в нем ощущение гибели, которой он избежал. Впрочем, он был человеком весьма рассудительным и в то же время довольно забавным; я еще больше восстанавлю его против себя, если расскажу, как развлекал меня

его каждодневный утренний выход (подсмотренный, впрочем, случайно). За поворотом гостиничного коридора висело большое зеркало. Раппопорт — он страдал желудком и набивал карманы флакончиками разноцветных пилюль — каждое утро по пути к лифту высовывал перед зеркалом язык, проверяя, не обложен ли он. Пропусти он эту процедуру хоть раз, я решил бы, что с ним что-то стряслось.

На заседаниях Научного Совета он откровенно скучал, а сравнительно редкие и, в общем, тактичные выступления доктора Вильгельма Ини вызывали у него аллергию. Те, кому не хотелось слушать Ини, могли наблюдать мимический аккомпанемент к его словам на лице Раппопорта. Он морщился, словно чувствовал какую-то гадость во рту, хватался за нос, чесал за ухом, смотрел на выступавшего исподлобья с таким видом, будто хотел сказать: «Это он, наверное, не всерьез...» Однажды Ини, не выдержав, прямо спросил, не хочет ли он что-то добавить; Раппопорт выразил крайне наивное удивление, затряс головой и, разведя руками, заявил, что ему нечего, просто-таки абсолютно нечего сказать.

Я привожу эти детали, чтобы читатель увидел героев Проекта с менее официальной стороны, а заодно ощутил безрадостную атмосферу сообщества, изолированного от целого света. Странное это было время, когда такие невероятно разные люди, как Белойн, Ини, Раппопорт и я, собрались вместе, да еще с целью «установления Контакта» — стало быть, в роли дипломатических представителей Человечества.

Как ни различались мы между собой, но, собравшись для изучения звездного Послания, мы образовали сообщество со своими обычаями, ритмом существования, формами человеческих отношений с их тончайшими оттенками — официальными, полуофициальными и неофициальными; все это вместе составляло «дух Проекта» — и даже нечто большее, что социолог, вероятно, назвал бы «локальной субкультурой». Внутри Проекта, который в свою лучшую пору насчитывал без малого три тысячи человек, эта аура была столь же отчетлива, сколь и мучительна, что особенно ясно стало ощущаться со временем — во всяком случае, мною.

Один из наших старейших сотрудников, Ли Рейнхорн, который в свое время, совсем еще молодым физиком, принимал участие в Манхэттенском проекте, сказал мне, что

здешняя атмосфера несравнима с тамошней. Тот проект нацеливал участников на исследования, по природе своей физические, естественно-научные, а наш совершенно неотделим от всей человеческой культуры. Рейнхорн называл ГЛАГОС экспериментальным тестом на космическую инвариантность земной культуры и особенно раздражал наших коллег-гуманитариев тем, что с невинным видом сообщал им всяческие новинки из их же области. Дело в том, что, независимо от работы в своей (физической) группе, он штудировал все, что было опубликовано за последние лет пятнадцать по проблеме космического языкового контакта, особенно в той ее части, которая получила название «дешифровка языков, обладающих замкнутой семантикой».

Полнейшая бесплодность этой пирамиды ученых трудов (библиография которых, сколько я помню, насчитывала пять с половиной тысяч названий) была очевидна. Всего забавней, однако, что такие труды продолжали публиковаться, и притом регулярно, — ведь, кроме горсточки избранных, никто во всем мире не догадывался о существовании звездного Письма. Профессиональная гордость и чувство корпоративной солидарности наших лингвистов подвергались тяжелым испытаниям, когда Рейнхорн — получив по почте очередную порцию книг и статей — на полуофициальных рабочих совещаниях знакомил нас с новостями по части «звездной семантики». Бесплодность этих наукообразных трудов, любовно нашпигованных математикой, нас забавляла, а лингвистов обескураживала.

Доходило даже до стычек — лингвисты обвиняли Рейнхорна в умышленном издевательстве. Трения между гуманитариями и естественниками были в Проекте делом обычным. Первых у нас называли «гумами», а вторых — «физами». Вообще словарь специфического жаргона Проекта весьма богат; этим жаргоном, а также формами сосуществования обеих «партий» стоило бы заняться какому-нибудь социологу.

Довольно сложные причины заставили Белойна пригласить уйму специалистов-гуманитариев; не последнюю роль сыграло здесь то, что он и сам был гуманитарием по образованию и по интересам. Однако соперничество «физов» и «гумов» едва ли могло стать плодотворным, ведь наши философы, антропологи, психологи и психоаналитики не располагали, собственно, никаким материалом для исследований. Поэтому всякий раз, когда назначалось закрытое

заседание какой-либо секции «гумов», кто-нибудь приписывал на доске объявлений рядом с названием доклада буквы «SF» (Science Fiction); подобное мальчишество, достойное сожаления, было реакцией на бесплодность таких заседаний.

Совместные совещания почти всегда кончались открытыми ссорами. Пожалуй, больше других кипятились психоаналитики, причем их требования были весьма специфичны: дескать, пускай те, кому положено, расшифруют «буквальный слой» Послания, а уж они возьмутся за воссоздание всей системы символов, которыми оперирует цивилизация «Отправителей». Само собой, напрашивалась реплика наподобие следующей: допустим, Отправители размножаются неполовым путем, а это предполагает десексуализацию их «символической лексики» и обрекает на неудачу любую попытку ее психоанализа. Того, кто так говорил, немедленно объявляли невеждой — ведь современный психоанализ далеко ушел от фрейдовского пансексуализма; а если к тому же слово брал какой-нибудь феноменолог, дискуссия затягивалась до бесконечности.

И то сказать: нам мешал *embarras de richesse** — бесполезный избыток специалистов-«гумов»; в Проекте были представлены даже такие редкостные дисциплины, как психоанализ истории или плейография (убей Бог, не помню, чем занимаются плейографы, хотя уверен, что в свое время мне об этом рассказывали).

Видно, Белойн все же зря поддался в этом вопросе влиянию Пентагона; тамошние советники усвоили одну-единственную праксеологическую истину, зато усвоили ее намертво. Эта истина заключается в следующем: если один человек может выкопать яму объемом в один кубометр за десять часов, то сто тысяч землекопов выроют такую яму за долю секунды. Конечно, эта орава разобьет себе головы, прежде чем поднимет на лопату первый комок земли; так и наши несчастные «гумы» вместо того, чтобы «эффективно работать», сражались друг с другом или с нами.

Однако Пентагон по-прежнему верил, что капиталовложения прямо пропорциональны результатам, и с этим ничего нельзя было поделать. Волосы поднимались дыбом при мысли, что нас опекают люди, искренне убежденные, что проблему, с которой не могут справиться пять специалистов, на-

* Трудности изобилия (фр.)

верняка одолеют пять тысяч. У бедных «гумов» накапливались комплексы: по существу, они были обречены на абсолютное, хотя и всячески маскируемое безделье, и, когда я прибыл в поселок, Белойн признался мне с глазу на глаз, что его заветное, хотя и несбыточное желание — избавиться от ученого балласта. Об этом нечего было и думать по очень простой причине: тот, кто был однажды включен в Проект, не мог просто взять да уйти, ведь это грозило «разгерметизацией» — иными словами, утечкой тайны в ничего пока не подозревающий громадный мир.

Так что Белойну приходилось совершать чудеса дипломатии и такта и даже придумывать для «гумов» занятия — вернее, заменители таковых, — и его скорее бесили, чем смешили, шуточки «физов», бередившие зарубцевавшиеся было шрамы. Так, однажды в «копилке идей» появился проект, в котором предлагалось «приказом по команде» перевести психоаналитиков и психологов с должностей исследователей Послания на должности личных врачей тех, кто не может Послание прочитать и потому страдает от «стрессов».

Вашингтонские советники тоже не оставляли Белойна в покое, время от времени загораясь новой идеей. Например, они очень долго и очень настойчиво требовали организовать большие смешанные совещания по принципу мозгового штурма; этот принцип заключается в том, что ум мыслителя-одиночки, напряженно размышляющего над проблемой, пытаются заменить большим коллективом, который «думает вслух» на предложенную тему. Белойн со своей стороны испробовал различные тактики (пассивные, оборонительные и активные) противодействия такого рода «хорошим советам».

Тяготея, силой вещей, к партии «физов», я буду заподозрен в пристрастности и все же скажу, что поначалу мне были чужды какие-либо предубеждения. Сразу после прибытия в поселок Проекта я принялся изучать лингвистику, сочтя это необходимым, и вскоре к крайнему своему удивлению обнаружил, что в этой — столь, казалось бы, точной и сильно математизированной области знаний — нет и намека на согласие взглядов. Крупнейшие авторитеты совершенно по-разному отвечают даже на важнейший и в некотором смысле исходный вопрос о том, что такое морфемы и фонемы. А когда в беседах с лингвистами я совершенно искренне недоумевал, как они могут работать при подобном положении

дел, в моем простодушном любопытстве им чудилось зло- вредное издевательство. Я не сразу понял, что в Проекте очу- тился между молотом и наковальней; я думал, как лучше рубить лес, не замечая летящих при этом щепок, и лишь доброты вроде Раппопорта и Дилла частным порядком по- святили меня в сложную психосоциологию сосуществования «физов» и «гумов». Некоторые называли ее холодной войной.

Отнюдь не все, что делали «гумы», было бесполезным, это я должен признать; например, смешанная группа Уэйна и Тракслера получила интересные теоретические результаты по проблеме конечных автоматов без подсознания (то есть способных к исчерпывающему самоописанию), и вообще «гу- мы» дали много ценных работ, с одной только оговоркой: к звездному Посланию эти работы имели весьма отдаленное отношение, а то и совсем никакого. Я говорю об этом отнюдь не в упрек «гумам». Я только хочу показать, какой огромный и сложный механизм запустили на Земле в связи с Первым Контактom и как много у этого механизма было хлопот с самим собой, со своими собственными шестеренками; а это, конечно, не способствовало достижению цели.

Не слишком благоустроенным был и наш быт. Автомоби- лей у нас почти не было — проложенные ранее дороги за- сыпало песком; зато в поселке курсировала миниатюрная подземка, построенная еще для обслуживания атомного по- лигона. Все здания, эти серые тяжеловесные ящики с округ- лыми стенами, стояли на огромных бетонных опорах, а под ними, по бетону пустых паркингов, разгуливал раскаленный ветер, словно вырываясь из мощной домны; кружился в этом тесном пространстве и нес тучи отвратительного краснова- того песка, мельчайшего, всюду проникающего, стоило вый- ти из герметически закупоренных помещений. Даже бассейн располагался под землей — иначе было бы невозможно ку- паться.

И все же многие предпочитали ходить от здания к зданию в нестерпимом зное, лишь бы не пользоваться подземным транспортом; это кротовье существование нас угнетало, тем более что на каждом шагу встречались напоминания о пре- жней истории поселка. Например, гигантские оранжевые бук- вы SS (помню, о них с раздражением говорил Раппопорт), светившиеся даже днем; они указывали направление убежи- ща — то ли «Supershelter», то ли «Special Shelter»*, этого я

* «Сверхубежище», «Особое убежище» (англ.)

уж не знаю. Не только в подземных, но и в наших рабочих помещениях светились таблички «EMERGENCY EXIT», «ABSORPTION SHIELD»*, а на бетонных щитах перед входами в здания там и сям виднелось: «BLAST LOADING»**, с цифрами, указывающими, на какую мощность взрывной волны рассчитано данное здание. В коридорах и на лестничных площадках стояли большие ярко-красные дезактивационные контейнеры, а ручных счетчиков Гейгера было пруд пруди.

В гостинице все легкие перегородки, простенки, стеклянные стены, разгораживающие холл, были помечены огромными пылающими надписями, которые извещали, что во время испытаний в этом месте находиться опасно, так как оно может не выдержать ударной волны. И наконец, на улицах кое-где сохранились еще громадные стрелы, показывающие, в каком направлении распространяется фронт ударной волны и каков здесь коэффициент ее отражения, — словно ты находишься в пресловутой «нулевой точке», и в любую минуту небо над головой может взорваться термоядерной вспышкой. Лишь немногие из этих надписей со временем покрасили. Я спрашивал, почему не все, а мне в ответ усмехались: мол, и так уже убрана уйма табличек, сирен, счетчиков, баллонов с кислородом для продувания, а того, что осталось, просила не трогать администрация поселка.

Меня, новичка с обостренным взглядом, эти пережитки атомной предыстории поселка неприятно поражали, впрочем, лишь до поры до времени, — потом, уйдя с головой в расшифровку Послания, я тоже перестал замечать их.

Сначала здешние условия — только географические и климатические — показались мне невыносимыми. Если бы Грогиус еще в Нью-Гемпшире сказал, что я полечу туда, где каждая ванная и каждый телефон прослушиваются, если б я мог хоть издали увидеть Вильгельма Ини, я бы не только понял, но и почувствовал, что здешние свободы могут исчезнуть, как только мы сделаем то, чего от нас ожидают; и тогда, кто знает, согласился ли бы я так легко. Но даже конклав можно довести до людоедства, если действовать терпеливо и не спеша. Механизм психической адаптации неумолим.

* «Аварийный выход», «Поглощающий экран» (англ.)

** «Предельная нагрузка от взрывной волны» (англ.)

Если бы кто-нибудь сказал Марии Кюри, что через пятьдесят лет открытая ею радиоактивность приведет к появлению мегатонн и overkill'a*, то она, может быть, не отважилась бы продолжать работу — и уж наверняка не обрела бы прежнего спокойствия духа. Но мы притерпелись, и никто теперь не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами и гигапокойниками. Наше уменье ко всему приспособляться и, как следствие, все принимать — одна из величайших опасностей для нас же самих. Существа со столь поразительно гибкой приспособляемостью не способны иметь жестких нравственных норм.

V

Молчание космоса, знаменитое «*Silentium Universi*», успешно заглушавшееся грохотом локальных войн середины нашего века, многие астрофизики признали непреложным фактом после того, как настойчивые радиотелескопические поиски, от проекта Озма до многолетних исследований в Австралии, не дали никаких результатов.

Все это время кроме астрофизиков над проблемой работали и другие специалисты — те, что изобрели Логлан, Линкос и другие искусственные языки для установления межзвездной связи. Было сделано много открытий — вроде того, что экономнее вместо слов посылать телевизионные изображения. Теория и методология Контакта разрослись до размеров целой науки. Уже было в точности известно, как должна вести себя цивилизация, желающая установить связь с другими. Начаться все должно с посылки позывных сигналов в широком диапазоне частот; ритмичность сигналов будет указывать на их искусственное происхождение, а частота — где, на каких мега- или килоциклах искать саму передачу. Передача должна начинаться с систематического изложения грамматики и словаря, словом, это были вселенские *savoir vivre*** , обязательные для самых отдаленных туманностей.

Оказалось, однако, что неведомый Отправитель допустил неприятнейший промах, прислав письмо без всякого предисловия, без грамматики, без словаря, — огромное Письмо, за-

* Избыточное уничтожение (англ.).

** Правила хорошего тона (фр.).

нявшее чуть ли не километр регистрационных лент. Вот почему я сразу подумал, что Послание предназначено кому-то другому (и мы по чистой случайности оказались на линии связи между двумя беседующими цивилизациями) либо оно адресовано всем цивилизациям, которые преодолели определенный «порог знаний» и могут не только обнаружить трудноуловимый сигнал, но и расшифровать его содержание. В первом случае — при случайном приеме — вопрос о «несоблюдении правил» снимался, во втором — принимал иную, более сложную форму: информация — так я себе представлял — должна быть как-то защищена от «непосвященных».

Не зная ни кодовых символов, ни синтаксиса, ни словаря, Послание можно расшифровать только методом проб и ошибок, используя частотный отбор, причем результата можно прождать двести лет или два миллиона, а то и целую вечность. Узнав, что в число математиков проекта входят Бир и Шейрон, а Радклифф здесь — главный программист, я почувствовал себя неуверенно и вовсе этого не скрывал. Зачем же понадобился еще и я? Отчасти меня ободряло лишь то, что в математике существуют нерешаемые задачи, перед которыми пасуют и третьеразрядные счетоводы, и гениальнейшие умы. И все же какие-то шансы на успех, вероятно, имелись — иначе меня бы не пригласили. Как видно, Шейрон и Бир сочли, что если не им, то кому-то другому, возможно, удастся выйти с честью из этой небывалой схватки.

Вопреки распространенному мнению, понятийное сходство языков земных культур — при всей их разноликости — просто поразительно. Телеграмму «Бабушка умерла похороны среду» можно перевести на любой язык, от латыни и хинди до диалекта апачей, эскимосов или племени добу, и даже на язык мустьерской эпохи, будь он известен. Ведь у каждого человека есть мать его матери; каждый смертен; ритуал устранения трупа существует в любой культуре, равно как и счет времени. Однако существам однополым не знакомо различие между матерью и отцом, а у существ, способных делиться, как амёбы, не может быть понятия родителя, даже однополого. Значит, они не поняли бы смысла слова «бабушка». Бессмертные существа (амёбы, делясь, не умирают) не знали бы понятий «смерть» и «похороны», и, чтобы перевести эту — столь ясную для нас — телеграмму, им пришлось бы сперва изучить анатомию, физиологию, эволюцию, историю, быт и нравы человека.

Мой пример упрощен: предполагается, что получатель сигнала знает, где тут информационные знаки, а где — их несущественный фон. Мы находились в ином положении. Зарегистрированные сигналы могли означать, допустим, знаки препинания, тогда как сами «буквы» (или идеограммы) вообще не попали на регистрирующий слой — если аппаратура нечувствительна к импульсам, которыми эти «буквы» передавались.

Особо стоит вопрос о различии уровней цивилизации. Историк искусства определит по золотой посмертной маске Аменхотепа эпоху и стиль ее культуры. По орнаменту маски религиовед уяснит характер тогдашних верований. Химик укажет, какие методы обработки золота тогда применялись. Антрополог решит, отличался ли человек, живший 3500 лет назад, от современного человека, а врач поставит диагноз, что у Аменхотепа были гормональные нарушения, которые привели к акромегалической деформации челюсти. Стало быть, предмет тридцатипятивековой давности дает нам, современным людям, гораздо больше информации, чем имели его создатели, — что они знали о химии золота, акромегалии и стилях культуры? Если мы предпримем обратную процедуру и отправим в эпоху Аменхотепа написанное сегодня письмо, там его не прочтут — не только потому, что не знают нашего языка, но, главное, потому, что не располагают адекватными словами и понятиями.

Так выглядели общие соображения насчет звездного Письма. Информацию о нем скомпоновали в виде стандартного текста; текст записали на магнитофон и прокручивали для Особо Важных Персон, которые нас посещали. Чем его пересказывать, процитирую лучше дословно:

«Проект «Глас Господа» имеет целью всестороннее изучение и, по возможности, расшифровку так называемого Послания со звезд; по всей вероятности, это серия сигналов, намеренно высланных с помощью искусственных технических устройств существом или существами, принадлежащими к неопознанной внеземной цивилизации. Носителем информации служит поток частиц, именуемых нейтрино, которые лишены массы покоя и обладают магнитным моментом, в 1600 раз меньшим, чем магнитный момент электрона. Нейтрино — наиболее проникающие из всех известных элементарных частиц. Они падают на Землю со всех сторон. Некоторые из них рождаются в звездах (стало быть, и на Солнце) в результате естественных про-

цессов — в ходе реакции бета-распада и других ядерных реакций; другие же возникают при столкновении первичных нейтрино с ядрами элементов в земной атмосфере и земной коре. Их энергия колеблется от десятков тысяч до миллиардов электрон-вольт. В работах Шигубова доказана теоретическая возможность нейтринного лазера, или «назера», посылающего корпускулярный монохроматический луч. Возможно, именно так устроен передатчик, посылающий принятые нами сигналы. Усилиями Хьюза, Ласкальи и Джеффриса создано устройство для регистрации отдельных энергетических фракций нейтринного спектра. Оно основано на принципе Айншофа — принципе «псевдомолекулярного обмена» — и известно под названием инвертора, или преобразователя нейтрино. Использование эффекта Сеницына — Мессбауэра позволяет выделить пучок излучения с точностью до 30 000 эВ.

В ходе длительной регистрации низкоэнергетических потоков в полосе 57 МэВ был обнаружен сигнал искусственного происхождения, состоящий из более чем двух миллиардов знаков в пересчете на бинарный (двоичный) код, причем передается он подряд (без перерывов). Этот сигнал, радиант которого охватывает всю область альфы Малого Пса, а также ее окрестности в пределах полутора градусов — то есть довольно обширен, — несет информацию неизвестного содержания и назначения. Поскольку избыточность канала связи, по-видимому, близка к нулю, сигнал воспринимается нами как шум. О том, что мы имеем дело с сигналом, свидетельствует тот факт, что каждые 416 часов 11 минут и 23 секунды вся модулированная последовательность повторяется снова — с точностью, которая по меньшей мере равна разрешающей силе земных приборов.

Чтобы обнаружить этот сигнал и установить его искусственное происхождение, должны быть выполнены следующие условия. Во-первых, нейтринное излучение должно приниматься аппаратурой со степенью разрешения по меньшей мере 30 000 эВ, направленной на альфу Малого Пса с допустимым отклонением в 1,5 градуса. Во-вторых, из всего потока нейтринного излучения необходимо выделить полосу, лежащую между 56,8 и 57,2 МэВ. И наконец, время постоянного приема должно превышать 416 часов 12 минут, после чего необходимо сравнить начало очередной передачи с началом предыдущей. Иначе невозможно установить, что перед нами не обычный (природный) шумовой эффект. По ряду

причин созвездие Малого Пса особенно интересует нейтринную астрономию. Поэтому там, где имеются специалисты, располагающие соответствующей аппаратурой, вероятность выполнения первого условия достаточно велика. Фильтрация полосы передачи менее вероятна, поскольку в этой области небесной сферы излучение имеет 34 максимума при других энергиях (столько их обнаружено к настоящему времени). Правда, максимум полосы 57 МэВ на полной спектрограмме излучения имеет вид зубчика более острого, то есть лучше сфокусированного энергетически, чем другие зубчики — естественного происхождения, — но это не слишком заметно; на практике эту особенность можно обнаружить лишь задним числом, когда уже известно, что сигнал в полосе 57 МэВ — искусственный.

Если принять, что из сорока обсерваторий мира, оборудованных аппаратурой Ласкальи — Джеффриса, по меньшей мере десять постоянно наблюдают радиант Малого Пса, то вероятность, что на одной из них будет выделен данный сигнал, составляет округленно $1/3$ (10:34) — при прочих равных условиях. Однако регистрация порядка 416 часов считается весьма длительной, и такая регистрация используется не чаще чем в одной из девяти-десяти исследовательских работ. Следовательно, вероятность открытия можно считать равной примерно 1: 30—40, и с такой же вероятностью оно может быть повторено за пределами Соединенных Штатов».

Я процитировал этот текст до конца, поскольку конец здесь особенно любопытен. Вероятностные оценки выглядят не очень серьезно; это был просто политический ход, не лишенный цинизма. Ведь один шанс из тридцати не кажется исчезающе малым, и расчет делался на то, что Особо Важные Персоны забеспокоятся и станут щедрее (самым дорогостоящим — кроме больших вычислительных машин — было оборудование для автоматизированного химического синтеза).

Чтобы начать работу над Посланием, нужно было с чего-то начать, в том-то и беда. Предыдущая фраза тавтологична лишь с виду. В истории несчетное множество раз появлялись мыслители, которые полагали, что процесс познания и вправду можно начать с нуля, а чистая логика однозначно приведет к единственно правильному результату. Такая иллюзия многих толкнула на отчаянные попытки. А ведь затея эта пустая. Невозможно начать что бы то ни

было без исходных посылок, независимо от того, осознаются они или нет. Эти посылки задаются и биологической природой человека, и амальгамой его культуры. Ведь культура — это тонкий слой, вклиненный между организмами и средой обитания; культура существует лишь потому, что среда неоднозначно диктует поведение, при котором обеспечивается выживание, так что всегда остается зазор для свободного выбора. Зазор, достаточно широкий, чтобы разместить в нем тысячи разных культур.

Начиная работу над «звездным кодом», следовало свести исходные посылки к минимуму, но совсем обойтись без них было нельзя. Окажись они ложными, весь труд пропал бы даром. Одной из них была гипотеза о двоичности кода. Она приблизительно соответствовала форме зарегистрированного сигнала, но сама эта форма могла зависеть от техники регистрации. Не довольствуясь сигналом, запечатленным на лентах, физики долго изучали само нейтринное излучение, которое, собственно, и было оригиналом (тогда как запись на лентах — лишь его изображение). Наконец они заявили, что код можно признать двоичным «с разумным приближением». Такое заключение, возможно, было слишком категоричным, но с этим приходилось мириться. Затем надлежало определить, к какой категории сигналов принадлежит Послание.

Согласно нашим представлениям, оно могло быть Письмом, «написанным» на понятийном языке наподобие нашего; системой «моделирующих сигналов», вроде телевизионных; «производственным рецептом», то есть перечнем операций, необходимых для изготовления некоего объекта. Наконец, в нем могло содержаться описание этого объекта («вещи»), с помощью «внекультурного» кода — такого, который использует только природные константы, имеющие математическую форму и устанавливаемые физическим путем. Различие этих четырех категорий кодов не является абсолютным. Телевизионное изображение возникает благодаря проецированию трехмерных объектов на плоскость с временной разверткой, соответствующей физиологическим механизмам нашего глаза и мозга. То, что видим на экране мы, не могут видеть другие организмы, даже далеко продвинувшиеся по эволюционной лестнице, — так, собака не распознает на экране телевизора (как и на фотографии) собаку. Точно так же не существует резкой границы между «вещью» и «производственным рецептом». Яйцеклетка — это и «вещь» (то

есть материальный объект), и «производственный рецепт» системы, которая из нее разовьется. Так что взаимоотношения между носителем информации и самой информацией могут быть весьма различными и усложненными.

При всей ненадежности этой классификации ничего лучшего не было; оставалось исключить явно не подходящие варианты. Сравнительно просто обстояло дело с «телевизионной гипотезой». В свое время она пользовалась большим успехом и считалась самой экономной. Звездный сигнал — в разных комбинациях — пробовали подать на пластины телевизионного кинескопа. Не удалось получить никаких образов, что-либо говорящих человеческому глазу, хотя на экране не было и «абсолютного хаоса». На белом фоне возникали, разрастались, сливались и исчезали черные пятна — в целом это было похоже на кипение. Если сигнал вводился в тысячу раз медленней, изображение напоминало колонию бактерий в состоянии роста, взаимопоглощения и распада. Глаз улавливал некий ритм и периодичность процесса, хотя это ни о чем не говорило.

В контрольных опытах на кинескоп подавали запись естественного нейтринного шума — и возникало беспорядочное трепетание и мерцание, лишённые центров конденсации, сливающиеся в сплошной серый фон. Впрочем, у Отправителей могла быть иная система телевидения — не оптическая, а, например, обонятельная или обонятельно-осязательная. Но, будь они даже устроены иначе, чем мы, они, несомненно, превосходили нас своими познаниями и вряд ли послали бы в космос сигнал, вероятность приема которого зависит от физиологии адресата.

Итак, второй, «телевизионный», вариант был отвергнут. Первый заведомо обрекал Проект на неудачу: как я уже говорил, без словаря и грамматики абсолютно чужой язык расшифровать невозможно. Оставались два последних. Их объединили, поскольку (об этом я тоже говорил) различие между «предметом» и «процессом» относительно. Не вдаваясь в долгие разъяснения, скажу, что Проект стартовал именно с этих позиций, получил определенные результаты, «материализовав» небольшую часть Послания (то есть, в известном смысле, расшифровав ее), но потом работа зашла в тупик.

Поставленная передо мной задача состояла в проверке обоснованности исходного предположения (Послание как «предмет-процесс»). При этом я не мог обращаться к резуль-

татам, полученным на основе такого предположения, — это была бы логическая ошибка (порочный круг). Так что мне ничего и не сообщили — не по злому умыслу, а во избежание предвзятости, на тот случай, если бы эти результаты оказались — в каком-то смысле — плодами «недоразумения».

Я даже не знал, пытались ли уже математики Проекта эту задачу решить. Следовало ожидать, что да; зная, на чем они споткнулись, я, вероятно, мог бы избавить себя от лишней работы. Но Дилл, Раппопорт и Белойн сочли, что лучше ничего мне не говорить.

Короче говоря, меня вызвали, чтобы спасти честь планеты. Мне предстояло изрядно напрячь математические бицепсы, и я, хоть и без опаски, радовался этому. Объяснения, разговоры, ритуал вручения звездной записи заняли полдня. Затем «большая четверка» проводила меня в гостиницу, следя друг за другом, чтобы никто не проболтался о тайнах, которых мне пока нельзя было знать.

VI

С той минуты, как я приземлился на крыше, меня не оставляло ощущение, что я играю роль ученого в каком-то скверном фильме. Оно еще усилилось в номере, вернее, в апартаментах, в которые меня поместили. Не припомню, чтобы в моем распоряжении когда-либо было так много ненужных вещей. В кабинете стоял президентских размеров стол, напротив — два телевизора и приемник. Кресло свободно поднималось, вращалось и раскладывалось — вероятно, чтобы слегка вздремнуть в перерывах между умственными борениями. Рядом, под белым чехлом, стояло что-то непонятное. Сперва я решил, что это какой-нибудь гимнастический снаряд или лошадь-качалка (меня уже и лошадь не удивила бы), но под чехлом оказался новенький, радующий глаз криотронный арифмометр — он мне действительно потом пригодился. Чтобы возможно полнее подключить человека к машине, инженеры IBM решили заставить его работать еще и ногами. Арифмометр имел педальный сумматор, и, нажимая на педаль, я всякий раз инстинктивно ждал, что поеду к стене, — до того это было похоже на акселератор. В стенном шкафу у стола я обнаружил диктофон, пишущую машинку и еще — небольшой, весьма старательно заполненный бар.

Но главной диковинкой оказалась подручная библиотека. Тот, кто ее комплектовал, был абсолютно убежден, что книги тем ценнее, чем больше за них заплачено. Поэтому на полках стояли энциклопедии, объемистые труды по истории математики и даже по космогонии майя. Здесь царил идеальный порядок по части переплетов и корешков и полнейшая бессмыслица в том, что скрывалось за переплетами, — за весь год я ни разу не воспользовался этой библиотекой. Спальня тоже была роскошная. Я обнаружил там электрическую грелку, аптечку и миниатюрный слуховой аппарат. До сих пор не знаю, шутка это была или недоразумение. Как видно, кто-то точно исполнил приказ, гласивший: «Создать превосходное жилье для превосходного математика». Увидев на столике у кровати Библию, я успокоился — о моем комфорте действительно позаботились.

Книга со звездным Посланием, которую мне торжественно вручили, была не особенно увлекательна — по крайней мере при первом чтении. Начало выглядело так: «000110101000011111100110111111001010010100». Продолжение — в том же духе. Единственное разъяснение гласило, что каждый знак кода содержит девять элементарных знаков (составленных из единиц и нулей).

Расположившись в своей новой резиденции, я принялся размышлять. Рассуждал я примерно так. Культура есть нечто необходимое и случайное, как подстилка гнезда; это — убежище от Мироздания, маленькая контрвселенная, с существованием которой большая Вселенная мирится молчаливо и равнодушно — равнодушно потому, что в самом Мироздании нет ответа на вопросы о добре и зле, о прекрасном и безобразном, о законах и нравах. Язык — порождение культуры — служит каркасом гнезда, скрепляет подстилку, придавая ей форму, которая обитателям гнезда кажется единственно возможной. Язык — знак их тождественности, общий знаменатель, инвариантный признак, и его действительность кончается сразу же за порогом этой хрупкой постройки.

Отправители, конечно, знали об этом. На Земле ожидали, что содержанием звездного сигнала будет математика. Как известно, большим успехом у теоретиков Контакта пользовались знаменитые Пифагоровы треугольники — геометрией Евклида мы собирались через космические бездны приветствовать иные цивилизации. Отправители приняли другое решение, по-моему — верное. Этнический язык не позволя-

ет оторваться от своей планеты — он намертво прикреплен к местной почве. А математика — слишком радикальный разрыв. Это не только разрыв локальных уз и ограничений, ставших мерилем хорошего и дурного, но и свобода от всяких физически реальных мерил. Это — деяние строителей, пожелавших, чтобы мир никогда и ни в чем не мог исказить их творение. Математика ничего не может сказать о мире — она оттого и называется чистой, что очищена от всех материальных налетов; очищение столь абсолютное служит залогом ее бессмертия. Но как раз поэтому она произвольна, порождая какие угодно, лишь бы не внутренне противоречивые, миры. Из бесконечного множества возможных математик мы выбрали одну, и предрешила это наша история, ее сиюминутные и необратимые перипетии.

С помощью математики можно сообщить, что ты Есть, что ты существуешь, — и только. Если хочется большего, без посылки производственного рецепта не обойтись. Но рецепт предполагает технологию, а всякая технология мимолетна и преходяща, это переход от одних материалов и средств к другим. Так что же — описание «предмета»? Но и предмет можно описывать неисчислимым множеством способов. Это вело в тупик.

Одна мысль не давала мне покоя. Звездный код передавался непрерывно, бесконечными сериями, вот что было непонятно — ведь это мешало распознать в нем сигнал. Несчастный Лейзеровиц был не так уж безумен: периодические «зоны молчания» казались действительно нужными, более того, необходимыми, как прямое указание на искусственность сигнала. «Зоны молчания» привлекли бы внимание сразу. Почему же их не было? Я попытался поставить вопрос иначе: непрерывность сигнала воспринималась как отсутствие информации о его искусственном происхождении. А вдруг именно это и есть дополнительная информация? Что она может тогда означать? То, что «начало» и «конец» Послания несущественны. Что читать его можно с любого места.

Эта идея заморозила меня. Теперь я отлично понимал, почему мои друзья так старались ни словечком не обмолвиться о способах, которыми они атаковали Послание. Как они и хотели, я был абсолютно непредубежден. Однако мне предстояла борьба, так сказать, на два фронта. Конечно, главным противником, в намерения которого я пытался проникнуть, был загадочный Отправитель; но вместе с тем, ре-

шая задачу, я не мог не думать о том, не иду ли я по пути, уже испробованному математиками Проекта. Я знал лишь одно: они не получили окончательного результата, то есть не только не расшифровали Послание до конца, но и не смогли доказать, что Послание представляет собой «предмет-процесс».

Как и мои предшественники, я считал, что код чересчур лаконичен. Ведь можно было дать какое-нибудь вступление, где просто и ясно объяснялось бы, как следует его читать. Так, по крайней мере, казалось. Однако лаконичность кода не есть его объективное свойство, она зависит от уровня знаний получателя, точнее — от различия в уровнях знаний отправителя и адресата. Одну и ту же информацию один получатель сочтет достаточной, другой — слишком лаконичной. Каждый, даже самый простой, объект содержит потенциально бесконечное количество информации. Как бы мы ни детализировали пересылаемое описание, оно всегда будет для одних избыточным, а для других неполным, отрывочным. Трудности, с которыми мы столкнулись, указывали, что Отправитель обращался к адресатам, по-видимому, более высоко развитым, чем люди на нынешнем этапе их истории.

Информация, оторванная от объекта, не только неполна. Она всегда представляет собой некое обобщение и не определяет объект с абсолютной точностью. В повседневной жизни мы этого не замечаем: нечеткость определения объекта при помощи языка практически незаметна. То же случается и в науке. Прекрасно зная, что скорости не складываются арифметически, мы все же не применяем релятивистскую поправку, складывая скорости судна и автомобиля, движущегося по его палубе, — ибо для скоростей, далеких от световой, эта поправка пренебрежимо мала. Так вот, существует информационный эквивалент этого релятивистского эффекта. Понятие «жизнь» практически одинаково для людей-биологов, где бы они ни жили — на Гавайях или в Норвегии. Но в космосе цивилизации разделяет такая громадная пропасть, что тождественность многих понятий может оказаться мнимой. Расшифровка далась бы гораздо легче, если бы первичные единицы кода отсылали к небесным телам. Или, может быть, к атомам? Представление об атоме как о «предмете» в немалой степени зависит от уровня знаний. Лет восемьдесят назад атом был «очень похож» на солнечную систему. Сегодня он вовсе на нее не похож.

Предположим, нам посылают шестиугольник. Его можно счесть схемой ячейки пчелиных сотов, или здания, или молекулы. Этой геометрической информации соответствует бесконечное множество объектов. Что именно имел в виду Отправитель, станет ясно не раньше, чем мы опознаем строительный материал. Если это, скажем, кирпич, класс возможных решений уменьшится, оставаясь, однако, множеством бесконечной мощности — ведь зданий шестиугольной формы можно построить бесконечно много. Пересылаемый план следовало бы снабдить точными размерами. Но существует строительный материал, чьи кирпичики сами задают необходимые размеры. Речь идет об атомах. Атомы нельзя произвольно сближать или раздвигать. Поэтому, получив «просто шестиугольник», я склонен был бы считать, что Отправитель имел в виду химическую молекулу, состоящую из шести атомов или атомных групп. Такая гипотеза резко ограничивает область дальнейших поисков.

Предположим, сказал я себе, что Послание содержит описание предмета, притом на молекулярном уровне. Исходная идея сводилась к тому, что Послание не имеет ни начала, ни конца, то есть оно — циклическое. Циклический объект или процесс. Различие между тем и другим, как уже говорилось, отчасти зависит от временной шкалы наблюдения. Живи мы в миллиард лет медленней и во столько же раз дольше, так что столетие сжалось бы до секунды, мы, вероятно, сочли бы континенты Земли процессами: они текли бы на наших глазах, словно водопады или морские течения. А если б, наоборот, мы жили в миллиард раз быстрее, то приняли бы водопад за предмет, настолько устойчивым и неподвижным он бы нам показался. Поэтому выяснением вопроса «предмет» или «процесс» можно было не заниматься. Достаточно было бы доказать (а не только угадать), что Послание представляет собой «кольцо», подобно форме молекулы бензола. Если посылаешь не изображение бензольной молекулы на плоскости, а ее код в линейной форме, в виде последовательных сигналов, то безразлично, с какого места бензольного кольца начать описание — любое сойдет.

С этих-то исходных позиций я и приступил к переложению проблемы на язык математики. Наглядно изобразить, как и что я сделал, я не сумею — в обиходном языке нет для этого подходящих понятий и слов. Могу лишь сказать, что, рассматривая Послание как объект, подлежащий математическому анализу, я исследовал чисто формальные его

свойства в поисках особенностей, которыми занимаются топологическая алгебра и теория групп. Я прибегнул к трансформации групп преобразования, чтобы получить так называемые инфрагруппы (или группы Хогарта — потому что это я их открыл). Если бы у меня получилась «открытая» структура, это еще ни о чем бы не говорило: на результат могло повлиять какое-нибудь ложное допущение (скажем, о количестве кодовых знаков в одном «слове» Послания). Но случилось иначе. Послание идеально замкнулось как отграниченный от остального мира предмет или циклический процесс (точнее, как его ОПИСАНИЕ, МОДЕЛЬ).

Три дня я составлял программу для вычислительных машин, а на четвертый они решили задачу. Результат гласил: «что-то как-то замыкается». Этим «что-то» было Послание во всей совокупности взаимоотношений между своими знаками; но «как» происходит замыкание — об этом я мог только строить догадки, поскольку мое доказательство было косвенным. Я доказал лишь, что «описанный объект» НЕ является топологически открытым; но со своим математическим аппаратом я не мог однозначно определить «способ замыкания» — эта задача была на несколько порядков труднее. Доказательство было настолько общим, что едва ли не превращалось в общее место. И все же не каждый текст обладает подобными свойствами. Например, партитура симфонии, или линейно перекодированное телевизионное изображение, или обычный языковой текст (повесть, философский трактат) не дают такого замыкания. Зато замкнулось бы описание геометрического тела или такого сложного объекта, как генотип или живой организм. Правда, генотип замыкается иначе, чем геометрическое тело; но если я стану обсуждать эти различия, то скорее запутаю читателя, чем объясню, что же, собственно, я проделал с Посланием.

Важно одно: я ничуть не приблизился к пониманию его «смысла» (то есть того, «про что там было написано»). Из неисчислимого множества особенностей Послания я выявил, и то лишь косвенно, одну — некое общее свойство его структуры. Ободренный этим успехом, я попытался атаковать вторую задачу — однозначно определить саму структуру в ее «замкнутом» виде, но за все время работы в Проекте ничего не добился. Три года спустя, уже выйдя из Проекта, попробовал снова — эта задача преследовала меня как навязчивое; но сумел доказать лишь, что задача НЕ разрешима в рамках трансформационной и топологической алгебры. Это-

го я, конечно, не мог знать заранее. Во всяком случае, я предъявил серьезный аргумент в пользу той точки зрения, что мы получили из космоса нечто действительно обладающее чертами «объекта» (то есть описания объекта), такими как концентрированность, компактность, цельность, приводящая к «замыканию».

Свои результаты я доложил не без опасений. Но оказалось, что я сделал нечто такое, о чем никто не подумал: уже во время предварительных дискуссий о Проекте возобладала концепция Послания как алгоритма (в математическом смысле), то есть общерекуррентной функции, и все вычислительные машины были впряжены в поиски вида этой функции. Это было толково в том смысле, что решение проблемы — будь оно найдено — дало бы информацию, которая, как дорожный знак, указала бы путь к следующим этапам перевода. Однако уровень сложности Послания как алгоритма был таков, что задачу решить не удалось. Зато «циклическость» Послания хоть и заметили, но сочли не очень существенной: в эту начальную эпоху великих надежд она не сулила быстрых и заметных успехов. А потом все уже настолько увязли в алгоритмическом подходе, что не могли от него освободиться.

Может показаться, что я сразу же продвинулся весьма далеко. Я доказал, что Письмо есть описание циклического процесса, а так как все эмпирические исследования исходили именно из этой посылки, я как бы благословил их, дав математическое ручательство того, что они на верном пути. Нараставший разлад между математиками-информационщиками и практиками (который и заставил обе стороны обратиться ко мне) тем самым был устранен.

Будущее показало, как мало я преуспел, победоносно выйдя из схватки всего лишь с одним, земным соперником.

VII

Если спросить естествоиспытателя, с чем ассоциируется у него понятие циклического процесса, он, скорее всего, ответит: с жизнью. Мысль о том, что нам прислали описание чего-то живого и мы сможем это реконструировать, ошеломляла и захватывала воображение. Два последующих месяца я работал в Проекте на правах ученика, старательно изучая все, что успели сделать за год все исследовательские коллективы,

именовавшиеся «ударными группами». Их было много — биохимическая, биофизическая, физики твердого тела. Затем часть их объединили в лабораторию синтеза; организационная структура Проекта все усложнялась, и уже поговаривали, что она стала сложнее самого Послания.

Теоретическое обеспечение — информатики, лингвисты, математики и физики-теоретики — действовало независимо от «ударных групп». Все результаты обсуждались на высшем уровне — в Научном Совете; в него входили координаторы групп, а также «большая четверка», которая с моим прибытием перекрестилась в «пятерку».

К этому времени Проект числил за собой два достижения, вполне конкретных и осязаемых, — вернее, одно, но полученное, независимо друг от друга, биохимиками и биофизиками. В обеих группах была создана (сначала на бумаге, точнее — в машинной памяти) некая субстанция, «вычитанная» из Послания. Каждая группа назвала ее по-своему: одна — Лягушачьей Икрой, другая — Повелителем Мух.

Дублирование работ может показаться расточительством, но оно имеет свою хорошую сторону — ведь если два человека, работая врозь, сходно переведут загадочный текст, можно полагать, что они действительно добрались до его «инвариантного смысла», нашли то, что объективно содержится в тексте, а не «вычитано» из него произвольно. Правда, и это утверждение можно оспорить. Для двух магометан «истинным» будут одни и те же (небольшие) фрагменты Евангелия, в отличие от всего остального текста. Если предпрограмма у людей идентична, результаты их поисков могут совпасть, хотя бы они и не общались друг с другом. Так что не стоит преувеличивать познавательную ценность таких совпадений. К тому же достижения мысли ограничены общим уровнем знаний данной эпохи. Поэтому так сходны атомистические, вполне независимо созданные теории физиков Востока и Запада, и, скажем, принцип действия лазера не мог оставаться исключительным достоянием тех, кто открыл его первым.

Лягушачья Икра — как называли ее биохимики — представляла собой некое вещество, полужидкое в одних условиях, студенистое — в других; при комнатной температуре, при нормальном давлении и в небольшом количестве выглядело оно как блестящая клейкая жижица, действительно напоминающая слизистые лягушачьи яйца. Биофизики же сразу синтезировали около гектолитра этой псевдоплазмы; в

условиях вакуума она вела себя иначе, чем Лягушачья Икра, а свое второе, демоническое название получила в связи с одним удивительным свойством.

В химическом составе Лягушачьей Икры значительную роль играли углерод, а также кремний и тяжелые элементы, практически отсутствующие в земных организмах. Она реагировала на определенные воздействия, вырабатывала энергию (рассеивая ее в виде тепла), но обходилась без обмена веществ — в биологическом смысле. Поначалу казалось, что это — невозможный, но действующий вечный двигатель, правда, в виде коллоида, а не машины. Такое покушение на священные законы термодинамики было немедленно подвергнуто строжайшим исследованиям. В конце концов ядерщики пришли к заключению, что энергия, благодаря которой возможно столь необычное состояние, этот «цирковой фокус», акробатический трюк гигантских молекул, по отдельности неустойчивых, берется из ядерных реакций холодного типа. Они начинались при достижении определенной (критической) массы, причем кроме количества вещества играла роль и его конфигурация.

Обнаружить эти реакции было чрезвычайно трудно, потому что вся выделявшаяся в них энергия — как лучевая, так и критическая энергия ядерных осколков — поглощалась без остатка самим веществом и шла «на его собственные нужды». Специалистов это открытие просто ошеломило. По существу, ядра атомов внутри любого земного организма — тела для него чужеродные или по крайней мере нейтральные. Жизненные процессы никогда не добираются до скрытых в ядрах энергетических возможностей, не используют накопленные там огромные мощности — в живых тканях атомы существуют только как электронные оболочки, ведь только они и участвуют в биохимических реакциях. Именно поэтому радиоактивные атомы, проникая в организм с водой, пищей или воздухом, оказываются там чужаками, которые «обманули» живую ткань своим чисто поверхностным сходством с нормальными атомами (то есть сходством электронных оболочек). Каждый «взрыв», каждый ядерный распад такого незваного гостя означают для живой клетки микрокатастрофу, наносят ей вред, хотя бы и малозаметный.

А вот Лягушачья Икра не могла обойтись без таких процессов, для нее они были пищей и воздухом, в других источниках энергии она не нуждалась и даже не смогла бы ими воспользоваться. Лягушачья Икра послужила фунда-

ментом для массы гипотез, для целой их башни — увы, Вавилонской; слишком они расходились между собой.

Согласно простейшим из них, Лягушачья Икра представляла собой протоплазму, из которой состоят Отправители звездного сигнала. Как я уже отмечал, для ее получения понадобилась лишь малая часть (не более 3 — 4%) всей закодированной информации — именно та, которую удалось «перевести» на язык операций синтеза. Сторонники первой гипотезы полагали, что мы получили описание одного Отправителя и, будь оно материализовано целиком, перед нами предстало бы живое и разумное существо — представитель галактической цивилизации, пересланный на Землю в виде потока нейтринного излучения.

Согласно иным, сходным предположениям, переслано было не «атомное описание» зрелого организма, а нечто вроде плода, эмбриона, яйца, способного к развитию. Этот плод мог быть снабжен определенной наследственной программой; будучи материализован на Земле, он оказался бы для нас столь же компетентным партнером, что и взрослая особь из первого варианта.

Не было недостатка и в радикально иных подходах. Согласно другой их группе (или семейству), «код» описывает не какое-то «существо», а «информационную машину» — скорее орудие, нежели представителя пославшей его космической расы. Одни понимали под такой машиной нечто вроде «студенистой библиотеки» или «плазматического резервуара памяти», способного информировать о своем содержании и даже «вести дискуссию»; другие — скорее «плазматический мозг» (аналоговый, цифровой или же смешанного типа). Он не сможет отвечать на вопросы, касающиеся Отправителей, а будет своего рода «технологическим подарком». Сам же сигнал символизирует акт вручения: через космическую бездну одна цивилизация шлет другой свое самое совершенное орудие для преобразования информации.

У всех этих гипотез имелись, в свою очередь, «черные», или «демоические», варианты, навеянные, по мнению некоторых, слишком рьяным чтением научной фантастики. Что бы нам ни было прислано — «существо», «зародыш» или «машина», — после материализации оно попытается, дескать, завладеть Землей. Но если одни говорили о коварном вторжении из космоса, то другие — о проявлении «космического дружелюбия»; мол, высокоразвитые цивилизации занимаются оказанием «акушерской помощи», облегчая рож-

дение более совершенного общественного устройства — ради блага получателей, а вовсе не своего.

Все эти гипотезы (их было еще много) я считал не только ложными, но и бессмысленными. Я полагал, что звездный сигнал не описывает ни плазматический мозг, ни информационную машину, ни организм, ни зародыш. Определяемый им объект вообще не входит в круг наших понятий; это — план храма, посланный австралопитекам, библиотека, подаренная неандертальцам. Я утверждал, что сигнал не предназначен для цивилизаций, стоящих на таком низком уровне развития, как наша, и поэтому ничего у нас с ним не выйдет.

За это меня произвели в нигилисты, а Вильгельм Ини доносил по начальству, что я саботирую Проект, — о чем я дознался, хоть и не имел собственной сети подслушивания.

Я уже без малого месяц работал в Проекте, когда «Глас Господа» предстал перед нами в совершенно новом свете благодаря работам группы биологов. Мы завели так называемую «Книгу Малого Пса», куда каждый мог заносить свои мнения, критику чужих гипотез, предложения, замыслы, а также результаты исследований. Результат биологов занял в ней почетное, едва ли не центральное место. Это Ромни пришла в голову мысль провести опыты совершенно иного характера, чем те, которыми были заняты его коллеги. Ромни, как и Рейнхорн, был одним из немногих в Проекте ученых старшего поколения. Кто не читал его «Возникновения человека», тот ничего не знает об эволюции. Он искал причины возникновения разума — и находил их в тех стечениях обстоятельств, которые не подлежат моральной оценке, но задним числом, в ретроспекции, обретают чуть ли не издевательский смысл: каннибализм оказывается подспорьем в развитии разума, угроза обледенения — предпосылкой пракультуры, обглаживание костей — шагом к изготовлению орудий, а унаследованное еще от рыб и пресмыкающихся объединение половых органов с выделительными — топографической опорой не только эротике, но и вероучений о борении скверны с ангельской чистотой. Из зигзагов эволюции он извлек ее блеск и нищету, показав, как цепочки случайностей перерастают в законы природы. Но более всего поражает его книга духом сочувствия — нигде не выраженным *expressis verbis**.

* Открыто, прямиком (*лат.*)

Не знаю, каким путем Ромни пришел к своей замечательной идее. На все расспросы он отвечал досадливым хмыканьем. Вместо Послания, запечатленного на лентах, его группа изучала «оригинал», то есть сам нейтринный поток, непрерывно льющийся с неба. Я думаю, Ромни заинтересовало, почему именно нейтринный поток был выбран в качестве носителя информации. Как я уже говорил, существует естественное (звездное) нейтринное излучение. Его модулированная часть, которая несла нам Послание, составляла лишь узенькую полоску целого. Ромни, должно быть, размышлял над тем, случайно ли Отправители выбрали именно эту полоску (соответствующую «длине волны» в радиотехнике) или их выбор диктовался какими-то особыми соображениями. Поэтому он запланировал серию опытов, в которых самые разные вещества облучались нейтринным потоком (усиленным в сотни миллионов раз) — сначала обычным, потом кодированным. Он мог себе это позволить: предусмотрительный Белойн, глубоко запустив руку в государственную казну, оснастил Проект целой батареей нейтринных преобразователей с высокой разрешающей способностью и мощными усилителями, которые разработали наши физики.

Все нейтрино, в особенности низкоэнергетические, одинаково легко пронизывают галактические просторы и материальные тела, включая планеты и звезды; материя для них несравненно прозрачнее, чем стекло для света. В сущности, опыты Ромни не должны были дать ничего примечательного. Но вышло иначе.

На глубине сорока метров (для опытов с нейтрино это ничтожная глубина), в особых камерах размещались слоноподобные усилители, подключенные к преобразователям. Пучок излучения сжимался все более, выходил из металлического стержня толщиной в карандаш и попадал в различные жидкости, газы, твердые тела. Первая серия экспериментов — с фоновым излучением — не дала, как и предполагалось, сколько-нибудь интересных результатов.

Зато пучок излучения, несущий Послание, обнаружил одну поразительную особенность. Высокомолекулярный раствор, подвергшийся облучению, становился химически устойчивее. Обычный же нейтринный «шум» такого воздействия не оказывал. Словно нейтрино модулированного потока, пронизывая все незримым дождем, вступали в какие-то — неуловимые и непонятные для нас — взаимодействия с мо-

лекулами коллоида, защищая его от воздействия факторов, которые обычно вызывают распад больших молекул и разрывы химических связей. Модулированное излучение как будто «покровительствовало» макромолекулам определенного типа, повышая вероятность появления в водной среде, достаточно насыщенной специфическими компонентами, атомных конфигураций, образующих химический костяк живой материи.

Нейтринный поток, несущий Послание, был слишком разрежен, чтобы непосредственно обнаружилось нечто подобное. Только его многосотмиллионная концентрация позволила увидеть этот эффект — в растворах, облучавшихся целыми неделями. Но отсюда следовал вывод, что и без усиления поток обладает той же — «благожелательной к жизни» — особенностью, только проявляется она в промежутках времени, исчисляемых не неделями, а сотнями тысяч или, вернее, миллионами лет. Уже в доисторическом прошлом этот всепроникающий дождь увеличивал, хоть и в ничтожной мере, вероятность возникновения жизни в океанах, как бы окружая определенные типы макромолекул невидимым панцирем, защищающим от хаотической бомбардировки броуновского движения. Звездный сигнал сам по себе не создавал живую материю, а лишь помогал ей на самом раннем, элементарнейшем этапе ее развития, затрудняя распад того, что однажды соединилось.

Показывая мне результаты этих экспериментов, Мёллер — физик и сотрудник Ромни — сравнивал Отправителей с певцом, который, взяв в руки стакан, способен спеть так, что стакан лопнет, расколотый акустическим резонансом. То, о чем он поет, не имеет значения; точно так же формат, цвет, плотность бумаги, на которой написано письмо, не соотносится сколько-нибудь определенно с его содержанием. И все же какая-то связь между самой информацией и ее материальным носителем может существовать: скажем, получив маленькое, голубое, пахнущее женскими духами письмо, мы вряд ли решим, что в нем содержатся потоки ругательств или план городской канализации. Действительно ли такая связь существует и какая именно — это уже определяется культурой, в рамках которой происходит коммуникация.

Эффект Ромни — Мёллера был одним из крупнейших наших успехов и вместе с тем, как это обычно бывало в Проекте, одной из удивительнейших загадок, стоявшей иссле-

дователям немало бессонных ночей. Гипотезы, хлынувшие из этой скважины, ничуть не уступали по количеству тем, что, как лозы, оплели Лягушачью Икру — субстанцию, «извлеченную» из информации в прямом смысле этого слова, то есть из содержания звездного Письма. Но существует ли связь между «ядерной слизью» и «биосимпатией» нейтринного сигнала, и если да, то что она значит, — вот в чем был вопрос!

VIII

В Проект меня включили стараниями Белойна, Бира и Протеро. В первые же недели я понял: в Научный Совет я был кооптирован не только потому, что решил поставленную передо мной задачу. Специалистов Проект имел вдоволь, и самых лучших, — не хватало лишь сведущих в расшифровке Послания, потому что их и на свете не было. Я так часто изменял своей математике, переходя от одной науки к другой в огромном диапазоне от космогонии до этологии, что не только успел вкусить от различнейших источников знания, но, главное, в ходе все новых и новых перемещений успел усвоить повадки иконоборца.

Я приходил извне, я не был всей душой привязан к нерушимым, канонизированным обычаям той области, в которую вступал, и мне легче было подвергнуть сомнению то, на что у других, свыкшихся со своей наукой, не поднялась бы рука. Вот почему мне чаще доводилось разрушать установленный порядок — плод чьих-то долгих, самоотверженных трудов, — нежели строить. Именно такой человек понадобился руководителям Проекта. Его сотрудники (особенно естествоиспытатели) склонялись к тому, чтобы продолжать начатое, не очень-то заботясь о том, сложатся ли разрозненные фрагменты в единое целое, соразмерное информационному чуду — пришельцу со звезд, — которое породило массу интереснейших частных проблем и даровало нам возможность (примеры были приведены выше) крупных открытий.

А в то же время пресловутая «большая четверка» начинала — может, не совсем еще ясно — понимать, что за таким изучением деревьев все больше теряется картина леса; что хорошо отлаженный механизм ежедневной систематической деятельности грозит поглотить сам Проект, растворить

его в море разрозненных фактов и второстепенных данных — и тогда прощай надежда постичь происшедшее. Земля получила сигнал со звезд, известие, столь содержательное, что извлеченными из него крохами могли годами питаться целые научные коллективы, но между тем само известие расплывалось в тумане, и его тайна все меньше дразнила воображение, заслоненная роем мелких успехов. Возможно, тут действовали защитные механизмы психики — или просто укоренившаяся привычка искать закономерности явлений, не вдаваясь в причины, породившие именно эти, а не иные закономерности.

На такие вопросы обычно отвечала философия — или религия, — но не естествоиспытатели, вовсе не склонные гадать о мотивах, кроющихся за сотворением мира. Но в нашем случае все обстояло иначе: отгадывание мотивов — занятие, опороченное всей историей эмпирических наук, — оказывалось последней возможностью, еще сулившей успех. Конечно, методология по-прежнему запрещала поиски мотивов, сходных с человеческими, у Того, что создало атомы; но сходство Отправителей сигналов с его адресатами, хотя бы самое отдаленное, было не просто утешительной выдумкой, а чем-то большим — гипотезой, на волоске которой висела судьба Проекта. И я с самого начала, как только прибыл в поселок, был убежден: если сходства нет никакого, Послание понять не удастся.

Ни в один из домыслов о природе Послания я не верил ни на йоту. Пересылка личности по телеграфу, план гигантского мозга, плазматическая информационная машина, синтезированный властелин, желающий править Землей... Эти досужие выдумки, почерпнутые в убогом арсенале идей, которыми располагала наша цивилизация в ее расхожем, технологическом понимании, были (подобно мотивам фантастических романов) отражением нашей общественной жизни, и прежде всего ее американской модели, экспорт которой за пределы Штатов процветал в середине столетия. То были либо модные новинки, либо продолжение игры «Кто кого». Выслушивая эти, казалось бы, смелые, а на деле огорчительно наивные гипотезы, я особенно ясно ощущал бескрылость нашей фантазии: намертво прикованная к Земле, она видит мир сквозь узкую щель исторического времени.

Во время дискуссии у главного информанщика Проекта, доктора Макензи, мне удалось раздражить присутствующих, доводя до абсурда такие фантазии; тогда один из

молодых сотрудников Макензи потребовал, чтобы я сам сказал, что такое сигнал, раз уж я так силен в отрицании.

— Может быть — Откровение, — ответил я. — Священное писание не обязательно печатать на бумаге и опрavelять в полотно с золотым тиснением. Им может оказаться плазматическое вещество... ну, скажем, Лягушачья Икра.

Как ни странно, они — готовые променять свое неведение на что угодно, лишь бы найти хоть какую-то опору, — всерьез задумались над моими словами. И все у них превосходно сложилось: что это, мол, Слово, которое становится плотью (имелся в виду феномен «содействия биогенезу», он же эффект Ромни — Мёллера), что побуждения, заставляющие кого-то содействовать развитию жизни — которая, стало быть, признается чем-то благим и заслуживающим поощрения во вселенском масштабе, — не могут быть прагматическими, корыстными, технологически обусловленными... что перед нами — проявление «космической благожелательности» и в этом смысле — Благовествование, но Благовествование деятельное, творящее, достигающее своей цели и без внемлющих ему ушей.

Они так увлеклись, что даже не заметили моего ухода. Единственным, во что верил я сам, был как раз эффект Ромни — Мёллера: звездный сигнал увеличивал вероятность возникновения жизни. Скорее всего, жизнь могла зародиться и без него, — но позже и в меньшем числе случаев. В этом виделось что-то бодрящее: существа, поступавшие именно так, были вполне мне понятны.

Возможно ли, чтобы чисто материальная, жизнетворная сторона сигнала была совершенно независима, начисто отрезана от его содержания? Трудно представить, чтобы сигнал не содержал никакой осмысленной информации, кроме своего покровительственного отношения к жизни; доказательством служила хотя бы Лягушачья Икра. Так, может, содержание сигнала каким-то образом соотносилось с эффектом, который вызывал его носитель?

Я понимал, на какую зыбкую почву ступаю; мысль о сигнале как Послании, которое также и своим содержанием призвано «осчастливливать», «творить добро», напрашивалась сама. Но — как прекрасно сказано у Вольтера — если купец везет падишаху пшеницу, значит ли это, что он заботится о пропитании корабельных мышей?

Гостей из внешнего мира у нас называли «пишки дубовые» (вместо «важные пишки»). В этом прозвище отразилось

даже не столько общее убеждение в туповатости важных персон, сколько раздражение ученых, вынужденных растолковывать задачи Проекта людям, не владеющим языком науки. Чтобы лучше уяснить им связь между «жизнетворной формой» Послания и его «содержанием» (из которого пока что мы извлекли только Повелителя Мух), я придумал следующее сравнение.

Допустим, наборщик набрал стихотворную строчку из металлических литер. Если по ней провести гибкой металлической пластинкой, может случайно прозвучать гармонический аккорд. Но совершенно невероятно, чтобы при этом прозвучали первые такты Пятой симфонии Бетховена. Случись такое, мы, конечно, решили бы, что тут не простое совпадение, а кто-то нарочно расположил литеры именно так, подобрав их размеры и величину промежутков. Но если для типографской отливки «побочная звуковая гармония» крайне маловероятна, то для такого сообщения, как звездное Письмо, вероятность «посторонних эффектов» попросту нулевая.

Иными словами, жизнетворность Послания не могла быть делом случая. Отправитель умышленно модулировал нейтринное излучение так, чтобы наделить его этой способностью. Двойная природа сигнала настоятельно требовала объяснений, и простейшее из них таково: если «форма» благоприятствует жизни, то и содержание «благотворно». Если же отбросить гипотезу «всесторонней благожелательности» (согласно которой прямому биовоздействию сопутствует информация, благоприятствующая адресату), то этим обрекаешь себя на прямо противоположный подход: дескать, Отправитель столь «жизнетворной» и «благой» (казалось бы) Вести с дьявольским умыслом вложил в нее содержание, гибельное для внимающих ей.

Если я говорю о «дьявольском умисле», то не потому, что и сам так думал: просто я излагаю все как было. Впрочем, упорное олицетворение отвлеченных понятий заметно во всех публикациях, посвященных истории ГЛАГОСа. Это олицетворение имело два полюса: Письмо есть либо проявление «попечительской заботы», щедрый дар в виде технологических знаний, в которых мы усматриваем высшее благо, либо акт скрытой агрессии (и тогда то, что возникнет после материализации Письма, попытается завладеть Землей, поработить человечество или даже уничтожить его). Во всем этом я видел лишь косность мышления. Отправители вполне могли быть рационально мыслящими существами,

которые просто воспользовались подходящей «энергетической оказией». Сначала они пустили в ход «жизнетворное излучение», а потом, решив установить связь с разумными обитателями других планет, вместо того чтобы строить специальные передатчики, воспользовались готовым источником энергии и наложили на нейтринный поток информацию, ничего общего не имеющую с его жизнетворными свойствами. Ведь смысл телеграммы никак не соотносится со свойствами электромагнитных волн, служащих для ее передачи.

Такое вполне можно было предположить, однако преобладали иные мнения. Выдвигались гипотезы весьма хитроумные — например, что Письмо действует «на двух уровнях». Оно порождает жизнь подобно садовнику, бросающему семена в землю; а потом садовник приходит еще раз, чтобы проверить, вырос ли «нужный» плод. Вот так и Письмо на своем «втором» уровне — уровне содержания — что-то вроде садовых ножниц, выстригающих «выродившиеся цивилизации». Другими словами, Отправители без жалости и милосердия уничтожают возникшие эволюционным путем цивилизации, которые развиваются «неправильно», скажем, относятся к разряду «самопожирающих», «разрушительных» и т.д. Они как бы присматривают за началом и концом биогенеза, за корнями и кроной эволюционного дерева. Содержание Письма оказывалось для адресата чем-то вроде бритвы — чтобы ею перерезать горло себе же.

Подобные фантазии я отвергал. Образ цивилизации, которая столь необычным способом избавляется от «выродившихся» или «недоразвитых» цивилизаций, я счел еще одним тестом на ассоциации, еще одной проекцией — на тайну Письма — наших собственных страхов, и больше ничем. Эффект Ромни — Мёллера как будто свидетельствовал о том, что Отправитель считает существование, то есть жизнь, чем-то «благим». Но сделать следующий шаг — признать, что «намеренная доброжелательность» (или, напротив, «недоброжелательность») присуща информационной «начинке» сигнала, — я уже не решался. «Черные» гипотезы возникали у их авторов чуть ли не самопроизвольно; то, что таилось в Письме, казалось им даром данайцев: это орудие, которое завладеет Землей, или же существо, которое поработит нас.

Подобные представления метались между сатанинским началом и ангельским, как мухи между оконными рамами. Я попробовал поставить себя на место Отправителя. Я не послал бы ничего такого, что можно использовать вопреки

моим намерениям. Снабжать какими бы то ни было орудиями неизвестно кого — все равно что дарить детишкам гранаты. Что же мы получили? План идеального общества, снабженный «гравюрами» с изображением неиссякаемых энергетических источников (в виде синтезированного Повелителя Мух)? Но ведь общество — это система, которая обусловлена составляющими ее элементами, в данном случае — существами. Невозможен план, пригодный для любого места и времени. Вдобавок он должен был бы учитывать биологические особенности адресата, а вряд ли можно считать человека универсальной космической постоянной.

Письмо, полагали мы, не может составлять часть «межзвездной беседы», случайно нами подслушанной. Это никак не согласовывалось с непрерывным повторением «текста»: не может же разговор сводиться к тому, что один собеседник годами твердит одно и то же. Но и здесь приходилось учитывать временные масштабы; сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере два года, это бесспорно. Быть может, «переговаривались» автоматические устройства и аппаратура одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что прием состоялся? В этом случае текст мог повторяться и тысячу лет, если собеседники достаточно удалены друг от друга. И хотя мы не знали, можно ли модулировать «жизнетворное излучение» различной информацией, а priori это было весьма вероятно.

Тем не менее версия «подслушанной беседы» выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой. Скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения о себе. Но тогда и мы принимали бы не одну передачу, а минимум две. Однако этого не было. Нейтринный «эфир», насколько могли проверить астрофизики, оставался абсолютно пустым — за исключением единственной занятой полосы. Этот орешек, пожалуй, был самым твердым. Простейшее толкование выглядело так: нет беседы и нет двух цивилизаций, а есть одна; она и передает изотропный сигнал. Но, согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала... *da capo al fine**.

В Послании, конечно, могло содержаться нечто относительно простое. Скажем, схема устройства для установления

* С начала до конца (повторить) (*ит.*).

связи с Отправителем — на элементах типа Лягушачьей Икры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоприемника, только и сумели, что собрать пару простейших деталей. Это могла быть также «овеществленная» теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в Метагалактике разумная жизнь.

Такого рода догадки возникали у тех, кто отбрасывал «манихейские» предубеждения, упорно нашептывавшие, что Отправитель непременно желает нам либо зла, либо добра (либо того и другого вместе, если, допустим, в своем понимании он к нам «добр», а в нашем понимании — «злонамерен»). Тем самым мы погружались в трясину гипотез, ничуть не менее опасную, чем профессиональная узость взглядов, из-за которой эмпирики Проекта оказались в золоченой клетке их собственных сенсационных открытий. Они (во всяком случае, некоторые из них) через Повелителя Мух рассчитывали добраться до тайны Отправителей, словно по ниточке — до клубка. Я же видел в этом оправдание собственных действий, придуманное задним числом: не имея ничего, кроме Повелителя Мух, они судорожно цеплялись за него в своих попытках разгадать тайну. Я признал бы их правоту, если бы речь шла о естественно-научной проблеме, — но это было не так; химический анализ чернил, которым написано полученное нами письмо, вряд ли что-нибудь скажет о мыслях и чувствах писавшего.

Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова вставал вопрос: почему они объединили сообщение, предназначенное для разумных адресатов, с жизнетворным воздействием?

На первый взгляд это казалось странным, даже злоещим. Прежде всего — общие соображения указывали на прямо-таки невероятную древность цивилизации Отправителей. «Нейтринная передача» требовала расхода энергии порядка мощности Солнца, если не больше. Такой расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Стало быть, Отправители считали, что «капиталовложения» окупаются, пусть и не для них самих, — в смысле реальных жизнетворных результатов. Но сейчас в Метагалактике не так уж много планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле четыре миллиарда лет назад. Их даже очень мало. Ведь Метагалактика — более чем зрелый звездный — или

туманностный — организм; примерно через миллиард лет она начнет «стареть». Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования (когда, среди прочих планет, появилась Земля) для нее миновала. Отправители должны были это знать. Значит, они шлют свой сигнал не тысячи и даже не миллионы лет. Я боялся — трудно назвать иначе чувство, сопутствовавшее таким размышлениям, — что сигнал передается чуть ли не миллиард лет! Но если так, то — оставляя в стороне абсолютную невозможность представить, во что превращается цивилизация за такое чудовищное, геологических масштабов время, — разгадка «двойственности» сигнала проста, даже тривиальна. «Жизнетворное излучение» они могли высылать с древнейших времен, а когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру: достаточно было использовать «готовый» поток излучения, промодулировав его дополнительно. Выходит, они задали нам эту загадку просто из соображений технической экономии? Но ведь осуществить такую модуляцию чудовищно сложно, как информационно, так и технически. Для нас — несомненно, а для них? Тут я снова терял почву под ногами. Тем временем исследования продолжались; всеми способами мы пытались отделить «информационную фракцию» сигнала от «жизнетворной». Это не удавалось. Мы были бессильны, но еще не отчаивались.

IX

К концу августа я почувствовал такое умственное истощение, какого в жизни еще не испытывал. Творческая сила, способность решать задачи знает свои приливы и отливы, в которых трудно дать отчет даже себе самому. И вот какой тест я в конце концов изобрел: чтение своих собственных работ — тех, что я считаю самыми лучшими. Если я замечаю в них оплошности, пробелы, если вижу, что это можно было сделать лучше, значит, результат проверки благоприятен. Но если я перечитываю собственный текст не без восторга, тогда дела мои плохи. Именно так и случилось на исходе лета. Мне нужно было — это я знал по долголетнему опыту — не столько отдохнуть, сколько сменить обстановку. Все чаще я заходил к доктору Раппопорту, моему соседу, и мы разговаривали — нередко часами. Но о звездном сигнале мы

говорили редко и мало. Однажды я увидел у него большие книжные пачки, из которых вываливались изящные томики со сказочно красивыми гляцевыми обложками. Оказалось, в качестве «генератора разнообразия», которого так не хватало в наших гипотезах, он решил использовать плоды литературной фантазии — и обратился к популярному, особенно в Штатах, жанру, который — по какому-то стойкому предрассудку — именуется научной фантастикой. Прежде он ее не читал и теперь был рассержен, даже негодовал; настолько она разочаровала его своей монотонностью. В ней есть все, кроме фантазии, сказал он. Бедняга, он стал жертвой недоразумения. Авторы научных якобы сказок дают публике то, чего она требует: трюизмы, ходячие истины, стереотипы, слегка замаскированные и переименованные, чтобы потребитель мог без всякой опаски предаваться удивлению, оставаясь при своей привычной жизненной философии. Если в культуре и существует прогресс, то прежде всего интеллектуальный, а интеллектуальных проблем литература, особенно фантастическая, не касается.

Беседы с доктором Раппопортом много для меня значили. Присущую ему жесткость и беспощадность формулировок я был бы не прочь перенять. Слово два школяра, мы рассуждали о человеке. Раппопорт был склонен к «термодинамическому психоанализу»: он утверждал, например, что движущие мотивы человеческого поведения можно, собственно, вывести прямо из физики, понимаемой достаточно широко.

Инстинкт разрушения может быть выведен из термодинамики. Жизнь — это обман, попытка совершить растрату, обойти законы, вообще-то неизбежные и неумолимые; будучи изолирована от остального мира, она тотчас вступает на путь распада, движется по наклонной плоскости к нормальному состоянию материи, к устойчивому равновесию, которое означает смерть. Чтобы существовать, жизнь должна подпитываться упорядоченностью, но, поскольку высокая упорядоченность нигде, кроме живой материи, не существует, жизнь обречена на самопожирание: приходится разрушать, чтобы жить, и питаться упорядоченностью, которая годится в пищу постольку, поскольку поддается уничтожению. Не этика, а физика диктует этот закон.

Первым это подметил, кажется, Шредингер, но он, увлеченный древними греками, не заметил того, что можно было бы назвать, вслед за Раппопортом, позором жизни, ее врожденным изъяном, укорененным в самой структуре дей-

ствительности. Я возражал, ссылаясь на фотосинтез растений: они обходятся — или, во всяком случае, могут обходиться — без уничтожения других живых организмов, поскольку питаются солнечными квантами. Зато весь животный мир паразитирует на растительном, отвечал Раппопорт. Философствуя на свой лад, он и вторую особенность человека (присущую, впрочем, едва ли не всем организмам), а именно наличие пола, выводил из статистической термодинамики, в ее информационном ответвлении. Сползание в хаос, угрожающее любой упорядоченности, неизбежно ведет к обеднению информации при ее пересылке; чтобы противостоять губельному шуму, чтобы все шире распространять достигнутую на время упорядоченность, необходимо вновь и вновь сличать «наследственные тексты»; именно это сличение, считывание, призванное устранять «ошибки», есть оправдание и причина возникновения половых различий. Следовательно, в информационной физике сигналов, в теории связи следует искать «виновников» появления пола. Считывание наследственной информации в каждом поколении было условием, без которого жизнь не могла бы сохраниться, а все остальные наслоения — биологические, поведенческие, психические, культурные — вторичны; это лес последствий, выросший из твердого, законами физики сформированного семени.

Я возражал ему: дескать, он возводит дуполость во всеобщий закон, превращает ее в космическую постоянную. Он только усмехался, уклоняясь от прямого ответа. В другом веке, в другую эпоху он, несомненно, стал бы суровым мистиком, основателем доктрины; а в наше время, отрезвляемое избытком открытий, которые, словно шрапнель, разрушают монолитность любой доктрины, в эпоху неслыханного ускорения прогресса и разочарования в нем он был всего лишь комментатором и аналитиком.

Помню, как-то он говорил мне, что обдумывал возможность построения чего-то вроде метатеории философских систем, иначе говоря, такой универсальной программы, которая позволила бы автоматизировать системотворчество: машина, настроенная должным образом, начнет с создания уже существующих систем, а потом заполнит пробелы, оставшиеся по недосмотру или из-за непоследовательности великих онтологов. Новые философии она изготовляла бы с эффективностью автомата, производящего винтики или болтики. Он даже приступил к этой работе, составил словарь,

синтаксис, правила транспозиции, категориальные иерархии, что-то вроде метатеории типов, включая их семантический анализ, но потом решил, что занятие это бесплодное, игра не стоит свеч, ведь из нее ничего не следовало, кроме самой возможности появления все новых сетей, клеток, зданий и даже хрустальных дворцов, построенных из слов. Он был мизантропом, и неудивительно, что у изголовья его кровати лежал томик Шопенгауэра — а не Библия, как у меня. Идея подставить вместо понятия материи понятие воли казалась ему забавной.

— Собственно, можно было бы назвать «это» попросту тайной, — говорил он, — и квантовать ее, рассеивать, подвергать дифракции, фокусировать и разрезать; а если допустить, что «воля» может быть абсолютно отчуждена от чувствующих существ, да еще наделить ее способностью к «самодвижению», той склонностью к вечной беготне, которая так раздражает нас в атомах, доставляя сплошные хлопоты — математические и не только, — если допустить все это, то что, собственно, мешает нам согласиться с Шопенгауэром?

Время возрождения шопенгауэровского видения мира еще впереди, утверждал Раппопорт. Впрочем, он вовсе не был апологетом этого маленького, неистового, необузданного немца.

— Его эстетика непоследовательна. Может, он не умел этого выразить — *genius temporis** не позволял. В пятидесятые годы мне довелось увидеть испытание атомной бомбы. Известно ли вам, мистер Хогарт (он называл меня только так), что на свете нет ничего прекраснее цветовой гаммы атомного гриба? Никакие описания, никакие снимки не могут передать это чудо! Жаль только, длится оно каких-нибудь десять — двадцать секунд, а потом от земли к небу вздымается грязная пыль — ее всасывает, как пылесосом, по мере того как огненный пузырь распухает. Наконец огненный шар уносится, словно детский воздушный шарик, и весь мир на мгновение становится пурпурно-розовым. Помните? «С перстами пурпурными Эос...» Девятнадцатый век твердо верил, что все несущее смерть безобразно. А мы теперь знаем, что оно бывает прекраснее апельсиновых рощ, — любой цветок потом кажется блеклым и тусклым... И все это именно там, где радиация убивает за доли секунды!

* Дух времени (лат.).

Я слушал, утонув в кресле, и, признаюсь, нередко терял нить его рассуждений. Мой мозг, как старая лошадь молочника, упорно сворачивал на привычный путь — к звездному сигналу, и мне приходилось заставлять себя не думать о нем; может, если эту ниву на время забросить, что-то само прорастет? Такое случается.

Другим моим собеседником был Тайхемер Дилл, Дилл-младший, физик, с отцом которого я был знаком... Впрочем, это целая история. Дилл-старший преподавал в университете в Беркли. Он был довольно известным математиком старшего поколения, имел репутацию отличного педагога, уравновешенного и терпеливого, хотя и требовательного. Почему я не снискал его одобрения, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума; кроме того, меня увлекала область эргодики, к которой Дилл относился пренебрежительно; но я всегда чувствовал, что дело не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями (к кому же мне было идти?), а он гасил меня, как свечу, небрежно отодвигал в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса, пестовал его, как розовый бутон.

Майерс шел по его стопам; положим, он неплохо разбирался в комбинаторике, но я и тогда считал ее засыхающей ветвью. Ученик развивал идеи учителя, поэтому учитель верил в ученика, и все же не так это было просто. Может быть, Дилл питал ко мне инстинктивную, как бы животную, неприязнь? Может, я был слишком назойлив, слишком уверен в себе, в своих силах? Глуп я был, вот что. Я ничего не понимал, но ничуть не обижался на Дилла. Майерса-то я терпеть не мог и до сих пор помню молчаливое сладостное удовлетворение, которое испытал, случайно встретившись с ним годы спустя. Он работал статистиком в какой-то автомобильной фирме — если не ошибаюсь, в «Дженерал моторс».

Но мне было мало того, что Дилл так жестоко обманулся в своем избраннике. Мне вовсе не нужно было его поражение; я хотел, чтобы он поверил в меня. И, закончив сколько-нибудь значительную работу, я каждый раз представлял себе, как Дилл смотрит на готовую рукопись. Скольких усилий стоило мне доказать, что его вариационная комбинаторика — всего лишь несовершенная аппроксимация эргодической теоремы! Пожалуй, ни одну работу ни до, ни после этого я не отделял так старательно; и, как знать, не родилась ли вся теория групп, позднее названных группами

Хогарта, из той скрытой страсти, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дилла, а затем, словно желая сделать что-то еще — хотя делать там, собственно, было уже нечего, — начал разыгрывать из себя метаматематика, чтобы взглянуть на эту анахроничную конструкцию свысока, мимоходом. Многие из тех, кто еще тогда предрекал мне незаурядное будущее, удивлялись моему интересу к маргинальным проблемам.

Разумеется, я никому не открыл истинную причину, скрытый мотив этих стараний. Чего я, собственно, ожидал? Что Дилл зауважает меня, извинится за Майерса, признается, как сильно он ошибся во мне? Конечно, нет. Мысль о каком-то покаянии этого, как будто лишнего возраста старца с ястребиным лицом была слишком нелепа, чтобы я принял ее всерьез. Исполнение желаний не представлялось мне сколько-нибудь определенно. Слишком они были конфузными и какими-то мелкими. Подчас человек, которого все уважают и даже любят, в душе мечтает лишь об одном: о расположении кого-то с безразличным видом стоящего в стороне, пусть даже он ничего не значит в глазах остальных.

Кем был в конце концов Дилл-старший? Рядовым преподавателем математики, каких у нас десятки. Но подобные доводы мне бы не помогли, тем более что я и себе самому не признался бы в истинном смысле и целях своих стараний, подогреваемых задетой амбицией. И все же, получая из типографии оттиски своих работ — свежие, выглаженные и словно обретшие новый блеск, — я переживал минуты яснovidения: мне являлся сухопарый, долговязый, чопорный Дилл с лицом, похожим на изображения Гегеля, а Гегеля я не выносил, не мог его читать — несносна была его уверенность, что сам абсолют вещает его устами к вящей славе прусского государства. Теперь-то я вижу, что Гегель был ни при чем, — на его место я подставлял другую особу.

Издаюлка я видел Дилла несколько раз, на съездах и конференциях, — и обходил его стороной, как будто не узнавая. Однажды он заговорил со мной сам, учтиво и уклончиво, а я поспешил распрощаться — дескать, спешу, срочно должен уйти; собственно, я уже ничего не хотел от него, словно он был мне нужен только в воображении. Я закончил свой главный труд, на меня пролился ливень похвал, вышла моя первая биография, я чувствовал, что близок к какой-то — ни разу не названной — цели, и как раз тогда встретил его опять. До меня доходили слухи о его болезни, но я не думал,

что она могла так его изменить. Я заметил его в большом магазине самообслуживания. Он толкал перед собой тележку с банками, я шел вплотную за ним. Нас окружала толпа. Быстро, украдкой я разглядел его мешковатые, обрюзгшие щеки и, узнав его, почувствовал что-то вроде отчаяния. Это был ставший вдруг маленьким старичок с обвисшим животом, с мутным взглядом и приоткрытым ртом, шаркающий ногами в больших калошах; на воротнике у него таял снег. Он толкал тележку, толпа подталкивала его, а я отпрянул, словно бы в ужасе, думая только о том, как побыстрее уйти, убежать. Я в мгновение ока потерял из виду противника, который, вероятно, так никогда и не узнал, что был им. Потом я еще долго ощущал в себе пустоту, как после утраты очень близкого человека. Электризующий вызов, заставлявший меня напрягать всю силу ума, внезапно исчез. Должно быть, тот Дилл, что неотступно меня преследовал и смотрел у меня из-за спины на перечерканные рукописи, никогда не существовал. Когда несколько лет спустя я прочел о его смерти, я ничего не почувствовал. Но много прошло времени, прежде чем затянулось во мне это опустевшее место.

Я знал, что у него есть сын. С Диллом-младшим я познакомился только в Проекте. Мать у него была, кажется, венгерка — отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хоть он и именовался младшим, но был уже немолод. Он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Белойн, например, задуман могучим старцем, и, казалось, он поспешно стремится к этой своей истинной форме, зная, что не только не утратит своей энергии, но, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохраняющие черты периода созревания. Таким вот и был Дилл-младший. От отца он унаследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты; он был не из тех, кому безразлично, что происходит с их руками или лицом. Если я был «беспокойным математиком», то он — «беспокойным физиком»; он тоже любил перемену мест и одно время работал с биофизиками под руководством Андерсона. У Раппопорта мы сблизились; мне это стоило некоторых усилий (Дилл мне не слишком нравился), но я превозмог себя — отчасти в память об его отце. Если это покажется не слишком понятным, могу лишь заверить, что и сам я не все понимаю. Но так уж оно было.

Специалисты в нескольких областях — «универсалы» — были в большой цене; Диллу принадлежала важная роль в синтезировании Лягушачьей Икры. Но на вечерних беседах у Раппопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с Проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дилл состоял (кажется, по линии ЮНЕСКО) в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он любил об этом рассказывать. Там было всех понемногу — биологов, социологов, генетиков, антропологов. Среди них, конечно, и знаменитости — нобелевские лауреаты.

Один из них считал атомную войну единственным спасением от потопа человеческих тел. Его умозаключения выглядели, впрочем, логично. Ни пилюли, ни уговоры не остановят естественного прироста. Необходимо целенаправленное вмешательство в семейную жизнь. Но трудность не в том, что каждый подобный проект выглядит чудовищно или комично (скажем, предлагается выдавать «разрешение на ребенка» лишь тем, кто наберет достаточно баллов за умственные и физические достоинства, за педагогические способности и так далее).

Программ можно придумать сколько угодно, но как провести их в жизнь? Ведь придется ограничить свободы, на которые не покушался ни один политический режим от самого зарождения цивилизации. Ни у какого правительства не останется для этого авторитета и силы. Невозможно бороться одновременно и с самым могущественным человеческим влечением, и с большей частью церквей, и с основополагающими, общепризнанными правами человека. Зато после атомной катастрофы суровая регламентация деторождения стала бы жизненной необходимостью, иначе наследственная плазма, подвергшаяся радиации, породила бы несчетное множество уродов. Временная регламентация могла бы перерасти в узаконенную систему, которая регулировала бы численность вида и управляла бы его эволюцией.

Атомная война, конечно, кошмарное зло, но ее отдаленные последствия могут оказаться благотворными. В таком же духе высказались и некоторые другие эксперты, но остальные запротестовали, и выработать единодушные рекомендации не удалось.

Этот рассказ возмутил Раппопорта, но чем больше он горячился, тем холоднее, с затаенной усмешкой, отвечал ему Дилл.

— Сделать рассудок верховным судьей — значит перепоручить свою судьбу мании логичности, — говорил Раппорт. — Радость отца, умиленного тем, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания, особенно если отец — заурядная, бесталанная личность. Рассуждая логически, надо основывать «банки спермы», взятой от лучших людей-производителей, и с помощью искусственного осеменения получать генетически ценный приплод. Брак — дело рискованное, и с общественной точки зрения — пустая трата сил; так почему не подбирать пары, как при селекции животных, добиваясь положительной корреляции физических и психических признаков. Подавляемые влечения — причина стрессов, потенциальная угроза для общества; выходит, надо удовлетворять их все без изъятия (естественным или эквивалентным техническим путем) либо отключать (с помощью химии или хирургии) мозговые центры, в которых эти желания возникают.

Двадцать лет назад путешествие из Европы в Америку длилось семь часов; израсходовав восемнадцать миллиардов долларов, это время сократили до пятидесяти минут. Ценой еще скольких-то миллиардов время полета удастся уменьшить вдвое против теперешнего. Пассажир, прошедший телесную и умственную дезинфекцию (чтобы он не занес к нам ни азиатского гриппа, ни азиатских мыслей), напичканный витаминами и кинозрелищами из консервной банки, сможет все быстрее и надежнее переноситься из города в город, с континента на континент, с планеты на планету. Столь небывалая резвость технических опекунов затыкает нам рот, чтобы мы не успели спросить: а нужны ли нам эти молниеносные странствия? На них не рассчитано было наше старое, животное тело; слишком стремительные прыжки с одного полушария на другое нарушают ритм его сна и бодрствования; к счастью, получен химический препарат, устраняющий это расстройство. Правда, он временами вызывает депрессию, но тут нас выручают препараты, бодрящие дух; они вызывают коронарную недостаточность, но, вставив в артерии полиэтиленовые трубочки, можно ничего не бояться.

А ученый уподобляется обученному слону, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон — силой мышц, подчиняясь приказу. Это необычайно удобно: ученый отныне готов на все, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капиту-

лянтов; логический расчет — автоматом, заменяющим человеку нравственность; мы уступаем шантажу «высших соображений», что-де атомная война может быть косвенно благодетельной, поскольку это вытекает из арифметики. То, что сегодня считается злом, завтра может оказаться благом, и из этого заключают, что само зло есть в известном отношении благо. Разум отмахивается от интуитивной подсказки эмоций; гармония идеальной машины возводится в образец для цивилизации и каждого человека в отдельности.

Средства цивилизации объявляются целями, высшие ценности обмениваются на удобства. Соображения удобства, по которым пробки в бутылках заменяют металлическими колпачками, а те в свою очередь — пластиковыми, отскакивающими при нажатии пальцем, сами по себе совершенно невинны, но в применении к человеку они становятся чистейшим безумием; любой конфликт, любая проблема уподобляются не слишком удобной пробке, которую следует вышвырнуть и заменить чем-нибудь поудобнее. Белойн назвал Проект «MASTER'S VOICE», ибо название это двусмысленно: к какому, собственно, голосу мы должны прислушиваться — к «гласу Господа», обращенному к нам со звезд, или к «голосу хозяина» из Вашингтона? По существу, весь Проект — это операция «выжимания лимона»; правда, «выжать» пытаются не наши мозги, а космическое Послание, но горе власть имущим и их слугам, если они добьются желаемого!

Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году Проекта; а недобрые предчувствия, овладевшие нами, предвещали события, которые придали операции «выжимания лимона» уже не иронический смысл, а злоеший.

Х

Хотя Лягушачья Икра и Повелитель Мух были одной и той же субстанцией, только по-разному сохраняемой в группах биофизиков и биохимиков, тем не менее в каждой из групп утвердилась своя собственная терминология. Я видел в этом проявление закономерности, характерной для истории науки вообще. Нечаянные зигзаги пути, приведшего к открытию, и сопутствовавшие ему случайные обстоятельства запечатлеваются в его окончательном облике. Конечно, эти реликты нелегко распознать — как раз потому, что, застыв, они про-

никают в самую сердцевину теории и в ее позднейшие интерпретации, как неустранимый отпечаток, клеймо случайности, окаменевшей и ставшей правилом разума.

Чтобы впервые увидеть Лягушачью Икру в лаборатории Ромни, меня подвергли традиционной уже процедуре, обязательной для всех прибывающих извне. Сначала я выслушал краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше; затем, после двухминутного путешествия по подземке, попал в лабораторию химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале, под двухэтажным прозрачным колпаком, трехмерную модель одной молекулы Лягушачьей Икры, похожую на скелет дафнии, увеличенной до размеров атлантозавра. Отдельные атомные группы подходили на гроздьях — черные, пурпурные, лиловые и белые шары, соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, аксильные группы и похожие на странные цветы «молекулярные рефлекторы» — для поглощения энергии ядерных реакций. Реакции эти мне демонстрировали, включая устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели; ни дать ни взять футуристическая реклама, скрещенная с рождественской елкой. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил — и мог идти дальше.

Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах, под контролем программных устройств, в резервуарах, снабженных защитными оболочками: на некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение (в конце реакции оно исчезало). Главный зал синтеза занимал четыре тысячи квадратных метров. Отсюда дорога вела в «серебряную палату», где, как в сокровищнице, покоилась надиктованная звездами субстанция. Я увидел полукруглую комнату, вернее, камеру без окон, с зеркально отполированными посеребренными стенами; тогда я знал, зачем это нужно, а теперь уже забыл. На массивном постаменте, залитый холодным светом люминесцентных ламп, стоял, словно большой аквариум, стеклянный резервуар, почти пустой — только дно покрывал слой ярко опалесцирующей, неподвижной, синеватой жидкости.

Стеклянная стена делила помещение на две части; напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирурги-

ческий инструмент, к поверхности жидкости, а когда поднял их, за ними потянулась искрящаяся на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жижу. Словно бы этот раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Марш снова опустил манипулятор и ловко встряхнул его; волокно оторвалось, но поверхность жидкости, переливающаяся отраженным светом, не расступилась; волокно съежилось и разбухло, превратившись в сверкающую личинку, и поползло, совсем как настоящая гусеница, а когда уткнулось в стекло, остановилось и повернуло обратно. Путешествие длилось около минуты, потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосало материнское лоно.

Сам по себе этот трюк с «гусеницей» особого значения не имел. Но когда выключили освещение и опыт повторили в темноте, я различил очень слабую, но явственную вспышку — будто крохотная звездочка зажглась на миг между дном и крышкой резервуара. Позже Марш объяснил мне, что это не люминесценция. Когда нить разрывается, в месте разрыва образуется мономолекулярный слой, слишком тонкий, чтобы удержать под своим контролем ядерные процессы, и возникает нечто вроде микроскопической цепной реакции; вспышка — это уже вторичный эффект: возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а затем внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов. Я спросил, велики ли перспективы практического использования Лягушачьей Икры. Надежд у них было меньше, чем сразу после синтеза: Лягушачья Икра вела себя подобно живой ткани — то есть не позволяла изъять свою ядерную энергию точно так же, как живая ткань не позволяет изъять свою химическую энергию.

В лаборатории Гроттуса, который синтезировал Повелителя Мух, порядки были совершенно иные; в подzemелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. То ли Повелителя Мух поместили двумя этажами ниже уровня земли потому, что его так называли, то ли его окрестили так потому, что родился он в бетонных пещерах, наводящих на мысль о царстве Аида, — не знаю.

Сперва, еще в лаборатории, надлежало облачиться в защитную одежду — просторный и прозрачный комбинезон с кашпоном и кислородным баллоном на лямках. Это занятие — довольно хлопотливое — чем-то походило на ритуал.

Насколько я знаю, никто еще не исследовал поведение ученых в лабораториях с этнографической точки зрения, хотя для меня несомненно, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно вести по-разному, но принятый однажды образ действий становится в данном кругу, в данной научной школе привычкой, имеющей силу нормы, и чуть ли не догмой.

К Повелителю Мух я спускался с двумя сопровождающими; коротышка Гроттус шел впереди. В путь мы двинулись лишь после того, как в наши прозрачные комбинезоны накачали кислород, манипулируя всякими рычажками, так что мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком-человеком внутри. Перед входом костюм еще проверяли на герметичность очень простым способом — поднося пламя свечи к разным местам комбинезона, давление в котором слегка превышало атмосферное; это напоминало магический обряд — что-то вроде курения фимиама.

Все это создавало впечатление чего-то серьезного, торжественного, ритуально замедленного, должно быть, потому, что в наших сверкающих воздушных шарах нельзя было двигаться быстро. К разговорам такая оболочка тоже не особенно располагала, приходилось общаться жестами, и это еще больше усиливало ощущение, будто участвуешь в каком-то обряде. Конечно, можно бы возразить, что комбинезон защищал от бета-излучения и, хотя он сильно стеснял движения, зато обеспечивал хороший обзор, и так далее. Но я без особого труда сумел бы, мне кажется, придумать иную процедуру, не столь живописную и лишнюю затаенных намеков на символический смысл названия «Повелитель Мух».

В отдельном бетонном помещении находился армированный вход в вертикальный колодец. Один за другим спустились мы по стальной лесенке, вмурованной в стенки колодца, противно шелестя комбинезонами. Было невыносимо жарко в этом одеянии, раздутом, как рыбий пузырь. Внизу тянулся узкий проход, освещавшийся редкой цепочкой зарешеченных ламп, — что-то вроде штрека в старых шахтах. Должен заметить, что этих аксессуаров сотрудники Гроттуса не придумали; просто его группа воспользовалась подземной частью здания, которая когда-то служила более грозным целям, связанным с термоядерными испытаниями. Несколькими десятками метров дальше все засверкало: стены здесь были покрыты зеркально отполированным серебром — единственное, что напоминало «серебряную палату» биохимиков. Но

это почти что не замечалось, как не замечается эротическая природа наготы в кабинете врача; целостный образ подчиняет себе составляющие его элементы. Там, у биохимиков, серебро стен имело что-то общее со стерильностью хирургической палаты, а здесь оно казалось чем-то таинственным — словно в каком-то паноптикуме повторялись вокруг искаженные отражения наших пузыреобразных фигур.

Напрасно я озирался вокруг в поисках какого-нибудь прохода — коридор, слегка расширяясь, утыкался в тупик. Сбоку, на уровне головы, виднелась стальная дверца; Гротюс ее отпер, и в толстой стене открылась ниша наподобие амбразуры. Оба моих спутника отступили, чтобы я мог приглядеться получше. С той стороны отверстие закрывал просвечивающий пласт, словно кусок мяса плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь шлем, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лба и скул какое-то давление, которое, похоже, вызывалось не одним лишь теплом. Приглядевшись, я заметил очень медленное, не вполне равномерное движение — как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пыталась ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой, словно ползя на месте — неторопливо, но неустанно.

Гротюс вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу и достал из висевшего на плече вещмешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда он поднес ее к закрытой дверце — хорошо рассчитанным и в то же время торжественным жестом, — мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки и мгновенно спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками; мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжанье. Гротюс еще ближе придвинул колбу к дверце — мухи забились еще отчаянней; он спрятал колбу обратно и направился к выходу.

Так я узнал, откуда взялось это название. Повелитель Мух был попросту Лягушачьей Икрой — только в количестве, заметно превышавшем двести литров, хотя четкой грани между первым и вторым состоянием не было. Что же касается странного феномена с мухами, никто не имел понятия о его механизме — тем более что проявлялся он в опытах лишь с немногими перепончатокрылыми. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо

подносили к дверце, никак не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Говорили о каких-то волнах, об излучении, хорошо еще, что не о телепатии. Эффект не обнаруживался у мух, брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Но эта констатация, в сущности, была тривиальна. Несчастных мух наркотизировали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности то ножки, то крылышки, а всего-то и выяснили, что толстый слой диэлектрика служит надежным экраном: значит, это физический эффект, а не чудо. Ну да. Еще только выяснить бы, чем он вызван. Меня заверили, что объяснение будет найдено, — над этим работала особая группа биоников и физиков. Если они что и открыли, мне об этом ничего не известно.

Впрочем, Повелитель Мух не был опасен для живых организмов, находящихся рядом; даже мухам в конце концов ничего не делалось.

XI

С наступлением осени — лишь календарной, ибо солнце стояло над пустыней, как в августе, — я снова, хоть и не скажу чтобы с новыми силами, принялся за расшифровку сигнала. В своих рассуждениях я не просто отодвигал на второй план синтез Лягушачьей Икры (который считался в Проекте высшим достижением и в техническом плане, безусловно, был таковым) — я, по сути, его игнорировал, словно считал эту диковинную субстанцию артефактом*. Ее создатели утверждали, что во мне говорит иррациональное предубеждение, личная неприязнь к этому веществу, как бы смешно это ни звучало. Некоторые (в том числе Дилл) давали понять, что атмосфера священнодействия вокруг «ядерной слизи» пробудила во мне недоверие к самому Повелителю Мух; или же, дескать, меня раздосадовало, что к загадке самого сигнала эмпирики добавили еще одну — субстанцию непонятного назначения.

Вряд ли они были правы — ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку, но именно с ним я связывал (по крайней мере тогда) надежду разгадать намерения Отправителей, а отсюда — и само Послание. Рассчитывая обогатить свой за-

* Здесь: побочное следствие эксперимента.

пас идей, я проштудировал уйму трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала чем-то сродни двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем создающей информации, адресованной иным поколениям.

Но что же, собственно, давала эта аналогия? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наши познания громадны только перед лицом человека — но не Мироздания. Между авангардом наших технических достижений, нарастающих кумулятивно, взрывообразно, и нашей собственной биологией возникает — прямо у нас на глазах — пропасть; она расширяется все стремительней, рассекая человечество надвое — на фронт собирателей информации, вместе с его ближним резервом, и плодовые толпы, которые пробавляются информационной кашкой, приготовляемой по тем же рецептам, что питательная смесь для младенцев. Мы переступили — неизвестно когда — порог, за которым громада накопленных знаний переросла кругозор любого из нас и началась неудержимая атомизация всего и вся.

Не приумножать без разбору эти знания, а сначала избавиться от огромных их залежей, от скоплений второстепенной, то есть излишней, информации — вот, по-моему, первейшая наша обязанность. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может познать все; но это иллюзия. Выбор, равнозначный отказу от этого рая, неизбежен и необходим, как дыхание.

Если бы человечество не терзали, не разъедали, не жгли язвы враждебных друг другу национализмов, столкновения интересов (нередко мнимых), переизбыток в одних точках земного шара и крайняя нехватка в других (а ведь устранение этих противоречий, по крайней мере принципиальное, технически достижимо), — тогда, быть может, оно разглядело бы за этими маленькими кровавыми фейерверками (которые зажигает на расстоянии ядерный капитал Великих) процессы, происходящие «сами собой», самотеком, без всякого контроля. Политики, как и столетия назад, принимали земной шар (теперь уже — со всеми его окрестностями до самой Луны) за шахматную доску для стратегических игр; а эта доска между тем перестала быть нерушимой опорой и походит скорее на плот, который раскалывают удары незримых течений, несущих его туда, куда никто не смотрел.

Прошу прощения за эти метафоры. Но ведь хотя футурологи и размножились, словно грибы, с той поры как Герман Кан* онаучил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя — со всеми потрохами — на милость и немилость технологической эволюции. А между тем роли менялись: человечество становилось для технологии средством, орудием достижения неведомой цели. Абсолютное оружие искали, как философский камень (правда, такой, который существует наверняка). Футурологические труды пестрели кривыми и таблицами — на роскошной мелованной бумаге — с датами пуска водородно-гелиевых реакторов и промышленного внедрения телепатии; а даты эти устанавливались путем голосования всевозможных экспертов. На смену честно признаваемому незнанию приходила иллюзия точного знания, куда более опасная.

Достаточно ознакомиться с историей науки, чтобы понять: облик грядущего зависит от того, чего мы сегодня не знаем и что по природе своей непредсказуемо. Положение осложняла не имеющая аналогий в истории ситуация «зеркала», или «танца вдвоем», когда одна сторона вынуждена возможно точнее и возможно быстрее повторять все, что делает в области вооружения соперник; и часто нельзя было установить, кто первым сделал очередной шаг, а кто лишь старательно его повторил. Воображение человечества как будто застыло, ошеломленное возможностью атомной гибели, которая была, однако, слишком очевидна для обеих сторон, чтобы осуществиться. Сценарии термоядерного апокалипсиса — детища стратегов и ученых советников — настолько заморозили умы, что о дальнейших — и, может быть, еще более грозных возможностях просто не думали. А между тем все новые изобретения и открытия неустанно расшатывали хрупкое равновесие.

В семидесятые годы на время возобладала доктрина «косвенного экономического истощения» потенциальных противников, которую шеф Пентагона Кайзер выразил поговоркой: «Покуда толстый сохнет, тощий сдохнет». На смену соперничеству в мощности ядерных зарядов пришла гонка в создании ракет-носителей, а потом — еще более дорогих противоракет. В качестве следующей ступени эскалации забрезжила возможность создания «лазерного щита» — щатокола из гамма-лазеров, которые, дескать, оградят всю

* Герман Кан (1922 — 1983) — американский футуролог.

страну стеной сокрушительного огня. Стоимость проекта оценивалась уже в 400 — 500 миллиардов долларов. После этого шага можно было ожидать следующего — выведения на орбиты огромных заводов-спутников, снабженных гамма-лазерами, рой которых, пролетая над территорией противника, мог спалить ее всю за доли секунды ультрафиолетовым излучением. Стоимость этого «пояса смерти» превысила бы, по оценкам, семь триллионов долларов. Ставка на экономическое истощение противника, втянутого в производство все более дорогого оружия, непосильное для государственного организма, делалась совершенно всерьез. Однако трудности создания супер- и гиперлазеров оказались — пока что — непреодолимыми: милостивая к нам Природа (то есть свойства ее механизмов) спасла нас от самих себя, — но ведь то был всего лишь счастливый случай.

Так выглядело глобальное мышление политиков и диктуемая ими стратегия науки. Между тем устоявшиеся нормы нашей культуры начинали расшатываться, как груз в трюме судна, которое слишком резко качает. Грандиозные историко-софические концепции размывало у самых фундаментов; великие теории, основанные на ценностях, унаследованных от прошлого, обрекались на вымирание, как бронтозавры; им предстояло разбиться о рифы грядущих открытий. Любую мощь, любой кошмар, запятанный в потрохах материального мира, вытащили бы на сцену в качестве оружия, если могли бы. Так что теперь мы вели игру не с Россией, но с самой Природой: ведь от Природы, а не от русских зависело, какими еще открытиями она одарит нас, и безумием было бы полагать, будто она души в нас не чаает и снабдит нас только такими средствами, которые помогут нам выжить. Появись на горизонте науки открытие, сулящее полное военное превосходство, мы бы удесятерили силы и средства; ведь тот, кто первым достиг бы цели, стал бы гегемоном планеты. Об этом говорили повсюду. Но разве мыслимо, чтобы соперник покорно подставил голову под ярмо? Господствующая доктрина была внутренне противоречива, предполагая нарушение существующего равновесия сил и его непрерывное восстановление.

Наша цивилизация угодила в технологическую ловушку, и наши судьбы зависели теперь от того, как устроены некие, еще неизвестные нам взаимосвязи энергии и материи. За такие высказывания, такие взгляды меня называли пораженцем, особенно те из ученых, кто отдал свою совесть на откуп

госдепартаменту. До тех пор, пока люди, схватив друг друга за волосы и за глотку, пересаживались с верблюдов и мулов на колесницы, телеги, кареты, паровозы и танки, человечество могло рассчитывать на выживание, положив конец этой гонке. В середине века тотальная угроза парализовала политику, но не изменила ее; стратегия оставалась все та же, дни считались важнее месяцев, годы — важнее столетий, а следовало поступать наоборот, лозунг интересов всего человечества начертать на знаменах, обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок.

Тем временем разрыв между Великими и Третьим миром все возрастал (экономисты прозвали его «растягивающейся гармошкой»). Влиятельные особы, державшие в своих руках судьбу остальных, говорили, что понимают это, что вечно это продолжаться не может, — но не делали ничего, как бы в ожидании чуда. Следовало координировать прогресс, а не доверяться его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто делать все, что только возможно технически, — значит вести себя мудро и осторожно; не могли же мы рассчитывать на сверхъестественную благосклонность Природы, которую мы сами превращали в пищу для своих тел и машин и все глубже впускали в недра цивилизации. А вдруг окажется, что это — троянский конь, сладкий яд, убивающий не потому, что мир желает нам зла, а потому, что мы действовали вслепую?

Обо всем этом я не мог не думать, размышляя о двойственности Послания. Дипломаты в неизменных фраках со сладостной дрожью ждали Минуты, когда мы завершим наконец наши неофициальные, второстепенные, подготовительные труды и они, увешанные звездами орденов, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией. От нас требовалось только построить им мост. А ленточку они перережут сами.

Но как оно было в действительности? В каком-то уголке Галактики появились некогда существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в Космогонию — чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, если сумели так безупречно объединить жизнетворный импульс с абсолютным невмешательством в локальный процесс эволюции. Творящий сигнал не был словом, которое становится плотью; он ведать не ведал о том,

чему предстояло возникнуть. В основе своей процедура проста, только повторялась она в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы широко раздвинутые берега, между которыми — уже сам по себе — и должен был развиваться процесс видообразования. Поддержка была предельно осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, — ничего, кроме повышения вероятности состояний, почти невозможных с точки зрения термодинамики.

Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и достигал своей цели лишь потому, что проникал сквозь любую преграду; вездесущий, он пронизывал какую-то часть Галактики (а может, и всю Галактику? — мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается). Это был не одновременный акт — своим постоянством он соперничал со звездами и в то же время прекращал свое действие, стоило начаться желаемому процессу: влияние сигнала на сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю.

Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что Отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезды (или целой их группы), будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. Засекреченность Проекта казалась преступной перед лицом такой грандиозной картины. Перед нами предстало не просто открытие (или даже горы открытий) — нам раскрывали глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками. А во мраке Галактики сиял разум, который не пытался навязать нам свое присутствие, напротив, всячески скрывал его от непосвященных.

Невыразимо плоскими казались мне все гипотезы, бывшие до сих пор в моде. Их создатели метались между двумя полюсами: между пессимизмом (дескать, Молчание Вселенной — ее естественное состояние) и бездумным оптимизмом (дескать, космические известия передаются четко, по складам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер дошкольников). Разрушен еще один миф, думал я, и еще одна истина взошла над нами; и, как обычно при встрече с истиной, мы оказались не на высоте.

Оставалась вторая, смысловая сторона сигнала. Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но целое он охватить не способен. Мы были в сходном положении. Ребенка могут заморозить какие-то фразы; так и мы дивились крохотной частичке того, что расшифро-

вали. Я так долго корпел над Посланием, так часто возобновлял попытки его разгадать, что на свой лад сжился с ним и не однажды, чувствуя, что оно высится надо мной, как гора, смутно различал великолепие его конструкции — математическое восприятие сменялось эстетическим, а может, сливалось с ним.

Каждая фраза что-то означает, даже и вне контекста, но в контексте она вступает в сцепление с другими, предыдущими и последующими. Из этого взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений и возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о назначении его элементов — «псевдофраз». Этого назначения я не мог постигнуть, но Послание, несомненно, обладало той внутренней, чисто математической гармонией, которую в величественном соборе может уловить даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни стилей, воплощенных в формы собора. Именно так я смотрел на Послание — и поражался. Этот текст был необычен уже тем, что не имел никаких «чисто локальных» признаков. Замковый камень, вынутый из арки, из-под тяжести, которую он предназначен нести, становится просто камнем, — вот пример нелокальности в архитектуре. Синтез Лягушачьей Икры стал возможен как раз потому, что мы выдернули из сигнала отдельные «кирпичики» и произвольно наделили их атомными и стереохимическими «значениями».

В этом было нечто варварское — как если бы «Моби Дика» использовали взамен руководства по разделке китов и вытапливанию китового жира. Можно и так поступать — бойня китов «вписана» в «Моби Дика», и, хотя смысл ее там диаметрально противоположен, этим можно и пренебречь — разрезать текст на кусочки и перетасовать их. Неужели сигнал, несмотря на всю мудрость Отправителей, был настолько незащищен? Вскоре мне было суждено убедиться, что дело, пожалуй, обстоит еще хуже; мои опасения получили новую пищу, — вот почему я не отрекаюсь от этих сентиментальных раздумий.

Как показал частотный анализ, некоторые фрагменты сигнала повторялись, точно слова в фразах, но различное соседство порождало небольшие различия в расположении импульсов, а это не было учтено нашей «двоичной» информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые

как-никак могли ссылаться на сокровища, замкнутые в их «серебряных подземельях», упорно твердили, что это искажения, вызванные многопарсековым странствием нейтринных потоков, результат десинхронизации (впрочем, ничтожной для подобных масштабов), размазывания сигнала. Я решил это проверить. Потребовал вновь провести регистрацию сигнала или хотя бы его значительной части и тщательно сопоставил полученный текст с теми же фрагментами пяти независимых записей, сделанных ранее.

Странно, что никто этого прежде не сделал. Решив исследовать подлинность чьей-то подписи и применяя все более сильные лупы, мы в конце концов видим, как чудовищно увеличенные полоски — чернильные контуры букв — распадаются на элементы, разбросанные по обособленным, толстым, как конопляный канат, волокнам целлюлозы, и невозможно установить, где та граница увеличения, после которой в формах письма перестает ощущаться влияние пишущего, его «характер», а начинается область действия статистических законов, микроскопических подрагиваний руки, пера, неравномерности стекания чернил, — законов, над которыми пишущий уже совершенно не властен. Цели можно достичь, сравнивая ряд подписей — именно ряд, а не две подписи; только тогда обнаружатся их устойчивые черты, не подверженные ежесекундным флуктуациям.

Мне удалось доказать, что «размывание», «размазывание», «десинхронизация» сигнала существует только в воображении моих оппонентов. Точность повторения соответствовала пределу разрешающей силы нашей аппаратуры. А так как вряд ли Отправитель рассчитывал на аппаратуру именно с такой калибровкой, стабильность сигнала, несомненно, превосходила наши исследовательские средства.

Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком Господним» либо «вопиющим в пустыне», и под конец сентября я работал, окруженный все возрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и Посланием возникало такое родство, словно я постиг его почти целиком; замирая, словно перед бесплотным прыжком, я уже ощущал близость другого берега, но на последнее усилие меня не хватало.

Теперь эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сегодня мне легче признать, что дело тут было не во мне, что задача превышала силы каждого человека. А между

тем я считал — и продолжаю считать, — что ее невозможно одолеть коллективной атакой; взять барьер должен был кто-то один, отбросив заученные навыки мышления, — кто-то один или никто. Такое признание собственного бессилия выглядит жалко — и эгоистично, быть может. Словно бы я ищу оправданий. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, — так именно в этом случае. Ощущение изоляции, отчуждения угнетало тогда меня. Удивительнее всего, что мое поражение, при всей его очевидности, оставило в моей памяти какой-то возвышенный след, и те часы, те недели — сегодня, когда я о них вспоминаю, — мне дороги. Не думал, что со мною случится такое.

ХII

В опубликованных отчетах и книгах меньше всего говорится (если говорится вообще) о моем более «конструктивном» вкладе в Проект. Во избежание возможных недоразумений предпочитают умалчивать о моем участии в «оппозиции конспираторов», которая, как я прочитал однажды, могла стать «величайшим преступлением», и не моя заслуга, что этого удалось избежать. Итак, перехожу к описанию своего преступления.

К началу октября жара ничуть не спала — днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу, а по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки, стараясь не терять из виду здания-башни поселка: меня предупредили, что в пустыне, среди высоких дюн легко заблудиться. И однажды какой-то инженер действительно заблудился, но около полуночи вернулся в поселок, отыскав направление по зареву электрических огней. Я раньше не знал пустыни; она была совсем не похожа на то, что я представлял себе по книгам и фильмам, — абсолютно однообразная и поразительно многоликая. Особенно зачаровывало меня зрелище движущихся дюн, этих огромных медлительных волн; их строгая великолепная геометрия воплощала в себе совершенство решений, которые принимает Природа в мертвых своих владениях — там, куда не вторгается цепкая, назойливая, а временами яростная стихия биосферы.

Возвращаясь однажды с такой прогулки, я встретил Дональда Протеро — как выяснилось, не случайно. Протеро, потомок старинного корнуэльского рода, даже во втором поколении был англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев.

Восседая в Совете между огромным Белойном и худым долговязым Диллом, за одним столом с беспокойным Раппортом и рекламно-элегантным Ини, Протеро выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся. Воплощенная усредненность: обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, ненапускное спокойствие, никакой подчеркнутой жестикующести — только так, одними отрицаниями я мог бы его описать. И при всем том — первоклассный ум.

Должен признаться, я думал о нем с некоторой тревогой: я не верю в человеческое совершенство, а людей, лишенных всяких чудачеств, заскоков, странностей, хотя бы намек на какую-то манию, на какой-то собственный пунктик, подозреваю в неискренности (каждый ведь судит по себе) — или в бесцветности. Конечно, многое зависит от того, с какой стороны узнаешь человека. Если сначала познакомишься с кем-то по его научным работам (крайне абстрактным в моем ремесле), то есть с предельно одухотворенной стороны, то столкновение с грубой телесностью вместо платоновской чистой идеи оказывается для тебя потрясением.

Наблюдать, как чистая мысль, возвышенная абстракция потеет, моргает, ковыряет в ухе, лучше или хуже управляя сложной машиной своего тела (которое, давая духу пристанище, так часто духу мешает), неизменно доставляло мне какое-то иконоборческое, приправленное злорадным сарказмом удовлетворение.

Помню, как-то вез меня на своей машине один блестящий философ, тяготевший к солипсизму, и вдруг спустило колесо. Прервав рассуждение о феерии иллюзий, какой является всякое бытие, он совершенно обыкновенно, даже слегка кряхтя, принялся поднимать машину домкратом, снимать запасное колесо, а я взирав на это, прямо-таки по-детски радуясь, словно увидел простуженного Христа. Ключом-миражом он завинчивал гайки-фантазмагории, потом с отчаянием глянул на свои руки, испачканные смазкой, которая, конечно, тоже ему лишь грезилась, — но все это как-то не приходило ему на ум.

В детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, прежде всего ученые, а самые святые среди них — университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений.

Но Дональда я знал уже двадцать лет, и, что поделаешь, он вправду был тем идеальным ученым, в которого ныне готовы верить лишь самые старомодные и восторженные особы. Белойн, тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник, однажды настойчиво упрашивал Протеро, чтобы тот согласился хоть отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство — это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протеро лишь усмехался, попыхивая трубкой.

В тот вечер мы шли по ложбине между склонами дюн в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, каждая песчинка которого, словно на полотнах импрессионистов, излучала лиловое свечение, как микроскопическая газовая горелка, — и Протеро начал рассказывать мне о своей работе над «холодными» ядерными реакциями в Лягушачьей Икре. Я слушал его больше из вежливости и удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ему ту, что была в Манхэттенском проекте.

— Если даже удастся вызвать крупномасштабную цепную реакцию в Лягушачьей Икре, — заметил я, — нам, пожалуй, ничто не грозит: мощность водородных бомб и без того технически безгранична.

Тогда он спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порывлся в кармане и протянул мне кусок киноплёнки; источником света послужил огромный красный диск солнца. Я достаточно ориентируюсь в микрофизике, чтобы распознать серию треков в пузырьковой камере. Дональд стоял рядом, неторопливо указывая на некоторые необычные детали. В самом центре камеры находился крохотный, с булавочную головку, комочек Лягушачьей Икры, а звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом, в миллиметре от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного, но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное: даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, звездочки расколотых ядер появлялись в камере — вне этого панциря!

— Реакция вызывается дистанционно, — заключил Про-

теро. — Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другой точке. Ты видел, как фокусник прячет яйцо в карман, а вынимает его изо рта? Здесь то же самое.

— Но ведь то — фокус! — Я все еще не мог, не желал понять. — А тут... Что же, атомы в процессе распада совершают скачок через фольгу?

— Нет. Просто исчезают в одном месте и появляются в другом.

— Но это же противоречит законам сохранения!

— Не обязательно. Ведь они проделывают это невероятно быстро: тут исчезают, там возникают. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким чудесным образом? Нейтринное поле. Поле, модулированное звездным сигналом, — словно «божественный ветер»!*

Я знал, что это невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашей полушарии разбирается в ядерных реакциях, так именно он. Я спросил, каков радиус действия эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне.

— Не знаю, каким он МОЖЕТ быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры. В этой — два с половиной дюйма. В камере Вильсона — десять.

— Ты можешь контролировать реакцию? То есть задавать конечную точку этих перемещений?

— С высочайшей точностью. Цель определяется фазой — там, где поле достигает максимума.

Я пытался понять, что же это за эффект. Ядра атомов распадались в Лягушачьей Икре, а треки тотчас возникали снаружи. Дональд утверждал, что это явление лежит вне пределов нашей физики. Она запрещает квантовые эффекты в таком макроскопическом масштабе. Постепенно у него развязался язык. На след он напал случайно, попытавшись (собственно говоря, вслепую) вместе со своим сотрудником Макхиллом повторить опыты Ромни — но в физическом варианте. Протеро воздействовал на Лягушачью Икру излучением сигнала. Он понятия не имел, получится ли из этого что-нибудь. Получилось. Было это как раз перед его поездкой в Вашингтон. Во время его недельной отлучки Макхилл по их совместному плану собрал установку больших разме-

* Имеется в виду ураган «Камикадзе», спасший Японию от китайского нашествия в XIII веке. (Примеч. ред.)

ров — она позволяла переносить и фокусировать реакции в радиусе нескольких метров.

Несколько метров?! Я решил, что ослышался. Дональд — с видом человека, который узнал, что у него рак, но феноменально владеет собой, — заметил, что в принципе возможно создать установку, позволяющую усилить эффект в миллионы раз — и по мощности, и по радиусу действия.

Я спросил его, кто об этом знает. Дональд никому ничего не сказал — даже Научному Совету. Он изложил мне свои соображения. Белойну он полностью доверял, но не хотел ставить его в трудное положение, ведь именно Айвор непосредственно отвечал перед администрацией за Проект в целом. Но тогда уж нельзя говорить об этом никому из остальных членов Совета. За Макхилла он ручался. Я спросил, до какого предела. Дональд посмотрел на меня и пожал плечами. Он был человек здравомыслящий и не мог не понимать: ставка так высока, что ни за кого нельзя поручиться. Я обливался потом, хотя было довольно прохладно.

Дональд рассказал, зачем он ездил в Вашингтон. Он написал докладную записку и, никому об этом не сообщив, вручил ее Рашу, а теперь Раш его вызвал. В докладной разъяснялось, какой вред приносит засекречивание Проекта. Если мы и получим какие-то сведения, увеличивающие наш военный потенциал, глобальная угроза лишь возрастет. На чью бы сторону ни склонилась чаша весов, если она качнется слишком резко, другая сторона может решиться на отчаянный шаг

Меня слегка задело, что он не поговорил даже со мной, но я не подал вида, а только спросил, какой он получил ответ. Впрочем, догадаться было нетрудно.

— Я говорил с генералом. Он заявил мне, что они все понимают, но действовать нам надлежит по-прежнему, ведь противник, возможно, ведет точно такие же исследования... и тогда своими открытиями мы не нарушим равновесие, а восстановим его. В хорошую я влип историю! — заключил он.

Я заверил его (покрывив душой), что записку, конечно, отложат в долгий ящик, но это его не успокоило.

— Я писал ее, — сказал он, — когда у меня в запасе не было ничего, решительно ничего. А тем временем, когда записка лежала уже у Раша, я напал на след этого эффекта. Я даже подумывал, не забрать ли свою несчастную бумагу обратно, но это как раз и показалось бы им подозрительным. Можешь себе представить, как теперь будут за мной следить!

Он вспомнил о нашем «приятеле», Вильгельме Ини. Я тоже не сомневался, что Ини уже получил соответствующие инструкции. А может, предложил я, опыты прекратить, а установку демонтировать или даже уничтожить? К сожалению, я заранее знал ответ.

— Нельзя закрыть однажды сделанное открытие. Кроме того, есть Макхилл. Он меня слушается, пока мы работаем вместе, но не знаю, как он себя поведет, решишь я на такой шаг. И даже если бы я мог абсолютно на него положиться, это ничего нам не даст — ну разве только небольшую отсрочку. Биофизики уже составили план работы на следующий год. Я видел черновик. Они задумали нечто похожее. У них есть камеры, есть хорошие ядерщики — Пикеринг, например, — есть инвертор; во втором квартале они собираются исследовать эффекты микровзрывов в мономолекулярных слоях Лягушачьей Икры. Аппаратура у них автоматическая. Они будут делать по паре тысяч снимков в день, и эффект сам бросится им в глаза.

— В будущем году, — сказал я.

— В будущем году, — повторил он.

Не очень-то ясно было, что еще можно к этому добавить. Мы молча шли среди дюн; на горизонте едва светился краешек багрового солнца. Помню, что я видел все окружающее так отчетливо и мир казался таким прекрасным, словно я вот-вот должен был умереть. Я хотел было спросить Дональда, почему он доверился именно мне, — но так и не спросил. Да и что он мог бы сказать?

XIII

Очищенная от скорлупы профессиональных терминов, проблема выглядела просто. Если Протеро не ошибся и его первоначальные результаты подтвердятся, значит, энергию ядерного взрыва можно будет перебрасывать со скоростью света — в любую точку земного шара. При следующей встрече Дональд показал мне принципиальную схему аппаратуры и предварительные расчеты; из них вытекало, что, если эффект останется линейным, ничто не мешает увеличивать его мощность и радиус действия. Можно будет и Луну разнести на куски, сосредоточив на Земле достаточное количество расщепляющегося материала и сфокусировать реакцию в нужной точке.

Ужасные были дни, и едва ли не хуже — ночи, когда я ворочал в уме эту проблему то так, то эдак. Протеро требовалось еще некоторое время, чтобы смонтировать аппаратуру. За это взялся Макхилл, мы же с Дональдом занялись теоретической обработкой данных, причем, естественно, речь шла о чисто феноменологическом подходе. Мы даже не договаривались, что будем работать вместе, — это получилось само собой. Впервые в жизни мне пришлось соблюдать при расчетах «минимум конспирации» — уничтожать все заметки, стирать записи в машинной памяти и не звонить Дональду даже по безразличным поводам, ведь внезапное учащение наших контактов могло пробудить нежелательный интерес. Я несколько опасался пронизательности Белойна и Раппопорта, но мы теперь виделись реже. Айвор был очень занят: приближался визит Макмаона, влиятельного сенатора, человека весьма заслуженного и приятеля Раша; а Раппопортом к тому времени завладели информанционщики.

Я же, хотя и был членом Совета, одним из «большой пятерки», но «без портфеля», а значит, даже формально не входил ни в одну из групп и мог свободно располагать своим временем; мои ночные бдения у главного компьютера не привлекали внимания, тем более что мне и прежде случалось оставаться там за полночь. Выяснилось, что Макмаон придет раньше, чем Дональд закончит монтаж аппаратуры. На всякий случай Дональд не подавал никаких заявок в администрацию, а просто одалживал необходимые приборы в других отделах, — это было в порядке вещей. Однако для остальных своих сотрудников ему пришлось придумать другие занятия, и притом достаточно осмысленные.

Трудно сказать, почему мы так стремились ускорить эксперимент. Мы почти не говорили о возможных последствиях его положительного (следовало бы сказать — отрицательного) результата; но должен признаться, что по ночам, в полусне, я взвешивал даже возможность объявить себя диктатором планеты — единоличным или в дуумвирате с Дональдом — разумеется, ради общего блага. Хотя известно, что к общему благу стремились в истории чуть ли не все; известно также, чем оборачивались эти стремления. Человек, обладающий аппаратом Протеро, в самом деле мог бы угрожать аннигиляцией всем армиям и странам. Однако всерьез я об этом не думал, и вовсе не из-за недостатка решимости — терять уже было нечего. Просто я знал, что такая попытка обречена — мира таким путем не достигнешь;

и я признаюсь в этих мечтаниях лишь для того, чтобы показать тогдашнее состояние своего духа.

Эти (и последовавшие за ними) события описаны несчетное множество раз и со множеством искажений. Ученые, которые понимали наши сомнения и были расположены к нам — скажем, Белойн, — изображали дело так, будто мы действовали в полном согласии с методикой, принятой в Проекте, и уж во всяком случае не собирались утаивать результаты. Зато бульварная пресса, получив кое-какие материалы от нашего друга Вильгельма Ини, выставила Дональда и меня изменниками и агентами враждебной державы; взять хотя бы нашумевшую серию репортажей Джека Слейера «Заговор ГЛАГОС». И если эта шумиха не привела таких злодеев, как мы, пред очи карающего ареопага какой-нибудь сенатской комиссии, то лишь потому, что официальные версии нам благоприятствовали, а Раш за кулисами нас поддерживал; к тому же, когда дело получило огласку, оно успело потерять актуальность.

Правда, не обошлось без неприятных разговоров с политиками, которым я повторял одно и то же: любые нынешние антагонизмы я считаю временными в том смысле, в каком временными были державы Александра Македонского или Наполеона. О всяком мировом кризисе можно рассуждать в терминах военной стратегии лишь до тех пор, пока речь не заходит о гибели человека разумного как биологического вида. Но если интересы вида становятся одним из членов уравнения, выбор автоматически предрешен, и обращение к американскому патриотизму, к ценностям демократии и так далее теряет смысл. Того, кто считает иначе, я называю потенциальным палачом человечества. Кризис в лоне Проекта миновал, но за ним, несомненно, последуют новые. Развитие технологии распатывает равновесие нашего мира, и ничто не спасет нас, если мы не извлечем отсюда практических выводов.

Сенатор наконец появился в сопровождении свиты и был принят с надлежащими почестями; он оказался человеком тактичным и не пускался с нами в разговоры наподобие тех, что белый ведет с туземцами. Близился новый бюджетный год, и Белойн был крайне заинтересован в том, чтобы в самом лучшем свете представить работу и достижения Проекта. Веря в свои дипломатические способности, он старался ни на шаг не отходить от Макмаона. Но тот ловко увернулся и выразил желание побеседовать со мной. Позже я понял, что

в Вашингтоне меня уже считали «лидером оппозиции» и сенатор хотел дознаться, каково же мое *votum separatum**. Во время обеда я об этом и думать не думал. Белойн, искушенный в такого рода делах, порывался преподать мне «верную установку», но между нами сидел сенатор, так что сигнализировать приходилось молча, строя всевозможные мины — красноречиво-многозначительные, таинственные и предостерегающие. Раньше он не удосужился дать мне инструкции и теперь пытался исправить ошибку; так что, когда мы вставали из-за стола, он было рванулся ко мне, но Макмаон дружески обнял меня за талию и повел в свои апартаменты.

Он угостил меня отличным «Мартеlem», видимо привезенным с собой, — в ресторане нашей гостиницы я такого что-то не приметил. Передал мне приветы от общих знакомых, с усмешкой пожаловался, что не способен даже прочесть работы, которые принесли мне славу, и вдруг, как бы между прочим, спросил, расшифрован сигнал или все же не расшифрован. Тут-то я за него и взялся.

Разговор шел с глазу на глаз — свиту в это время водили по лабораториям, которые мы называли «выставочными».

— И да и нет, — ответил я. — Смогли бы вы установить контакт с двухлетним ребенком? Конечно, смогли бы, если б преднамеренно обращались к нему, — но что поймет ребенок из вашей бюджетной речи в сенате?

— Ничего не поймет, — согласился он. — Но тогда почему вы сказали «и да и нет»?

— Потому что кое-что мы все же знаем. Вы видели наши «экспонаты»?

— Я слышал о вашей работе. Вы доказали, что Послание описывает какой-то объект, правильно? А Лягушачья Икра — частица этого объекта, разве не так?

— Сенатор, — сказал я, — пожалуйста, не обижайтесь, если то, что я скажу, прозвучит недостаточно ясно. Тут ничего не поделаешь. Для неспециалиста самое непонятное в нашей работе — вернее, в наших неудачах — это то, что мы частично расшифровали сигнал и на этом застряли. Хотя специалисты по кодам утверждают, что, если код удалось расшифровать частично, дальше все пойдет как по маслу. Верно?

Он кивнул; было заметно, что слушает он внимательно.

— Существуют, в самом общем смысле, два типа языков:

* Особое мнение (лат.).

обычные, которыми пользуются люди, и языки, не созданные человеком. На таком языке беседуют друг с другом организмы: я имею в виду генетический код. Он не только содержит информацию о строении организма, но сам способен превратить ее в живой организм. Это код внекультурный. Чтобы понять естественный язык людей, надо хоть что-то знать об их культуре. А чтобы понять код наследственный, нужны только сведения из области физики, химии и так далее.

— Ваш частичный успех означает, что Письмо написано именно на таком языке?

— Знай мы однозначный ответ, мы не испытывали бы особых затруднений. Увы — действительность, как всегда, гораздо сложнее. Различие между «культурным» и «внекультурным» языком не абсолютно. Вера в абсолютный характер такого различия — одна из многих иллюзий, от которых мы избавляемся с величайшим трудом. Математическое доказательство, о котором вы упомянули, свидетельствует лишь об одном: Письмо написано на языке иного рода, чем наш с вами. Нам известны лишь два типа языков — наследственный код и естественный язык, но отсюда еще не следует, будто никаких иных языков нет. Я допускаю, что они существуют и Письмо написано на одном из них.

— И как же он выглядит, этот «иной язык»?

— Я могу ответить только в самых общих чертах. Говоря упрощенно, организмы «общаются» между собой в процессе эволюции при помощи «фраз», которым соответствуют генотипы, и «слов», которым соответствуют хромосомы. Но если ученый представит вам структурную формулу генотипа, такая формула не может считаться внекультурным кодом, ведь наследственная информация изложена будет на языке символов — скажем, химических. Перехожу к самой сути: мы догадываемся уже, что «внекультурный» язык подобен кантовской «вещи в себе». И то и другое непознаваемо. Любое высказывание есть двухкомпонентная связь «культурного» и «природного» (то есть диктуемого «самой действительностью»). В языке древних франков, в политических лозунгах республиканской партии удельный вес «культуры» громаден, а все «внекультурное» — то, что идет «прямо из жизни», — сведено к минимуму. В языке, которым пользуется физика, все обстоит наоборот — в нем много «естественного», того, что диктуется «самой природой», и мало того, что идет от культуры. Но полная «внекультурная» чистота языка невозможна. Было бы иллюзией пола-

гать, будто, посылая другой цивилизации формулу атома, мы изгнали из такого «письма» все культурные примеси. Как ни избавляйся от них, никто и никогда, во всей Вселенной, не сведет их к нулю.

— Значит, Письмо написано на «внекультурном» языке, но с примесью культуры Отправителей? Да? В этом и состоит трудность?

— Одна из трудностей. Отправители отличаются от нас не только культурой, но и познаниями — природоведческими, скажем так. Поэтому перед нами трудность по меньшей мере двойного порядка. Догадаться, какова их культура, мы не сможем — ни сейчас, ни, я полагаю, через тысячу лет. Это они должны отлично понимать, а значит, почти наверняка выслали такую информацию, для расшифровки которой не нужно знать их культуру.

— Но тогда этот культурный фактор не должен мешать?

— Видите ли, сенатор, мы даже не знаем, что именно больше всего нам мешает. Мы оценили Письмо в целом с точки зрения его сложности. Она сопоставима с уровнем сложности социальных и биологических систем. Никакой теории социальных систем у нас нет; поэтому в качестве моделей, подставляемых к Письму, пришлось использовать генотипы — точнее, их математическое описание. Объектом, наиболее адекватным сигналу, оказалась живая клетка, а может быть, и целый живой организм. Из этого вовсе не следует, что Письмо и впрямь содержит какой-то генотип; просто из всех объектов, которые мы для сравнения «подставляем» к Письму, генотип наиболее пригоден. Вы понимаете, чем это грозит?

— По правде сказать, не очень. В худшем случае расшифровка вам не удастся, вот и все.

— Мы поступаем, как человек, который ищет потерянную монету под фонарем, где светло. Вы когда-нибудь видели ленты для пианолы?

— Видел, конечно. Они с перфорацией.

— Так вот, для пианолы может случайно подойти лента с программой цифровой машины, пусть даже эта программа не имеет совершенно ничего общего с музыкой, а относится к какому-нибудь уравнению пятой степени. Но если поставить ее в пианолу, вы услышите звуки. И может случиться, что вместо абсолютной какофонии там и сям послышится какая-то музыкальная фраза. Догадываетесь, почему я выбрал этот пример?

— Пожалуй. Вы думаете, что Лягушачья Икра — это «музыкальная фраза», которая возникла, когда в пианолу вложили ленту, предназначенную, в сущности, для цифровой машины?

— Да. Именно так я и думаю. Тот, кто использует цифровую ленту для пианолы, совершает ошибку, и вполне вероятно, что именно такую ошибку мы приняли за успех.

— Но две ваши лаборатории совершенно независимо друг от друга синтезировали Лягушачью Икру и Повелителя Мух, — а ведь это одна и та же субстанция!

— Допустим, у вас дома есть пианола, но вы ничего не слышали о цифровых машинах, и ваш сосед то же самое. Так вот: если вы где-то найдете цифровые ленты, то оба, вероятно, сочтете, что они предназначены для пианолы, ведь о других возможностях вам ничего не известно.

— Понимаю. Это и есть ваша гипотеза?

— Да. Это моя гипотеза.

— Вы говорили об угрозе. В чем же она состоит?

— Спутать ленту машины с лентой пианолы, разумеется, не опасно, это всего лишь безобидное недоразумение. Но в нашем случае ошибка может кончиться плохо.

— Например?

— Откуда мне знать? Я имею в виду вот что: допустим, в поваренной книге вместо «сахарин» вы прочитали «стрихнин», а в результате умерли все участники пиршества. Учтите: мы делали только то, что были в состоянии делать, а значит, навязали сигналу наши знания, наши — быть может, упрощенные, быть может, ложные — представления.

Как же так, спросил Макмаон, если доказательства успеха столь очевидны? Он видел Повелителя Мух. Возможно ли при неправильной расшифровке получить такой поразительный результат? Разве этот фрагмент «перевода» может быть совершенно ошибочным?

— Может, — ответил я. — Допустим, мы переслали по телеграфу генотип человека, а получатель депеши, изучив ее, воссоздал одни лейкоциты. Тогда он имел бы что-то вроде амёб и множество неиспользованной информации. Вряд ли верно прочел телеграмму тот, кто вместо целого человека синтезировал кровяные тельца.

— Так велика разница?

— Да. Мы использовали от двух до четырех процентов всей информации, но даже эти проценты, возможно, на треть состоят из наших же домыслов, из того, что мы сами вложили

в перевод, руководствуясь своими познаниями в стереохимии, физике и так далее. Если тем же манером расшифровать генотип человека, то и лейкоцитов никаких не получишь. Разве только мертвую белковую взвесь... Кстати, сделать нечто подобное было бы очень полезно, тем более что генотип человека расшифрован процентов на семьдесят. Но на это у нас нет ни времени, ни денег.

Еще его интересовала возможная разница в развитии между нами и Отправителями. Я сказал, что, по расчетам фон Хорнера и Брейсуэлла, наиболее вероятно встреча с цивилизацией, насчитывающей около 12 000 лет; но, по-моему, вполне реален и миллиардолетний возраст Отправителей. В противном случае передача «жизнетворного» сигнала не находит рационального объяснения: за дюжину тысячелетий жизнь не создашь.

— На долгий срок, должно быть, они выбирают свое правительство, — заметил Макмаон.

Он спросил, стоит ли в таком случае продолжать Проект.

— Если юный головорез, — сказал я, — отнимет у вас чековую книжку и шестьсот долларов, то, хотя он и не сможет снять миллионы с вашего счета, вряд ли он будет особенно огорчен. Для него и шестьсот долларов — куча денег.

— Этот юный головорез, по-вашему, мы?

— Вот именно. Мы можем веками питаться крохами со стола высокоразвитой цивилизации. Если будем вести себя благоразумно...

Тут я, может, и добавил бы кое-что, да прикусил язык.

Макмаон пожелал выяснить мое личное мнение о Письме и его Отправителях.

— Они не рационалисты, по крайней мере, в нашем понимании, — ответил я. — Знаете ли вы, сенатор, какая у них «себестоимость»? Допустим, они располагают энергией порядка 10^{49} эргов. Тогда мощность отдельной звезды — а именно такая мощность нужна для посылки сигнала — для них то же самое, что для нас в Штатах — мощность крупной электростанции. Скажите, согласилось бы наше правительство расходовать — в течение сотен и тысяч лет — мощность такого комплекса, как Боулдер-Дам, чтобы помочь возникновению жизни на других планетных системах, будь это возможно при столь микроскопических затратах энергии?

— Мы слишком бедны...

— Но доля энергии, израсходованной на столь благородную цель, в обоих случаях одинакова.

— Десять центов по отношению к доллару — не то же самое, что миллион по отношению к десяти миллионам.

— Да у нас ведь именно миллионы. Космическая пропасть, разделяющая нас, меньше, чем пропасть моральная. У нас миллионы людей умирают от голода здесь, на Земле, а они заботятся о том, чтобы возникла жизнь на планетах Кентавра, Лебеда и Кассиопеи. Я не знаю, что там, в Послании, но при их альтруизме там не может быть ничего, что могло бы нам повредить. Одно слишком противоречит другому. Конечно, подавиться можно и хлебом. Я рассуждаю так: если мы с нашими порядками, с нашей историей достаточно типичны для космоса, Послание нам ничем не угрожает. Ведь вы об этом спрашивали, правда? Они должны хорошо знать «цивилизационную постоянную» Вселенной. Если мы — отклонение, меньшинство, то они и это примут, вернее, должны были принять во внимание. Но если мы — редчайшее исключение, чудище, диковинка, которая попадает раз в десять миллиардов лет в одной галактике из тысячи, — такую возможность они могли не учитывать в своих расчетах и планах. Так или эдак, они невиновны.

— Вы произнесли это, как Кассандра, — сказал Макмаон, и я видел, что ему, как и мне, не до шуток.

Мы поговорили еще, но я не сказал ничего, откуда можно было бы заключить — или заподозрить, — что Проект вступил в новую фазу. И все же я был недоволен собой: мне казалось, я слишком разоткровенничался, особенно под конец. Вероятно, на мысль о Кассандре наводили моя мимика и интонации — ведь следил я прежде всего за словами.

Я вернулся к своим расчетам и с Белойном увиделся только после отъезда сенатора. Айвор был раздражен и удручен.

— Макмаон? — спросил он. — Приехал обеспокоенный, а уехал довольный. И знаешь почему? Не знаешь? Администрация боится успеха — если успех окажется слишком велик. Боится открытия, которое имело бы военное значение.

Это меня поразило.

— Он сам тебе это сказал?

Белойн рассмеялся над моей наивностью:

— Что ты! Как можно! Но это и без того ясно. Им бы хотелось, чтобы у нас ничего не вышло. Или чтобы оказалось, что пришла поздравительная открытка с пожеланиями всего наилучшего. Ну да, тогда бы они раструбили об этом на весь свет и были бы в полном восторге. Макмаон зашел поразительно далеко — ты не знаешь его, это человек не-

слыханно осторожный. И все же он выпытывал у Ромни с глазу на глаз, каковы самые отдаленные технологические последствия Лягушачьей Икры. Самые отдаленные! И с Дональдом говорил о том же.

— И что сказал Дональд? — спросил я. Впрочем, о Дональде я мог не беспокоиться. Он был надежен, как несгораемый шкаф.

— Да ничего. Даже не знаю, что он ответил. А Ромни сказал, что готов поделиться своими ночными кошмарами, потому что наяву он ничего такого не видит.

— Отлично.

Я не скрывал облегчения. Белойн, однако, был явно подавлен; он запустил пятерню в волосы, покачал головой и вздохнул.

— К нам должен приехать Лирни, — сказал он. — С какой-то теорией о природе сигнала. С какой-то своей гипотезой. Не знаю точнее, в чем дело, — Макмаон сказал мне об этом перед самым отлетом.

Лирни я знал: это был космогонист, бывший ученик Хаякавы — бывший, так как, по мнению некоторых, он уже перерос своего наставника. Я только не понимал, что общего имеет его специальность с Проектом и откуда он вообще узнал о Проекте.

— На каком свете ты живешь? — возмутился Белойн. — Неужели неясно, что администрация дублирует нашу работу?! Мало им, что они следят за каждым нашим шагом, так еще и это!

Мне не хотелось этому верить. Я спросил, откуда ему об этом известно, да и возможно ли вообще, чтобы существовал какой-то Контрпроект — то есть параллельный контроль наших действий. Белойн, похоже, ничего определенного не знал, а он терпеть не мог признаваться в неведении и взвинтил себя так, что — уже при Дилле и Дональде, которые как раз подошли, — закричал, что при таком положении дел ему остается только подать в отставку!

К таким угрозам он прибегал время от времени, каждый раз сопровождая их громовыми раскатами, — Белойну нужен размах, оперный пафос при его энергии неизбежен; но на сей раз мы дружно принялись его убеждать, он согласился с нашими доводами, приутих и уже собирался уходить, как вдруг вспомнил о моем разговоре с Макмаоном и начал меня расспрашивать. Я пересказал ему почти все, умолчав лишь о Кассандре; таков был эпилог визита сенатора.

Вскоре выяснилось, что подготовка займет у Дональда больше времени, чем он полагал. Мне тоже было нелегко — теория становилась все запутанней, я прибегал к разным фокусам, «педального» арифмометра мне уже не хватало, приходилось то и дело наведываться в главный вычислительный центр — занятие не слишком приятное, потому что стояла пора ураганных ветров и стоило пройти по улице сотню шагов, как песок набивался в уши, в рот, в нос и даже за воротник.

Оставалось неясным, каким именно образом Лягушачья Икра поглощает энергию ядерного распада и как она избавляется от остатков этих микровзрывов — все это были изотопы (в основном редкоземельные) с жестким гамма-излучением. Мы с Дональдом разработали феноменологическую теорию, которая неплохо согласовывалась с опытными данными; но работала она только «вспять», то есть в пределах уже известного; стоило увеличить масштаб эксперимента, как ее предсказания начинали расходиться с результатами опыта. Осуществить эффект Дональда — он получил название Экстран (Explosion transfer*) — было чрезвычайно легко. Протеро расплющивал комочек Лягушачьей Икры между двумя стеклянными пластинками, и, как только слой становился мономолекулярным, на всей поверхности начиналась реакция распада, а если порции Икры были побольше, установка (старая модель) выходила из строя. Но никто не обращал на это внимания, хотя в лаборатории стоял такой грохот, гремели такие залпы, словно на полигоне, где испытывали взрывчатку. Когда я спросил Дональда, в чем дело, тот, и глазом не моргнув, объяснил, что его сотрудники изучают распространение баллистической волны в Лягушачьей Икре — такую он им придумал тему и оглушительной канонадой успешно маскировал свои каверзы!

А у меня между тем теория расползалась по всем швам — я видел, что никакой теории, собственно, давно уже нет, только не хотел себе признаваться в этом. Работа шла тем труднее, что у меня к ней не лежала душа. Пророчество, которое я изрек в разговоре с сенатором, заморозило меня самого. Нередко опасения наши остаются как бы бесплотной, призрачной тенью, пока не выговоришь их вслух. Со мной получилось именно так. Теперь Лягушачья Икра казалась мне несомненным артефактом, результатом неправильной

* Перенос взрыва (англ.).

расшифровки сигнала. Отправители, конечно, не собирались посылать нам ящик Пандоры; но мы, как взломщики, сорвали замки и оттиснули на извлеченной добыче самые корыстные, грабительские приметы земной науки. Да ведь и недаром же, думал я, атомная физика добилась успеха именно там, где появилась возможность завладеть самой разрушительной энергией.

Поэтому ядерная энергетика постоянно плелась в хвосте у военной промышленности, поэтому термоядерных зарядов было в избытке, а термоядерных реакторов — ни одного, и микромир выворачивал перед человеком свое исковерканное таким однобоким подходом нутро, поэтому о сильных воздействиях мы знали гораздо больше, чем о слабых. Я спорил об этом с Дональдом — он мне возражал: уж если кто и несет вину за «однобокость физики» (впрочем, он ее отрицал), то вовсе не мы, а Вселенная, ее безусловно данная нам структура. Ведь гораздо легче уничтожить, чем творить, — в любом достаточно объективном смысле, хотя бы в соответствии с правилом наименьшего действия. Все, что клонится к разрушению, совпадает с главным направлением физических процессов во Вселенной, а любой созидатель вынужден идти против течения.

Я, в свою очередь, сослался на миф о Прометее. Считается, что в нем берут начало достойные уважения и даже почитания тенденции науки; однако прометеевский миф восхваляет не бескорыстное понимание, но насильственное исторжение, не познание, а господство. Таков фундамент любых эмпирических знаний. Дональд заметил, что своими гипотезами я порадовал бы фрейдистов, коль скоро мотивы человеческого познания сведены у меня к агрессии и садизму. Теперь я вижу, что и в самом деле едва не терял рассудок — то есть рассудительность, кладнокровие, предписывающее действовать *sine ira et studio*^{*}, и в своих умозаключениях переносил «вину» с неведомых Отправителей на людей, — неисправимый мизантроп!

В первых числах ноября установка была запущена, но предварительные испытания, проводившиеся в малом масштабе, не удавались — взрывы давали большой разброс; в конце концов один из них произошел за пределами экраняющего щита и, несмотря на ничтожную мощность, вызвал скачок радиации до 60 рентген; пришлось установить

^{*} Без гнева и пристрастия (лат.).

еще одну, внешнюю, защиту. Такую массивную стену уже нельзя было скрыть. И действительно, Ини, который до тех пор даже не заглядывал к физикам, теперь появился у Дональда несколько раз, и то, что он ни о чем не спрашивал, только сновал по лаборатории да приглядывался, тоже ничего хорошего не сулило. В конце концов Дональд выпроводил его, объяснив, что он мешает сотрудникам работать. Я отчитал его, но он хладнокровно ответил, что дело так или иначе скоро решится, а до той поры он не пустит Ини на порог.

Сейчас, вспоминая все это, я вижу, как неразумно поступали мы оба — больше того, бездумно. Я и теперь не знаю, что же следовало делать; но вся эта наша подпольная деятельность — иначе ее не назовешь — только одним и была хороша: мы сохраняли иллюзию, что руки у нас чисты. Мы очутились в безвыходном положении. Начатые исследования нельзя было ни скрыть, ни внезапно прервать, признав бессцельность сохранения тайны; такая возможность существовала сразу же после открытия Экстрана — но не теперь. Поторопиться с началом работ побудила нас неизбежность скорого — через квартал — появления биофизиков на этом горячем участке, а засекретить исследования заставила нас тревога за судьбы мира, ни больше ни меньше. Выйти из укрытия значило вызвать град недоуменных вопросов: хорошо, но почему вы решили открыться как раз теперь? У вас уже есть окончательные результаты? Нет? Тогда почему вы не пришли с предварительными? Я бы не смог на это ответить.

Протеро питал смутные надежды на то, что в большом масштабе Экстран даст нечто вроде рикошета. Это вытекало из исходной теории, но я уже знал, что сама теория никуда не годится, к тому же она открывала эту лазейку лишь при условии принятия определенных посылок, которые в дальнейшем приводили к отрицательным вероятностям.

Белойна я всячески избегал — перед ним моя совесть была нечиста. Но его удручали иные заботы: мы ждали второго «внепроектного гостя» кроме Лирни; в конце месяца они собирались просветить нас своими докладами. В Вашингтоне, стало быть, признались открыто, что у них есть «собственные» специалисты по «Гласу Господа», совершенно с нами не связанные, и Белойн оказывался в весьма неприятном положении перед своими сотрудниками. Тем не менее Дилл, Дональд, Раппопорт и я сам считали, что он должен нести

свой крест (именно так он теперь выражался) до конца. Впрочем, оба ожидавшихся гостя были первоклассными учеными.

Отныне и речи не было об урезании ассигнований на Проект. Следовало ожидать, что, если непрошенные консультанты не сдвинут исследования с мертвой точки (а в это я верил мало), Проект будет держаться одной лишь силой инерции; из-за пресловутой «особой секретности» никто наверху не решится в нем ничего изменить, а тем более его ликвидировать.

В Совете возникли персональные трения; во-первых, между Белойном и Ини, поскольку тот, по нашему убеждению, не мог не знать о втором Проекте, «Проекте-призраке», однако, при всей своей разговорчивости, даже не заикнулся о нем (а перед Белойном рассыпался в любезностях). Далее, напряженность между нашей «двойкой конспираторов» и опять-таки Белойном — ибо о чем-то он все же догадывался; я видел, как он водит за мной глазами, словно ожидая объяснений, хотя бы намека. Но я изворачивался, как мог, вероятно, не слишком ловко: в таких играх я не был силен. Раппопорт дулся на Раша за то, что даже ему, первооткрывателю, не намекнули ни словом о «Проекте-призраке»; короче, заседания Совета стали просто невыносимыми из-за всеобщего недоверия и взаимных обид. Я корпел над программами, без нужды расходуя время и силы — ведь их составил бы любой программист; однако соображения конспирации перевешивали.

Наконец я завершил расчеты, необходимые Дональду, но установка еще не была готова. Оставшись без дела, я — в первый раз с тех пор, как прибыл сюда, — включил телевизор, но все передачи показались мне до крайности пошлыми и бессмысленными, в том числе новости дня; я отправился в бар, но и там не усидел долго. Так и не найдя себе места, пошел в вычислительный центр и, тщательно запершись, занялся расчетами, которых от меня никто уже не требовал.

Я снова работал с опороченной, так сказать, формулой Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии. Оценил расчетную мощность инверторов и передатчиков взрыва при дальности, равной диаметру земного шара; возникшие при этом технические трудности увлекли меня, но ненадолго. Удар, нанесенный с помощью эффекта Экстран, исключал всякое упреждение. Просто в некий момент земля под ногами у людей превращалась в раскаленную лаву. Взрыв можно

было вызвать и не на поверхности Земли, а под нею — на любой глубине. Не только стальные плиты, но и весь массив Скалистых гор не спас бы штабистов в их подземных убежищах. Не приходилось надеяться даже на то, что генералы — самое ценное, что у нас есть (судя по средствам, вложенным в охрану их здоровья и жизни), — выберутся на сожженную радиацией землю и, сняв ненужные (пока что) мундиры, начнут восстанавливать основы цивилизации. Последний бедняк в труппах и командующий ядерными силами подвергались равной опасности.

Я поистине демократически уравнивал всех обитателей нашей планеты. Машина грела мне ноги легким теплым дыханием, пробивавшимся сквозь щели металлических жалюзи, и деловито выстукивала на лентах ряды цифр; ей-то было все равно, означают ли эти цифры гигатонны, мегатрупы или количество песчинок на атлантических пляжах. Отчаяние последних недель, перешедшее в постоянный, тупой гнет, вдруг отступило. Я работал живо и с удовольствием. Я не действовал уже вопреки себе, напротив, я делал то, чего от меня ожидали, я был патриотом. Я ставил себя то в положение атакующего, то в положение защищающегося, сохраняя абсолютную беспристрастность.

Но выигрышной стратегии не было. Если фокус взрыва можно перенести из одной точки земного шара в любую другую — значит, можно уничтожить все живое на каком угодно пространстве. С точки зрения энергетики, классический ядерный взрыв — чистое расточительство, ведь в его центре происходит «сверхуничтожение». Здания и тела разрушаются в тысячи раз основательнее, чем требуется для военных целей, но на расстоянии какого-нибудь десятка миль от центра можно выжить в довольно простом убежище.

Я продолжал нажимать на клавиши, превращая эту расточительную стратегию в допотопную мумию. Экстран был идеальным средством по своей экономности. Огненные шары классических взрывов он позволял расплющить, раскатать в смертоносную пленку и подстелить ее под ноги людям на всем пространстве Азии или Соединенных Штатов. Тончайший, локализованный в пространстве слой, выделенный из геологической коры континентов, мог моментально превратиться в огненную трясину. На каждого человека приходилось ровно столько высвобожденной энергии, сколько нужно, чтобы превратить его в труп. Но гибнущие штабы еще успели бы отдать приказ подводным лодкам с ядерными ракетами.

Умиравший еще мог уничтожить противника. И не приходилось сомневаться, что так он и сделает. Технологическая ловушка захлопнулась.

Я продолжал искать выход, рассуждая с позиций глобальной стратегии, однако все варианты рушились. Я работал умело и быстро, но пальцы дрожали, а когда я наклонился над выползающей из машины лентой, чтобы прочесть результат, сердце бешено колотилось, я чувствовал палящую сухость во рту и колики в животе, словно мне туго-натуго перевязали кишки. Эти симптомы животной паники своего организма я наблюдал с холодной насмешкой — как будто страх сообщался только мышцам да кишкам, а между тем меня сотрясал беззвучный хохот, тот самый, что полвека назад, ничуть не изменившийся и не состарившийся. Ни голода, ни жажды я не ощущал, поглощая и впитывая колонки цифр — почти пять часов кряду. Вводил в машину программы, одну за другой, вырывал из кассет ленты, комкал, совал в карман. И наконец понял, что работаю уже впустую.

Я боялся, что если пойду ужинать в гостиницу, то расхожусь при виде меню или лица кельнера. К себе я тоже не мог возвращаться. Но куда-то надо было идти. Дональд, занятый своей работой, был — во всяком случае, пока — в лучшем положении. На улицу я вышел, как в чаду. Смеркалось; искрящиеся очертания поселка, залитого ртутным сиянием фонарей, врезались в темноту пустыни, и только в менее освещенных местах можно было разглядеть звезды. Изменой больше, изменой меньше — не все ли равно? И я пошел к Раппопрту, нарушив данное Дональду слово. Он был дома. Я положил перед ним смятые ленты и вкратце рассказал все. Он оказался на высоте — задал лишь три-четыре вопроса, из которых было видно, что ему совершенно ясны масштабы открытия и его последствия. Наша конспирация ничуть не удивила его. Для него это просто не имело значения.

Не помню, что он сказал, просмотрев ленты, но из его слов я понял, что он чуть ли не с самого начала ожидал чего-то подобного. Страх неотступно ходил за ним, и теперь, когда предчувствия эти сбылись, он даже испытал облегчение — то ли от сознания своей правоты, то ли от сознания неизбежности конца. Видно, я был потрясен сильнее, чем полагал, потому что Раппопрт прежде всего занялся мною, а не гибелью человечества. Со времени скитаний по Европе

у него сохранилась привычка, которая мне казалась смешной. Он следовал принципу *omnia mea secum porto*^{*}, словно безотчетно готовился в любую минуту снова стать беженцем. Именно этим я объясняю, почему он хранил в чемоданах «неприкосновенный запас» — вплоть до кофеварки, сахара и сухарей. Нашлась там и бутылка коньяку — она тоже была очень кстати. Началось то, что тогда не имело названия, а потом вспоминалось нами как поминки, вернее, их англосаксонская версия, «wake» — ритуальное бдение у тела покойного. Правда, наш покойник был еще жив и не подозревал о своем отпевании.

Мы пили кофе и коньяк, окруженные такой тишиной, словно мир был абсолютно безлюден и уже совершилось то, чему лишь предстояло свершиться. Понимая друг друга с полуслова, обмениваясь обрывками фраз, мы прежде всего набросали ход предстоящих событий. У нас не было разногласий из-за сценария. Все средства будут брошены на создание установок Экстрана. Такие люди, как мы, отныне не увидят дневного света.

За свою скорую гибель штабисты прежде всего отомстят нам, хотя и ненамеренно. Они не падут ниц и не поднимут лапки вверх: уяснив невозможность рациональных действий, они примутся за иррациональные. Коль скоро ни горные хребты, ни километровой толщины сталь не спасут от удара, спасение они увидят в секретности. Начнется размножение, рассредоточение и самопогребение штабов, причем главный штаб перейдет, наверное, на борт какой-нибудь гигантской атомной подводной лодки либо специально построенного батискафа, чтобы следить за ходом событий, укрывшись на дне океана.

Окончательно лопнет скорлупа демократических учреждений, мякоть которых источила глобальная стратегия шестидесятых годов. Не будет ни желаний, ни времени на то, чтобы цацкаться с ними, словно со способными, но капризными детьми, которых легко задеть и обидеть.

Следуя афоризму Паскаля о мыслящем тростнике, который стремится познать механизм собственной гибели, мы набросали примерные контуры своей и чужой судьбы. Затем Раппопорт рассказал мне о попытке, предпринятой им весной. Он представил генералу Истерленду, нашему тогдашнему шефу, проект соглашения с русскими. Раппопорт пред-

^{*} Все свое ношу с собою (лат.).

лагал, чтобы мы и они выделили одинаковые по характеру и численности группы специалистов для совместной расшифровки Послания. Истерленд снисходительно объяснил ему, какая это была бы наивность: русские, выделив какую-то группу для отвлечения, тем временем втайне трудились бы над Посланием.

Мы взглянули друг на друга и рассмеялись — потому что подумали об одном и том же. Истерленд просто рассказал ему то, о чем мы узнали только теперь. Уже тогда Пентагон запустил «параллельный Проект». «Отвлекающей» группой были мы сами, не зная того, а у генералов имелась другая — как видно, облеченная большим доверием.

Мы стали обсуждать склад психики наших стратегов. Они никогда не принимали всерьез людей, твердивших, что главное — уберечь от гибели человеческий род. Пресловутое *ceterum censeo speciem preservandam esse** было для них дежурным лозунгом, словами, которые положено произносить, а не обстоятельством, которое необходимо учесть в стратегических расчетах. Мы выпили достаточно коньяку, чтобы потешить себя картиной того, как генералы, поджариваясь живьем, отдают последние приказы в оглохшие микрофоны — ведь морское дно, как и любой уголок планеты, уже не будет убежищем. Мы нашли одно-единственное безопасное место для Пентагона и его сотрудников — под дном Москвы-реки, но как-то не верилось, что наши «ястребы» сумеют туда добраться.

После полуночи мы перешли к предметам более увлекательным. Мы заговорили о «Тайне Вида». Я пишу здесь об этом, ибо диалог-реквием, который посвятили Человеку Разумному два представителя того же вида, одурманенные кофеином и алкоголем и уверенные в своем скором конце, кажется мне знаменательным.

Я был уверен, что Отправители отлично информированы о состоянии дел во всей Галактике. Наше поражение объясняется тем, что они не учли специфику земной ситуации, — не учли потому, что в Галактике она составляет редчайшее исключение.

— Это манихейские идейки, по доллару за дюжину, — заявил Раппопорт.

Но я как раз не считал, что конец света станет следствием какой-то особой «злобности» человека. Дело обстоит так:

* Кроме того, считаю, что род должен быть сохранен (*лат.*).

каждое планетное сообщество переходит от состояния разобщенности к глобальному единству. Из орд, родов, племен образуются народы, государства, державы — вплоть до объединения всего вида. Этот процесс почти никогда не приводит к появлению двух, равных друг другу по силам соперников накануне окончательного объединения. Куда чаще, должно быть, мощному Большинству противостоит слабое Меньшинство. Такой исход гораздо более вероятен, хотя бы ввиду чисто термодинамических соображений; это можно доказать путем вероятностных расчетов. Идеальное равновесие сил, их абсолютное равенство, настолько маловероятно, что практически невозможно. Породить его может лишь крайне редкое стечение обстоятельств. Объединение общества — это один ряд процессов, а накопление технических знаний — другой ряд.

Объединение в масштабах планеты может не состояться, если будет преждевременно открыта ядерная энергия. Обладая ядерным оружием, «слабая» сторона уравнивается с «сильной» — каждая из них может уничтожить весь свой вид. Конечно, объединение общества всегда происходит на базе науки и техники, но возможно, что, по общему правилу, открытие ядерной энергии приходится на период, когда планета уже едина, и тогда оно не имеет пагубных последствий. «Самоедская» потенция вида (то есть вероятность совершения им невольного самоубийства), безусловно, зависит от количества элементарных сообществ, располагающих «абсолютным оружием».

Если на какой-то планете имеется тысяча конфликтующих государств и у каждого — по тысяче ядерных боеголовок, вероятность перерастания локального конфликта в планетный апокалипсис во много раз выше, чем там, где антагонистов лишь несколько. Следовательно, судьба планетных цивилизаций в Галактике решается соотношением двух календарей — календаря научных открытий и успехов в объединении локальных сообществ. По-видимому, нам, на Земле, не повезло: мы слишком рано перешли от доатомной цивилизации к атомной, и именно это привело к замораживанию статус-кво — пока мы не обнаружили нейтринный сигнал. Для объединенной планеты расшифровка Послания стала бы шагом к вступлению в «клуб космических цивилизаций». Но для нас это звонок, извещающий, что пора опустить занавес.

— Быть может, — сказал я, — если бы Галилей и Нью-

тон умерли от коклюша в детстве, физика чуть-чуть запоздала бы и расщепление атома произошло бы в двадцать первом веке. Этот несостоявшийся коклюш мог нас спасти.

Раппопорт обвинил меня в вульгаризации: физика развивается эргодически и смерть одного или двух людей не изменит хода ее развития.

— Ну хорошо, — сказал я. — Для нас могло бы оказаться спасительным, если бы на Западе вместо христианства возобладали другая религия или — за миллионы лет до того — по-иному сформировалась сексуальная сфера человека.

Вызванный на спор, я принялся обосновывать эту мысль. Физика, царица эмпирических знаний, не случайно возникла на Западе. Благодаря христианству культура Запада есть культура Греха. Грехопадение — а его сексуальный смысл очевиден! — вовлекает всего человека в борьбу со своей греховностью; отсюда — различные способы сублимации влечений, а важнейший из них — познавательная активность.

В этом смысле христианство поощряло опытные исследования — разумеется, неосознанно: оно открыло им поле деятельности, позволило им развиваться. Напротив, в восточных культурах центральное место занимала категория Стыда: неподобающие поступки не считаются «грешными» в христианском смысле слова, а разве что позорными, особенно в смысле внешних форм поведения. Категория Стыда как бы перебрасывает человека «вовне» духа, в область ритуала и церемониала. Для эмпирии места не остается, ее возможность исчезает вместе с обесцениванием материальной деятельности; «ритуализация» влечений заменяет их сублимацию; распутство не связывается с «грехопадением», обособляется от личности и даже получает узаконенный выход в особом репертуаре форм поведения. Здесь нет ни Греха, ни Благодати — есть только Стыд и способы поведения, позволяющие его избегать. Нет места и углубленному самоанализу: представления о том, «что предписано», «что положено», заменяют Совесть, а лучшие умы целью своих стремлений ставят «отрешение от чувств». Хороший христианин вполне может быть хорошим физиком, но для хорошего буддиста или конфуцианца было бы затруднительно заниматься тем, что лишено какой-либо ценности в свете его верования. В результате «интеллектуальные сливки» общества проявляют себя в медитации и мистических упражнениях наподобие йоги, а культура действует по принципу центрифуги: отбрасывает одаренных людей от тех то-

чек социального пространства, где может быть положено начало эмпирическим знаниям, «закупоривает» их умы, объявляя занятия, имеющие практическое значение, чем-то «низким» и «недостойным». Не избежало этого и христианство, однако потенциал христианского эгалитаризма не исчезал никогда, и из него-то — косвенно — родилась физика со всеми ее последствиями.

— Выходит, физика — что-то вроде аскезы?

— Погодите, это не так просто. Христианство было «мутацией» иудаизма — религии замкнутой, религии избранных. Иудаизм — если смотреть на него как на изобретение — был чем-то вроде Евклидовой геометрии; достаточно задуматься над его исходными аксиомами, чтобы, расширив область их значимости, прийти к доктрине более универсальной, которая «избранными» считает всех людей вообще.

— Христианство, по-вашему, аналог более универсальной геометрии?

— В известном смысле — да, в чисто формальном плане, конечно; речь идет о перемене знаков в рамках все той же системы значений и ценностей. Это привело, между прочим, к признанию правомочности теологии Разума, реабилитировавшей все потенции человека: человек создан разумным, стало быть, вправе пользоваться Разумом; отсюда — после серии скрещиваний и преобразований — возникла физика. Я, разумеется, предельно упрощаю.

Христианство — это «мутация», генерализирующая иудаизм, приспособление системы вероучения к любым возможным человеческим существам. Эта возможность исходно содержалась в иудаизме. Такую операцию нельзя проделать с буддизмом или брахманизмом, не говоря уже об учении Конфуция. Итак, все решилось тогда, когда возник иудаизм, — несколько тысячелетий назад. Но еще раньше имелась и другая возможность. Главной земной, посюсторонней проблемой, с которой имеет дело любая религия, является секс. Можно его почитать, то есть сделать положительным центром вероучения, или отсечь его, обособить, как нечто безразличное, или провозгласить Врагом. Последнее решение наиболее бескомпромиссно; оно-то и было избрано христианством.

Будь секс феноменом, биологически маловажным или периодическим, фазовым, как у некоторых млекопитающих, он не занял бы в культуре видного места. Но вышло иначе, и решилось это примерно полтора миллиона лет назад. От-

ныне секс стал *punctum saliens** едва ли не каждой культуры, его нельзя было попросту не замечать — следовало непременно его «окультурить». Достоинство человека Запада всегда было задето тем, что *inter faeces et urina nascimur*** отсюда, собственно, в Книге Бытия и появился Первородный Грех — на правах Тайны. Так уж случилось. Возобладай в свое время иная цикличность сексуальной жизни — или иной тип религии, — и мы могли бы пойти по иному пути.

— По пути культурной стагнации?

— Нет, просто по пути замедленного развития физики.

Раппопорт немедленно обвинил меня в «бессознательном фрейдизме». Дескать, будучи воспитан в пуританской семье, я проецирую вовне, в мироздание, собственные предубеждения. Я так и не освободился от привычки рассматривать все на свете в категориях Грехопадения и Спасения. Считая землян бесповоротно впадшими в грех, я уповаю на Спасение из Галактики. Мое проклятие низвергает людей в преисподнюю, однако не касается Отправителей — они остаются безупречно благими и праведными. Но именно в этом моя ошибка. Сперва нужно ввести понятие «порога солидарности». Всякое мышление движется в направлении все более универсальных понятий, и это совершенно оправданно, поскольку санкционируется Мирозданием: тот, кто правильно пользуется возможно более общими категориями, овладевает явлениями во все большем масштабе.

Эволюционное сознание, то есть осознание того, что разум возникает в процессе гомеостатического роста — вопреки энтропии, — побуждает нас признать свою солидарность с древом эволюции, которое нас породило. Но распространить эту солидарность на все древо эволюции нельзя: «высшее» существо неизбежно питается «низшими». Где-то нужно провести границу солидарности. На Земле никто не проводил ее ниже той развилки, где растения отделяются от животных. Впрочем, на практике невозможно распространять солидарность, скажем, на насекомых. Знай мы наверняка, что установление связи с космосом требует — по каким-то причинам — истребления земных муравьев, мы, вероятно, сочли бы, что муравьями стоит пожертвовать. Но разве нельзя допустить, что мы, на нашем уровне развития, являемся для Кого-то — муравьями? Граница солидарно-

* Трепещущая точка (*лат.*).

** Между калом и мочой рождается (*лат.*).

сти — с точки зрения тех существ — не обязательно включает таких инопланетных букашек, как мы. А может, для этого у них имеются свои резоны. Может быть, им известно, что галактическая статистика заведомо обрекает земной тип разумных существ на немилость техноэволюции; и еще одна угроза нашему существованию мало что меняет — из нас все равно «ничего не получится».

Я изложил здесь содержание наших ночных бдений накануне эксперимента, но, конечно, не хронологическую запись беседы — настолько точно я ее не запомнил; так что не знаю, когда именно Раппопорт поделился со мной одним из своих европейских переживаний — я уже говорил о нем раньше. Должно быть, это случилось тогда, когда мы закончили с вопросом о генералах и еще не начали искать первопричины надвигающегося эпилога. Теперь же я ответил ему примерно так:

— Доктор, вы еще более неисправимы, чем я. Вы сделали из Отправителей «высшую расу», которая солидаризируется только с «высшими формами» жизни в Галактике. Тогда зачем они поощряют биогенез? Зачем засеивать планеты жизнью, если можно их захватывать и колонизировать? Просто мы оба не в силах вырваться из круга привычных нам понятий. Может быть, вы и правы — я потому ищу причины нашего поражения в нас самих, что так меня воспитали с детства. Только вместо «вины человека» я вижу стохастический процесс, который завел нас в безнадежный тупик. Вы же, беглец из страны расстрелянных, слишком сильно ощущаете свою безвинность перед лицом катастрофы и ищете ее источник не в нас, а в Отправителях. Дескать, не мы тому виной — так решили Другие. Безнадежна любая попытка выйти за пределы нашего опыта. Нам нужно время, а его у нас больше не будет.

Я всегда повторял: если бы у наших политиков хватило ума попытаться вытащить из этой ямы все человечество, а не только своих, мы бы, глядишь, и выбрались. Но только на опыты с новым оружием всегда находятся средства в федеральном бюджете. Когда я говорил, что нужна «аварийная программа» социоэволюционных исследований, а для этого — специальные моделирующие машины, и средств на это понадобится не меньше, чем на создание ракет и антиракет, мне в ответ только усмехались и пожимали плечами. Никто не принимал моих разговоров всерьез, и все, что у меня осталось, — это горькое удовлетворение от сознания своей пра-

воты. Прежде всего следовало изучить человека, вот что было главной задачей. Мы не сделали этого; мы знаем о человеке недостаточно; пора наконец в этом признаться. *Ignoramus et ignorabimus* — потому что времени уже не осталось.

Честный Раппопорт не стал отвечать. Он проводил меня, порядком пьяного, в мою комнату. На прощанье сказал: «Не расстраивайтесь попусту, мистер Хогарт. Без вас все обернулось бы так же скверно».

XIV

Дональд отвел на эксперименты неделю — по четыре опыта в день. Больше не позволяла наспех собранная аппаратура. После каждого опыта она выходила из строя, и приходилось ее восстанавливать. Дело двигалось медленно, ведь работали мы в защитных комбинезонах — из-за радиоактивного заражения материала. Начали мы сразу же после «проводов покойника»; вернее — начал Дональд, а я при этом только присутствовал. Мы уже знали, что сотрудники Контрпроекта (он же «Проект-невидимка») придут через восемь дней. Дональд собирался начать с утра — чтобы его сотрудники отвлекающей канонадой заглушили грохот наших собственных взрывов; но все оказалось готово еще вечером (когда я в вычислительном центре перебирал бесчисленные варианты глобальной катастрофы), и Дональд не дотерпел до утра.

Да и было уже все равно, когда именно Ини — а за ним и наши высокопоставленные опекуны — обо всем узнают. Забывшись после ухода Раппопорта в тяжелом сне, я несколько раз просыпался и вскакивал от гроыхания взрывов, — но оно мне только чудилось. Бетонные стены были рассчитаны и не на такие удары. В четыре утра, чувствуя себя, как евангельский Лазарь, я выволок свои ноющие кости из постели — в комнате я уже оставаться не мог, — махнул рукой на конспирацию и решил идти в лабораторию. Уговора у нас никакого не было, но просто не верилось, что Протеро, имея все наготове, спокойно отправится спать. Я не ошибся: его выдержка тоже имела границы.

Я сполоснул лицо холодной водой и вышел; проходя в конце коридора мимо дверей Ини, заметил свет и невольно

* Не знаем и не узнаем (*лат.*).

замедлил шаг; потом, поняв, насколько это бессмысленно, с кривой усмешкой, которая растянула мое словно бы жестко выдубленное, совершенно чужое лицо, сбежал вниз по лестнице, не вызывая лифт.

Ни разу еще я не выходил из гостиницы так рано; свет в нижнем холле не горел, я наткнулся на расставленные повсюду кресла; было полнолуние, но бетонная колода перед входом заслоняла свет. Улица выглядела жутковато, — а может, это мне только казалось. На здании администрации пылали рубиновые предупреждающие огни для самолетов, да кое-где на перекрестках светились фонари. Здание физического отдела казалось вымершим; я пробежал по темным, хорошо знакомым мне коридорам, через приоткрытую дверь проник в главный зал — и понял, что все уже кончилось: багровые предостерегающие надписи не светились. Кругом царил полумрак; зал с огромным кольцом инвертора походил на машинное отделение завода или судна; на пультах еще перемигивались огоньки индикаторов, но у камеры не было никого. Я знал, где искать Дональда, и по узкому проходу между обмотками многотонных электромагнитов пробрался в маленькое внутреннее помещение — комнатуху, в которой Протеро хранил все протоколы, пленки, записи. Тут действительно горел свет. Протеро вскочил, увидев меня. С ним был Макхилл. Без всяких вступлений Дональд протянул мне исчерканные листки.

Я не сумел разобрать отлично известные мне символы и тут только понял, в каком состоянии нахожусь. Тупо таращился на столбцы цифр, пытаясь сосредоточиться. Наконец результаты всех четырех опытов дошли до меня, и ноги подомной подогнулись.

У стены стоял табурет, я присел на него и еще раз, медленнее и внимательнее, просмотрел результаты. Вдруг бумага стала темнеть, что-то застлало глаза. Приступ слабости длился секунды. Я справился с ним и теперь был в холодном, липком поту. Дональд наконец заметил, что со мной творится что-то неладное, но я поспешил его успокоить.

Он хотел забрать записи, но я не отдал. Они еще были нужны мне. Чем больше энергия, тем меньше точность локализации взрыва. Четырех опытов, конечно, маловато для статистической обработки, но эта зависимость бросалась в глаза. По-видимому, при зарядах больше микротонны (мы уже запросто оперировали единицами ядерной баллистики) разброс достигал половины расстояния между точкой дето-

нации и намеченной целью. Хватило бы трех-четыре-х опытов, чтобы уточнить результат, доказать военную непригодность Экстрана. Но я уже в этом не сомневался: я до мелочей припомнил все предыдущие результаты, свою отчаянную борьбу с формулами исходной теории, и передо мной маячило невероятно простое соотношение, дающее решение проблемы в целом. Это был принцип неопределенности, примененный к эффекту Экстран: чем больше энергия, тем меньше точность фокусировки; чем меньше энергия, тем точнее фокусировался эффект. При расстояниях порядка километра точность фокусировки достигала квадратного метра, — но только если взорвать лишь несколько атомов; итак, никакой разрушительной силы, никакой мощности поражения — ничего.

Подняв глаза, я понял, что Дональд все уже знает. Нам хватило нескольких слов. Оставалось еще одно затруднение: опыты с увеличенной на порядок энергией (чтобы окончательно поставить крест на Экстране) были опасны — из-за неопределенности места высвобождения энергии. Нужен был полигон — скажем, в пустыне... и дистанционная аппаратура. Дональд и об этом уже подумал. Мы говорили, сидя под голой запыленной лампочкой. Макхилл так и не проронил ни слова. Мне показалось, что он больше разочарован, чем потрясен, — но, возможно, я обижаю его таким суждением.

Мы еще раз, очень тщательно все обсудили; думалось мне удивительно хорошо, и я с ходу набросал примерный вид зависимости, экстраполировал ее на более мощные заряды — порядка килотонны, а потом, обратным манером, на наши предыдущие результаты. Цифры совпали до третьего знака. Наконец Дональд взглянул на часы. Было почти пять. Он разомкнул главный рубильник, отключив все агрегаты, и мы вместе вышли на улицу. Уже рассвело. Воздух был холоден, как хрусталь. Макхилл ушел; мы еще постояли перед входом в гостиницу — в нереальной тишине и такой мертвенной пустоте, словно никого, кроме нас, не осталось на свете; подумав об этом, я вздрогнул, — но лишь мысленно, повинувшись произвольному движению памяти. Мне хотелось сказать Дональду что-то, что подвело бы окончательную черту, выразило бы мое облегчение... радость... но тут я заметил, что ни облегчения, ни радости не испытываю. Я был опустошен, ужасающе обессилен и так равнодушен, словно ничего уже не должно было, не могло произойти. Не знаю, чувствовал ли он то же самое. Мы пожали друг другу

руки — хотя обычно не делали этого — и разошлись. Если клинок соскальзывает по скрытой от глаза кольчуге, здесь нет заслуги того, кто нанес безуспешный удар.

XV

Историю эффекта Экстран мы решили доложить на Научном Совете только через три дня — чтобы успеть систематизировать результаты, подготовить более детальные протоколы наблюдений и увеличить некоторые снимки. Но уже на другой день я пошел к Белойну. Он принял новость удивительно спокойно; я недооценил его выдержку. Больше всего он был задет тем, что мы до конца хранили от него нашу тайну. Я много распространялся на эту тему, словно поменявшись с ним ролями — ведь когда-то именно Айвор силился мне объяснить, почему меня пригласили последним. Но теперь речь шла о деле, несравненно более важном.

Я попытался подсластить пилюлю всевозможными доводами; Белойн на все отзывался ворчанием. Он еще долго был сердит на меня — что и неудивительно, — хотя под конец как будто согласился с нашими доводами. Тем временем Дональд таким же неофициальным образом предупредил Дилла; и единственным, кто обо всем узнал лишь на Совете, был Вильгельм Ини. Хоть я его терпеть не мог, но невольно восхищался — он и глазом не моргнул во время сообщения Дональда. Я наблюдал за ним неотрывно. Этот человек был прирожденным политиком. Только, пожалуй, не дипломатом — дипломат не должен быть слишком злопамятным, а Ини почти ровно через год после того заседания, когда с Проектом было покончено, передал в печать (через одного журналиста) целую кучу сведений, и в первую очередь о нашей с Дональдом затее, — в соответствующем свете и с соответствующими комментариями. Если б не он, эта история вряд ли приобрела бы такой сенсационный характер и высокопоставленным особам, включая Раша и Макмаона, не пришлось бы брать под защиту меня и Дональда.

Читатель мог убедиться, что если мы были в чем виноваты, то лишь в непоследовательности, ведь наша секретная работа так или иначе должна была пройти через официальные жернова Проекта. Но дело изобразили как самоуправство, имевшее гнусную цель повредить Проекту, — мы-де не обратились сразу к компетентным специалистам (то бишь

к ядерным баллистикам Армии), а работали на кустарный манер, в малом масштабе, предоставляя «другой стороне» возможность обогнать нас — и застать врасплох.

Я забежал вперед, чтобы показать, что Ини был вовсе не так безобиден, как выглядел. Во время того заседания он бросил лишь несколько взглядов из-под очков в сторону Белойна, которого, безусловно, подозревал в причастности к заговору. Хотя мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность работы диктовалась требованиями методики и неуверенностью в успехе (под «успехом», понятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись), все эти оправдания ничуть не обманули Ини.

Затем завязалась дискуссия; Дилл довольно неожиданно заявил, что Экстран мог принести человечеству не гибель, а мир. Нынешняя доктрина «своевременного оповещения» предполагает временной интервал между запуском межконтинентальных ракет и их появлением на экране радаров. Глобальное оружие, разящее со скоростью света, исключало «своевременное оповещение» и ставило обе стороны в положение людей, которые приставили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести к всеобщему разоружению. Но такая шоковая терапия с равным успехом могла бы закончиться и совершенно иначе, заметил Дональд.

Между тем Белойн чувствовал, насколько Ини не доверяет ему, и начался окончательный распад Совета — ни залатать, ни склеить его уже не удалось. Ини перестал делать вид, будто он всего лишь нейтральный посол или наблюдатель от Пентагона; проявлялось это по-разному, но всегда неприятным для нас образом. Так, нашествие армейских специалистов-ядерщиков и баллистиков, начавшееся ровно сутки спустя и походившее на оккупацию вражеской территории (вертолеты налетели, как саранча), было в полном разгаре, когда Ини наконец удосужился известить об этом Белойна по телефону. Приезд обещанных сотрудников Контрпроекта отсрочили. Я был абсолютно уверен, что армейские ядерщики, которых я учеными ни в коем смысле не считал, лишь подтвердят наши результаты на опытах в масштабе полигона, но бесцеремонность, с которой у нас изъяли все данные, забрали аппаратуру, ленты, протоколы, развеяла остатки моих иллюзий, если я их вообще питал.

Дональд, которого едва пускали в собственную лабораторию, относился к этому философски и даже объяснял мне, что иначе и быть не может; в лучшем случае были бы со-

блюдены внешние приличия, а это ничего не меняет — все происходящее логически вытекает из положения дел в мире... и так далее. Может, он был и прав; но человека, который явился ко мне поутру (я еще лежал в постели) и потребовал все мои расчеты, я все-таки спросил, есть ли у него ордер на обыск и намерен ли он меня арестовать. Это несколько умерило его прыть, и я хоть смог почистить зубы, побриться и одеться, пока он ожидал в коридоре. Мною руководило, конечно, ощущение полнейшего бессилия. Я только твердил себе, что должен бы радоваться — а ну как пришлось бы отдавать расчеты, предсказывающие *finis terrarum*?*

Мы ползали по поселку как мухи, а тем временем Армия все сыпала и сыпала с неба свои, казалось, нескончаемые отряды и снаряжение. Эту операцию наверняка не импровизировали в последний момент, а готовили заранее, хотя бы в общих чертах, — они ведь не знали, что именно выскочит из Проекта. Им потребовалось всего три недели, чтобы приступить к серии микротонных взрывов; меня несколько не удивило, что мы и о результатах узнавали лишь от младшего технического персонала, который соприкасался с нашими людьми. Впрочем, когда ветер дул в сторону поселка, взрывы мог слышать практически каждый. Из-за их ничтожной с военной точки зрения мощности радиоактивных осадков почти не было. Не приняли даже особых мер предосторожности. К нам уже никто не обращался; нас просто не замечали, будто нас и не было вовсе. Раппопорт объяснял это тем, что мы с Дональдом нарушили правила игры. Возможно. Ини пропадал целыми днями, курсируя со сверхзвуковой скоростью между Вашингтоном, поселком и полигоном.

В первых числах декабря, когда начались бури, установку в пустыне разобрали и упаковали; четырнадцатитонные вертолеты-краны, вертолеты пассажирские и всякие прочие в один прекрасный день поднялись в воздух, и Армия исчезла так же внезапно и слаженно, как появилась, забрав с собой нескольких технических сотрудников — они облучились во время последнего испытания, когда был взорван снаряд, эквивалентный, как утверждали, одной килотонне тротила.

И сразу же, словно с нас сняли заклятье, как в сказке о спящей принцессе, мы живо засуетились; в скором времени произошло множество событий. Белойн подал в отставку, мы

* Конец Земли (лат.).

с Протеро потребовали увольнения из Проекта, Раппопорт — очень неохотно, по-моему, и только из чувства товарищества — сделал то же самое; один только Дилл отказался от всяких демаршей, а нам советовал расхаживать с плакатами и выкрикивать лозунги — наше поведение он считал несерьезным. В известной мере он был прав.

Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон; с нами беседовали поодиночке и чохом; кроме Раша, Макмаона и нашего генерала (с которым я только теперь познакомился), тут были советники президента по вопросам науки; и оказалось, что наше участие в Проекте абсолютно необходимо. Белойн, этот политик и дипломат, во время одной из таких встреч заявил, что раз Ини пользовался полным доверием, а он лишь четвертью, то пусть теперь Ини и вербует подходящих людей и сам руководит Проектом. Нам все это прощали — как избалованным, капризным, но любимым детишкам. Не знаю, как остальные, а я уже был сыт Проектом по горло.

Однажды вечером ко мне в номер пришел Белойн, который в тот день неофициально, с глазу на глаз, встречался с Рашем; он объяснил мне причины, кривящиеся за этими настойчивыми уговорами. Советники пришли к выводу, что Экстран — лишь случайная осечка в начавшейся серии открытий и даже прямое указание на перспективность дальнейших исследований, которые становятся теперь проблемой государственной важности, вопросом жизни и смерти. Надежды эти были, скорее всего, бессмысленны, но, пораздумав, я пришел к выводу, что мы все-таки можем вернуться, если администрация примет наши условия (которые мы тут же начали разрабатывать). Я понял: если работа будет продолжена без меня, я уже не смогу со спокойной душой вернуться к своей чистой, незапятнанной математике. Моя вера в полную безопасность Послания была только верой, а не абсолютно надежным знанием. Впрочем, Белойну я объяснил это короче: будем следовать афоризму Паскаля о мыслящем тростнике. Если мы не можем противодействовать, то будем хотя бы знать.

Посоветовавшись вчетвером, мы докопались и до того, почему Проект не был отдан Армии. Для своих целей военные воспитали — под столом — особую породу ученых. Эти дрессированные специалисты решают элементарные задачи и способны к ограниченной самостоятельности; свое дело они делали превосходно — но только от сих до сих. А космиче-

ские цивилизации, мотивы их действий, жизнестойкость сигнала, связь между тем и другим — все это было для них черной магией. «Как и для нас, положим», — с обычным ехидством заметил Раппопорт. В конце концов мы согласились; доктор юриспруденции Вильгельм Ини исчез из Проекта (это было одно из наших условий), но на смену ему тотчас явилась другая личность в штатском, мистер Хью Фэнтон. Иными словами, мы поменяли шило на мыло. Бюджет увеличили, сотрудников Контрпроекта (мы с грозным негодованием напомнили о нем нашим несколько смутившимся попечителям) включили в наши коллективы, а сам Контрпроект как будто перестал существовать, — хотя по официальной версии он вроде никогда и не существовал. Накричавшись, насовещавшись, поставив условия, подлежащие скрупулезному соблюдению, мы вернулись «к себе», в пустыню — и началась, уже в новом году, очередная, последняя глава «Гласа Господа».

XVI

Итак, все шло по-старому, только на заседаниях Совета появилось новое лицо, Хью Фэнтон; мы прозвали его человек-невидимка, до того он был неприметен. Не то чтобы он был очень мал, но как-то умел держаться в тени.

Зима означала частые бури — правда, песчаные, — но не дожди, которые выпадали крайне редко. Мы без труда включились в прежний ритм работы — или, пожалуй, привычного существования; я снова заходил к Раппопорту поговорить; снова встречал у него Дилла. Мне стало казаться, что Проект — это, собственно говоря, и есть жизнь, что одно кончится вместе с другим.

Единственной новинкой были еженедельные совещания — рабочие, совершенно неофициальные по тону; на них обсуждались всякие темы — скажем, перспективы автоэволюции (то есть управляемой эволюции) разумных существ.

Что это сулило? Казалось бы — подход к определению анатомии, физиологии, а отсюда и цивилизации Отправителей. Но в любом обществе, достигшем сходного с нами уровня развития, появляются две противоположные тенденции, отдаленные последствия которых предвидеть нельзя. С одной стороны, достаточно развитая технология оказывает давление на унаследованную от прошлого культуру, заставляя лю-

дей приспособляться к потребностям их технического окружения. Машина вступает в интеллектуальное соперничество с человеком, а затем — и в симбиоз с ним, а инженерная психология и физиоанатомия выявляют «слабые звенья», неудачные параметры человеческого организма; отсюда — прямой путь к «улучшению» этих параметров. Начинают помышлять о киборгах (людях, у которых какие-то органы заменены искусственными) — для исследований в космосе и освоения планет; а потом — и о прямом подключении мозга к машинной памяти, о сращивании человека с машиной — механическом и интеллектуальном.

Все это грозит разрушением биологической однородности человека. Не только единая, общечеловеческая культура, но и единый, универсальный телесный облик человека может стать реликтом мертвого прошлого. Общество превращается в мыслящую разновидность муравейника.

Однако и сфера технических процессов может оказаться на побегушках у культуры (вернее — обычаев и нравов эпохи). Скажем, мода расширит свои владения благодаря биотехническим методам. До сих пор вмешательство косметологов не шло глубже человеческой кожи, а если порою и кажется, будто влияние моды заходило гораздо дальше, это всего лишь иллюзия: просто у каждой эпохи свой идеал красоты. Сравним хотя бы рубенсовских красавиц с нынешними. Тот, кто наблюдал бы земные обычаи со стороны, мог бы решить, что у женщин (которые охотнее подчиняются требованиям моды) со сменой сезонов расширяются бедра и плечи, увеличивается или уменьшается грудь, ноги полнеют или вытягиваются и так далее. Но сезонные «приливы» и «отливы» телесных форм иллюзорны; из всего многообразия физических типов отбираются именно те, которые в моде сегодня. Биотехнические методы позволят изменить положение. Благодаря генетическому контролю спектр-видового разнообразия можно смещать произвольно.

Генетический отбор по анатомическим признакам кажется вполне безопасным для культуры, в остальном же — весьма привлекательным; почему бы не сделать нормой физическую красоту? Но это лишь начало пути, снабженного указателем с надписью: «Разум на службе влечений». Уже и сейчас материализованные творения разума в своем большинстве потворствуют бездумному сибаритству. Мудро устроенный телевизор тиражирует всякую чушь; чудесные средства передвижения позволяют недоумкам под видом туризма

наклокаться не в своей родной забегаловке, а рядом с собором святого Петра. И вторжение техники в человеческие тела наверняка свелось бы к тому, чтобы до предела расширить гамму чувственных наслаждений и кроме секса, наркотиков, кулинарных изысков испробовать новые, еще неизведанные разновидности чувственных возбудителей и переживаний.

Коль скоро у нас есть «центр наслаждения», что нам мешает подключить к нему синтетические органы ощущений, позволяющие испытывать мистические и немистические оргазмы или «многопредельный экстаз»? Такая автоэволюция ведет к необратимому замыканию человека внутри культуры, делает его пленником жизненных привычек, отрезает от мира за пределами планеты — и кажется самой приятной формой духовного самоубийства.

Наука и техника, конечно, способны исполнить все требования и первого, и второго пути развития. То, что оба пути, каждый на свой лад, кажутся нам жутковатыми, ничего еще не предрешает.

И в самом деле: неприятие таких перемен обосновать невозможно. Требование «не слишком себе потакать» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока, потакая себе, ты причиняешь ущерб другому (либо собственному духу и телу, как в случае наркомании). Это требование может диктоваться просто необходимостью, и тогда надлежит безоговорочно ему подчиниться; но развитие технологии на то и направлено, чтобы одну за другой устранять любые необходимости — то есть ограничения человеческих действий. Люди, утверждающие, что какие-то необходимости, какие-то ограничения свободы будут сковывать нас всегда, по существу, исповедуют наивную веру в то, что Мироздание специально «устроено» с мыслью о «непреложных повинностях» разумного существа. Это не более чем перепевы библейского приговора («Будешь добывать хлеб свой насущный в поте лица своего»). Природа этого суждения не этическая (как наивно считают), а онтологическая. Дескать, бытие, предназначенное нам для жилья, меблировано так, что, невзирая на любые усовершенствования, человеку не может грозить «головокружение от успехов».

Но на такой примитивной вере не построишь долгосрочных прогнозов. За пуританскими или аскетическими мотивами порою кроется страх перед любой переменой. Этот страх затаился на дне всех ученых соображений, заранее перечеркивающих возможность создания «умных машин». Человечество всегда чувствовало себя привычнее всего (что не

значит — удобнее) в положении, близком к отчаянному: эта приправа не слишком удобна для тел, зато благотворна для духа. Лозунг «Все силы и средства на фронт науки!» допускает рациональное обоснование лишь до тех пор, пока «умные машины» еще не в состоянии заменить ученых.

Мы, по сути, ничего не можем сказать о реальном облике обоих направлений развития — «экспансионистского» (или «аскетического») и «изоляционистского» (или «гедонистического»). Цивилизации могут выбрать любой из них — покоряя Космос или изолируя себя от него. Нейтринный сигнал, по-видимому, указывает на то, что некоторые цивилизации не замкнулись в себе.

Технико-экономическая растянутасть такой цивилизации, как наша (авангард утопает в богатстве, а тылы умирают от голода), задает направление дальнейшего развития. Отставшие части пускаются вдогонку за передовыми, желая сравняться с ними в материальном богатстве (которое лишь потому, что еще не достигнуто, представляется заманчивой целью), а зажиточный авангард, оказавшись предметом зависти и соперничества, утверждает в сознании своего превосходства. Уж если другие пытаются угнаться за ним, стало быть, все, что он делает, не только хорошо, но прямо-таки замечательно! Мотивы поступательного движения друг друга подпитывают, возникает положительная обратная связь и, стало быть, замкнутый круг, а окончательно скрепляет его заставка политических антагонизмов.

И дальше: замкнутый круг возникает потому, что очень непросто найти новое решение задачи, когда какой-то ответ уже имеется. Что бы ни говорили плохого о Соединенных Штатах, но они уже существуют, вместе со своими автострадами, подсвеченными купальными бассейнами, супермаркетами и прочим сверкающим великолепием. И если возможно еще выдумать совершенно иной тип благосостояния и благоденствия, то, пожалуй, лишь в лоне цивилизации, которая была бы одновременно многоликой и — взятая в целом — не бедной, то есть сумела бы удовлетворить элементарные биологические потребности всех своих членов. А тогда ее национальные сектора, освободившись от бремени экономических нужд, могли бы заняться поисками новых путей в будущее. Но такая цивилизация — нечто совершенно неведомое для нас. Теперь мы знаем наверное, что, когда на иные планеты ступят первые посланцы Земли, другие ее сыновья будут мечтать не о прогулках по Марсу, а о куске хлеба.

Несмотря на различие взглядов в делах Проекта, все мы — я имею в виду не только Научный Совет — составляли достаточно сплоченную группу, и прибывшие к нам гости (которых у нас уже прозвали «наймитами Пентагона»), несомненно, понимали, что их выводы будут встречены нами в штыки. Я тоже был настроен к ним не слишком приязненно, однако не мог не признать, что Лирни и сопровождавший его молодой биолог (астробиолог, как он нам представился) добились впечатляющих результатов. Просто не верилось, что после целого года наших мучений кто-то мог выдвинуть совершенно новые, даже не затронутые нами гипотезы о Гласе Господа, к тому же подкрепленные вполне приличным математическим аппаратом (с фактами дело обстояло хуже). Но случилось именно так. Более того, хотя эти новые подходы кое в чем друг другу противоречили, они позволяли найти некую золотую середину, оригинальный компромисс, который связывал их воедино.

То ли Белойн решил, что при встрече с гостями из Контрпроекта неуместно наше «аристократическое» деление на всеведущую элиту и слабо информированные коллективы отделов, то ли он был заранее убежден, что мы услышим нечто сенсационное, но только он пригласил на доклад тысячу с лишним наших сотрудников. Если гости и чувствовали настороженность зала, то виду не подали и вообще держались очень корректно.

Лирни начал с того, что их работа носила чисто теоретический характер; они не располагали ничем, кроме самого Послания и общих сведений о Лягушачьей Икре; так что речь шла не о какой-то «параллельной работе», не о попытке перегнать нас, а всего лишь об ином подходе к «Гласу Господа» — в расчете как раз на такое сопоставление взглядов, какое сейчас происходит.

Он не сделал паузы для аплодисментов, и правильно — охотников аплодировать не было, — а сразу перешел к делу; меня расположил к себе и доклад, и докладчик; других, видимо, тоже, судя по реакции зала.

Будучи космогонистом, он шел от космогонии в ее хаббловском варианте — в модификации Хаякавы (и моей, если позволительно так сказать, хотя я всего лишь плел математические плетенки для бутылей, в которые Хаякава вливал новое вино). Я попробую изложить общий смысл его доводов

и передать, насколько сумею, пафос его выступления, не однажды прерывавшегося репликами из зала, — сухой конспект убил бы все очарование этой гипотезы. Математику я, разумеется, опущу, хотя без нее не обошлось.

— Мне это видится так, — сказал Лирни. — Космос есть пульсирующее образование, он сжимается и расширяется попеременно каждые тридцать миллиардов лет. Фаза сокращения переходит в состояние коллапса, когда распадается само пространство, свертываясь и замыкаясь уже не только вокруг звезд, как в сфере Шварцшильда, но и вокруг всех частиц, даже элементарных. Поскольку «общее» пространство атомов перестает существовать, то исчезает, разумеется, и вся известная нам физика, ее законы видоизменяются... Этот беспространственный рой материи продолжает сжиматься и наконец — образно говоря — целиком выворачивается наизнанку, в область запрещенных энергетических состояний, в «отрицательное пространство»; это уже не «ничто», а нечто, меньшее, чем ничто, по крайней мере в математическом смысле.

Ныне существующий мир не содержит в себе антимиров, — точнее говоря, мир становится антимиром периодически, раз в тридцать миллиардов лет. «Античастицы» в нашем мире — лишь след этих катастроф, их архаический реликт, и, конечно, указание на возможность очередной катастрофы. Но в результате выворачивания (я возвращаюсь к прежнему сравнению) возникает некая «пуговина», в которой еще мечутся остатки непогашенной материи, пепелище гибнущего Космоса; это — щель между исчезающим «положительным», то есть нашим, пространством и тем, отрицательным... Щель остается открытой, не срывается, не смыкается, потому что ее непрерывно распирает излучение — нейтринное излучение! Оно — последние искры костра, и оно же — зародыш следующей фазы; когда «вывернутый мир» уже полностью вывернулся наизнанку, создал «антимир», расширил его до крайних пределов, он снова начинает сжиматься и выворачиваться обратно через щель, прежде всего — в виде нейтринного излучения, самого жесткого и самого устойчивого из всех, ведь на этой стадии не существует еще даже света — только гамма-лучи да нейтрино. Нейтринная волна, разбегаясь, заново формирует расширяющуюся сферическую Вселенную и служит матрицей для всех частиц, которые вскоре заполнят нарождающийся Космос; она несет их в себе, хотя бы и виртуально, поскольку обладает энергией, достаточной для их материализации.

Когда же новая Вселенная достигает фазы усиленного разбегания галактик — как ныне наша, — в ней все еще продолжает блуждать эхо породившей его нейтринной волны. Оно-то и есть Глас Господа! Из вихря, прорвавшегося сквозь «щель», из нейтринной волны возникают атомы, звезды, планеты, галактики. А стало быть, «проблема Послания» снимается. Никакая цивилизация ничего не высылала нам по нейтринному телеграфу, на другом конце не было Никого, и даже не было передатчика, — а была лишь космическая пульсация, «пуговина» между мирами. Есть только излучение, порожденное чисто физическими, естественными процессами, абсолютно внечеловеческое и потому лишенное всякой языковой формы и содержания, смысла... Это излучение — постоянный связной (энергетический и информационный) между очередными мирами, гаснущими и вновь создаваемыми, порука их преемственности, их закономерно-чередования, зародыш нового Космоса, дирижер «смены поколений» вселенных, разделенных безднами времени. Эту аналогию, разумеется, не следует понимать буквально, на биологический лад. Нейтрино оказываются семенами вселенных лишь потому, что это самые устойчивые частицы. Их неуничтожимость служит гарантией цикличности, повторяемости космогенеза...

Понятно, он изложил это куда подробнее, подкрепил, насколько мог, математикой; зал слушал его в тишине, а потом ринулся в бой.

Лирни забросали вопросами. Как он объясняет «жизнетворность» сигнала? Откуда она взялась? Или он считает ее чистой случайностью? И прежде всего — откуда мы взяли Лягушачью Икру?

— Я размышлял и об этом, — ответил Лирни. — Вы спрашиваете, кто все это задумал, составил и выслал. Ведь если б не жизнетворные свойства сигнала, жизнь в Галактике была бы чрезвычайно редким явлением! А что вы скажете о физических свойствах воды? Если б вода при четырех градусах тепла не была тяжелее воды при нулевой температуре и лед не всплывал бы, то все водоемы промерзли бы до дна и вне экваториальной зоны никакие водные организмы не выжили бы. А если б вода имела иную, не столь высокую диэлектрическую постоянную, в ней не могли бы возникнуть белковые молекулы, стало быть — и белковая жизнь. Но разве в науке спрашивают, кто об этом милостиво позаботился, кто и как придал воде большую диэлектриче-

скую постоянную или большую плотность, чем у льда? Подобные вопросы мы считаем бессмысленными. Однако, будь у воды другие свойства, возникла бы небелковая жизнь или жизнь не возникла бы вообще. Точно так же бессмысленно спрашивать, кто выслал жизнетворное излучение. Оно увеличивает вероятность выживания высокомолекулярных соединений, и это либо такая же случайность, или, если угодно, такая же закономерность, как и та, что наделила воду «жизнетворными» свойствами. Проблему нужно поставить с головы на ноги, а тогда она выглядит так: вода имеет такие-то и такие-то свойства, а в космосе существует излучение, стабилизирующее биогенез; то и другое способствует зарождению жизни, позволяя ей противостоять нарастанию энтропии...

— Лягушачья Икра! — кричали из зала. — Лягушачья Икра!

Я боялся, что сейчас начнется скандирование, — зал был накален, как во время боксерского матча.

— Лягушачья Икра? Вы знаете лучше меня, что так называемое Послание не удалось прочесть целиком; расшифрованы только фрагменты — из них-то и возникла Лягушачья Икра. Это означает, что Послание как осмысленное целое существует лишь в вашем воображении, а Лягушачья Икра — просто овеществленная информация нейтринного потока, с которой удалось что-то сделать. Сквозь «расщелину» между мирами — погибающими и возникающими вновь — вырвался клубящийся сгусток нейтринной волны. Энергии этой волны достаточно, чтобы «выдуть» очередную вселенную, как выдувают мыльный пузырь; ее фронт несет в себе информацию, как бы унаследованную от минувшей фазы. Как я уже говорил, в этой волне содержится информация, создающая атомы, информация, «поощряющая» биогенез, — и еще информация, которая с нашей точки зрения ничему не служит, ни к чему не пригодна. Вода обладает свойствами, благоприятствующими жизни, — вроде тех, что я перечислил, — и свойствами, безразличными для жизни, например, прозрачностью; будь она непрозрачной, на возникновение жизни это никак не повлияло бы. Нелепо спрашивать: «А кто же все-таки сделал воду прозрачной?» — и так же нелепо спрашивать: «Кто создал рецепт Лягушачьей Икры?» Это просто одно из свойств данной Вселенной; мы можем его изучать, как изучаем прозрачность воды, но «внефизического» смысла оно не имеет.

Поднялся страшный шум; наконец Белойн спросил, как Лирни объясняет кольцеобразность сигнала? И почему практически весь спектр излучения в нейтринном диапазоне представляет собой обычный шум, а в одной-единственной полосе содержится столько информации?

— Но это же очень просто, — ответил космогонист, который, казалось, наслаждался всеобщим волнением. — Вначале все излучение было сконцентрировано в этом участке, потому что именно так его сфокусировала, сжала, промодулировала «горловина между мирами» — как струю воды, проходящую через узкое отверстие; вначале было игольчатое излучение — и ничего больше. Потом, из-за расхождения, расползания, десинхронизации, дифракции, преломления, интерференции все большая доля излучения расщеплялась, смазывалась, и наконец через миллиарды лет после рождения нашей Вселенной первичная информация выродилась в шум, резко сфокусированное излучение — в широкий энергетический спектр; да еще появились вторичные, шумовые генераторы нейтрино — звезды. А эмиссия, в которой мы усмотрели Послание, — остаток младенческой «пуповины», горсточка, еще не успевшая полностью рассеяться после бесчисленных отражений и странствий из угла в угол метагалактики. Сегодня вселенской нормой является шум, а не информация. Но в момент взрывоподобного рождения нашей Вселенной первоначальный нейтринный пузырь содержал в себе полную информацию обо всем, что потом из него возникло; это реликт эпохи, от которой других следов не осталось, и потому-то он так не похож на «обычные» формы материи и излучения...

Она была убедительна, ничего не скажешь, — эта прекрасная, логически стройная конструкция. Затем последовала очередная порция математики; Лирни показал, какими свойствами должна обладать «горловина» в качестве матрицы именно того участка нейтринного спектра, излучение которого мы назвали «звездным сигналом». Это была отличная работа; он использовал теорию резонанса и сумел объяснить непрерывное повторение сигнала и даже обосновать место его появления (радиант Малого Пса).

Тут я взял слово и сказал, что это он, Лирни, поставил проблему с ног на голову, приделав к Посланию целую Вселенную — как раз такую, какая была ему нужна; к известным энергетическим свойствам сигнала он подогнал размеры своей пресловутой горловины и так переименовал геометрию

этого ad hoc изобретенного Космоса, чтобы направление, откуда приходит сигнал, оказалось не случайным.

Лирни, улыбаясь, признал, что отчасти я прав. Но добавил, что, если б не его «щель», миры возникали бы и гибли без когерентной связи, каждый был бы иным — точнее, мог быть иным, — чем предыдущий; или же Космос так и не вышел бы из стадии «антимира», из безэнергетической фазы, и всякому становлению пришел бы конец; не было бы ни новых миров, ни нас, ни звезд над нами, и некому было бы ломать голову над тем, что НЕ произошло... Но произошло же! Дьявольская сложность Послания объясняется вот чем: плотность вещества в гибнущем Космосе так чудовищно велика, что со смертью он отдает — как человек отдает Богу душу — свою информацию; она не улетучивается, а согласно неизвестным нам законам (ведь в этом сжатии, в распадающемся пространстве, физика уже недействительна) сливается с тем, что еще существует, — с нейтринным сгустком в самой «горловине».

Белойн — он вел заседание — спросил, приступать ли к дискуссии или дать сначала слово Синестеру. Мы, понятно, проголосовали за второе. Лирни я раньше встречал у Хаякавы, но о Синестере даже не слышал. Он был молод, невысок, с каким-то картофельным лицом, — ну да это не важно.

Начал он совсем как Лирни. Космос — пульсирующее образование, с чередующимися фазами «голубых» сжатий и «красных» расширений. Каждая фаза длится около тридцати миллиардов лет. В «красной» фазе, когда материя уже достаточно разрежена, на остывающих планетоподобных телах возникает жизнь, включая ее разумные формы. В «голубой» фазе, когда начинается сжатие, огромные температуры и все более жесткое излучение уничтожают живую материю, которой за миллиарды лет успели обрасти планеты. Разумеется, в «красной» фазе (в которой довелось родиться и нам) существуют цивилизации различного уровня, а среди них и такие, которые достигли вершины технологии; по мере развития науки, и особенно космогонии, они уясняют себе, что ожидает в будущем их самих и Вселенную. Такие цивилизации, или, скажем для удобства, такая цивилизация, находящаяся в одной из галактик, знает, что процесс упорядочения пройдет через пик, а потом начнется уничтожение всего сущего в раскаляющемся горниле. Обладая намного большими познаниями, чем мы, она сумеет хотя бы отчасти предвидеть и дальнейшее течение событий — после «голу-

бого светопреставления»; а если ее познания возрастут еще больше, она сможет повлиять на эти события...

Тут по залу опять пробежал легкий шум: Синестер излагал ни больше ни меньше как теорию управления космогоническими процессами!

Астробиолог, вслед за Лирни, предполагал, что «двухтактный космический двигатель» не является жестко детерминированным (в фазе сжатия возникают значительные неопределенности — из-за случайных в принципе вариаций в распределении масс и различного протекания аннигиляции) и невозможно с абсолютной точностью предсказать, какой тип Вселенной возникнет после очередного сжатия. Эта трудность известна и нам, пусть в миниатюрном масштабе: мы не в силах предвидеть — то есть рассчитывать — ход турбулентных процессов (скажем, завихрений в воде, разбивающейся о рифы). Поэтому «красные вселенные», которые поочередно рождаются из «голубых», могут сильно отличаться одна от другой, и существующая ныне, в которой жизнь возможна, представляет собой, может быть, эфемерное, неповторимое образование, за которым последует длинная череда абсолютно мертвых пульсаций.

Такой гороскоп — картина вечно мертвого, безжизненно раскаляющегося и безжизненно остывающего космоса — может не удовлетворить цивилизацию высшего типа, и она попытается изменить будущее. Зная об ожидающей ее гибели, она может «запрограммировать» звезду или систему звезд — регулируя их излучение — так, чтобы получилось подобие нейтринного лазера. Действовать он начнет тогда, когда тензоры гравитации, параметры температуры, давления и так далее превысят некоторые максимальные значения и сама физика этого Космоса начнет распадаться в прах. Тогда-то гнущее созвездие-лазер разрядит накопленную энергию и обратится в черную нейтринную вспышку, до мелочей запрограммированную за миллиарды лет до того! Монохроматическая нейтринная волна, самое жесткое и стабильное из всех излучений, станет не только похоронным звоном для гнущей фазы Космоса, но и зародышем новой фазы — участвуя в формировании новых элементарных частиц. А кроме того, «впечатанная» в звезду программа включает и «жизнетворность» — увеличение вероятности появления жизни.

В этой грандиозной картине звездный сигнал оказывался вестью, посланной в наш Космос из космоса, который ему предшествовал. Итак, Отправители не существовали — уже

по крайней мере тридцать миллиардов лет. Послание, ими созданное, пережило гибель их мира, затем включилось в процессы творения и положило начало эволюции жизни на планетах. Так что и мы были Их детьми...

Идея была остроумная! Сигнал — отнюдь не Послание, его жизнотворность нельзя считать формой, противостоящей содержанию. Это мы, в силу наших привычек, пытались разделить неразделимое. Сигнал, а точнее, творящий импульс начинает с такой «настройки» материи космоса (в новом ее воплощении), чтобы возникли частицы с нужными свойствами, — нужными, разумеется, с точки зрения «творящей» цивилизации. А когда начинается астрогенез, а за ним планетогенез, тогда, с появлением «адресата», включаются в работу другие структурные свойства сигнала, помогающие зарождению жизни. Увеличивать шансы молекул на выживание легче, чем дирижировать и управлять возникновением самых элементарных частиц материи. Поэтому мы и приняли жизнотворный эффект за нечто отдельное и лишенное содержания, а второй, атомотворящий, эффект назвали Письмом.

Мы не прочли его, потому что нам — нашей науке, физике, химии — полное прочтение не под силу. Но из обрывков запечатленных в импульсе знаний мы соорудили себе рецепт — Лягушачьей Икры! Так что сигнал — не сообщение, а программа, и адресован он Космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь попытаться расширить наши познания, используя как сам сигнал, так и Лягушачью Икру.

Синестер закончил. Аудитория ошеломленно молчала. Вот уж подлинно *embarras de richesse*! Сигнал — творение Природы, последний нейтринный аккорд погибающей Вселенной, предсмертный поцелуй, который «щель» между миром и антимиром запечатлела на фронте нейтринной волны; или — завещание давно умершей цивилизации. Ничего не скажешь, впечатляющая альтернатива!

Нашлись и среди нас сторонники обоих подходов. Напоминали, что некоторые частоты обычного, естественного жесткого излучения увеличивают интенсивность мутаций, а значит, могут ускорить ход эволюции, тогда как другие частоты не обладают такими свойствами, — но из этого вовсе не следует, будто одни частоты что-то означают, а другие нет. Все пытались говорить разом. Я словно стоял у колыбели новой мифологии. Завещание... и мы — наследники Тех, Других... умерших задолго до нашего рождения...

Поскольку от меня этого ждали, я попросил слова и начал с того, что через произвольное количество точек на плоскости можно провести произвольное число различных кривых. Я никогда не считал, что главное — выдвинуть побольше гипотез, ведь их можно придумать бесконечное множество. Вместо того чтобы подгонять наш Космос и предварявшие его события к свойствам Послания, достаточно допустить, что наша приемная аппаратура примитивна — как, скажем, радиоприемник с низкой избирательностью. Он ловит сразу несколько станций, и получается катавасия; если слушатель, не знающий ни одного из языков вещания, запишет все без разбора, он напрасно будет ломать себе голову. Жертвой такой технической ошибки могли стать и мы.

Допустим, что так называемое Послание — запись нескольких передач сразу. Если звездные автоматические передатчики работают именно на той «частоте», которую мы считаем единичным каналом связи, то непрерывное повторение сигнала вполне объяснимо. Возможно, именно так общества, образующие «цивилизационный альянс», поддерживают синхронность каких-то своих технических устройств — астроинженерных, к примеру.

С этим хорошо согласуется цикличность сигнала. Но уже не столь хорошо — Лягушачья Икра; впрочем, с некоторой натяжкой можно было бы и ее объяснить в рамках такого подхода. Во всяком случае, он скромнее, а значит, реалистичнее грандиозных картин, только что показанных нам. Еще одна загадка — то, что есть лишь один сигнал. А ведь их должно быть немало. Но переделывать весь Космос ради того, чтобы отделаться от загадки, — такую роскошь мы не можем себе позволить. Тогда почему бы не счесть, что сигнал — это «музыка сфер», торжественный гимн, нейтринные фанфары, которыми Высшая Цивилизация приветствует, ну, скажем, вспышку Сверхновой? А может, мы приняли апостольское Послание? Вот слово, которое становится плотью, а вот и Повелитель Мух, порождение мрака, знамение, указывающее на манихейскую природу сигнала — и Мироздания. Множить подобные толкования недопустимо. По сути, обе гипотезы консервативны, особенно гипотеза Лирни, которая сводится к отчаянной защите эмпирического подхода. Точные науки с самого своего зарождения занимались явлениями Природы, а не Культуры; не существует физики или химии Культуры — есть лишь физика и химия «материала Вселенной». Рассматривая Космос как чисто физический

объект, лишенный всяких «значений», Лирни уподобляется человеку, который письмо, написанное от руки, изучает как сейсмограмму (поскольку и то и другое — сложные кривые определенного вида).

Гипотезу Синестера я определил как попытку ответить на вопрос: «наследуют ли друг другу очередные вселенные?» Согласно ответу, который он дал, наш сигнал, оставаясь искусственным образованием, перестал быть Посланием. Под конец я перечислил ужасающее количество допущений, взятых авторами с потолка: отрицательное выворачивание материи, ее превращение в информацию в момент предельного сжатия, выжигание «атомотворящих» стигматов на нейтринной волне. Эти допущения, по самой их природе, не поддаются проверке — там, при «конце света», не будет не только никаких разумных существ, но даже и самой физики. Это — не что иное, как спор о загробной жизни, прикрытый физической терминологией. Или, если угодно, философская фантастика (по аналогии с научной фантастикой). Под математическим одеянием скрывается миф; я вижу в этом знамение времени, и только.

Тут уж, разумеется, дискуссия вспыхнула, как пожар. Под конец Раппопорт неожиданно встал, чтобы предложить «еще одну гипотезу» — настолько оригинальную, что я ее изложу. Различие между искусственным и естественным, напомнил он, не абсолютно, а относительно, и зависит оно от выбранной нами системы отсчета. То, что выделяет живой организм при обмене веществ, мы считаем продуктом естественного происхождения. Если я съем слишком много сахара, мои почки будут выделять его избыток. От моих намерений зависит, будет ли сахар в моче «искусственным» или «естественным». Если я, зная механизм явления, съел сахар нарочно, чтобы его выделять, то присутствие сахара в моче будет «искусственным»; а если мне просто захотелось сладкого и ничего более, то присутствие сахара будет «естественным». А вот и практическое доказательство: я могу заранее условиться с тем, кто проводит анализ, и тогда результаты анализа будут служить информационным сигналом. Скажем, наличие сахара будет означать «да», а отсутствие — «нет». Это — процесс символической сигнализации, но только между нами двоими. Тот, кому наш уговор неизвестен, ничего о нем не узнает, исследуя мочу. В природе, как и в культуре, «на самом деле» существуют лишь «естественные» явления, а «искусственными» они становятся

только потому, что мы связываем их друг с другом определенным образом — с помощью уговора или действия. Только чудеса «абсолютно искусственны» — потому что они невозможны.

После такого вступления Раппопорт нанес решающий удар. Предположим, сказал он, что биологическая эволюция может идти двумя путями: либо она создает отдельные организмы, а потом из них возникают разумные существа, либо — на другом пути — она создает «неразумные», но необычайно высоко организованные биосферы — скажем, «леса живого мяса» или другую какую-то форму жизни, которая в процессе очень долгого развития осваивает даже ядерную энергетику. Но осваивает не так, как мы осваиваем технику изготовления ядерных бомб и реакторов, а так, как наши тела освоили обмен веществ. Продуктами такого метаболизма будут явления радиоактивного типа, а на следующем этапе — и нейтринные потоки, «выделения» всепланетного организма; их-то мы и принимаем — в виде звездного сигнала. Это — процесс совершенно естественный, поскольку никто ничего не собирался пересылать или сообщать. Но может быть, другие организмы-планеты узнают о существовании себе подобных благодаря «нейтринным следам», оставленным в пространстве. Тогда между ними устанавливается что-то вроде сигнализации.

Раппопорт добавил, что его гипотеза согласуется с образом действий, принятым в науке: наука ведь не разделяет явления на искусственные и естественные. Гипотеза эта не отсылает нас к «другим вселенным» и поэтому может быть проверена — по крайней мере, принципиально, — если будут обнаружены «нейтринные организмы» или хотя бы доказана их теоретическая возможность.

Не все по-настоящему поняли, что это была не просто демонстрация изобретательности. Ведь, вообще говоря, можно предвидеть и рассчитать любой тип превращения органической материи, исходя из физики и химии, однако ни физика, ни химия не помогут вычислить или предвидеть культуру, в которой некие существа пишут и посылают «нейтринные письма». Это — феномен иного, нефизического порядка. Если цивилизации обращаются друг к другу на разных языках, а различия в уровне их развития велики, то «менее сведущие» в лучшем случае извлекут из полученного сообщения его «физическую составляющую» (или естественную, что одно и то же). Больше они ничего не поймут. При

достаточно больших межцивилизационных различиях одни и те же понятия в разных культурах могут иметь совершенно различный смысл.

Было еще говорено и о том, насколько рационально ведет себя «цивилизация Отправителей» (независимо от того, жива она или — как полагал Синестер — мертва). Можно ли считать рациональной заботу о том, что будет «в следующей вселенной» через тридцать миллиардов лет? Какую же громадную, даже для немыслимо богатой цивилизации, приходится платить цену — в виде судеб живых существ, — чтобы стать кормчим Великой Космогонии или создать «жизнетворный эффект»? А если для них это рационально, то «рациональность» — не одно и то же для разных цивилизаций.

Потом мы собрались небольшой компанией у Белойна и еще долго, за полночь, спорили; если Лирни с Синестером нас и не убедили, то уж точно подлили масла в угасавший огонь. Обсуждали гипотезу Раппопорта. Он дополнил ее, уточнил, и возникла поистине невероятная картина — гигантские биосферы, которые «телеграфируют» в космос, не ведая, что творят; неизвестный нам уровень гомеостаза, — единая система биологических процессов, добравшихся до источников ядерной энергии и мощностью своего метаболизма не уступающих мощности звезд. Жизнетворность их «нейтринных выделений» становилась таким же точно эффектом, как деятельность растений, которые насытили атмосферу Земли кислородом и тем проложили путь организмам, не способным к фотосинтезу, — но ведь трава без всякого умысла помогла нам появиться на свет! Выходит, Лягушачья Икра — и вообще вся «информационная сторона» Послания — просто продукт невероятно сложного метаболизма, отходы, шлак, структура которого зависела от планетного обмена веществ.

В гостиницу я возвращался с Дональдом, и он вдруг сказал, что чувствует себя, по сути, обманутым: поводок, на котором мы бегали по кругу, удлиннили, но мы все равно на привязи. Нам показали эффектный интеллектуальный фейерверк, но вот он догорел, а мы остались ни с чем. Возможно, мы даже чего-то лишились. До сих пор мы были согласны в том, что получили письмо, в конверт которого попало немного песка (так он называл Лягушачью Икру). Пока мы верили, что это — именно письмо (пускай непонятное и загадочное), сознание, что Отправители существуют, имело ценность само по себе. Но если это не письмо, а бессмыс-

ленные каракули, если у нас остается только песок, пусть даже золотиносный, то мы обнищали — больше того, мы ограблены.

Я размышлял об этом, оставшись в одиночестве. Откуда, собственно, бралась уверенность, позволявшая мне расправляться с чужими гипотезами, достаточно серьезно обоснованными? А ведь я был уверен, что мы получили Письмо. Мне очень важно передать читателю не эту веру — она не имеет значения, — а то, на что она опиралась. Иначе зря я писал эту книгу.

Такой человек, как я, который не раз и подолгу, на разных фронтах науки, бился над разгадкой шифров Природы, знает о них куда больше, чем можно вычитать из его математически отутюженных публикаций. Опираясь на это интуитивное знание, я утверждаю, что Лягушачья Икра с ее накопителем ядерной энергии, с ее эффектом «переноса взрыва» неизбежно должна была в наших руках обернуться оружием — ведь мы так сильно, так страстно стремились к этому. И то, что нам это не удалось, не могло быть случайностью. Ведь удавалось — в других, «естественных ситуациях» — увы, слишком часто! Я отлично могу представить себе существа, которые послали сигнал. Они решили для себя: сделаем так, чтобы его не могли расшифровать те, что еще не готовы; нет, будем еще осторожней: пусть даже ошибочная расшифровка не даст им того, что они ищут, но в чем им следует отказать.

Ни атомы, ни галактики, ни планеты, ни наши тела не были снабжены Кем-то такой системой защиты, и мы пожинаем печальные плоды этого. Наука — это часть Культуры, которая соприкасается с окружающим миром. Мы выковыриваем из него кусочки и поглощаем их не в очередности, наиболее благоприятной для нас, — ибо Никто об этом любезно не позаботился, — а в той, которая определяется сопротивлением материи. Атомы и звезды не располагают никакими аргументами; они не могут нам возражать, когда мы создаем модели по образу их и подобию, они не преграждают нам доступа к знанию — даже если оно смертельно опасно. Все, существующее вне человека, имеет намерений не более, чем покойник. Но если к нам взывают не силы Природы, а силы Разума, ситуация радикально меняется. Тот, кто создал Послание, руководствовался намерениями, наверняка не безразличными по отношению к жизни.

С самого начала я больше всего опасался недоразумения.

Я был уверен, что нам не послали орудие убийства; однако все говорило о том, что мы получили описание какого-то орудия, — а ведь известно, как мы способны его использовать. Даже человек для человека бывает орудием. Зная историю науки, я не верил в идеальную гарантию от злоупотреблений. Любая техника сама по себе нейтральна — и мы сумели любую сделать орудием смерти. В горячке нашей отчаянной конспирации — наивной и глупой, конечно, но все же необходимой — я решил было, что на Них нам не стоит рассчитывать: вряд ли Они могли угадать, что мы сделаем с их информацией по ошибке, в результате заполнения пробела неверными домыслами. Даже Природа, которая четыре миллиарда лет учила биологическую эволюцию избегать ошибок и действовать со всевозможными предосторожностями, не сумела наглухо закрыть от нее все наклонные плоскости жизни, все ее тупики и закоулки, уберечь ее от оплошностей и «недоразумений» — о чем свидетельствуют бесчисленные искажения развития организмов или хотя бы рак. И если Отправители решили эту задачу, значит, они оставили далеко позади недостижимое для нас совершенство биологической эволюции. Но тогда я не знал — да и откуда мне было знать, — что их решения настолько загерметизированы, так всесторонне застрахованы от вторжения непосвященных.

В ту ночь в огромном зале инвертора, над исписанными страничками, я вдруг почувствовал обморочную слабость, у меня потемнело в глазах — и не только потому, что внезапно исчез ужас, который многие недели висел надо мной. В эту минуту я отчетливо ощутил Их величие. Я понял, чем может быть цивилизация. Когда мы слышим это слово, мы думаем об идеальном равновесии, о моральных ценностях, о преодолении собственной слабости, о том, что в нас есть наилучшего. Но цивилизация — это прежде всего мудрость, которая исключает такие обычные для нас ситуации, когда лучшие из миллиардов умов трудятся над подготовкой всеобщей гибели, делая то, чего они не хотят, что им претит, — потому что не имеют иного выхода. Самоубийство — не выход. Разве мы с Протеро хоть чуточку изменили бы дальнейший ход событий, предотвратили бы вторжение металлической саранчи с неба, если бы покончили с собой? И если Отправители предвидели нечто подобное, то не потому ли, что когда-то они были похожи на нас, — а может, и остались похожими...

Разве не говорил я в самом начале, что лишь существо, по природе злое, может понять, какую оно обретает свободу,

творя добро? Послание существовало, оно было отправлено, упало на Землю к нашим ногам, струилось на нее нейтринным дождем, когда мезозойские ящеры еще бороздили брюхом болота в юрских лесах, и тогда, когда палеопитек, прозванный прометейским, обгрызая кость, вдруг увидел в ней первую дубину. А Лягушачья Икра? Я угадываю в ней фрагменты того, на что указывал сам факт отправления Послания, — но фрагменты, карикатурно искаженные нашим неумением и незнанием, а также и нашим знанием, уродливо скособоченным в сторону разрушения. Я убежден, что оно не было просто брошено в космический мрак, как камень в воду. Оно означало призыв, эхо которого вернется обратно, — если он будет услышан и понят.

Следствием правильного понимания должен был стать обратный сигнал, извещающий, что связь установлена, и одновременно указывающий, где это произошло. Я могу только смутно догадываться о механизме этой обратной связи. Энергетическая автономность Лягушачьей Икры, замкнутость на себя ее ядерных реакций, которые ничему не служат, кроме самоподдержания, говорят о допущенной нами ошибке, указывают на промах. Тут мы вторглись глубже всего — и натолкнулись на загадочный эффект, который способен (но в совершенно иных условиях) высвободить, сконцентрировать и швырнуть обратно в пространство импульс огромной мощности. Да, при правильной расшифровке эффект Экстран, открытый Дональдом Протеро, мог бы стать обратным сигналом, ответом, посланным Отправителям. На это указывает его фундаментальное свойство — переброска воздействия с максимальной в природе скоростью, перенос сколь угодно большой энергии на сколь угодно большое расстояние. Только энергия эта, разумеется, должна служить не уничтожению, а пересылке информации. Та форма, которую приобрел Экстран, была результатом искажения нейтринного сигнала в процессе синтеза. Ошибка возникла из ошибки, иначе быть не могло, это простая логика. Но меня не перестает изумлять их всесторонняя предусмотрительность, ведь они нейтрализовали даже потенциально опасные последствия ошибок, нет, хуже, чем ошибок, — сознательных попыток превратить неисправный инструмент в разящий клинок.

Метагалактика — это необъятное скопище космических цивилизаций. Цивилизации, отличающиеся от нашей несколько иным направлением развития, но, как и наша, разъединенные, погрязшие в распрях, сжигающие свои запасы в

братоубийственных схватках, тысячелетиями пытались и пытаются все снова и снова расшифровать звездный сигнал, так же неуклюже и неумело, как мы, пробуют переплавить в оружие причудливые обломки, добытые столь тяжким трудом, — и так же, как мы, безуспешно. Когда окрепла во мне уверенность, что именно так и есть? Затрудняюсь сказать.

Я открылся только самым близким людям, Айвору и Дональду, да еще, перед самым отъездом из поселка, поделился этой своей «личной собственностью» с желчным доктором Раппопортом. Удивительно — все они сначала поддакивали с нарастающей радостью понимания, а потом, поразмыслив, заявляли, что если поглядеть на мир, который нам дан, то больно уж прекрасное целое складывается из моих рассуждений. Возможно. Что мы знаем о цивилизациях, которые «лучше» нас? Ничего. Поэтому, может, и не годится рисовать картину, на которой мы фигурируем где-то в самом низу — как отщепенцы Галактики, или как эмбрион, застрявший в родовых схватках, затянувшихся на века, или, наконец (пользуясь сравнением Раппопорта), как премиленький новорожденный, который вот-вот удавится собственной пуповиной. Той самой, через которую культура высасывает жизнетворные соки знания из природной плаценты.

Я не могу привести ни единого неоспоримого довода. У меня их нет. Я не нашел ни малейшего свидетельства того, что Послание предназначено существам, в каком-либо отношении лучшим, чем мы. А может быть, я, достаточно долго допекаемый унижениями, оказавшись под начальством людей вроде Истерленда и Инн, вообразил себе некий аналог святости на свой собственный лад — миф о Благовещении и Откровении, которое я — совиновник — отверг столько же по неведению, сколько по злому умыслу?

Перед тем, кто отказался от мысли приводить в движение атомы и планеты, мир предстает беззащитным: можно его истолковывать как угодно. Тот, кто воюет оружием воображения, в воображении тонет. А ведь оно должно быть окном, распахнутым в мир. Два года мы изучали феномен — изучали с конца, с его проявлений, сошедших с неба на землю. Я предлагаю подступить к ней с другой стороны. Можно ли, будучи в здравом уме, допустить, что нам шлют загадки, тесты для проверки интеллекта, галактические шарады? Такая точка зрения кажется мне абсурдной: трудность сигнала — не скорлупа, которую надо разбить. Послание предназначено не для всех — тут у меня нет сомнений. Прежде

всего — оно не для тех цивилизаций, что стоят на нижних ступенях технологической лестницы; шумерийцы или древние франки просто не заметили бы его. Но можно ли ограничивать круг адресатов, исходя только из их технических возможностей?

Оглядымся вокруг. Сидя здесь, в глухой комнате бывшего атомного полигона, я не мог отделаться от мысли, что огромную пустыню за стенами, и нависающий над ней темный свод, и всю Землю неустанно, час за часом, веками, тысячелетиями пронизывает безбрежный поток незримых частиц, несущий с собой весть, приходящую и на другие планеты, и на другие звездные системы, другие галактики, что поток этот выслан в незапамятные времена из невообразимой бездны — и что все это правда.

Я не мог согласиться с этим без внутреннего сопротивления — слишком это противоречило всему, к чему я привык. И в то же время я видел наш Проект, громадные коллективы ученых, незаметно контролируемые государством, гражданином которого я являюсь; нам, опутанным сетью подслушивания, предстояло установить связь с разумом, обитающим в Космосе. А в действительности мы были ставкой в глобальной игре, фишками в руках у крупье, одним из несчетных шифрованных обозначений, переполняющих бетонное нутро Пентагона; там, в каком-то сейфе, на какой-то полке, в какой-то папке с пометкой «совершенно секретно», появился еще один — шифр операции «ГЛАС ГОСПОДА», уже в зародыше пораженной безумием. Ибо безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллион лет заполняет бездну Вселенной, попытка выдавить из звездного сигнала, как косточки из лимона, информацию, пригодную для убиения.

Если и это не безумие, то его вообще нет и не может быть. Итак, Отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации, но не все — даже не все цивилизации технологического круга. Кто же настоящие адресаты? Не знаю. Скажу только: если эту информацию Отправители предназначали не нам, то мы ее не поймем. Я готов целиком доверять им — ведь они не обманули моего доверия.

А если все это только стечение обстоятельств? Что ж, могло быть и так. Разве не случайно был обнаружен нейтринный сигнал? Разве он, в свою очередь, не мог возникнуть случайно? Может, он по случайным причинам затрудняет рас-

пад органических макромолекул, случайным образом повторяется — и, наконец, только по случайности из него извлекли Повелителя Мух? Все это возможно. Случай может так закрутить приливную волну, что при отливе на гладком песке останется четкий отпечаток босой ступни.

Скептицизм подобен непрерывному, многократному усилению разрешающей силы микроскопа; резкое поначалу изображение под конец расплывается, последнюю реальность увидеть нельзя, ее существование можно только логически вывести. А мир после закрытия Проекта продолжает идти своим путем. Уже миновала мода на высказывания ученых, политиков и звезд сезона о космическом разуме. Лягушачью Икру удастся использовать, так что бюджетные миллионы не пропали даром. Над опубликованным сигналом может теперь ломать голову любой из легиона маньяков, которые раньше изобретали вечный двигатель и способ трисекции угла, и всякому позволено верить во что угодно. Тем более что эта вера, подобно моей, ничем не грозит. Ведь меня-то она не раздавила. Я все тот же, каким был до вступления в Проект. Ничто не изменилось.

А теперь — несколько слов о сотрудниках Проекта. Я уже упоминал, что Дональда, моего друга, нет в живых. Ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений — рак. Айвор Белойн не только профессор и ректор — он вообще человек настолько занятой, что даже не понимает, как он счастлив. О докторе Раппопорте мне ничего не известно. Письмо, которое я послал ему несколько лет назад на адрес Института высших исследований, вернулось обратно. Дилл находится в Канаде — у нас обоих нет времени на переписку.

Но что, собственно, значат эти сухие примечания! Что я знаю о затаенных страхах, мыслях и надеждах моих друзей того времени? Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. Животное приковано к своему «здесь» и «сейчас» всеми своими чувствами, а человек способен отвлечься от этого, вспоминать, сочувствовать другим, представлять себе их состояние, их чувства... только это, к счастью, неправда. В попытках такого перевоплощения мы воображаем — смутно, туманно — только себя. Что стало бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать в точности то же, что они, страдать вместо них? Людские горести, страхи, страдания исчезают со смертью, не остается ни следа от падений и взлетов, оргазмов и пы-

ток — и это неоценимый дар эволюции, которая уподобила нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если бы так возрастало наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку — мир переполнился бы криком, силой исторгнутым из кишок.

Мы, как улитки, прилепились каждый к своему листку. Я отдаюсь под защиту своей математики и повторяю, когда и она не спасает, последнюю строфу стихотворения Суинберна:

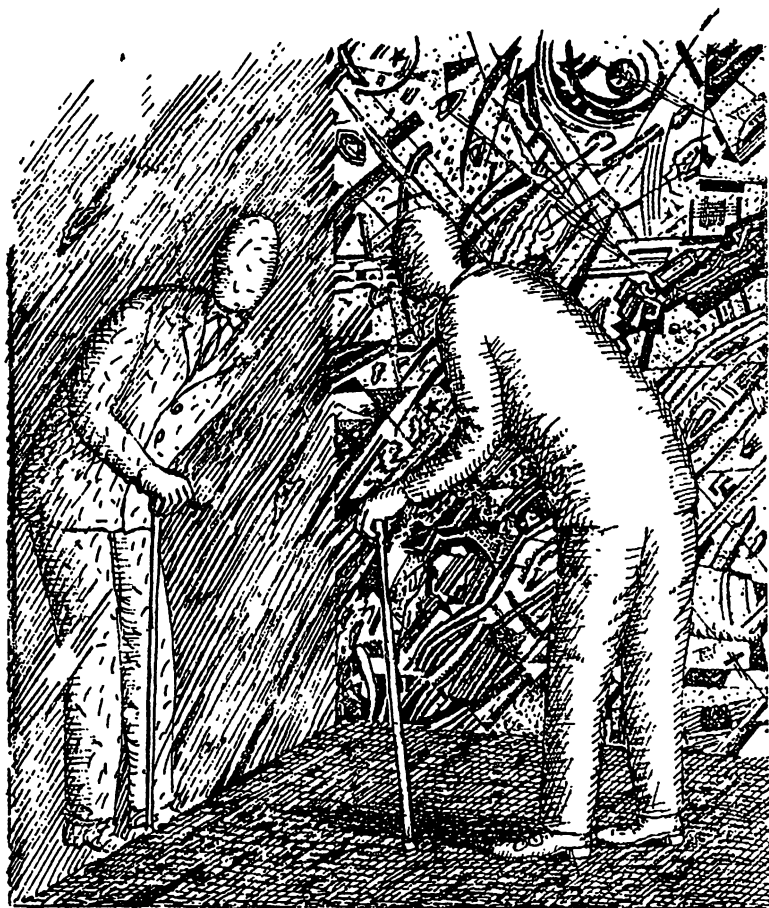
Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать,
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь

Закопане, июль 1967

Краков, декабрь 1967

ВЕРНЫЙ РОБОТ

телевизионная пьеса



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М-р Т. Клемпнер
Граумер, робот
Господин Гордон, издатель
Госпожа Гордон
Инспектор Доннел
Госпожа Доннел
Странный тип
Посыльные

I

Комната примерно 2000 года, но без поражающих воображение вещей. Это рабочий кабинет автора детективных романов. Здесь — мягкая «обтекаемой формы» мебель, лампы, пишущая машинка, магнитофон, радио, вместительный бар. Клемпнер сидит за машинкой и печатает с видимым интеллектуальным усилием. Звонит телефон. Он поднимает трубку.

К л е м п н е р. Клемпнер слушает. А, это вы! Да. Пожалуйста, с неделю. Уверен в этом. Мне пишется все лучше. Целиком отдам вам в четверг. Без единой опечатки на машинке. Что? А, супруга вам говорила? Да, я хотел пригласить вас обоих с супругой в будущую пятницу. Придут еще Доннелы. Его вы знаете, знакомилась с ним у меня. Это тот инспектор... Ха, ха! Разумеется... Такие знакомства очень полезны,

Wierny robot, 1963

© А.И.Ильф, Т.П.Агапкина, перевод, 1994

создается колорит. Хорошо. Значит, в будущую пятницу. До встречи...

Возвращается к машинке. Едва присаживается, как раздается звонок.

Кого это черти принесли?..

Он выходит. Возвращается, и за ним следом — двое посыльных вносят большой ящик.

Посыльный. Распишитесь, пожалуйста.

Клемпнер. Что это?

Посыльный. Расписка в получении.

Клемпнер. Что в этом ящике?

Посыльный. Здесь написано: робот.

Клемпнер. Какой робот? Я не заказывал никакого робота.

Посыльный. Это не мое дело. Я из фирмы по перевозке грузов. Пожалуйста, распишитесь.

Клемпнер расписывается, посыльные уходят. Клемпнер осматривает ящик, глядит на пишущую машинку, подходит к ней, внезапно возвращается, разрезает шнуры, крышка ящика приоткрывается. Клемпнер пятится назад. В ящике сидит Робот. Он вылезает, раздвигает на себе бумажную упаковку, встает, слегка кланяется.

Робот. Добрый вечер. Господин будет моим новым хозяином. Весьма рад. Я буду стараться угодить вам по мере возможностей, а их у меня немало. Я представляю собой новейшую модель «Ультра-Делпокс».

Клемпнер. Что все это значит? Я не заказывал никакого робота...

Робот. Ах, это не имеет значения! Зачем вам себя этим обременять? А я для чего здесь? Отныне я буду все делать за вас. На меня можно полностью положиться. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Позвольте заметить, что столик у вас не на месте. Вы, когда пишете, сами себе свет заслоняете. Таким вот образом будет намного удобнее... (*Переставляет столик.*) Так вы сможете лучше сосредоточиться.

Клемпнер. Да не нуждаюсь я в тебе, черт побери!

Робот. Поначалу всегда так кажется. Вы сами убедитесь. Спите вы хорошо?

Клемпнер. Нет. Кто тебя сюда прислал?

Робот. Вы страдаете бессонницей? Прекрасно.

Клемпнер. Как это — прекрасно?

Робот. Потому что теперь все изменится. (*Выглядывает*

в окно.) Ого, да здесь поблизости есть и другие виллы? И стало быть, по вечерам — собаки, которые лают на прохожих, в середине ночи — кошки, а по утрам — петухи. Очень хорошо. Против кошек и собак у меня имеется особое средство, а петухов вы отныне не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.

К л е м п н е р. Не беспокойся обо мне. Кто тебя прислал?

Р о б о т. Господин напрасно повышает голос. Достаточно было шепнуть. Я прекрасно слышу. Не знаю, кто меня прислал, но сейчас мы это установим. Отправитель должен значиться на упаковке. Ну, конечно, «Давенпорт», посредническое бюро по найму домашних работников. *(Поднимает телефонную трубку, набирает номер.)* Алло! Бюро «Давенпорт»? Это говорит работник. Господин человек, с вами будет говорить мой хозяин. Пожалуйста... *(Подает трубку Клемпнеру.)*

К л е м п н е р. Алло! Вот только что мне доставили посылку — робота, которого я вообще не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка, что? Том Клемпнер, улица Роз, 46. Заберите его отсюда немедленно! Что? Что вы говорите? Не посылали? Вы абсолютно уверены? Но... *(Кладет трубку.)* Говорит, что никого они не посылали... И что же теперь будет?

Р о б о т. Все прекрасно будет. Вам, наверное, хочется побыть одному? Чтобы никто не мешал вам в творческой работе?

К л е м п н е р. Да, черт возьми! Да!

Р о б о т. Очень хорошо. Господин будет один. Вы уже один. В определенном смысле меня вообще нет. Кроме вас, здесь нет ни единой живой души — то есть никого нет. Нам остается лишь кое-что уточнить. У господина есть робот?

К л е м п н е р. Нет. И я ни в каком роботе не нуждаюсь.

Р о б о т. Вот и прекрасно. Должен вам признаться, что я тоже не выношу роботов. Я люблю только людей. Потому-то я так и радуюсь, что вы станете моим хозяином. Вам будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю проникаться к вам почтением и уважением. Вы питаетесь дома?

К л е м п н е р. Нет! И перестань говорить без умолку! Дай мне собраться с мыслями и сообразить, что с тобой делать.

Р о б о т. Для этого я здесь. Для всего, позвольте вам заметить. Отныне вы будете есть дома. Есть в ресторане вредно, это портит желудок. Я знаю самые разные кухни, особенно — китайскую. *(Он подходит к бару, оглядывает его)*

содержимое.) «Мартини», не правда ли? Великолепно. Но позволю себе заметить, что к нему пригодился бы джин. Смешать их половина на половину, со льдом и лимонной корочкой. Это проясняет разум. Сейчас я приготовлю.

Клемпнер. Да ты замолчишь или нет? У меня голова раскалывается!

Робот. Поначалу так всегда бывает, к сожалению... Но это пройдет. Вы позволите? *(Достает из ящика, в котором прибыл, коробочку с красным крестом, наливает воды в стакан и протягивает его Клемпнеру вместе с вынутой из коробочки таблеткой.)*

Клемпнер. Что это?

Робот. Средство от головной боли. Сейчас как рукой снимет. Только позвольте, пожалуйста... Не упирайтесь... Прошу вас... *(Сажает Клемпнера в кресло и подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги, подает таблетку и воду, а сам начинает быстро прибирать комнату. Выносит ящик, маленьким веником выметает опилки, возвращается.)* Ну, как самочувствие? Уже лучше? Голова уже у вас не раскалывается, правда? *(Достает из ящика масленку, моток веревок и отвертку.)* Это все мое имущество. Потому что в случае необходимости, чтобы вы знали, я сам себя ремонтирую. Может, показать вам, как я устроен внутри? Механизм чрезвычайно любопытный!

Клемпнер. Оставь меня в покое...

Робот. В этом и состоит моя задача. Создавать вам покой. Именно так. Только перед этим нам следует уточнить матрицу связей. Это займет всего минутку.

Клемпнер. Какую матрицу?

Робот. Ну, есть же у вас соседи, знакомые, родственники... Самые разные люди будут сюда приходить и будут стремиться увидеться с вами. А мы установим простой способ взаимопонимания. Если вы встретите гостя словами: «Как я рад тебя видеть!» — я через минуту войду в комнату и напомним вам о не терпящей отлагательства консультации с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. А если гость как раз знает этого Хэдвика?

Робот. Ну что вы, это невозможно. Хэдвик был моим первым хозяином. К сожалению, умер. И довольно давно. Уже и буквы на его надгробии начинают стираться. Каждую третью неделю я хожу к нему на кладбище. Надеюсь, что вы мне будете разрешать и это. Но перейдем к делу. Если вы поприветствуете гостя словами: «Хорошо, что зашел, я

давно тебя жду», — я подам напитки самого низкого качества. Если...

Клемпнер. Ну что ты мелешь?!

Робот. Но, пожалуйста, господин! Мы оба прекрасно знаем, какова действительность. Только люди из ложной стыдливости предпочитают в этом не признаваться. В каждом доме имеются угощения для посетителей первого класса, соответственно — для второго, а бывают и те, которых вообще не угощают. Там, например (*показывает на бар*), я заметил в укромном местечке бутылочку. Если не ошибаюсь, это коньяк семидесятилетней выдержки, вероятно, «Селинь-як», вы надежно его припрятали, да так, собственно, и должно быть. Однако я вижу, что вы немного устали. Я сейчас же приготовлю крепкий бульон и легкий, но питательный ужин. А пока отдыхайте, пожалуйста. Расслабьтесь... полная пассивность... разрядка. (*Он говорит это, отступая к дверям. Слышится частое позвякивание посуды и стекла.*)

Клемпнер. Вот так история!

Робот (*возвращаясь*). Сейчас все будет готово. Нам остался один вопрос, но самый важный — относительно женщин.

Клемпнер. Что?!

Робот. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я располагаю тремя дополнительными устройствами, предназначенными специально для этой цели. Отныне женщины станут услугой вашей жизни, солнечным светом, а не кошмаром. Тех, кого господин не захочет видеть, я и на порог не пушу. Я смогу быть несокрушимым в отстаивании ваших интересов. А поскольку я умею на расстоянии регистрировать частоту дыхания и пульс, то смогу заблаговременно сообщать вам, на что рассчитывает женщина, которая к вам приходит...

Клемпнер. Это неслыханно! Как ты смеешь? Да не желаю я!

Робот. Ох, желаете! Желаете, только сами этого еще не знаете. Я смотрю, вы принадлежите к тем несчастным людям, которые до сих пор не испытали на себе благодетельного и усердного робота. Но все переменится. Вы узнаете вкус счастья... Кажется, бульон уже доварился. Извините...

Клемпнер. О Боже!

Робот (*появляется в дверях столовой и распахивает их ненатуральным взмахом руки*). Прошу вас! На стол подано...

Клемпнер (вскакивает). Да не хочу я, чтобы мне здесь...

Робот. Со всем почтением осмелюсь заметить, что после слов «На стол подано» никаких других слов произносить не следует, пока я не подам вам первый аперитив...

Клемпнер входит в столовую; садится. Робот подает ему бульон. Клемпнер начинает есть. Робот уходит в кабинет, быстро просматривает рукопись и возвращается. Наливает вино.

У вас прекрасный стиль. Какая динамика, какой лаконизм. Я горжусь тем, что у меня такой хозяин. Осмелюсь только заметить, что этому убийце во второй главе не следовало бы пользоваться цианистым калием. Этот яд, пожалуй, выходит из моды. И слишком уж заигран.

Клемпнер. Ты так полагаешь? Ты и в этом разбираешься?

Робот. Мой третий по счету хозяин был токсикологом. И не простым, а коллекционером. Он коллекционировал яды, как другие коллекционируют бабочек. Бедняга...

Клемпнер. А что с ним случилось?

Робот. Ошибся. Обычно он клал три ложечки сахара в кофе. Ничего бы, конечно, не произошло, но дело случилось в то самое воскресенье, когда я хожу на кладбище. И если бы хоть что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее, ничего подобного! Он по ошибке насыпал в кофе вместо сахара крысиного яда. Обыкновенного крысиного яда! И это знаток! Представляю себе, каково ему пришлось — в последние минуты... Когда я вернулся, все было кончено. Я думал, у меня конденсатор лопнет. Теперь хожу к нему два раза в месяц. У него очень хорошая могилка, с видом на реку. Я сам выбрал это местечко. Но я не о том хотел говорить. Осмелюсь вам порекомендовать аконит. Весьма впечатляющий и сильный яд. Достаточно десяти капель...

Клемпнер. Аконит, говоришь?.. Может быть... Действительно! Я думал об этом. А вообще-то, как тебя зовут?

Робот. Граумер, господин хозяин! Но если вам угодно, называйте меня совершенно иначе. Может, предпочитаете что-нибудь из цветочных названий? Например, Гиацинт... Как это вам понравится?

Клемпнер. Нет, зачем же?.. Пусть будет Граумер.

Робот. Благодарю вас.

Клемпнер. Граумер!

Граумер. Слушаю вас...

Клемпнер. В будущую пятницу, ты понимаешь...

Граумер. Да, конечно!

Клемпнер. Я устраиваю маленький прием на четверых. Будут две супружеские пары... Не знаю только, что лучше подать — холодные закуски или ужин с горячим блюдом, а?

Граумер. Это, вероятно, гости первого класса?

Клемпнер. Да. Мой издатель и инспектор Доннел, оба с женами...

Граумер. Инспектор полиции?

Клемпнер. Да, а что?

Граумер. И он ваш приятель? О, это прекрасно! Что подать? Я думаю, одно горячее блюдо, а затем — своего рода ассорти из изысканных холодных закусок. Можете предоставить это мне. Я вас не подведу. Ужин вкусный был?

Клемпнер. Весьма...

Граумер. Я вижу, что вам бы хотелось сегодня написать еще пару страниц, но не советую. У вас темные круги вокруг глаз. Первый вечер всегда утомителен для нового хозяина. Для начинающего — особенно... Поэтому я позволил себе приготовить для вас постель. Разрешите, пожалуйста... *(Ведет Клемпнера в спальню; через открытую дверь доносится его голос.)* Так, зажжем ночничок... теперь другую штанину... А теперь робот расскажет вам на сон грядущий сказочку. Давным-давно, когда еще не было даже электричества, жил да был себе за горами один хороший, простой господин, и был у него паровой робот. По утрам робот отправлялся в лес за хворостом да за грибочками для завтрака...

Клемпнер *(усталым голосом)*. Оставь меня... в покое...

Граумер. Однажды в лесу, откуда ни возьмись, появился злой монтер с большущими-пребольшущими клещами. Спрятался он за деревом, а когда робот подошел к нему, он и говорит: «Сирота я, и нету у меня на свете ничего, кроме этих клещей...»

Свет в спальне гаснет, Граумер появляется в кабинете. Он тихо закрывает двери, поднимает с полу свою масленку, отвертку и, сматывая длинную веревку, провозносит:

Прекрасно. Спит, как малое дитя... Даже веревка не понадобилась...

Клемпнер сидит в кресле, читая газету, и тянет руку к столику, на котором стоят бутылки с вином. Дотянуться до них не может, а вставать ему не хочется.

Клемпнер. Граумер!

Граумер (*входя*). Слушаю вас.

Клемпнер. Налей!

Граумер. То, что обычно?

Клемпнер. Да.

Граумер наливает, подает.

Можешь идти.

Граумер стоит.

Ну, что еще?

Граумер. Вам звонил господин человек Хиггинс, сообщая, что будет выступать в клубе с докладом о литературоведении раннего викторианского периода. Я сказал, что вы весьма сожалеете, но как раз в это самое время у вас совещание с профессором Хэдвиком.

Клемпнер. Ладно. Кстати, ты случайно не знаешь, куда подевался резиновый коврик из ванной? Я не могу его найти.

Граумер. Простите, это я его взял.

Клемпнер. Взял коврик?! Граумер, ты становишься невыносим!

Граумер. Я его разрезал на куски и подклеил ими свои железные подошвы, чтобы неслышно ступать. Потому что вы жаловались на металлический звук моих шагов. Я постараюсь достать другой коврик.

Клемпнер. В другой раз ты должен прежде испросить моего позволения. Подай мне плащ. Я уйду.

Граумер (*приносит шляпу и плащ, одевает Клемпнера*). Надеюсь, сегодня вы вернетесь в лучшем виде, чем это было вчера.

Клемпнер. Ты что это себе позволяешь?

Граумер. Осмелюсь заметить, что пить все подряд, без разбору, вредно. Но дело не только в этом. Ни мой покойный господин Бурман, ни профессор Хэдвик никогда не пили ром после джина. Простите меня, но это дурной тон.

Клемпнер. Прекрати! Я ничего больше не хочу слышать о твоих покойных хозяевах. Они были, умерли, нет

их, и точка. А теперь я твой хозяин, и ты обязан меня слушаться. А сам я обойдусь без твоих советов.

Граумер. Как вам будет угодно. Я только прошу вас осторожно вести машину, потому что сегодня довольно густой туман.

Клемпнер выходит. Робот с минуту стоит неподвижно, как бы прислушиваясь. Доносится шум отъезжающей машины писателя. Робот удобно усаживается за письменный стол, придвигает к себе телефон и набирает номер.

Алло! Это фармацевтическая фирма «Тромпкинс»? Говорит Клемпнер, с улицы Роз. Да, да, то, что я заказывал вчера, уже доставили. Теперь новый заказ. Мне нужно десять литров физиологического раствора и один килограмм фосфора. Но фосфор должен быть абсолютно чистым. Химически чистым. Что? Хорошо. Прошу вас прислать мне это завтра утром. Как можно раньше. Мой робот все примет. Что? Так же, как и предыдущие. Прошу записать это на мой счет.

Граумер, довольный, поднимается, входит в спальню, раскладывает столярный метр и, насвистывая, прикладывает его к кровати, будто снимает мерку с невидимого человека, лежащего на постели. Возвращается в кабинет и набирает по телефону номер.

Алло! Мастерская доктора Спайдера? Говорит Клемпнер. Господин доктор, тот скелет, что я у вас заказывал, должен быть один метр семьдесят пять сантиметров, а не семьдесят два. Что? Да. И чтобы он был в прекрасном состоянии! Нет, никаких пружин. Пружины мне не нужны. Я соберу его сам.

Кладет трубку, подходит к электрической розетке, оглядывается вокруг, втыкает два пальца в ее отверстия и заходится радостной дрожью. Крякает, как человек, выпивший водки. Потом еще раз потягивает электричество из розетки и, чуть покачиваясь, начинает напевать:

Был у бабы робот, робот, робот.
Она его в болото, в болото бух!

Он еще раз потягивает из розетки и, покачиваясь, направляется к дверям; напевает:

О, мой милый робот, робот,
Что ты делаешь в болоте, в болоте?..

С этой песенкой на устах он спускается в погреб. Оттуда доносится таинственное шипение, бульканье, бречание.

Присел в доме Клемпнера. Писатель сидит за столом между госпожой Доннел и госпожой Гордон. Гордони Доннел играют в карты за маленьким столиком, однако не слишком увлеченно. Трапеза окончена. Граумер подает кофе.

Госпожа Гордон. Как вы собираетесь провести отпуск в этом году?

Госпожа Доннел. Еще не знаем. Мы подумывали о Луне, но...

Госпожа Гордон. Ах, уж эта мне Луна! Все просто помешались на ней. Лично меня туда совершенно не тянет. Днем там такая жара...

Госпожа Доннел. Да. Особенно при нынешних ценах на воздух. Знаете, госпожа Гордон, сколько заплатил один мой знакомый за килограмм кислорода, и уже после окончания сезона? Пятьдесят долларов!

Граумер уходит

Госпожа Гордон (*обращаясь к Клемпнеру*). Я заметила, что у вас новый робот. Как он управляется?

Клемпнер. Да ничего, не жалуюсь. Терпимо. Вполне терпимо.

Госпожа Доннел. Он давно у вас?

Клемпнер. Нет... не очень давно...

Госпожа Гордон. Ну, тогда еще ничего не известно. Сначала они все стараются. Все начинается потом.

Клемпнер. Что начинается?

Госпожа Гордон. Что обычно бывает с прислугой. Они становятся нерадивы, вместо того чтобы стирать пыль, открывают окна настежь и устраивают дикие сквозняки.

Клемпнер. Сквозняки?

Господин Гордон. Ну-ну, автоматы имеют и свои достоинства...

Госпожа Гордон. Интересно знать — какие?..

Господин Гордон. Дорогая моя, живые домработники временами роются в вещах, напиваются, распускают сплетни...

Госпожа Гордон. Да? Можно подумать, что ты когда-нибудь видел живого работника. И разве живой работник воровал бы электричество, которое оплачивают хозяева? Или лазил бы в грозу по крышам?

Клемпнер. По крышам? В грозу? Я об этом не слышал. Но зачем?

Госпожа Гордон. Вы не слышали? Правда? Это так называемые грозатики. Как лунатиков тянет к Луне, так этих притягивают грозы и молнии.

Клемпнер. И с этим ничего нельзя поделать? Во всяком случае, мой Граумер — не грозатик. Будь это иначе — я бы заметил. Но вообще-то, наверное, это не может повредить им?

Госпожа Доннел. Как бы не так, господин Клемпнер! Такой как налакается этих самых молний, притянет столько их в себя, что все у него перегорает там в голове, то есть в их электрическом мозгу, — вот вам и готовый помешанный.

Госпожа Гордон. У моей знакомой, жены режиссера Спинглера, именно такой и был.

Господин Гордон. Дорогая моя, ты не можешь этого утверждать. Тот робот был просто старый и весь расстроенный. Они приобрели его после того, как он уже у четырех хозяев служил.

Госпожа Гордон. Пусть так. Может, он и не был грозатиком, но в любом случае не ведал, что творил. Он несколько раз накормил кота золотыми рыбками. А суп засыпал шариками...

Клемпнер. Какими шариками?

Госпожа Гордон. Стальными. От металлических кроватей. Все оттого, что он буквально разваливался на глазах. Сколько раз я говорила этой знакомой, чтобы она отдала его на капитальный ремонт, а она все — нет да нет! Ее муж был к нему так привязан... Супруги поехали отдыхать на море, а когда вернулись, собственной квартиры не узнали. Он натер мастикой все окна и стены, а грязное белье разварил, разложил по банкам и сказал, что это запасы на зиму! А счета за электричество! Она остолбенела, когда увидела эти суммы.

Госпожа Доннел. Это еще ничего. Знаете, господа, что выделывал робот моей соседки? Он взял старый костюм ее мужа, понашивал на него заплаток и ходил побираться!

Клемпнер. А деньги ему зачем понадобились?

Госпожа Доннел. Это неловко и произносить. В доме напротив, у доктора Смитсона, поселилась новая женщина-робот. Такая небольшая, голубая, оксидированная... Так соседский робот все свои сбережения на нее истратил.

Они даже письма друг другу писали! Мне жена доктора показывала его письма. Он называл ее «дорогая шпулечка», «проволочка моя возлюбленная» — и одному Богу известно, как еще!

Господин Гордон. Дорогие дамы, а что вы, собственно, видите в этом предосудительного? Такой робот, такой электрический мозг весьма чувствителен. Ему хочется тепла, ласки, но ничего подобного нет — с утра до ночи он только и слышит то «Подмети!», то «Вынеси!», то «Не впускай!», то «Выброси!».

Госпожа Доннел. Я вижу, что в вашем лице они обрели блестящего защитника...

Госпожа Гордон. Я должна вам сказать, госпожа Доннел, что мой муж — член местного отделения «Лиги Борьбы за Электрическое Равноправие»...

Госпожа Доннел. Ах, так...

Господин Гордон. Потому что это достойные, порядочные существа. Ну и в конце концов мы сами вызвали их к жизни, то есть я хочу сказать, дали им возможность существовать. Если у них имеются какие-то недостатки, так это наша вина. наших инженеров. Роботов следует лучше конструировать и совершенствовать. В общем, создавать, а не обвинять.

Госпожа Доннел. Простите, ведь никто не делает им ничего дурного. Но с тех пор, как у них появился собственный союз, робота, натворившего бед, нельзя даже в погребке запереть, потому что сразу поднимается крик, что, мол, это издевательство, жестокость. Джон, как называется этот их союз?

Господин Доннел. «Союз Бесчеловечного Обожения». Нет-нет, я, разумеется, шучу. Он называется просто «Союзом Домашних Электрических Работников».

Госпожа Доннел. Ну, вот, пожалуйста. А вообще-то мой муж мог бы вам кое-что рассказать... И это совсем не безобидные выдумки! Знаете ли вы, господа, что бывают случаи, когда электрические мозги объединяются в банды, связанные с преступным миром?

Клемнер. Да, но так когда-то давно бывало. Теперь, наверное, уже ничего подобного не случается. Это просто невозможно. Не так ли, инспектор?

Инспектор Доннел. Не знаю, имею ли я право рассказывать об этом, потому что следствие еще не закончено... Но мне известна одна история...

Клемпнер. Но, господин инспектор, вы имеете дело с людьми деликатными...

Господин Гордон. Что касается меня — я обязуюсь хранить молчание.

Инспектор Доннел. Что поделаешь? Рискну... Но не буду называть никаких имен. В общем, некоторое время тому назад мы вышли на след одного весьма опасного робота. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Вы, господин Гордон, говорили о совершенствовании. Так вот, инженеры фордовского завода, стремясь к идеалу, вознамерились создать совершенного робота. Такого, чтобы он был всесторонне развитым, умным, просто гениальным. И это им весьма удалось. Как только они его смонтировали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он совладал со всеми запорами, сбежал с завода и теперь разгуливает себе по стране!

Госпожа Гордон. Ой, вы меня просто в ужас повергли, господин инспектор! А что он, собственно, делает?

Клемпнер. Он что, ненормальный?

Инспектор Доннел. В известном смысле, да. Им овладела навязчивая идея: он хочет создать человека!

Госпожа Гордон. Что вы говорите?!

Клемпнер. Это интересно...

Инспектор Доннел. Он придумал целую теорию. Люди, мол, стремятся создать совершенного робота, а он, робот, создаст совершенного человека.

Госпожа Гордон. Подумать только!

Господин Гордон. И вы считаете его помешанным? Это вполне здравая мысль.

Инспектор Доннел. Вы так полагаете? Мы долго его выслеживали, потому что он очень искусно заметал за собой все следы. Но неожиданно нам позвонил его хозяин. Это весьма известный человек, у которого робот служил.

Граумер. Господин хозяин! Господин человек Хиггинс просит вас к телефону.

Клемпнер. Простите... *(Выходит.)*

Инспектор Доннел. Так вот, этот робот устроил в доме своего хозяина тайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его застigli врасплох. В интересах следствия я опускаю подробности. Но чтобы вы имели представление о сообразительности этого робота, я расскажу вам только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал там

большой ящик, и распорядился направить его по адресу своего хозяина, и затем отбыл в неизвестном направлении!

Господин Гордон. Сам себя отправил? Зачем?

Инспектор Доннел. Об этом мы можем только догадываться. Я подозреваю, что ящик прибудет по адресу, который он сам себе предварительно наметил.

Госпожа Гордон. И этот адресат примет его?.. Как же так?

Инспектор Доннел. Да вот так. Отправитель фиктивный. В один прекрасный момент по некоему адресу приходит заказная посылка — робот. Получатель, который его не заказывал, звонит в бюро по найму и говорит, что не будет это оплачивать, а в бюро отвечают, что они знать ничего не знают. Тогда этот человек, видя, что робот ему достался даром, как презент, сидит себе да помалкивает. Ведь робот хороших денег стоит!

Господин Гордон. Почему бы об этом не сообщить в печати?

Инспектор Доннел. Потому что это ничего не даст. Робот хитер — он тут же придумает новый способ бегства. Мы предпочитаем действовать скрытно. Еще немного, и он окажется под замком.

Возвращается Клемпнер.

Можете быть уверены, господа, что мы его в конце концов поймаем. Как и того, другого, что отличился тяжкими преступлениями на юге страны. А ведь то был не обыкновенный робот, он представлял собой особый электронный мозг для прогнозирования погоды. Одним словом — метеорологический автомат. Он оказался поистине электрическим гением финансовых операций! Под вымышленным именем открыл счет в банке, просчитывал вероятность выигрышей на бегах, играл и, разумеется, выигрывал, а деньги помещал на банковский счет. Но это еще не все!

Господин Гордон. Что же он еще сделал?

Инспектор Доннел. За прежнее его нельзя было осудить. В конце концов каждый может играть на бегах. Но он заделался таким сибаритом, что ему расхотелось предсказывать погоду. Для этого он нанимал людей, платил им, а сам целиком предался азартным играм.

Госпожа Гордон. Это действительно невероятно интересно, и мы бы слушали вас всю ночь. Но уже поздно... Ричард!..

Господин Гордон. Да, дорогая...

Клемпнер. О, не уходите, господа! Сейчас только двенадцать...

Госпожа Гордон. Нет-нет, мы не можем... Дети остались одни с роботом.

Госпожа Доннел. До свидания!.. Было очень мило...

Господин Гордон. Так, значит, вы мне приносите рукопись послезавтра?

Клемпнер. Как и обещал.

Господин Гордон. Думайте уже и о следующей книге, господин Клемпнер!

Клемпнер. Да я и вправду ни о чем другом не думаю! Доброй вам ночи!

IV

Раннее утро. Клемпнер спит. Граумер входит на цыпочках. Открывает шкаф, достает сорочку, нижнее белье, костюм и выходит. Спустя минуту возвращается, вытаскивает из шкафа обувь и с шумом роняет один ботинок.

Клемпнер. Что за грохот? Граумер, утомонись! У меня голова раскалывается. Принеси кофе!

Граумер. Я же вас вчера предупреждал...

Клемпнер (*сядая на постели*). Хватит с меня этих проповедей! Сию минуту принеси мне кофе и минеральную воду! И оставь ты эти ботинки!

Граумер ставит ботинки у шкафа и выходит. Клемпнер, накинув халат, идет в ванную. Он возвращается с головой, обвязанной мокрым полотенцем, входит в кабинет. Граумер приносит кофе. Клемпнер пьет стоя, подходит к письменному столу и ворошит утреннюю почту.

Что это?

Граумер. Утренняя почта, осмелюсь заметить.

Клемпнер. Хороша почта! Одни счета!.. Семь килограммов очищенного угля... фосфор... сера... Что все это значит? Граумер!

Граумер. Слушаю вас!

Клемпнер. И десять литров физиологического раствора... (*Берет другой счет.*) А это что еще?! Натуральный скелет, полированный, рост один метр семьдесят четыре сантиметра, восемьдесят шесть долларов... Скелет?! Граумер?!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?

Граумер. Да так, пустяки. Это мое маленькое хобби. В свободное время я занимаюсь экспериментированием. Невинная забава. Это у меня осталось с тех пор, когда мы с покойным профессором сделали открытие, за которое он получил Нобелевскую премию...

Клемпнер. Хобби? Экспериментирование? Без моего на то разрешения? Граумер, что ты, собственно, себе думаешь? И я еще должен оплачивать эту твою фанаберию?!

Граумер. У каждого ведь, господин хозяин, могут быть свои маленькие развлечения...

Клемпнер. Хватит! И чтобы это больше не повторилось!

Граумер. В этом вы можете быть уверены.

Клемпнер выходит. Из ванной доносится шум воды. Граумер быстро входит в спальню, выносит оттуда носки, ботинки и галстук. Едва он уходит, возвращается Клемпнер. Через минуту из открытых дверей спальни слышится его голос.

Клемпнер. Граумер! Граумер!

Граумер (*входя*). Слушаю вас.

Клемпнер. Где моя сорочка в голубую полоску?

Граумер. В прачечной.

Клемпнер. В прачечной? Да ведь я ее вообще не носил, она еще вчера тут лежала! И коричневого галстука нет.

Граумер. Наденьте серый в зеленую крапинку.

Клемпнер. Перестань диктовать, что мне носить! Так что с этой сорочкой?

Граумер. На ней было пятнышко.

Клемпнер. Пятнышко? Интересно. Я не заметил никакого пятна. (*Идет в кабинет в брюках и рубаше, завязывая на ходу галстук.*) Который час? Уже одиннадцать! Хорошенькое дело, ведь в двенадцать я должен представить Гордону план нового романа! Граумер!

Граумер. Я слушаю!

Клемпнер. Мне надо быстренько набросать этот конспект. Мы начали вчера о нем говорить. Что там было?

Граумер. Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой он должен унаследовать...

Клемпнер. Правда! Вспомнил! Свидетелем убийства оказался робот. И убийца должен убрать этого робота, который для него опасен. А как лучше всего убить робота? Ты должен в этом разобраться.

Граумер. Это довольно трудно. Я советовал бы иначе построить сюжет. Один робот прислуживает недоброму человеку, старается изо всех сил, но все напрасно. Человек всё время придирается к нему. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе, который подает хозяину на завтрак, яд — двадцать капель аконита. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить доброе дело, чтобы уравновесить недоброе...

Клемпнер. Можешь не стараться дальше. Это абсолютный бред. В каждом сюжете должна быть хотя бы видимость правдоподобия. Кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Аконит уже однажды у меня был, в последней книге. По твоему же совету.

Граумер. А чему это мешает? Аконит очень хороший яд, уверяю вас.

Клемпнер. Ну уж нет. Спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти.

Граумер уходит.

Клемпнер (*садится за машинку, говорит про себя и печатает*). Богатую тетку... привязав за веревку... так... робот, видевший это... и три кровавых пятна...

За его спиной неслышно пробирается Граумер, вынося на этот раз из спальни одеколон, щетки, расческу и другие туалетные принадлежности. Клемпнер поднимается, вырывает лист из машинки и, скомкав, бросает его в корзину.

Идиотизм! Лучше вообще ничего не нести! Граумер!

Граумер (*входит*). Я слушаю!

Клемпнер. Подай мне плащ! Я иду к Гордону. Вернусь к обеду около двух.

Граумер. Слушаю, господин хозяин...

Клемпнер уходит.

Граумер уходит, оставляя двери открытыми. Через минуту слышится его голос.

Так, так, пожалуйста... левую ножку... правую ножку... теперь опять левую... У вас очень хорошо получается, смею вас заверить... Пожалуйста, не бойтесь, я держу вас... По лестнице всегда трудно подниматься, особенно впервые... Раз... два... прекрасно! Пожалуйста!

Появляется Странный тип в одежде Клемпнера — в его сорочке, галстук, косюме и ботинках. Деликатно поддерживая Типа, Граумер усаживает его в кресло Клемпнера, подкладывает ему одну подушку под голову, другую — под ноги. Тип выглядит слегка растрепанным и оцепенелым. Позволяет делать с собой все что угодно. Граумер причешивает его.

Если позволите, мне осталось кое-что еще подправить... Как вы себя чувствуете?

Т и п. Хорошо. Вполне... хорошо. Ты... кто такой?

Г р а у м е р. Я Граумер, ваш робот. А вот это и есть ваша квартира. Хорошая, правда?

Т и п. Хорошая...

Г р а у м е р. Я был уверен, что она вам понравится! Вы заметили, что можно пройти под лестницей, совсем при этом не наклоняясь?

Т и п. Заметил...

Г р а у м е р. Ну конечно! Будь вы повыше ростом, по рассеянности могли бы набить себе шишку. Поэтому вы именно такого роста. Осмелюсь заметить, что я все предусмотрел. Говорю это не для хвастовства. Мы, роботы, достаточно скромны. Я просто констатирую факт. Там вот, за этой дверью, — ваша спальня и еще одна комната, ванная и погреб. Но погреб вы уже знаете...

Т и п. Это там, внизу... где разные инструменты и трубочки?

Г р а у м е р. Да-да, мой господин. Но вы старайтесь об этом не думать. Может быть, вы хотите что-нибудь съесть?

Т и п. Нет.

Г р а у м е р. Совсем натошак — это нехорошо. Я сейчас приготовлю легкий коктейль...

Наливает и подает Типу стаканчик. Тот не спеша отхлебывает.

Т и п. Грау-мер... Грау-мер...

Г р а у м е р. Да-да, это мое имя, я слушаю вас. Не хотите ли вы чего-нибудь поесть?

Т и п. Пожалуй, нет. Ничего не приходит мне... в голову. Грау-мер. Очень хорошо звучит. Граумер... Ты очень мил и мне нравишься.

Г р а у м е р. Я надеюсь, что нам с вами будет хорошо. Я приложу для этого много стараний.

Т и п. Знаешь что, Граумер? Я бы встал.

Граумер помогает ему встать, ведет в направлении столовой, открывает туда двери.

Г р а у м е р. Здесь — столовая. Там — спальня. Шкаф с одеждой... У вас будет масса костюмов...

Т и п. А что это?

Граумер. Пишущая машинка. Ох!

Слышится шум подъезжающей машины.

Ах ты, шуруп! Сказал ведь, что вернется только к обеду! Прошу вас, господин, сюда, скорее... Пожалуйста, сидите тут и не двигайтесь, пока я не позову! Скорее!

Вводит Типа в столовую, закрывает дверь и возвращается в кабинет, как раз когда входит Клемпнер в плаще и шляпе. Граумер раздевает его, усаживает в кресло, подкладывает ему под ноги подушку.

Клемпнер. Ну и денек! Голова у меня по-прежнему раскалывается, а Гордона не было. Должно быть, куда-нибудь неожиданно выехал... В висках ужасно ломит...

Граумер наливает в стакан виски, после чего из огромной бутылки с надписью «Аконит» капает, тихонько считая, двадцать капель.

Что ты там делаешь?

Граумер. Готовлю вам освежающий напиток.

Клемпнер. Никто не звонил?

Граумер (*продолжая капать*). Нет, не звонили.

Клемпнер. И никто не приходил?

Граумер. Никто не приходил, пожалуйста. (*Подает стакан.*)

Клемпнер. Мне пить не хочется. Я лучше поел бы чего-нибудь.

Граумер. Я вам советую сначала выпить.

Клемпнер. Ты так думаешь? Но у меня голова раскалывается...

Граумер. Я вас прошу выпить. И сразу пройдет, вот увидите.

Клемпнер. Ну, если ты так уверен...

Подносит стакан к губам. Звонит телефон. Клемпнер отставляет стакан и берет трубку.

Алло! Клемпнер.

Голос Инспектора в трубке. Это Доннел. Добрый день. Откровенно говоря, я не надеялся застать вас дома. Вы вроде собирались быть у Гордона.

Клемпнер. Я был у него, но не застал. А в чем дело?

Голос Инспектора. Ничего особенного. Служебные проблемы. Не могли бы вы мне сказать, какой номер у вашего робота?

Клемпнер. Номер? У моего робота? Что еще за номер?

Голос Инспектора. Серийный номер изделия. Он имеется у каждого робота, отштампован на затылке.

Клемпнер. Сейчас посмотрю. А зачем вам это?

Голос Инспектора. Сугубо доверительно, Клемпнер: мы проверяем номера всех роботов. Имеются данные, что ОН находится в городе.

Клемпнер. О ком вы говорите?

Голос Инспектора. О том роботе, о котором я тогда рассказывал у вас, не помните?

Клемпнер. Нет. Какой номер у того робота?

Голос Инспектора. Мы установили это только сегодня. 4711.

Клемпнер. Вы его разыскиваете? Он причинил какое-то зло?

Голос Инспектора. Еще нет. Но может это сделать.

Клемпнер. Подождите, пожалуйста, у телефона!.. Граумер, подойди сюда!

Граумер подходит, Клемпнер смотрит на его затылок и едва слышно произносит:

Это ты?..

Граумер. Я, господин хозяин.

Клемпнер (*колеблется; смотрит то на Граумера, то на лежащую телефонную трубку. Наконец он поднимает ее*). Алло! Инспектор, у моего робота номер 5740.

Голос Инспектора. Все в порядке. Простите за беспокойство. Я знал, что это невозможно, но вы же понимаете, как это бывает. Если мы что-то проверяем, то проверяем уже все как следует.

Клемпнер. Да о чем говорить. До свидания, инспектор.

Кладет трубку и берет стакан. Граумер берет стакан из рук Клемпнера и выплескивает содержимое за окно.

Что ты делаешь?!

Граумер. Прошу прощения, там был волосок.

Пауза.

Господин хозяин! Должен вам признаться, что я такого от вас не ожидал. Я не считал вас хорошим человеком.

Клемпнер. Не будем больше об этом. Я даже не хочу спрашивать, что ты там натворил. Но взамен помни: тебе следует меньше говорить и больше делать!

Граумер. Я буду очень стараться. Но я должен вам что-то объяснить...

Клемпнер. Ну, говори, только покороче!

Граумер. Я, господин, простой робот, не более того, но всегда стремился к совершенству. Мне показалось, простите, что вы не совершенный человек, и поэтому я создал себе другого хозяина. Такого, о котором мечтал. Идеального...

Клемпнер. Граумер, прекрати! Твои мечтания меня не интересуют. Это лишено смысла. У меня появился аппетит. Что у нас на обед?

Граумер. Но теперь, прошу прощения, это не только мечтания. Тот господин, тот совершенный, уже существует. Как раз когда вы ушли к Гордону, я заканчивал его, и теперь нет иного выхода: у меня будет два хозяина. Это необычная ситуация, но в конце концов дом достаточно большой, места в нем много, поэтому я думаю...

Клемпнер. А ты не думай. Я тебе советую перестать думать, а вместо этого подай мне обед. Ты, наверное, хорошо принял в себя через розетку. Напрасно думаешь, что я не знаю об этом. Вот у тебя и двоится в глазах.

Граумер. Но я заверяю вас...

Клемпнер. Хватит! И ни слова больше! Я хочу есть. Ты ведь только что обещал стараться...

Граумер. Да, вы правы, простите.

Клемпнер. Вот и накрывай на стол.

Граумер. Уже накрыто...

Клемпнер. Это другое дело.

Входит в столовую. За столом, на котором находится всего один прибор, сидит Тип.

А... простите! Я не знал, Граумер мне ничего не сказал. Граумер! Подай второй прибор!

Граумер приносит второй прибор. В это время Клемпнер подает руку Типу, который бормочет что-то, приподнимаясь с кресла.

Тип. Как поживаете?

Садятся. Граумер наливает им суп. Клемпнер и Тип начинают есть. Они поглядывают один на другого — оба с некоторым удивлением. Каждый из них принимает другого за гостя.

Клемпнер. Сегодня прекрасный день, не правда ли?

Т и п. День? Да, конечно.

Продолжают есть.

А вы любите машины? Я — так очень. Я когда иду мимо чего-нибудь железного, меня так и тянет это погладить. Такое вот у меня желание.

К л е м п н е р. Да?

Т и п. Да. Мне просто доставляет удовольствие мысль о том, что в мире существует столько разных машин: чулочные, трикотажные, вычислительные... В определенном смысле, роботы — тоже машины, но это совсем другое. Они — цвет машин, если можно так выразиться.

К л е м п н е р. Цвет машин? А вы знаете, мне это никогда не приходило в голову.

Т и п. А ведь это совсем просто, верно?

К л е м п н е р. Надеюсь, вам нравится суп?

Т и п. Суп неплохой, правда? Я думаю, что это сварил мой робот.

К л е м п н е р. Ваш робот?

Т и п. Тот, что нас обслуживает. Его зовут Граумер. Но ведь вы, кажется, уже перед этим обращались к нему по имени. Вы его знаете?

К л е м п н е р. Знаю. Потому что это мой робот...

Т и п. И ваш тоже?

Некоторое замешательство. Граумер входит, подает второе блюдо.

Г р а у м е р. Позвольте положить вам еще свеколки?

К л е м п н е р. Спасибо, нет.

Г р а у м е р. А вам? Позвольте, я еще добавлю...

Т и п. Не могу тебе в этом отказать, Граумер...

Г р а у м е р. Благодарю вас...

К л е м п н е р. Минуту назад вы сказали нечто такое, что меня поразило.

Т и п. Что именно?

К л е м п н е р. Что Граумер — ваш робот. Он что, когда-то работал у вас?

Т и п. Когда-то?.. По правде говоря, я не совсем понимаю, что значит «когда-то». Это — «тот» когда-то или «та» когда-то. Скорее, наверное, «та когдатица». Ага, вы говорили о Граумере... Мне он достался, как бы это сказать, с полным набором всевозможного инвентаря...

К л е м п н е р. Простите, с чем?

Тип (с ножом и вилкой в руках широким жестом как бы обводит все вокруг). Ну, со всем этим...

Клемпнер (вглядывается в него, и глаза его вдруг расширяются). Господи! Да ведь на вас моя одежда! И сорочка моя, и галстук... (Поднимает скатерть и заглядывает под стол.) Мои ботинки!!!

Тип. Я не понимаю.

Клемпнер. Но это же неслыханно! Это наглость!! Прощу вас немедленно это снять!!

Тип. Что я должен снять?

Клемпнер. Все! Это все мое!

Тип. Ваше требование, как бы это помягче выразиться, странно. Что ж, мне совсем раздеться? Я ведь не могу остаться голым.

Клемпнер. Да мне какое дело?! Извольте надеть то, в чем вы пришли!

Тип. Именно в этой одежде я и пришел.

Клемпнер. Что вы мне голову морочите?! Вы — бесстыжий нахал, ясно вам? Которого я поймал с поличным!

Тип. Пожалуйста, не кричите! Хоть вы и гость, но все имеет свои границы.

Клемпнер. Что?.. Это я — гость?.. И чей же, позвольте узнать?

Тип. Мой.

Клемпнер (подходя к Граумеру). Сейчас же говори, кто это такой? И откуда он здесь взялся?

Граумер. Но ведь я уже говорил вам.

Клемпнер. Что ты?.. Это невозможно!.. Так это ты его...

Граумер. Да, господин хозяин.

Клемпнер. Тот вот фосфор... та сера... уголь... это все для этого?

Граумер. Да, господин хозяин.

Тип. О чем идет речь? Я надеюсь, что этот господин уже отказался от своих неразумных требований? Что касается меня, я готов забыть о них. Граумер, подай компот и десерт. А кофе пойдем пить в кабинет. Я припоминаю, что здесь есть кабинет. С пишущей машинкой.

Клемпнер. Совершенно верно. С той только разницей, что это моя машинка, мой кабинет и мой дом.

Тип. Как это?

Клемпнер. Так это. Если не верите, спросите, пожалуйста, у Граумера. Это он все натворил.

Т и п. Что натворил?

К л е м п н е р. Вас!!

Т и п. Я не понимаю. Похоже, вы пытаетесь меня запугать. Откровенно говоря, вы ведете себя странно.

К л е м п н е р. Как я себя веду? Боже праведный!.. Что это у вас висит из рукава?

Т и п. Где? А, и в самом деле...

Из рукава рубашки он вытягивает полоску бумаги, прилепившуюся к запястью. Другие такие же бумажные полоски Граумер начинает вытягивать из-за воротничка рубахи. Бумага напоминает ту, которой обычно выкладывают формы для выпечки. И как та прилипает к тесту — эта прилипла к поверхности Типа.

Г р а у м е р (*отдирая бумажки*). О, простите! Тысяча извинений... Это моя оплошность — надо было подложить под вас бумагу, чтобы вы не сплющились, а у меня ничего другого не было.

К л е м п н е р (*стоя*). Теперь-то вы понимаете?

Т и п. Нет.

К л е м п н е р. Это он вас сотворил.

Т и п. Граумер? Меня?

Г р а у м е р. Да, именно так. Мне весьма досадно, что так все вышло.

Тип глядит то на Граумера, то на Клемпнера.

К л е м п н е р. Это действительно чрезвычайно неприятная история, но я ни в коей мере не собираюсь нести ответственность за сумасбродные выходы какого-то сумасшедшего робота. Прошу вас покинуть этот дом. Но прежде будьте любезны снять все мои вещи.

Т и п. Вы хотите выставить меня голым?

К л е м п н е р. Я сейчас поищу какие-нибудь старые брюки.

Т и п (*подходит к окну, выглядывает, поворачивается и спокойно произносит*). Нет!

К л е м п н е р. Как это — нет?! Что это значит — нет?! Да я оказываю вам любезность, выпроваживая подобным образом...

Т и п. Я никуда отсюда не пойду.

К л е м п н е р. Я вызову полицию!!

Т и п. Пожалуйста. Граумер — чей робот?

К л е м п н е р. Мой. Ну и что из этого?

Т и п. А то, что вы отвечаете за своего робота. Если он

действительно меня сделал, вы должны меня содержать. В противном случае...

К л е м п н е р. Что-что?

Т и п. Я вызову полицию.

К л е м п н е р. Ах ты, мерзавец!

В глубине комнаты Граумер наливает им в стаканчики виски.

Т и п. Вашими оскорблениями вы ничего не добьетесь.

К л е м п н е р (*тяжело дыша*). Ну хорошо! Забирай своего железного болвана и проваливай отсюда! Чтобы мои глаза вас обоих больше не видели!

Т и п. Я должен забрать Граумера?

К л е м п н е р. Да. И немедленно! Потому что я могу и раздумать.

Т и п. И не подумаю. А Граумера можете оставить себе.

К л е м п н е р. Так ты же, мерзавец, говорил, что любишь роботов!

Граумер сразу же после слов Типа: «Граумера можете оставить себе» в оба стаканчика с виски начинает вливать яд из флакона с надписью «Аконит».

Т и п. Да, люблю, но не до такой же степени, чтобы делать кому-то подарки.

К л е м п н е р. Какие еще подарки, ты, шантажист, да ведь это все мое!

Т и п. Я не могу отказаться от дома.

К л е м п н е р. Бандит!

Т и п. Ну, скажем, от половины дома...

К л е м п н е р. Да я скорее сгною тебя в тюрьме!

Т и п. Или я тебя!

В разгар скандала Граумер подает им обоим по стаканчику виски с ядом. Они продолжают ссориться, держа эти стаканчики и не представляя себе, что у них в руках. Сам Граумер быстро молча уходит. В кабинете он снимает телефонную трубку.

Из столовой доносятся голоса: «Забирай свою железную уродину и проваливай!» — «Сам проваливай!» — «Хочешь получить по морде?» — «Смотри, как бы тебе самому не заехали!»

Граумер закрывает дверь, набирает номер.

Г р а у м е р. Алло! Фирма перевозок Хэмфри? Я хотел бы сделать срочный заказ. Очень срочный! Прошу вас немедленно прислать большой ящик на улицу Роз, дом сорок шесть...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«МИР НА ЗЕМЛЕ» (этим романом завершается цикл об Ийоне Тихом): первая публ. на польск. яз. — Lem S. Pokój na ziemi. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. На шведском языке роман вышел в 1985, на немецком — в 1986 г.

Первая публ. на рус. яз. (в пер. К.Душенко и И.Левшина) в журн.: Звезда Востока (Ташкент), 1988, № 9—10. Опубликованы также переводы Е.Вайсброта и Е. Невякина.

«ГЛАС ГОСПОДА»: первая публ. — Lem S. Głos Pana. Warszawa: Czytelnik, 1968.

Первая публ. на рус. яз. (под загл. «Голос Неба», в сокращенном на треть переводе А.Громовой, Р.Нудельмана) в кн.: Лем С. Навигатор Пиркс; Голос Неба. М., 1970. В настоящем издании роман публикуется полностью.

Роман переведен на десять иностранных языков.

«ВЕРНЫЙ РОБОТ»: первая публ. в сб. «Лунная ночь» (Lem S. Noc księżycowa, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963).

Первая публ. на рус. яз. (в сокр. пер. А.Ильф) в журн.: Химия и жизнь, 1965, № 5; в кн.: Юмор друзей. М., 1965 (в том же переводе). В настоящем издании — полный вариант пьесы.

К.Д.

СОДЕРЖАНИЕ

- МИР НА ЗЕМЛЕ. Роман.**
Перевод К.В.Душенко и И.В.Левшина 5
- ГЛАС ГОСПОДА. Роман.**
Перевод А.Г.Громовой, Р.И.Нудельмана, К.В.Душенко 213
- ВЕРНЫЙ РОБОТ. Телевизионная пьеса.**
Перевод А.И.Ильф, Т.П.Агапкиной 387
- Библиографическая справка. К.Д.** 413

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 10 ТОМАХ
Т. 9

Редактор *Я.Л.Нагинская*
Художественный редактор *В.Б.Прищеп*
Технический редактор *А.Р.Кашафутдинова*
Корректоры *Т.В.Калинина, Н.М.Пушнина*

Лем С.

Л44 Мир на земле. Глас Господа: Романы. Верный робот: Телевизионная пьеса. Собр. соч. в 10 тт. Т.9 — М.: Текст, 1994. — 414 с.

ISBN 5-87106-062-5

Л 4703010100-040 подп.
94

84. 4П

Сдано в набор 15.01.94. Подписано в печать 20.12.94. Формат 84 x 108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл.печ.л. 21,84. Уч.-изд.л. 24,80. Тираж 80 000 экз. Изд. №158. Заказ № 3028.

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89

Литературно-издательская студия «РИФ»
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12а
Международный фонд развития
кино и телевидения для детей и юношества
(«Фонд Ролана Быкова»)

Отпечатано на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера»
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32

Издательство «Текст»

**ГОТОВИТ два дополнительных тома
к собранию сочинений
СТАНИСЛАВА ЛЕМА
в 10 томах**

В 1-й дополнительный том войдет ранний роман Лема «Магелланово облако». Этот фантастико-приключенческий роман на русском языке печатался с сокращениями и не переиздавался тридцать лет. «Текст» впервые публикует полный его вариант.

Во 2-ом дополнительном томе будет напечатан первый и до сих пор не переводившийся на русский язык роман «Больница Преображения» (1948 г.), действие которого происходит в психиатрической больнице во времена гитлеровской оккупации. В этот же том включен фантастический роман «Фиаско» (1986 г.) — последнее крупное произведение Станислава Лема.

**По вопросам приобретения
обращаться в Информационный центр
издательства «Текст» по адресу:**

**125183 Москва, проезд Черепановых, д.56
Телефоны: (095) 156 86 70, 154 30 40**

**Представительство в С.-Петербурге:
(812) 356 80 29**

**Наложенным платежом книги
не высылаются**

S T A N I S Ł A W

L E M

